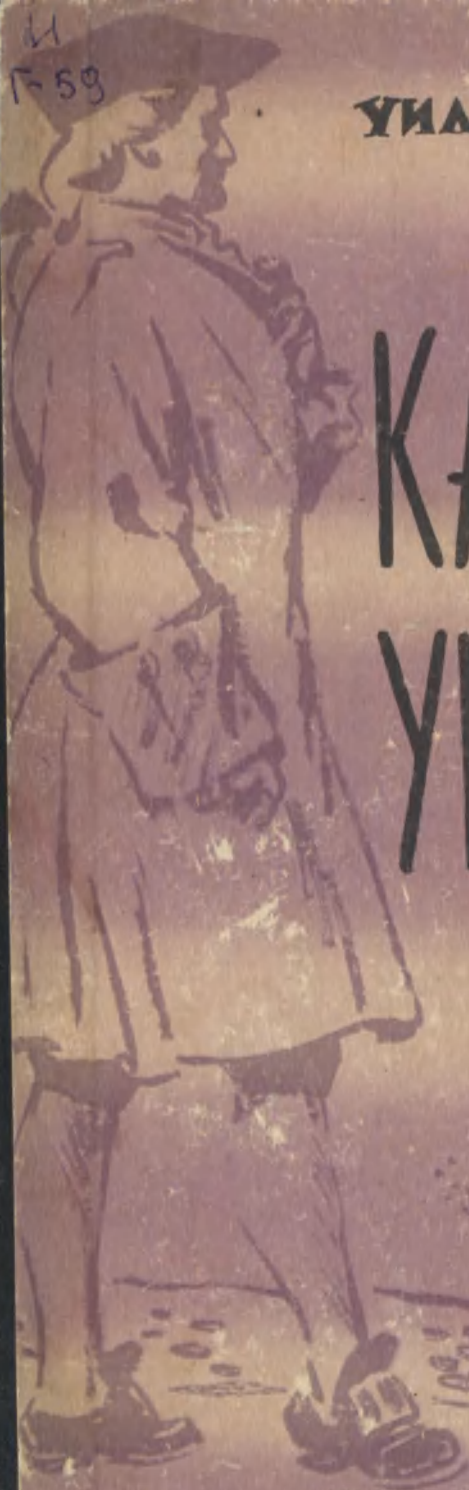


И
Г-58

УИЛЪЯМ ГОДВИН

КАЛЕБ УИЛЪЯМС



УИЛЬЯМ ГОДВИН



КАЛЕБ



УИЛЬЯМС



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1961 ЛЕНИНГРАД

Перевод А. М. Карнауховой

Редакция, вступительная статья и примечания

М. П. Алексеева

Оформление художника

Б. Ф. Семенова

У. ГОДВИН И ЕГО РОМАН «КАЛЕБ УИЛЬЯМС»

1

В английской литературе конца XVIII века роман Уильяма Годвина «Вещи как они есть, или Калеб Уильямс» (1794) занимает обособленное и весьма почетное место; из множества английских романов этого времени он отчетливо выделяется и своим своеобразием и своими незаурядными литературными достоинствами, — в частности, своей идейной насыщенностью, остротой социального анализа, высокой принципиальностью выдвинутых в нем теоретических положений. Примечательна и своеобразна также литературная судьба этого произведения, в свое время прославленного и в Англии и за ее пределами, везде вызвавшего оживленные споры и противоречивые оценки, но затем как бы исчезнувшего из обращения.

Буржуазная зарубежная критика упорно считает его «полузабытым» и обычно упоминает о нем на страницах английской литературной истории лишь вскользь, как о памятнике далекого литературного прошлого. «Калеб Уильямс» чаще всего объявляется ею произведением устарелым, уже вовсе утратившим тот захватывающий, острый, волнующий интерес, который он некогда представлял для современных ему читателей. Между тем, с нашей точки зрения, этот старый роман, в котором Годвин с такой гневной страстью и обличительной силой изобразил типические черты английского общественного строя второй половины XVIII столетия, далеко не потерял своего значения ни как исторический документ, ярко иллюстрирующий общественные отношения и классовую борьбу в Англии в один из острых и переломных моментов английской социальной истории, ни как художественное произведение, сохраняющее всю полноту своего эмоционального воздействия. Весьма наглядно, на типических случаях, заимствованных из английской общественной жизни своего времени, Годвин изобразил здесь сословное неравенство, порождающее

разнообразнейшие формы «угнетения человека человеком», полное бесправие социальных низов, просыпающихся, однако, к сознательной и активной общественной жизни, полную безнаказанность и судебный произвол правящей верхушки. Некоторые действительно присущие этому роману архаические черты — например, кое-где свойственная ему особая патетическая приподнятость языка, многословность в отступлениях, рассуждениях и лирических тирадах, несколько старомодная терминология в описаниях чувствований действующих лиц, — нисколько не вредят получаемому от него сильному впечатлению и не ослабляют внушаемого им ощущения безусловной значительности этого произведения, «забытого» напрасно и несправедливо. Более того — все особенности этого романа как литературного памятника XVIII века придают ему некую особую привлекательность, усиливая представление о его историческом значении, так как своего рода «старомодности» повествования противостоит в нем сила его передовых для своего времени идей, острота и, в известном смысле, злободневность которых далеко еще не утратились и доньше для капиталистических стран и Англии в первую очередь. Гневный обличительный голос У. Годвина, хотя и идущий из далекого прошлого, все еще звучит для нас столь же мужественно и честно, как звучал он в свое время для его первых читателей. Замысел Годвина — прямо и открыто изобразить «вещи как они есть», то есть дать обобщенную и цельную картину всей социальной несправедливости современного ему английского общественного строя, не потерял своего значения именно потому, что то классовое угнетение, которое Годвин видел на своей родине собственными глазами, в значительной степени возросло и усилилось в наши дни. Из романа Годвина все еще раскрываются для нас «вещи как они есть», а не только то, «каковы они были» полтора столетия тому назад. И потому многое в этом романе гораздо ближе нашему восприятию, а из обличаемых им явлений — нашему осуждению, чем это кажется его английским критикам.

«Калед Уильямс» — один из ранних «социальных романов» западноевропейской литературы того типа, который удалось усовершенствовать и сделать распространенным лишь критическим реалистам XIX столетия. В центре романа находится анализ общественных отношений, социальной среды, характеристика враждующих классовых групп, и все это согрето верой в неизбежность социальных изменений, страстным пафосом борьбы за полное переустройство человеческого общества. Именно это всегда делало роман близким и понятным наиболее передовым и прогрессивным борцам за человеческие права. Показательна, например, та высокая оценка, которую этому роману Годвина дал Н. Г. Чернышевский. Сидя в Петропавловской крепости

и набрасывая предисловие к своему роману «Повести в повести», который ему так и не удалось увидеть в печати, Н. Г. Чернышевский записывал (10 октября 1863 г.): «Один из моих любимых писателей — старик Годвин... Чтобы испытать свои силы, Годвин вздумал написать роман без любви. Это замечательный роман. Он читается с таким интересом, как самые роскошные произведения Жоржа Занда. Это «Калеб Уильямс»... Прочтите, если успеете достать. Очень и очень занимательная вещь...»¹ Не случайно, быть может, что этот свободолюбивый роман с его тирадами против всяческого угнетения, в котором с такой силой описаны сцены в английских тюрьмах XVIII века, вспомнился Чернышевскому в заточении; «Калеба Уильямса» у нас и раньше вспоминали прежде всего те, кто, по словам Годвина, испытал на себе руку «недремлющей тирании»: известно, например, что Годвина очень ценили ссыльные декабристы.² Тем не менее Чернышевский очень тонко определил отличие «Калеба Уильямса» от других английских романов его времени.

Таким образом, перед нами вовсе не «забытое» произведение иностранной литературы, извлекаемое из библиотечной пыли в антикварных или сугубо исследовательских целях.

«Калеб Уильямс» — весьма типичное порождение английского XVIII века и в то же время один из тех романов, в которых явно чувствуются прокатившиеся тогда по всей Европе раскаты французской буржуазной революции XVIII века. Составить себе полное и отчетливое представление об этом романе и о его достоинствах и недостатках можно лишь тогда, когда мы познакомимся ближе с условиями его возникновения, с его творческой историей, с личностью его автора.

2

Уильям Годвин родился в 1756 году в Уисбиче, маленьком городке Кембриджского графства, в многодетной семье проповедника диссидентской общины. Он рос в обстановке суровой религиозной дисциплины сектантской семьи, где, по его собственным словам,

¹ Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, т. XII. М., Гослитиздат, 1949, стр. 683.

² Так, И. Д. Якушкин считал Годвина провозвестником английского рабочего движения («Декабристы». Сборник Государственного литературного музея, М., 1938, стр. 404); другой декабрист, А. Ф. Бригген, томясь в бездействии ссылки в глухом краю и мечтая о переводческой работе, которая могла бы скрасить его будни, вспоминал прежде всего о «Калебе Уильямсе», — «которого знаю только по слухам, — писал он, — и о коем отзываются как о произведении гениальном» («Русская старина», 1902, № 9, стр. 196).

окружающие более заботились о спасении его души, чем о благополучии его тела, среди молитв и проповедей за обеденным столом, в доме, где громкий голос и веселье считались грехом, а отсутствие аппетита — добродетелью. О своем детстве и юности сам Годвин довольно подробно рассказал в набросках «Автобиографии» (охватывающих 1756—1772 гг.), дающих много данных для понимания той специфической интеллектуальной атмосферы, в которой слагалось его мировоззрение и происходил его внутренний рост, приведший его в конце концов к серьезному нравственному кризису.

Со страниц этой «Автобиографии» иной раз на нас веет признаниями юноши Калеба Уильямса, с тою лишь разницей, что в романе собственные юношеские воспоминания Годвина творчески им преобразованы и подчинены особому идейному заданию. В «Автобиографии» Годвин попытался дать правдивый, достоверный и психологически очень тонкий рассказ о своем собственном развитии и о тех затруднениях, которые лежали на пути к его интеллектуальному созреванию; для героя своего романа Годвин удержал лишь некоторые личные черты и вовсе отбросил другие. И юноша Годвин в его собственном изображении и главное действующее лицо его романа с ранних лет отличаются ненасытной любознательностью, ранней привычкой к упорному умственному труду, недетской серьезностью, суровым и даже патетическим отношением к долгу и житейским обязанностям; вместе с тем им обоим свойственно своего рода тщеславие, выросшее из некоего абстрактного стремления к нравственному подвигу. Как все эти черты определились у юноши Калеба, сына фермера, рано лишившегося отца и опоры семьи, остается не вполне ясным из тех данных, которые сообщает Калелб о себе самом на первых страницах романа. Но как они возникли и развились у самого Годвина — это нам становится достаточно понятным из многочисленных признаний его автобиографии. Совершенное Годвином творческое преобразование его собственных юношеских воспоминаний в рассказах Калеба заключалось прежде всего в том, что он отбросил в романе какие-либо намеки на типично сектантский характер того воспитания, которое он сам получил, и тех навязанных ему с детства пристрастий к религиозной догматике, которые долгое время были для него определяющими и с которыми он порвал решительно и резко лишь в период своей полной умственной зрелости. В романе Годвин почти не касается религиозных вопросов, так как в то время, когда роман писался, эти вопросы для автора были уже решены и он не без оснований считал себя последовательным атеистом и материалистом. Но вся юность Годвина была посвящена решению этих проблем и мучительным поискам пути, и это объясняет

очень многое и в личных чертах его характера и в особенностях его умственного склада.

В «Автобиографии» Годвин набрасывает портреты отца, диссидентского священника, сурового и непреклонного в своих религиозных обязанностях, матери, столь же ревностной кальвинистки, которая никогда не смогла простить сыну его отказа от проповедничества и священнослужительства, от наследственных традиций семьи. Семья Годвина часто переезжала из города в город. В Гествике, маленьком городке Сеффолкского графства, мальчик впервые пошел в школу к престарелой учительнице; первые двадцать лет ее жизни приходились еще на XVII столетие, и, по рассказам домашних, она еще живо помнила английскую пуританскую революцию, — историком которой Годвин стал впоследствии, — времена Кромвеля, Реставрацию, героические дела пуритан, переворот 1688 года. В 1767 году, одиннадцати лет, Годвин поступил в учение к некоему Семейюэлу Ньютону, пастору секты индепендентов в Нориче.

В 1771 году Годвин покинул школу Ньютона, а в 1773 году, после смерти отца, определен был в Хокстонский диссидентский колледж близ Лондона для приготовления к деятельности диссидентского пастора; здесь он провел пять лет. «В это время, — говорит он сам (то есть во время пребывания в Хокстонском колледже), — во мне зародились те воззрения на материализм, свободу, необходимость, которых не могло впоследствии изменить дальнейшее развитие моего ума. Мои школьные товарищи часто указывали мне на бесстрашие моих мнений и хладнокровие моего темперамента».

Не следует слишком удивляться значению религиозных проблем в ранней интеллектуальной биографии Годвина. Английская буржуазия никогда не была атеистической, тем более в XVIII веке. Но Годвин вышел из диссидентской среды, в которой были еще очень сильны традиции английского революционного сектантства XVII века и которая как раз в его школьные годы выдвинула ряд публицистов, заново поставивших вопрос об естественном праве. Еще Ф. Энгельс указывал, что протестантские секты «доставляли и знамя и бойцов для борьбы против Стюартов, выдвинули также главные боевые силы прогрессивной буржуазии...»¹ В XVIII веке протестантские секты в Англии вербовались преимущественно в среде прогрессивного меньшинства буржуазии, настроенного весьма радикально, боровшегося за расширение прав народа, за более демократические политические свободы. Весьма характерно, что эти сектанты, представители демократических слоев английского общества, воодушевленные все более строгим рационализмом, не только старались удалить из рели-

¹ Ф. Энгельс. Анти-Дюринг. М., Госполитиздат, 1938, стр. 418.

гиозной догмы все сверхъестественное, но даже последовательно шли к материализму, объявляя себя защитниками материалистической философии. Достаточно вспомнить здесь хотя бы старшего современника Годвина, Джозефа Пристли, диссидентского проповедника, ставшего крупнейшим английским философом-материалистом XVIII века и в то же время видным естествоиспытателем. Таков же был и Годвин, вышедший из той же диссидентской среды, что и Пристли, и нашедший свой путь к материализму, атеизму и к проникнутой демократическими тенденциями социально-философской доктрине.

3

В 1778 году, по окончании Хокстонского колледжа, Годвин стал проповедником диссидентской общины в маленьком провинциальном городке. Это был, впрочем, довольно странный проповедник, если судить по его собственным рассказам. У него уже назревал глубокий нравственный кризис. Годвин свидетельствует, например, что в последний год учения в колледже он вовлек своего товарища Ричарда Эванса в письменную дискуссию на тему о существовании бога: «Я принял отрицательный тезис, — с большой искренностью, как всегда, — надеясь, что мой друг поможет мне устранить встреченные мною трудности». Но Эванс, очевидно, этих трудностей не устранил, и перед Годвином стояла нелегкая задача: проповедовать прихожанам то, в чем он сам сомневался. В этот период своей жизни он познакомился с Джозефом Фоусетом, который, по словам Годвина, произвел на него сильное впечатление и показался ему первым действительно выдающимся человеком из его знакомых. Именно Фоусета Годвин изобразил в «Калебе Уильямсе» в образе м-ра Клера, «поэта, творения которого заслужили бессмертную славу».¹ Фоусет был тогда молодым человеком, сверстником Годвина; он происходил из диссидентской среды и уже близко стоял перед такой же перспективой сложения духовного сана, какая намечалась и перед Годвином. Не удивительно, что между ними возникла тесная дружба, ускрившая «обращение» их обоих. В идеях Фоусета было, конечно, много парадоксального, непоследовательного, эксцентричного — недаром они могли отозваться как в «Политической справедливости» Годвина, так впоследствии и в знаменитой «Прогулке» Вордсворта, — но ему было свойственно некое принципиальное бунтарство, которое он распространял на все области своих размышлений, и оно проявлялось не только в религиозном свободо-

¹ См. ниже, в примечаниях к стр. 29.

мысли. С церковной кафедры того же провинциального городка Фоусет проповедовал некоторые весьма смелые по тому времени социальные и политические идеи, которые он заронил и в сознание Годвина. Тем же кругом идей Фоусет особенно интересовался и в последующие годы. Позднейший ближайший друг Годвина Томас Холкрофт свидетельствует, что Фоусет был лучше многих других приурочен к тому, чтобы принять и восторженно приветствовать французскую буржуазную революцию, вспыхнувшую в 1789 году. Умер он раньше Годвина и сравнительно молодым. «Я думаю, — прибавляет Холкрофт, — что гибель надежд, которые Фоусет питал относительно свободы и счастья человечества, была для него тяжелым ударом, ускорившим его кончину».

Годвин сравнительно недолго прожил в одном городе с Фоусетом. Уже в 1779 году мы застаем Годвина в городке Стоумаркете, в той же должности диссидентского проповедника, но и здесь он задержался ненадолго: он пережил острый конфликт с прихожанами в связи со своими взглядами на вопросы религии, и этот конфликт быстро ускорил развязку. В 1782 году Годвин сложил с себя сан, бросил Стоумаркет и переселился в Лондон. К стоумаркетскому периоду его жизни относится его знакомство с Фредериком Норменом, большим поклонником французских просветителей XVIII века. Нормен познакомил Годвина с сочинениями Руссо, Гельвеция, Мабли. Вера Годвина в христианство пошатнулась окончательно, и он радовался этому разрыву со своим прошлым. Задача, которую он поставил теперь перед собой, заключалась в том, чтобы подготовить себя к профессиональной литературной деятельности. Но и в этой деятельности он видел не столько средство для поддержания жизни или способ заработка, сколько серьезную и ответственную миссию. Объясняя матери причины, заставившие его порвать все связи с диссидентскими общинами и раз навсегда отказаться от роли церковного проповедника, Годвин писал, между прочим: «Я безразличен ко всем эгоистическим удовольствиям. Ничто не привязывает меня к жизни более, чем благополучие мне подобных. Единственная цель, которую я преследую, заключается в том, чтобы приумножать, насколько это возможно, сумму их знаний, добра и благоденствия». В этих словах чувствуется еще суровая, кальвинистская закалка, оставшаяся у Годвина на всю жизнь, та присущая ему особая серьезность, которая, кстати сказать, проявилась и в его органическом неприятии юмора в какой бы то ни было форме (в «Калебе Уильямсе» и в других произведениях Годвина нет ни одной юмористической черты, а также никаких следов скептического или легкомысленного восприятия жизни); но осуществить цель, которую Годвин поставил

перед собой, оказалось труднее, чем он надеялся. Жизнь профессионального литератора в Лондоне в XVIII веке была полна превратностей и требовала и большей живости характера и более обширных литературных связей, чем те, которыми он располагал. Обеспечить себе постоянную и оплачиваемую литературную работу, обрести новых лондонских друзей Годвину удалось с немалым трудом.

Вероятно, некоторое представление о первых шагах Годвина на литературном поприще дают те страницы «Калеба Уильямса», где рассказывается, как его герой, попав в Лондон и живя здесь под вымышленным именем, с целью заработка сочиняет исторические статьи и рассказы, заимствуя их из «читанных когда-то писателей». Правда, Годвин получил наконец возможность регулярно печатать статьи в периодических изданиях, а его очерки на политические темы в газете «Политический глашатай» принесли ему даже некоторую известность. Вместе с тем, побуждаемый друзьями, в частности Фоусетом, Годвин начал составлять серию английских биографий. (В 1782 г. опубликованы «Жизнь лорда Чатама» и «Жизнь Питта».) Характерно, однако, что в поисках литературных тем Годвин в это время меньше всего думал о беллетристической деятельности; его увлекали прежде всего философские и социально-политические работы.

Журнальная и газетная деятельность привела Годвина к знакомству с новым миром людей; люди — к новому кругу мыслей. В числе его новых интимных друзей оказался заменивший Годвину Фоусета Томас Холкрофт. Холкрофту (1745—1809), сыну сапожника, в юности бывшему лакеем, удалось выбиться в люди. Он был актером, ездил во Францию, переводил Бомарше, написал несколько собственных драматических произведений и два замечательных романа «Анна Сент-Ив» (1792) и «Приключения Хьюга Тревор» (1794), в которых многое очень родственно «Калебу Уильямсу» — свободолюбие, страстные призывы к переустройству общества на новых началах справедливости и всеобщего блага, отчетливая демократическая тенденция. Холкрофт непоколебимо верил в то, что наступит день, когда прекратятся кровавые войны и национальная вражда, и что мир и добрая воля воцарятся среди людей. Многие отголоски этой прекраснотушной утопии, но в более трезвом и логическом изложении, можно найти и в трактате Годвина «Исследование о политической справедливости». Во всяком случае, не подлежит никакому сомнению, что Холкрофт оказал на Годвина сильное и продолжительное влияние; именно он вовлек Годвина в водоворот политической жизни, познакомил его с рядом политических деятелей и писателей, в частности — с Шериданом. Холкрофт ввел Годвина в один из по-

литических клубов, представив его Горну Туку, Телуоллу и другим деятелям этой поры, вскоре заслужившим прозвание «якобинцев». Известие о революции во Франции оба друга встретили с одинаковым восторгом.

4

В одной из заметок своего дневника за 1789 год Годвин пишет: «Это был год революции. Сильно забилося мое сердце наполнявшим его чувством свободы. В принципе я уже десять лет республиканец. Я с большим удовлетворением читал труды Руссо, Гельвеция и других наиболее популярных писателей Франции. Я нашел у них более широкую и философски более простую систему, чем у большинства писателей по политическим вопросам; я не мог удержаться от того, чтобы не возлагать моих надежд на революцию, предшественниками которой были такие творения». «Однако, — продолжает далее Годвин, — я был далек от того, чтобы одобрять все, что я видел в самом начале революции. Ни на одну минуту не переставал я порицать правление толпы и насилия, которые люди применяют друг к другу. Я мечтал о таких политических переменах, которые истекают из светящихся глубин разума и из подлинных и исполненных великодушия движений сердца». Эта запись интимного дневника может до известной степени служить ключом к пониманию его трактата «О политической справедливости» и в такой же мере — его первого романа «Калейб Уильямс». О значении, которое имела для Годвина и для его ближайших друзей французская буржуазная революция 1789 года и вся идеологическая подготовка к ней во французской просветительской литературе, он не раз говорил впоследствии, и в частности — в предисловии к своему трактату. И тем не менее не следует преувеличивать значения ни французских философских источников для мировоззрения Годвина, ни событий во Франции для его политической программы. Годвин не только развил и углубил в своем учении некоторые ранние английские социалистические теории, но и отразил в нем своеобразные особенности социальной жизни Англии своего времени. Кое в чем, например в отрицании собственности, в отчетливом понимании противоречий имущих и неимущих классов, в горячей защите последних, Годвин пошел дальше деятелей французской революции, став непосредственным предшественником утопических социалистов, в частности Роберта Оуэна, и это произошло потому, что социальные контрасты раскрылись в Англии во второй половине XVIII века гораздо ярче, чем во Франции; кое в чем, однако, например в собственно политической стороне своего учения, Годвин оказался позади многих деятелей французской революции. Дневники

Годвина 80-х годов подтверждают, что процесс формирования его мировоззрения заканчивался уже до 1789 года и что книжные источники, его питавшие, следует искать не только во французской, но и в английской литературе, из которой, в свою очередь, так много восприняла французская просветительская мысль предреволюционной поры. В этих дневниках Годвина Адам Смит и Бентам упоминаются рядом с Гельвецием и Руссо, Пристли и Прайс — с Мабли и физиократами. «Политические исследования, — писал Годвин в предисловии к своему трактату, — давно уже занимали видное место в литературных занятиях автора; двенадцать лет тому назад он пришел к убеждению, что монархия — это форма правления, сгнившая до основания. Этим убеждением он обязан политическим сочинениям Свифта и изучению латинских историков». На Томаса Мора и того же Свифта (с точным указанием на 6-ю главу IV части «Путешествий Гулливера») Годвин вновь ссылается в одном из примечаний к своему трактату как на тех писателей, «которые подвергают систему накопления собственности открытому нападению». Если прибавить к этому списку названные самим Годвином в том же месте работы Уоллеса об имущественном равенстве, Огилви («Право собственности на землю») и др. и учесть весь путь его развития от диссидентского проповедника до публициста и политического писателя, то станет ясно, что события 1789 года могли только усилить отдельные положения социально-политической доктрины Годвина, слагавшейся ранее и преимущественно под английским влиянием.

Годвин не был юношей, когда поселился в Лондоне и начал литературную деятельность. За плечами у него была жизнь, богатая опытом и разнородными наблюдениями. Как бы ни старался он сам представить себя книжным философом, более преданным отвлеченным философским занятиям и созерцанию, чем практической деятельности, но долгие годы в различных городках и местечках провинциальной Англии и проповедничество, предполагавшее близкое знакомство со своей паствой, не могли не оставить своих следов. Единственно, чего не знал Годвин, — это английской столицы, и поэтому еще в «Калебе Уильямсе» Лондон не играет никакой сколько-нибудь существенной роли в качестве места действия; но зато в романе дана более или менее широкая картина провинциальной Англии: быт фермеров и деревенских помещиков, суды графств и сельские тюрьмы, солдаты, разбойники с большой дороги... Годвин чувствовал, что, обобщая все накопленные им впечатления, теоретизируя, подчиняя их единой логической схеме, он сможет изложить некую новую социально-политическую доктрину.

Годом «главного перелома» своей жизни Годвин считал 1791-й. Именно в этом году Годвин решил отвлечься от мелких литератур-

ных дел, бросить сотрудничество в газетах и написать книгу, в которой было бы изложено новое социально-политическое учение. После двух лет напряженного труда книга эта была закончена и в феврале 1793 года вышла в свет в двух томах. Это было «Исследование о политической справедливости и о влиянии ее на общую добродетель и благополучие». Книга эта представляет собою довольно смелую попытку обосновать анархический идеал государства и общества без частной собственности, в которых ограничительные и репрессивные функции власти были бы сведены к нулю. Исходя из этических предпосылок, Годвин поставил своей задачей вскрыть все недостатки и пороки современного ему общественного строя и выдвинуть общий интерес и равенство как средства для достижения всеобщего благополучия. Конечно, многое в трактате Годвина не являлось новостью для его времени. Отдельные положения, которые он пытался развить здесь и довести до логического конца, высказаны были ранее его; однако новым и своеобразным оказалось у Годвина сочетание всех этих положений и те выводы, в которых он пошел дальше своих предшественников. Так, например, анархические идеи встречались у многих представителей английского буржуазного радикализма XVIII века — у Джозефа Пристли или Томаса Пэйна, с которыми Годвин находился в личных отношениях; во многом близок Годвин также и к современным ему буржуазным мыслителям, например И. Бентаму, — общим для них оказался принцип утилитаризма. Однако бентамовскому принципу «эгоистического интереса» Годвин противопоставил свое учение об «общем прогрессе и социальном равенстве». Одним из наиболее сильных положений Годвина, выделяющим его в ряду теоретиков того времени, является отрицание им собственности. «Республика, — пишет Годвин в своем трактате, — не является средством, уничтожающим корень зла. Несправедливость, гнет и нищета имеют возможность свить себе гнездо в этих, на вид счастливых, убежищах». Борьба с политическим гнетом не может считаться законченной, если не уничтожена собственность — главное зло. «Насилие было бы уже побеждено разумом и просвещением, но накопление богатств упрочило его царство». Годвин пошел еще дальше: он счел необходимым строго различить понятия общества и государства и объявил, лишь отчасти повторяя Томаса Пэйна, что если общество создается нашими потребностями, то государство представляет собою «необходимое зло». Энгельс определил основное отличие Годвина от мыслителей его времени: «Уильям Годвин обосновал («Политическая справедливость», 1793) республиканскую систему политики, выдвинул одновременно с И. Бентамом принцип утилитаризма и, сделав таким образом все законные выводы из республикан-

ского принципа *Salus publica — suprema lex*,¹ напал на самую сущность государства, выдвинув тезис, что государство есть зло. Годвин понимает принцип утилитаризма еще в самой общей форме, как долг гражданина пренебрегать индивидуальным интересом и жить только для общего блага; Бентам, напротив, развивает дальше, по существу социальную природу этого принципа, делая, в согласии с национальной тенденцией того времени, частный интерес основой общего интереса».²

Объявив, что «всякое правительство является злом и уничтожением нашего суждения и совести», Годвин рисует в своем трактате процесс перехода от государства к такому обществу, которое будет основано на началах «общего блага», будет свободно от «влияния торгово-промышленного соревнования» и в котором неравномерное распределение благ «не по справедливости» должно будет уступить место «состоянию равной собственности»; в таком обществе само собой исчезнет и право. «Когда же суды наконец перестанут выносить решения и ограничатся подачей совета, когда власть постепенно придет в бездействие и господствовать будет лишь разум, то разве мы в один прекрасный день не придем к тому, что суды и всякие общественные институты станут излишними? Тогда-то исчезнет государство, эта грубая машина, которая была единственной постоянной причиной человеческих пороков и которая обладает столь многими недостатками, что устранить их можно лишь полным уничтожением машины».

Таковы основные положения трактата, в котором автор реализовал свои утопические идеи. Годвин не может еще представить себе действительный ход исторического процесса отмирания государства и права, так как он с отвращением относится к революционному насилию и надеется на осуществление проповедуемого им идеала путем мирной пропаганды. С другой стороны, еще Энгельс подчеркивал (в письме к К. Марксу от 17 марта 1845 г.), что хотя «Политическая справедливость» и содержит в себе многие прекрасные вещи, в которых Годвин граничит с коммунизмом, но «он в своих выводах решительно *антисоциален*», особенно в тех частях своего труда, где приходит к заключению, что «человек по возможности должен эмансипироваться от общества и пользоваться им лишь как предметом роскоши».³

Тем не менее для того времени книга заключала в себе много

¹ Общественное благо — высший закон (лат.)

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, изд. 2-е, т. 1. М., Госполитиздат, 1954, стр. 615—616.

³ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXI, стр. 18.

смелых и неожиданных вещей и на своих первых читателей произвела сильное впечатление.

Еще больший успех выпал на долю романа Годвина «Калеб Уильямс» — произведения, имевшего целью популяризировать идеи «Политической справедливости». Однако роман был написан в обстановке, несколько отличной от той, в которой создавался трактат.

5

«Исследование о политической справедливости» было написано мною в феврале, — свидетельствует Годвин. — В том же году я написал главную часть романа «Калеб Уильямс»... Он был отголоском настроений, посещавших меня после написания трактата». Как случилось, что Годвин еще раз вернулся к кругу тех же идей, но высказал их на этот раз уже в совершенно иной форме? Что побудило его отказаться от привычного изложения своих мыслей в виде теоретического рассуждения ради художественного произведения, ради романа с захватывающим сюжетом?

Годвин сам указывает читателям, что заставило его взяться за перо беллетриста и написать увлекательный роман после тяжеловесной ученой книги. Так, в первом авторском предисловии к роману Годвин говорит, что ему «хотелось преподать полезный урок без ущерба для занимательности и увлекательности, каковыми должны отличаться сочинения подобного рода» (то есть романы, доступные широкому читательскому кругу), что он хотел дать в своем произведении не «абстрактную теорию, а зарисовку явлений», что, наконец, если «философии известно теперь, что влияние духа и характера власти сказывается на всех слоях общества», то «истина эта заслуживает того, чтобы стать достоянием и тех лиц, в чьи руки никогда, по всей вероятности, не попадут философские и научные книги». Иначе говоря, Годвин, несомненно, предназначал свою книгу для широкого круга английских читателей. Однако он не договаривает до конца. Были и особые причины, заставившие его написать повествовательное произведение.

Год выхода в свет трактата можно считать поворотным в английской политике. Правительством Питта Англия была втянута в войну с революционной Францией (11 февраля 1793 г.), и это послужило началом для наступления реакции. Консервативное английское правительство энергично принялось за искоренение английского «якобинизма» во всех общественных слоях. В ноябре 1793 года судья Джон Ривс основал «Ассоциацию для защиты свободы и собственности против республиканцев и уравнилелей»; в парламенте от имени короля

было объявлено об открытии в Англии заговора, имевшего целью «уничтожить конституцию и революционным путем изменить государственный порядок». Начались бесконечные преследования людей, обвиняемых в произнесении «соблазнительных» речей и распространении «возбуждающей умы» литературы. Среди лиц, привлеченных к суду, было много друзей Годвина.¹

Годвин, еще не отрешившийся от политических мечтаний своего трактата, был потрясен всем происходившим вокруг него. Когда арестованы были близкие друзья Годвина Маргарет и Джеррольд (о последнем см. ниже, в примечаниях к стр. XXV), он поместил в газете «Морнинг Кроникл» негодующее письмо, в котором обрушивался на преследователей. «Мы кричим против французов, — писал Годвин, — и подражаем им в самых ужасных зверствах... Кара, которая превышает всякую меру и издевается над правосудием, которая следует только чувству мести, целью которой является превращение человека в раба, унижение души, медленное истощение и доведение до слабоумия, может только ожесточить сознание людей и побудить их к решительным действиям». Гневные строки этой газетной статьи не случайно напоминают нам страницы «Калеба Уильямса». В романе — одинокий, оклеветанный, но безвинный юноша Калек, запертый в смрадную тюрьму за то, что он попытался исторгнуть у своего хозяина честное признание в совершенном им преступлении, произносит своеобразную молитву; чувствуется, что она написана кровью самого Годвина в тот момент, когда гибли его друзья и над ним самим занесена была карающая десница: «Боже, сделай меня бедным, ниспошли на меня все мыслимые в человеческой жизни беды! Я приму их все с благодарностью. Сделай меня добычей диких зверей пустыни, только бы я никогда больше не был жертвой человека, облаченного в окровавленную мантию власти! Позволь мне по крайней мере считать моими собственными жизнь и связанные с ней стремления. Позволь мне видеть ее зависимой от стихий, голодных зверей или мстительных дикарей, но не от хладнокровной жестокости монополистов и королей!» (кн. 3, гл. I). В другом месте романа Годвин пишет: «Слава богу, у нас нет Бастилии! — восклицает англичанин. — Слава богу, у нас человек не может быть наказан, если он не совершил преступления! Жалкий безумец! Это ли страна свободы, если тысячи томятся здесь в темницах и оковах! Ступай, ступай, невежда и глупец! Пойди, вразумись в наших тюрьмах!» и т. д. (кн. 2, гл. XI).

Тревога и возмущение Годвина усиливались по мере того, как круг его близких друзей становился все уже и уже. Процесс Джер-

¹ См. ниже, в примечаниях к стр. XXV.

рольда в особенности заставил его насторожиться. Годвин почти убежден был в том, что приговор, который будет вынесен его друзьям, будет применен и к нему и что вскоре он сам сядет на скамью подсудимых. Перед самым процессом Джеррольда Годвин написал ему письмо, заклиная его «не поддаваться ни чувству злобы, ни чувству страха. Только хладнокровием и обдуманной отвагой можно потрясти небесные твердыни. Как велик будешь ты, если покажешь, что вся несправедливость людей, нисколько не трогает тебя, что ты слишком велик, чтобы быть задетым их стрелами... Общественная жизнь нуждается в людях с твердым духом, которого не могут потрясти никакие преследования... Прощай! Вся душа моя с тобой, ты представляешь нас всех». Сам Годвин нашел в себе достаточно мужества, чтобы заступиться за обвиненных в двух замечательных по силе своей логики и убежденности памфлетах, направленных против «королевского суда» и его главных деятелей (они опубликованы анонимно в 1794 и 1795 гг.).

Все указанные процессы, трагическая судьба многих товарищей Годвина, строки приведенного письма к Джеррольду объясняют многое в «Калебе Уильямсе», который заканчивался посреди тревожных вестей о новых преследованиях подлинных и мнимых «якобинцев». Не удивительно, что с такой действенной силой написаны Годвином те сцены его романа, где он описывает суды, речи обвинителей, защиту обвиняемых. Роман в высокой степени отразил волнение этого тревожного года. «Вот что значит общество! — восклицает Каллеб, уставший от переодевания и гримировки, на что вынуждают его даже те, кто вовсе не заинтересован в его преследовании. — Вот эта справедливость — цель усилий разума человеческого! Вот плод размышлений мудрецов, дело, над которым они столько трудились! Вот оно!» Основной тезис трактата превращается здесь в лирическую тираду, вывод, полученный теоретическим путем, но проверенный горьким опытом жизни, — в настоящий вопль, исторгнутый прямо из сердца.

Таким образом, нетрудно увидеть теснейшую зависимость замысла этого романа от основных идей «Политической справедливости». Захватывая читателя динамикой развертывающегося повествования, Годвин словно еще раз ведет его по отдельным главам своего трактата, наглядно раскрывая свои взгляды на различные типические явления английской общественной жизни. Характерно, что первоначально Годвин дал своему роману весьма обобщающее заглавие: «Вещи как они есть», впоследствии измененное, и что на титульном листе первого издания стоял знаменитый эпиграф, заключающий в себе столь же обобщающую мысль, излюбленную Годвином (ср. вышеприведенную цитату из «молитвы» Калеба),

но нередко встречающуюся также в просветительской литературе XVIII века:

Среди лесов леопард щадит себе подобных,
И тигр не нападает на детенышей тигра.
Лишь человек всегда враждует с человеком.¹

В своей книге Годвин намеревался «охватить общим взглядом все формы домашнего деспотизма, посредством которых человек становится губителем другого человека». Конечно, диалоги, повествование о цепи событий, портреты действующих лиц расцвелили утомительную систематику его доказательств, как она была дана в «Политической справедливости», но основная мысль осталась та же; образы в известной мере нанизаны на готовые идеи. Необходимо было показать, что порочно все общество, — что обветшала и прогнила самая основа, на которой строится общественное здание. И перед нами проходят действительно и разоряющиеся мелкие фермеры (история Хоукинсов) и обогащающиеся на их счет крупные земельные владельцы (Тиррел), батраки, уходящие в город на заработки, нищие бродяги, выброшенные на большую дорогу безработицей (эпизод с разбойниками, грабящими изнемогающего от голода Калеба, вторично бежавшего из тюрьмы); обращаясь к городу, Годвин рисует темных дельцов лондонских предместий, заставляющих вспоминать будущих героев Бульвера и Диккенса, мелких предпринимателей, задыхающихся в обстановке капиталистической конкуренции (эпизод службы Калеба в часовой мастерской); далее идут, наконец, судьи, чиновники, аристократия, изображенные с особенно неприглядных сторон. Картина всеобщей порочности — порочности в силу устойчиво сложившегося порядка вещей, в силу недостатков общественного устройства — выходит и полной и убеждающей. Основная мысль, которую при этом Годвин пытается внушить своему читателю, та, что даже самый лучший человек незаметно для себя и против своей воли становится тираном, мстителем, угнетателем, если общественный порядок таков, что не только предоставляет ему делать это безнаказанно, но и прямо толкает его на это преступление. Художественное воплощение этой идеи, однако, представило для Годвина ряд больших трудностей.

¹ В сочинении Себастьяна Мерсье «Мой спальный колпак» (1784) находится, например, следующее утверждение: «Тигры, львы и медведи, возбужденные страшным голодом, терзая свою добычу, не столь бывают свирепы, как люди». В «Философических снах» (1768) тот же Мерсье утверждает, что «свирепость тигров и самых хищных зверей» ничего не значит перед злоупотреблениями «тиранов, сидящих на престолах».

Содержание последней части «Калеба Уильямса» составляет описание бесконечных преследований и жестоких мучений, которым всеми уважаемый и богатый человек Фокленд подвергает своего слугу, юношу Калеба, ни в чем пред ним не повинного, которого он же сам облагодетельствовал перед тем. С полной отчетливостью, во всех деталях представив себе историю этих преследований, Годвин должен был найти их причину, почему его неутомимый преследователь *принужден* был отнять у юноши всякий покой. Комбинируя различные повествовательные мотивы, сознательно заимствованные из различных старинных и новых литературных произведений (что вполне простительно для автора, неопытного в повествовательном искусстве), сплетая и вновь расплетая их с определенной целью привести к заранее данной развязке, Годвин предположил, что читателю легче всего было бы объяснить это тем, что слуга сделался невольным соучастником тайны своего господина. В дальнейшем оставалось лишь придумать, в чем заключалась эта тайна. Годвин ответил: в непреднамеренном убийстве из лучших побуждений. Сюжет его романа в грубых чертах был готов.

Зная творческую историю романа, мы легко поймем, почему именно образ Фокленда, этого добродетельнейшего человека, каким он рисуется в первых главах, превращающегося затем в злейшего тирана, изощренного злодея, вышел таким неубедительным из-под пера автора. Изобразить идеального помещика, ставшего убийцей лишь благодаря несчастному случаю, Годвину нужно было лишь для того, чтобы утвердить основной стержень повествования. В Фокленде все искусственно и надуманно: и его рыцарственные похождения в Италии, и его маниакальная страсть к защите «чувства чести», и его странная способность приходить на помощь всем нуждающимся в покровительстве и защите именно в самые критические для них минуты... Более правдоподобен Фокленд в тех частях романа, где он раскрывает свое классовое лицо — тщеславного аристократа, богатство и знатность которого открывают перед ним все возможности безнаказанно совершать любые преступления. Но уже современная Годвину критика не без основания утверждала, что превращение Фокленда в убийцу и неутомимого гонителя недостаточно мотивировано психологическими основаниями.

Зато весьма колоритен и правдив образ сквайра Тиррела, этого антипода Фокленда, его злейшего врага, источника всех его несчастий и даже полного нравственного перерождения. Противопоставляя их друг другу, Годвин, однако, в конце концов открывает в них некоторые общие черты, вытекающие из их общественного

положения. Тиррел вполне уверен в том, что он везде найдет управу на тех, кто стал наперекор его прихотям самодура. «Позором для просвещенного государства было бы, если бы дворянин, оскорбленный наглым проходимцем, не нашел бы в своем кошельке средств к защите и преследованию недостойного противника, доколе он не будет гол, как сокол», — говорит Тиррел, когда фермер Хоукинс подал на него в суд. Но разве не на том же основании покоятся все рассуждения Фокленда, когда он преследует бежавшего от него слугу?

Годвин вообще беспощаден в разоблачении классовой сплоченности правящей верхушки, к услугам которой весь аппарат суда и власти, и в характеристике полной правовой незащитности социальных низов. Законы созданы в Англии не для бедных, но исключительно против них, рассуждает Годвин устами своего Калеба. Бедняк в Англии совершенно бесправен; напротив, богачи совершенно всесильны — даже тогда, когда их пытаются разоблачить по всем правилам существующего и действующего в стране законодательства. Точный и правдивый рассказ о совершенном преступлении, утверждает Годвин, в Англии выслушивают совершенно хладнокровно, если речь идет о преступлении человека, имеющего порядочное состояние, тогда как невинного бедняка «готовы преследовать, подобно дикому зверю, в каждом уголке земли». «Шесть тысяч фунтов стерлингов дохода служат щитом, непроницаемым для обвинений... разоблачение же преступника отвергается потому только, что его делает слуга». Англичане хвалятся тем, что они отменили пытку, но тюремный режим стоит всех мучений. По смыслу закона никто не может быть подвергнут аресту без достаточных на то оснований, но на деле оказывается иное: достаточно незначительного предлога, чтобы ни в чем не повинного бродягу бросили в тюрьму, судили пристрастно и жестоко. Так именно и поступают с Калемом по требованию его хозяина Фокленда.

Но и другие хозяева, над которыми не тяготееют преступления, которые не принуждены превращаться в преследователей из чувства самосохранения, как Фокленд, — ничуть не лучше его. Они притеснители и угнетатели не по каким-либо особым обстоятельствам, а по природе вещей. Типична, например, история арендатора Хоукинса, о которой мимоходом рассказывается в романе: на парламентских выборах, которые являются пустой и жалкой комедией, Хоукинс принужден голосовать за своего врага, сквайра Марло, несмотря на то, что тот из ненависти и злобы наносит ему явный ущерб; если же Хоукинс не подаст голоса за Марло, он потеряет арендуемую землю, а связь Марло с другими землевладельцами приведет Хоукинса к невозможности получить какую-либо аренду, к полной

нищете. В конце концов Хоукинс погибает на виселице, заподозренный в убийстве помещика, с которым он враждовал, погибает невинно, вместе со своим столь же невинным сыном, так как убийство совершено не им, а соседним богатым сквайром — Фоклендом, который легко сумел отвести от себя все улики. Сила и новизна романа Годвина заключались именно в этом — в критике общественных и правовых отношений в Англии в конце XVIII века, и поэтому роман особенно правдив и верен действительности в своих побочных эпизодах и характеристиках, то есть там, где Годвин не был связан с несколько ограничивавшей его и надуманной сюжетной линией повествования.

Настойчиво и неоднократно Годвин внушает своему читателю мысль, что порочны не только представители господствующих классов — порочна вся государственная система. Бежав из тюрьмы, Кaleb попадает в руки разбойников, и только здесь, в шайке людей, непрерывно издевающихся над законом и расшатывающих государственно-правовой порядок, он находит сострадание, благородство, энергию, радость жизни — все то, что он напрасно искал в «порядочном» обществе.

Любопытно, что, желая быть по возможности доказательным в суровой оценке английской действительности своего времени, Годвин вводит в свое повествование цитаты из подлинных английских законов, примеры из судебных хроник, с точным обозначением своих источников, и широко пользуется также некоторыми литературными данными: так, например, для характеристики всех ужасов английской тюремной системы Годвин основательно проштудировал сочинение Джона Говарда «Состояние тюрем в Англии и Уэльсе» (1777, 2 изд. — 1784). В этом, может быть, лишний раз сказалась присущая Годвину привычка к ученым трудам.

Центральный образ романа, образ юноши Калеба Уильямса, от имени которого ведется повествование, безусловно удался автору. Самая мысль Годвина сделать центральным образ сына фермера, бедного юноши, который должен был считать удачей своей жизни, что пристроился в слугах у богатого сквайра, юноши пытливого, начитанного, задумывающегося о вещах, которые не придут в голову и его образованному хозяину, была мыслью смелой и новой. Правда, и в характере Калеба, как он раскрыт в романе, есть нечто неправдоподобно маниакальное: он столь же настойчиво пытается из чистого любопытства проникнуть в тайну своего господина, как тот неумолимо его за это преследует. Но повествование от первого лица дало Годвину возможность сделать Калеба как бы соучастником своих мыслей, и Кaleb больше чем кто-либо другой из действующих лиц воспроизводит основные идеи автора. Вот почему он так много

рассуждает и так много анализирует — иной раз даже утомительно для современного читателя.

Калеб в конце концов оказывается победителем, и читатель встречает это с удовлетворением, так как ждет этого со все возрастающим нетерпением. Однако на последних страницах своей исповеди Калеб раздражается пространной лирической тирадой, неожиданно ослабляющей впечатление. Он устал и измучен не столько преследованиями, которые уже прекратились, но тем, что, исторгнув признание в виновности у своего врага, он тем самым способствовал его гибели. Калеб был энергичен, увертлив, находчив, смел и даже беспощаден лишь до тех пор, пока был сам преследуем и пока он стремился к разоблачению своего гонителя. Но последний разоблачен, повержен, унижен — и Калебу больше не хочется воспользоваться своей победой. Победа ему не нужна — он не может распорядиться ею. Всякая победа есть насилие над побежденным, и, как таковая, она есть зло не меньшее, чем преследования и ненависть, — утверждает Годвин устами своего героя.

Такой вывод не должен быть для нас неожиданностью. В романе в такой же, если не в большей степени, чем в трактате «О политической справедливости», обнаруживаются индивидуалистические основы мировоззрения Годвина. Годвин не стоял на позициях классовой борьбы и защищал принцип буржуазного индивидуализма. Хотя он и ставил всеобщее благо выше индивидуального, но самое общество представлялось ему лишь «агрегатом индивидуумов». В конечном итоге роман провозглашает прежде всего принцип личной свободы. Проблемы, которые он ставит, — скорее этические, чем социальные. Написанный в годы реакции, роман Годвина отразил начало нового поворота в мировоззрении Годвина — его постепенного отхода от революционных надежд.

7

Трактат «О политической справедливости» и «Калеб Уильямс» представляют собою вершину творческих достижений Годвина, до уровня которой ему больше подняться не удалось. Последние тридцать лет своей жизни (ум. в 1836 г.) он медленно шел к своему закату и пережил полное падение своей популярности. Между тем деятельность его как беллетриста продолжалась; он выпустил с перерывами еще ряд романов, на долю которых, однако, уже не выпало того шумного успеха, какой имел «Калеб Уильямс». Это были «Сент-Леон» (1799), «Флитвуд» (1805), «Мандевиль» (1817), «Клоудесли» (1830), «Делорен» (1833). Лучший из них, конечно, «Сент-Леон»;

в нем еще чувствуется сила, с которой был написан «Калеб Уильямс». Мастерские страницы есть и в «Флитвуде» (например, гневные протесты против тяжелого труда подростков на шелкопрядильных фабриках Лиона) и в «Мандевиле», который по общему замыслу, пожалуй, даже ближе к «Калебу», чем другие романы Годвина. Но все эти романы не могут идти ни в какое сравнение с романом о бедняке, безвинно оговоренном аристократом. «Калеб Уильямс» был ранним социальным романом, сильным своим общественным протестом; он был в то же время одним из ранних «криминальных романов» в европейской литературе, так как Годвин одним из первых писателей сумел построить целый роман на мотиве преступления и наказания; это было важное нововведение, которым Годвин открывал дорогу для английского социального романа последующего времени. После этого Годвин писал исторические и фантастические романы, а попытки его вернуться к изображению общественных нравов своего времени кончились полной неудачей. Причину этой неудачи видели в горестных обстоятельствах его личной жизни, но в гораздо большей степени она была, конечно, вызвана изменением общественной жизни страны. Большинство этих произведений Годвина основательно забыто. Но роман «Калеб Уильямс» — его первый крупный опыт в повествовательном жанре — должен остаться в литературе не только как важный исторический документ, на котором «запеклась кровь» этой бурной в жизни Англии эпохи, но и как яркое художественное произведение.

М. П. Алексеев.

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА *

(К первому изданию)

Предлагаемое повествование преследует более важную и общую цель, чем это может показаться на первый взгляд. Привлекающий теперь внимание всего мира вопрос о «вещах как они есть» — наиболее интересный из всех вопросов, какие только могут представиться человеческому уму. В то время как одна сторона добивается преобразований и перемен, другая в самых горячих выражениях превозносит существующий общественный строй. Казалось бы, можно ускорить разрешение вопроса, добросовестно проследив, к каким практическим следствиям этот строй приводит. То, что я в настоящее время предлагаю вниманию публики, — не абстрактная теория, а очерк и зарисовка явлений, имеющих место в области нравственных отношений. Неоценимое значение политических принципов соответственным образом понято было лишь в самое недавнее время. Теперь философам известно, что дух и характер власти сказываются на всех слоях общества. Но эта истина заслуживает того, чтобы стать достоянием и тех лиц, в чьи руки, по всей вероятности, никогда не попадут философские и научные книги. Поэтому при создании настоящего труда и имелось в виду дать, насколько это было возможно по ходу повествования, общую картину тех видов домашнего и негласного деспотизма, при помощи которых человек губит человека. Если автору удалось преподать полезный урок без ущерба для занимательности и увлекательности, которыми должны

отличаться сочинения подобного рода, — он может себя поздравить с избранным им способом изложения.

12 мая 1794 г.

Это предисловие было изъято из подлинного издания в связи с тревогами книгопродавцев. «Калеб Уильямс» впервые появился на свет в том самом месяце, когда вспыхнул кровавый заговор против английских свобод, счастливо закончившийся в конце этого года оправданием первых намеченных им жертв. Террор был в порядке дня, и он внушал такой страх, что даже скромный повествователь мог бы быть сочтен за изменника.

29 октября 1795 г.

ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА *

Читатели всегда встречали роман «Калеб Уильямс» чрезвычайно благосклонно. Поэтому издатель «The Standard Novels» предположил, что и отчет о том, как зарождался и писался этот труд, будет встречен с некоторым интересом.

В начале января 1793 года я закончил «Исследование о политической справедливости» — первый труд, выпущенный под моим собственным именем, о котором можно сказать, что он написан мной в период умственной зрелости. Примерно в середине следующего месяца книга была отпечатана. В то время я вынужден был смотреть на свое перо как на единственное орудие, дающее мне средства к существованию. Щедрость моего книгопродавца, мистера Джорджа Робинсона на улице Патерностер-Роу, позволяла мне в то время, как и в течение приблизительно десяти лет до этого, покрывать текущие расходы заработком от разных сочинений сомнительной ценности, заглавия которых, хотя они были вполне невинны и даже до известной степени полезны, я предпочитаю здесь не упоминать. В мае 1791 года я задумал этот свой самый любимый труд и с тех пор отказался от всех других занятий, которые могли бы

помешать моей работе. По моему соглашению с мистером Робинсоном, он должен был удовлетворять в установленном размере все мои нужды, пока я буду писать эту книгу. В конце концов ко дню ее выхода я был очень плохо обеспечен, и поэтому мне нужно было осмотреться и подумать о том, какого рода работе посвятить себя впредь.

Я всегда чувствовал склонность к авантурным сюжетам. Среди тех сомнительных произведений, о которых я упоминал выше, были две или три вещи в этом роде. Поэтому нет ничего удивительного в том, что и в данном случае у меня возник подобного рода замысел.

Но теперь я находился в другом положении. В минувшие годы — чуть ли не с детства — я всегда был склонен восклицать вместе с Каули: *

Как мне свое увековечить имя,
Войти в грядущие века?

Но я бился десять лет — и по-прежнему был далек от цели. Все, что я писал, выходило из печати мертворожденным. Часто я в отчаянии готов был совсем бросить эту затею. Но все-таки что-то заставляло меня снова и снова приниматься за работу.

Наконец у меня зародился план «Политической справедливости». Я был убежден, что никогда не мог бы достигнуть цели — создать себе имя — простым повторением и обработкой того, что уже было сказано другими, хотя бы я и воображал, что излагаю такого рода вещи с необычайным изяществом и остротой. Свет, полагал я, ничего не примет от меня с исключительной благосклонностью, если на этом не будет лежать печать несомненной оригинальности. Размышляя долгое время над принципами «Политической справедливости», я убедился в том, что в трактате на эту тему я могу предложить публике мысли в одно и то же время новые, верные и важные. В ходе работы я стал увереннее в себе и преисполнился надеждами. Пока она подвигалась вперед, я обсуждал свои идеи с немногими близкими друзьями, и они великодушно поддерживали меня. Случилось так, что молва о моей книге опередила ее появление в свет, и известная часть публики была расположена встретить ее благосклонно. С моей стороны

было бы ложной скромностью умолчать о том, что прием, оказанный книге после ее появления, превзошел все мои ожидания. Поэтому как в то время, когда я договаривался о работе, так и после настроения у меня было повышенное, и я отнюдь не был склонен приниматься за какое-нибудь ничтожное произведение.

У меня зародилась мысль о романе приключений, который отличался бы сильной увлекательностью. Осуществляя свой замысел, я придумал сначала третий том своей повести, потом второй и последним — первый. Я сосредоточился на обдумывании серии приключений, состоящих в бегстве и преследованиях, при которых гонимый находится в вечном страхе, что его постигнет величайшее бедствие, а преследователь благодаря своей ловкости и изобретательности держит свою жертву в состоянии ужасного смятения. Таков был план моего третьего тома.

Потом мне надо было придумать драматическое положение, способное вызывать в преследователе желание беспрестанно терзать свою жертву, не давая ей ни малейшей передышки. На мой взгляд, это лучше всего могло быть достигнуто при помощи таинственного убийства, к расследованию которого непреодолимая любопытность влечет невинную жертву. Таким образом, для убийцы создается достаточное основание преследовать несчастного разоблачителя, лишая его покоя, доброго имени и доверия и постоянно держа его в своей власти. Это и должно было лечь в основу содержания второго тома.

Оставалось придумать сюжет первого. Принимая во внимание ужасные события третьего тома, необходимо было наделить преследователя всеми преимуществами богатства в соединении с решительностью, которую ничто не может сломить или поколебать, а также исключительными умственными способностями. Кроме того, моя цель — сообщить повести захватывающий интерес — не могла бы быть достигнута, если бы с начала повествования преследователь не казался в достаточной мере одаренным располагающим к себе характером и добродетелями, чтобы его первое преступление — убийство — могло вызвать к нему глубочайшее сожаление и казалось бы до известной степени проистекающим из самых его добродетелей. Надо было окружить его, так

сказать, атмосферой романтики, чтобы каждый читатель был готов почти благоговеть перед его достоинствами. Все это составляло достаточный материал для первого тома.

Я чувствовал, что такой способ обратного сочинения — от развязки к началу цепи приключений, к описанию которых я намеревался применить свое перо, — даст мне большие преимущества. В результате должно было явиться полное единство плана. А при строгом соблюдении единства замысла и занимательности повествования произведение захватывает читателя с такой силой, какой вряд ли можно достигнуть другим путем.

Прежде чем серьезно и методически заняться сочинением, я потратил около двух или трех недель на то, чтобы представить себе и записать ряд подробностей. При этом я начал с третьего тома, потом перешел ко второму и только после этого принялся работать над первым. Я заполнил этими заметками два или три полулиста писчей бумаги. Они записывались в очень сжатой форме, короткими абзацами, от двух до шести строк каждый, однако достаточно подробно для того, чтобы их содержание могло отчетливо вспоминаться в течение всего времени, необходимого для того, чтобы написать произведение.

После этого я приступил к своему повествованию с самого начала. Я писал большей частью лишь по небольшому отрывку в день. Я писал только тогда, когда на меня находило вдохновение. Я держался того взгляда, что все написанное в то время, когда нет расположения к работе, — гораздо хуже, чем ничто. Ленишься в таких случаях было в тысячу раз лучше, чем работать неохотно. Ленишься — значило только потерять время, зато следующий день обещал, может быть, дать больше чем когда-либо. Просто вычеркивался один день из календаря. Между тем слабо, плоско и фальшиво написанный отрывок представлял собой препятствие, которое почти невозможно было преодолеть в дальнейшем. Поэтому я работал порывами — иной раз не писал ни строчки за неделю или десять дней. Но в конце концов выходило одно и то же. В среднем каждый отдельный том «Калеба Уильямса» потребовал от меня четырех месяцев работы — ни больше, ни меньше.

Надо признаться однако, что за весь этот период, кроме немногих промежутков, мысль моя находилась в состоянии крайнего возбуждения. Я тысячу раз повторял себе: «Я хочу написать повесть, которая составит эпоху в умственном развитии читателей, так что ни один из них, прочтя ее, не останется совершенно таким же, каким был до того». Я записываю все это точно так, как оно происходило в действительности, с полнейшей откровенностью. Я знаю, что это звучит очень самонадеянно. Но, быть может, именно таков и должен быть образ мыслей всякого автора, когда он дает лучшее, что может дать. Как бы то ни было, я в течение почти сорока лет ни словом не упоминал о своих тщеславных помыслах.

Я написал уже около семи десятых первого тома, когда один из моих старых и близких друзей благодаря своей крайней настойчивости добился того, что я позволил ему прочесть рукопись. На другой день он вернул ее мне с запиской следующего содержания: «Возвращаю вам вашу рукопись, потому что обещал это сделать. Если бы я следовал собственному побуждению, я бросил бы ее в огонь. Если вы станете упорствовать, книга неминуемо станет могилой вашей литературной славы».

Разумеется, я не испытывал безусловного доверия к суждению дружески расположенного ко мне критика. Тем не менее я провел два дня в глубокой тревоге, пока не оправился от удара. Пусть читатель сам представит себе мое положение. Я не принимал слепо критику моего друга. Но ведь это было единственное, чем я располагал. Это была первая попытка узнать непредубежденное мнение о моей книге. Оно заменяло мне все на свете. Больше я не мог, да и не имел желаний, ни к кому обращаться. Если бы я это сделал, мог ли я рассчитывать, что второе, третье суждение будут для меня более лестными, чем первое? А если нет, к чему бы это привело? Нет, мне ничего не оставалось делать, как только укрыться в собственную неприступность. Я решил дойти до конца, полагаясь по возможности только на свое собственное представление о произведении в целом; пусть мир подождет, пока придет его время и книга будет представлена ему на суд.

Я начал свое повествование, как это обычно принято, в третьем лице. Но вскоре я почувствовал себя неудовлетворенным. Тогда я перешел на первое лицо, заставив,

таким образом, героя моей повести рассказывать о самом себе; этого приема я придерживался и во всех своих последующих опытах в области романа. В конце концов он больше всех подходил к моему умственному складу; воображение мое свободнее всего разворачивалось именно при анализе скрытых внутренних движений; мой метафизический рассекающий нож намечал и обнажал сложный клубок мотивов, и я отмечал постепенно накапливавшиеся побуждения, которые заставляли предварительно описанных мною лиц склониться именно к тому образу действий, который они впоследствии избирали.

Установив основной стержень повести, я имел обыкновение окружать себя разными произведениями прежних авторов, имеющих хотя бы видимость какого-либо отношения к моему сюжету. Я никогда не страшился того, что это может повести к рабскому подражанию моим предшественникам. Я полагал, что мне свойствен собственный, неотъемлемо мне одному принадлежащий образ мыслей, который всегда предохранит меня от простого заимствования. Я читал других авторов, чтобы знать, что было ими сделано, или, вернее, чтобы насильно удерживать свой ум в определенной колее и направлять по ней свои мысли, так что я и мои предшественники шли как бы к одной цели, но в то же время я шел своим путем, не обращая в конечном счете внимания на взятое ими направление и не снисходя до того, чтобы справляться, не совпадает ли оно случайно в пределах нескольких шагов с моим.

Так, работая над романом «Калед Уильямс», я прочел старую книжку, озаглавленную: «Приключения мадемуазель де Сен-Фаль»,* о французской протестантке, которая во время жесточайших преследований гугенотов бежала в ужасе через всю Францию. Ее непрерывно выслеживали, она ускользала от преследователей, всегда находясь среди опасностей и не имея ни минуты покоя. Я перелистал страницы ужасающей компиляции, озаглавленной: «Божье отмщение за убийство»,** где око всемогущего непрестанно следует за виновным и обнаруживает самые скрытые его убежища. Я свел тесное знакомство с «Ньюгейтским календарем»*** и «Жизнеописаниями пиратов».**** В то же время я не пропускал ни одного выходявшего в свет романа, если только он был

написан увлекательно. Все авторы были заняты тем же рудником, что и я, хотя разрабатывали разные жилы; все мы исследовали недра духа и побуждений и намечали всевозможные столкновения и вспышки, какие только могут происходить между людьми на многообразной сцене человеческой жизни.

Я скорее забавлялся, проводя аналогию между историей Калеба Уильямса и сказкой о Синей Бороде,* чем пользовался какими-либо чертами этого чудесного образчика страшного рассказа. Моей Синей Бородой был Фокленд, совершивший зверские преступления, из-за которых, если бы они были раскрыты, весь мир, несомненно, восстал бы против него, пылая мщением. Калев Уильямс — это та жена Синей Бороды, которая, несмотря на предостережение, упорствует в своих попытках раскрыть запретную тайну; и после того, как это ему удастся, он так же тщетно старается избежать последствий, как жена Синей Бороды, которая мыла ключ от окровавленной комнаты, но стоило ей стереть кровавое пятно на одной стороне, как оно со зловещей отчетливостью выступало на другой.

Когда я дошел до начальных страниц третьего тома, я совсем остановился, и со 2 января 1794 года до 1 апреля работа моя нимало не подвинулась вперед. Так всегда случалось со мною при сколько-нибудь продолжительном труде. Лук нельзя держать вечно натянутым:

*Opere in longo fas est obrepere somnum.*¹ **

Однако я постарался спокойно отдохнуть наедине с самим собой, не навязывая читателям своих тогдашних нестройных и бессвязных мечтаний. Зато, придя в себя, я ожил по-настоящему и, работая с неослабевающим напряжением в течение одного месяца, довел свой труд до конца.

Итак, я попытался изложить правдивую историю зарождения и способа изложения этой объемистой безделицы. Окончив труд, я скоро понял, что, в сущности, я не сделал ничего. Сколько в книге плоских и слабых мест! Как ужасно неровно она написана! По временам автор явно шатается во все стороны, как пьяный!

¹ В столь длинном труде иногда не вздремнуть невозможно (лат.).

И, в заключение, доведя дело до конца, что я, собственно, сделал? Написал книгу для забавы в часы досуга юношей и девушек, повесть, которую безразлично и вяло проглотив, они не разжуют и не переварят. В этом смысле большое впечатление произвело на меня признание одного из самых безупречных читателей и лучших критиков, с каким только мог встретиться автор (несчастливого Джозефа Джеррольда). * Он рассказал мне, что получил мою книгу как-то поздно вечером и прочел все три тома подряд, не смыкая глаз. Итак, то, что стоило мне целого года работы, непрерывной душевной тревоги и стараний, что я писал, то впадая в отчаяние, то охваченный порывами необычайной энергии, — он пробежал в несколько часов, закрыл книгу, опустил на подушку, уснул и, отдохнув, воскликнул:

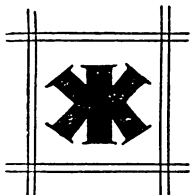
Наутро к свежим рощам и новым пастбищам! **

Лондон, 20 ноября 1832 г.

Среди лесов леопард щадит себе подобных,
И тигр не нападает на детенышей тигра.
Лишь человек всегда враждует с человеком.

КНИГА
ПЕРВАЯ

ГЛАВА I



изнь моя в течение многих лет являла собой зрелище бедствий. Я служил мишенью для недремлющей тирании и не мог уйти от ее преследований. Мои лучшие ожидания были разрушены. Враг мой оказался глухим к мольбе и неутомимым в гонениях. Мое доброе имя, равно как и мое счастье, стали его жертвами. Всякий человек, как только он узнавал мою историю, отказывался протянуть мне руку помощи в моем несчастье и проклинал мое имя. Я не заслужил этого. Совесть моя свидетельствует о моей невиновности, несмотря на то, что мои заявления об этом кажутся невероятными. Как бы то ни было, теперь мало надежды на то, чтобы я выскользнул из сетей, опутывающих меня со всех сторон. Писать эти воспоминания меня заставляет только желание отвлечься от моего прискорбного положения и слабая надежда на то, что благодаря этим запискам потомки, быть может, воздадут мне справедливость, в которой отказывают современники. Во всяком случае, рассказ мой будет отличаться той последовательностью, которая бывает редко достижима, если в основу не положена истина.

Родители мои были простые люди из отдаленного графства Англии. Они занимались тем, что обычно выпадает на долю крестьян, и единственное, что я мог полу-

чить от них, — это воспитание, чуждое обычным источникам порочности, да оставленное мне в наследство доброе имя, — увы! давно утраченное их несчастным сыном. Меня не учили никаким начаткам наук, кроме чтения, письма и арифметики. Но ум у меня был пытливый, и я не пропускал ни одной возможности расширить свои познания из разговоров или чтения. Мои успехи оказались значительнее, чем это позволяло ожидать мое положение.

Были и другие обстоятельства, о которых следует упомянуть как о таких, которые оказали влияние на историю моей жизни. Ростом я был немного выше среднего. Не отличаясь на вид особенно крепким сложением, я был тем не менее на редкость силен и ловок. Суставы мои были гибкими, и во всех юношеских играх я достигал высокого совершенства. Однако мои духовные склонности находились до известной степени в противоречии с тем, что внушало мне мальчишеское тщеславие. Я питал безусловное отвращение к бурному веселью деревенских щеголей и в то же время, желая отличиться, нередко участвовал в их развлечениях. Впрочем, мое умственное превосходство дало новое направление моим мыслям. Я с восторгом читал о подвигах храбрости; в особенности интересовали меня рассказы, в которых физическая ловкость или сила героев помогали им преодолевать затруднения и препятствия. Я с большим увлечением предавался занятиям механикой и значительную часть времени посвящал попыткам сделать какое-нибудь изобретение в этой области.

Главной движущей силой, пожалуй больше чем что-либо другое направлявшей всю мою жизнь, было любопытство. Оно-то и толкало меня к механике; я стремился проследить разнообразные следствия, порождаемые определенными причинами. Вот что превратило меня, так сказать, в самородного философа; я не находил покоя, пока не познакомился с тем, как объясняет наука явления вселенной. Все это зародило во мне непреодолимое влечение к повестям и романам. Захваченный каким-нибудь приключением, я трепетал, как будто все мое будущее счастье или несчастье зависело от развязки. Я читал, я пожирал сочинения этого рода; они овладевали моей душой. Действие, которое они производили, часто сказывалось на моей наружности и на

моем здоровье. Мое любопытство, впрочем, не было низменного характера: деревенские сплетни и пересуды не имели для меня никакой прелести; мое воображение надо подстрекать, если же этого не делается, то любопытство засыпает.

Мои родители жили во владениях Фердинанда Фокленда, очень богатого сельского сквайра. В раннем возрасте меня отметил своим милостивым вниманием управляющий поместьем этого джентльмена, мистер Коллинз, который имел обыкновение навещать моего отца. Он одобрительно и с большим вниманием следил за моими успехами и давал своему хозяину лестные отзывы о моем трудолюбии и дарованиях.

Летом *** года мистер Фокленд, после нескольких месяцев отсутствия, снова посетил свое имение, находившееся в нашем графстве. Это было тяжелое для меня время. Мне было тогда восемнадцать лет. Отец мой в этот день лежал дома в гробу. Матери я лишился за несколько лет перед тем. В таком беспомощном положении застало меня послание сквайра, содержавшее приглашение явиться в господский дом на другое утро после похорон отца.

Хотя книги мне не были чужды, но людей я не знал. Мне до сих пор не представлялось случая общаться с людьми столь высокого звания, и теперь я испытывал немалое смущение, смешанное со страхом. Мистер Фокленд оказался человеком маленького роста, чрезвычайно хрупким и изящным. В противоположность тем грубым и неподвижным лицам, которые я привык наблюдать, каждый мускул, каждая черта его лица казались в высшей степени выразительными. В обращении его были мягкость, внимательность, человечность. Глаза были полны жизни, но на всем его облике лежала печать серьезной и печальной торжественности, которую я по неопытности принял за черту, унаследованную от длинного ряда предков и помогающую сохранять расстояние между высшими и низшими. Взгляд его выдавал душевное беспокойство и часто блуждал вокруг с выражением печали и тревоги.

Я был принят так любезно и ласково, как только мог желать. Мистер Фокленд стал расспрашивать меня о моем учении, о моих взглядах на людей и вещи и выслушивал мои ответы снисходительно и с одобрением.

Эта доброта вскоре вернула мне значительную долю самообладания, хотя меня все-таки стесняло его обхождение — благосклонное, но неизменно полное чувства собственного достоинства. Когда мистер Фокленд удовлетворил свое любопытство, он объяснил мне, что нуждается в секретаре, что я кажусь ему достаточно подготовленным для этой должности и что если я, ввиду перемены в моем положении, вызванной смертью отца, соглашусь занять это место, то он примет меня в свою семью.

Очень польщенный таким предложением, я в горячих словах выразил ему свою признательность. Я поспешил распорядиться небольшим имуществом, которое мне осталось от отца, в чем мне помог мистер Коллинз. Во всем мире у меня не оставалось больше ни одного родственника, на доброту и участие которого я мог бы рассчитывать. Нимало не страшась своего одиночества, я, напротив, предался золотым мечтам о том положении, которое собирался занять. Я и не подозревал, что жизнерадостность и душевная беспечность, которыми я до сих пор наслаждался, должны вскоре навсегда покинуть меня и что на весь остаток дней моих я обречен страху и несчастью.

Служба моя была легка и приятна. Она состояла частью в переписывании и приведении в порядок некоторых бумаг, частью — в писании деловых писем, а также набросков литературных произведений под диктовку моего хозяина. Многие из последних представляли собой критические обзоры сочинений разных авторов, а также размышления по поводу этих сочинений, причем суждения клонились либо к установлению ошибок авторов, либо к дальнейшей разработке открытых ими истин. На всем этом лежала могучая печать глубокого и блестящего ума, богатого литературными познаниями и одаренного необыкновенной деятельностью и тонкостью суждений.

Я проводил время в той части дома, которая была предназначена для хранения книг, так как моей обязанностью было исполнять должность не только секретаря, но и библиотекаря. Здесь часы мои протекали бы в мире и покое, если бы мое положение не было сопряжено с некоторыми обстоятельствами, совершенно отличными от тех, с какими я имел дело в доме отца. В прежней жизни ум мой был глубоко захвачен чтением и раз-

мышлением; сношения с моими близкими бывали случайны и кратковременны. В новом же местопребывании личный интерес и новизна положения побуждали меня изучать характер хозяина, и я нашел в этом обширное поле для догадок и размышлений.

Он вел в высшей степени замкнутый образ жизни. У него не было склонности к кутежам и веселью; он избегал шумных и людных мест и, по-видимому, совсем не искал награды за эти лишения в доверчивой дружбе. Казалось, ему было совершенно чуждо то, что обычно называется радостью. Черты его редко смягчались улыбкой, и выражение, свидетельствовавшее о скорбном состоянии его духа, никогда не покидало его лица. А между тем в обхождении его не было ничего, что отличало бы брюзгу и мизантропа. Он был сострадатель и внимателен к другим, хотя величаявая осанка и сдержанность были всегда ему присущи. Его наружность и все поведение вызывали к нему всеобщее расположение, но холод его речей и непроницаемая сдержанность чувств как бы препятствовали проявлениям участия, которые при других условиях не заставили бы себя ждать.

Таков был внешний облик мистера Фокленда. Но характер у него был в высшей степени неровный. Дурное расположение духа, которое вызывало в нем постоянную мрачную задумчивость, имело свои пароксизмы. Иной раз он бывал вспыльчив, раздражителен и деспотичен; но это происходило скорее от душевных терзаний, чем от бессердечия. И когда способность размышлять к нему возвращалась, он, видимо, готов был признать, что бремя его несчастий должно падать целиком на него одного. Иной раз он совершенно терял самообладание и впадал в неистовство: он бил себя по лбу, хмурил брови, скрежетал зубами, все черты его лица искажались. Когда он чувствовал приближение такого состояния, он внезапно вставал, оставлял то, чем был в это время занят, и спешил скрыться в уединение, которое никто не осмеливался нарушить.

Не следует думать, что все описываемое мной бросалось в глаза окружающим; да и сам я узнавал это постепенно, и полностью это мне стало известно лишь спустя значительное время. Что касается слуг, то они вообще мало видели своего хозяина. Никто из них,

кроме меня, ввиду моих обязанностей, и мистера Коллинза, благодаря давности его службы и почтенности, не приближался к мистеру Фокленду иначе, как в положенное время и на очень короткий срок. Они знали его лишь по мягкости его обращения и по правилам непреклонной честности, которые обычно руководили им, и, позволяя себе порой кое-какие догадки насчет его странностей, они, в общем, смотрели на него с благоговением, как на высшее существо.

Однажды, после того как я пробыл на службе у своего покровителя около трех месяцев, я зашел в маленькое помещение, нечто вроде кабинета, отделенное от библиотеки узкой галереей, в которую свет проникал через слуховое окно под самой крышей. Я думал, что в комнате никого нет, и хотел только привести в порядок то, что, может быть, было там не на месте. Открыв дверь, я в то же мгновение услышал глухой стон, полный нестерпимой муки. Шум открывающейся двери, очевидно, испугал человека, находившегося в комнате: торопливо захлопнулась крышка сундука и шелкнул запираемый замок. Я догадался, что тут мистер Фокленд, и хотел немедленно удалиться. Но в это мгновение голос, показавшийся мне сверхъестественно страшным, воскликнул: «Кто тут?» Это был голос мистера Фокленда. Звук его пронизал меня трепетом. Я попытался ответить, но язык не повиновался мне, и, неспособный на что-либо другое, я инстинктивно шагнул через порог в комнату. Мистер Фокленд только что поднялся с пола, на котором он сидел или стоял на коленях. На лице его я увидел все признаки сильного смятения. Но жесточайшим усилием воли он согнал их, и в одно мгновение их сменило выражение безудержной ярости.

— Негодяй! — крикнул он. — Зачем ты вошел сюда?

Запинаясь, я пробормотал невнятный и нерешительный ответ.

— Несчастный! — перебил меня мистер Фокленд, не сдерживая своего негодования. — Ты хочешь погубить меня? Ты смеешь шпионить за мной? Но ты жестоко раскаешься в своей наглости! Ты думаешь, тебе удастся безнаказанно выведать мои тайны?

Я попробовал защищаться.

— Вон, дьявол! — крикнул он. — Вон из комнаты, или я растопчу тебя в прах!

С этими словами он направился ко мне. Но я был уже достаточно испуган и мгновенно исчез. Я слышал, как за мной с силой захлопнулась дверь; на этом и кончилась необычайная сцена.

Снова я увидел его вечером; на этот раз он довольно хорошо владел собой. Его обращение, всегда ласковое, теперь было вдвое внимательнее и мягче. Казалось, у него есть что-то на душе, чем он хочет поделиться, но не находит подходящих слов. Я смотрел на него с тревогой и любовью. Он сделал две безуспешные попытки заговорить, покачал головой и затем, вложив мне в руку пять гиней, сжал ее так, что я почувствовал в этом движении всю силу обуревавших его противоречивых чувств, хотя и не понимал их. Вслед за этим он, казалось, тотчас же овладел собой, отдалясь этим на обычно разделявшее нас расстояние и приняв важный вид.

Я прекрасно понял, что молчание было одной из тех добродетелей, которые от меня требуются. Да и ум мой был слишком склонен размышлять над тем, что я видел и слышал, чтобы я стал толковать об этом с кем попало. Однако в тот же вечер мне пришлось ужинать вдвоем с мистером Коллинзом, что случалось редко, так как по своим служебным обязанностям он вынужден был проводить много времени вне дома. Он не мог не подметить во мне непривычного уныния и тревоги и ласково справился об их причине. Я попробовал уклониться от расспросов, но моя молодость и незнание жизни были в этом плохими помощниками. К тому же я всегда был очень привязан к мистеру Коллинзу, и, ввиду положения, которое он занимал в доме мистера Фокленда, я полагал, что в этом случае моя откровенность не слишком нарушает приличия. Я рассказал ему самым подробным образом обо всем, что произошло, и заключил торжественным уверением, что я не боюсь за себя, хотя и стал жертвой каприза; никакие неприятности и опасности не принудят меня к малодушному поступку; я страдаю только за своего покровителя, который, имея все преимущества для счастья и будучи в высшей степени его достойным, обречен, по-видимому, переносить незаслуженные страдания.

В ответ на мое сообщение мистер Коллинз сказал, что и ему известны подобные случаи. Из всего этого он

вынужден сделать вывод, что наш несчастный хозяин по временам бывает не в своем уме.

— Увы! — продолжал он. — Так было не всегда. Фердинанд Фокленд когда-то был самым веселым из веселых. Правда, не из тех пустых малых, которые вызывают презрение вместо восхищения и чья живость свидетельствует скорей о безрассудстве, чем о довольстве. Его веселье всегда сочеталось с достоинством. Это было веселье героя и ученого. Оно смягчалось размышлением и чувствительностью и никогда не противоречило ни хорошему вкусу, ни доброму отношению к людям. Но, каково бы оно ни было, это было искреннее, сердечное веселье, которое сообщало непостижимый блеск его обхождению и беседе и делало его желанным гостем в разных кругах общества, которые он в то время охотно посещал. Сейчас, мой дорогой Уильямс, ты видишь только обломки, оставшиеся от того Фокленда, которого почитала мудрость и обожала красота. Его молодость, вначале необычайно много обещавшая, поблекла. Его чувствительность увяла, иссякла вследствие событий, в высшей степени оскорбительных для его чувств. Его ум был полон всевозможными восторженными речами о воображаемом чувстве чести. И, собственно, только самая грубая часть его существа, только оболочка Фокленда в состоянии была пережить рану, нанесенную его гордости.

Эти рассуждения моего друга Коллинза сильно разожгли мое любопытство, и я попросил его дать мне более подробные объяснения. Он охотно согласился исполнить мою просьбу, понимая, что если в обычных случаях ему надлежит быть осторожным, то здесь, ввиду моего положения в доме, он мог этого не опасаться; к тому же он считал не совсем невероятным, что и сам мистер Фокленд был бы склонен сделать мне подобное сообщение, если бы не расстроенное и возбужденное состояние его духа. Чтобы внести возможно больше ясности в ряд излагаемых мною событий, я введу в рассказ Коллинза сведения, полученные позже из других источников. Во избежание путаницы я устраню личность Коллинза и выступлю сам в качестве историка нашего хозяина. Читателю на первый взгляд может показаться, что все эти подробности, касающиеся прежней жизни Фокленда, не относятся к моей истории. Увы! На горьком опыте

я узнал, что это не так. Сердце мое обливается кровью при мысли о его злоключениях, как если бы это были мои собственные. Да и может ли быть иначе? Судьба моя и вся моя жизнь оказались связанными с его историей: оттого, что он был несчастлив, непоправимо омрачилось и мое счастье, мое доброе имя, мое существование.

ГЛАВА II

В дни юности мистер Фокленд увлекался героическими поэтами Италии.* Их поэзия внушила ему любовь к рыцарским подвигам, и романтике. Впрочем, у него было слишком много здравого смысла, чтобы не жалеть о временах Карла Великого и короля Артура. Но так как его воображение испытало на себе очищающее влияние философии, он понимал, что в нравах, описанных этими прославленными поэтами, не все заслуживает подражания. Ему казалось, что ничто не в состоянии сделать человека столь обаятельным, доблестным и расположенным к людям, как постоянно питаемые чувства чести и воспоминания о происхождении. Взгляды, которых он держался на этот предмет, находили выражение в его поступках, постоянно отвечавших героическому образу, который создала его фантазия.

Одушевленный такими чувствами, он отправился путешествовать в том возрасте, когда обычно пускаются в свет; и эти чувства скорее укрепились в нем, нежели поколебались, благодаря приключениям, которые с ним случились. Дольше всего, благодаря своим склонностям, он задержался в Италии; там он сошелся с несколькими молодыми дворянами, образование и убеждения которых соответствовали его собственным. Они относились к нему с особым вниманием и выражали ему свое самое лестное расположение. Они восхищались тем, что встретили иностранца, который усвоил все особенности и черты наиболее уважаемых и свободомыслящих людей из их среды. Не меньше восхищался им и благоволил к нему и прекрасный пол. Хотя ростом он был невысок, но весь облик его был полон необыкновенного достоинства, которое в то время еще усиливалось некоторыми чертами, впоследствии

исчезнувшими, — выражением искренности, чистосердечия, прямодушия, величайшей душевной пылкости. Быть может, никогда ни один англичанин не был до такой степени превозносим итальянцами.

Упоенный идеалами рыцарства, он не мог время от времени не оказываться замешанным в какое-нибудь дело чести; но они всегда оканчивались так, что не запятнали бы самого рыцаря Баярда.* В Италии знатные молодые люди делят себя на две группы: на тех, кто придерживается старинных правил чести в их чистом виде, и на тех, кто, относясь к обидам и оскорблениям с не менее повышенной чувствительностью, позволяют себе пользоваться в качестве орудия мщения наемными *bravi*.¹ В сущности, все различие между той и другой группами заключается в том, что вторая более сомнительным способом утверждает свои преимущества. Самый великодушный итальянец воображает, будто есть такие люди, которых нельзя открыто вызвать на поединок, не обесчестив себя. Однако он уверен, что обида может быть смыта только кровью, и убежден, что жизнь человека — безделица по сравнению с необходимостью удовлетворить оскорбленную честь. Поэтому вряд ли найдется итальянец, который при известных обстоятельствах поколебался бы совершить убийство.** Среди них люди с возвышенной душой, несмотря на предрасудки, привитые им воспитанием, не могут втайне не сознавать всей низости подобных поступков и не стараться в таких случаях держаться возможно дальше от дуэльного кодекса чести. Другие же, по своему действительному или наружному высокомерию, привыкают смотреть чуть ли не на всех людей как на низшие существа, а потому склонны удовлетворять свою жажду мести, не подвергая опасности собственные особы. С некоторыми из подобных людей встречался и мистер Фокленд. Но его неустрашимость и решительный характер давали ему преимущество даже и при таких опасных встречах. Здесь будет уместно рассказать один случай из многих других, в которых проявлялась его манера держать себя с этим гордым и пылким народом. Мистер Фокленд — главное действующее лицо моей повести; но мистер Фокленд на склоне своих дней, с угасшими

¹ Убийцами (итал.)

силами — словом, такой, каким я встретил его, — не может быть понят до конца, если не станет известно, каким он был раньше, во всем блеске своей молодости, еще не подвергшийся различным бедствиям, не сломленный страданием и раскаянием.

В Риме он был особенно любезно принят в доме маркиза Пизани, у которого была единственная дочь, наследница его огромного состояния и предмет обожания всей знатной молодежи этой столицы. Высокая, с величественной осанкой, леди Лукреция Пизани была необыкновенно красива. У нее не было недостатка в прекрасных качествах, но душой она была высокомерна и нередко обращалась с людьми пренебрежительно. Ее тщеславие питалось сознанием ее привлекательности, ее положением в свете и всеобщим поклонением, которое она привыкла встречать.

Среди ее бесчисленных обожателей наибольшей благосклонностью ее отца пользовался граф Мальвези, да и сама она как будто не оставалась к нему равнодушной. Граф обладал значительным образованием, был безупречно честен и отличался приветливостью. Но он был слишком пылким влюбленным, чтобы быть в состоянии всегда сохранять приятное расположение духа. Поклонники, ухаживание которых было источником удовольствия для его возлюбленной, причиняли ему постоянные огорчения. Поставив все свое счастье в зависимость от обладания этой надменной красавицей, он был способен из-за всякого пустяка тревожиться и отчаиваться в успехе своих притязаний. Но больше всего он ревновал ее к англичанину. Прожив много лет во Франции, маркиз Пизани отнюдь не имел пристрастия к тем мерам подозрительной предосторожности, которыми пользуются отцы в Италии, и предоставлял дочери значительную свободу. С некоторыми разумными ограничениями дом его всегда был открыт для посетителей мужского пола, которые могли свободно встречаться с его дочерью. Тем более запросто принимали там мистера Фокленда — иностранца и человека, едва ли склонного искать руки прекрасной Лукреции. Сама молодая девушка, полная сознания своей невинности, не придавала значения пустякам и держала себя открыто и доверчиво, подобно тем, кто стоит выше подозрений.

Пробыв в Риме несколько недель, мистер Фокленд отправился в Неаполь. Тем временем произошли некоторые события, которые заставили отложить уже назначенный день свадьбы наследницы Пизани. Когда мистер Фокленд вернулся в Рим, граф Мальвези был в отсутствии. У Лукреции, которой и раньше очень нравилось беседовать с мистером Фоклендом и которая отличалась деятельным и пытливым умом, возникло желание в промежутке между его первым и вторым пребыванием в Риме познакомиться с английским языком; ее побудили к этому живые и страстные похвалы лучшим английским писателям, которые она слышала от наших соотечественников. Она достала необходимые книги и уже сделала некоторые успехи в отсутствие мистера Фокленда. Но по его возвращении она решила воспользоваться особенно удобным случаем, который, если упустить его, мог больше не представиться, — читать избранные отрывки из наших поэтов с англичанином, обладающим тонким вкусом и глубокими познаниями.

Эта затея, естественно, привела их к более тесному общению. Когда граф Мальвези вернулся, мистер Фокленд был почти своим человеком в палаццо Пизани. Граф не мог не понять опасности положения. Быть может, в глубине души он сознавал все превосходство англичанина и трепетал при мысли, что обе стороны могут зайти слишком далеко в привязанности друг к другу даже раньше, чем они сами заметят опасность. Он полагал, что такого рода брак был бы во всех отношениях лестным для тщеславия мистера Фокленда, и сходил с ума от страха, что этот пришелец, этот выскочка отнимет у него самое дорогое его сердцу существо.

Однако у него хватило благоразумия прежде всего попросить объяснения у леди Лукреции. Веселая по натуре, она стала смеяться над его опасениями. Но терпение его уже иссякало, и, возражая ей, он прибегнул к выражениям, которые она отнюдь не склонна была выслушивать с безразличием. Леди Лукреция привыкла видеть всегда почтительное отношение к себе и покорность; поэтому, оправившись от некоторого испуга, в первое мгновение внушенного ей суровым тоном, каким ей читалось наставление, она сейчас же почувствовала силь-

ную досаду. Она высокомерно отказалась отвечать на дерзкий допрос и даже нарочно бросила несколько слов, которые могли усилить подозрения ее поклонника. Сначала она в самых саркастических выражениях осмеяла его безумие и самонадеянность, потом, внезапно изменив тон, велела ему никогда больше не показываться ей на глаза иначе как на правах простого знакомого, так как она твердо решила избавиться на будущее время от такого недостойного обращения с ней. Она счастлива, что граф наконец разоблачил перед нею свой подлинный характер; она постарается воспользоваться полученным опытом, чтобы избежать повторения подобной опасности. Все это говорилось обоими в пылу негодования, и леди Лукреция, вызывая гнев своего поклонника, не дала себе времени подумать, к чему все это может привести.

Граф Мальвези оставил ее взбешенный. Он решил, что эта сцена была придумана заранее, чтобы найти предлог расторгнуть его предстоявшую помолвку с Лукрецией. Вернее, тысячи догадок осаждали его мозг: он поочередно обвинял в несправедливости то ее, то себя; он сетовал на леди Лукрецию, на себя и на весь мир. В таком состоянии он поспешил в гостиницу, где остановился англичанин. Надлежащее время для увещаний уже прошло, и он почувствовал теперь непреодолимое желание оправдать свою стремительность в отношении к Лукреции, уверив себя в том, что вина человека, возбудившего его ревность, не может быть взята под сомнение.

Мистер Фокленд был дома. В нескольких отрывистых словах граф обвинил его в двуличии поведения с леди Лукрецией и бросил ему вызов. Англичанин искренне уважал Мальвези, действительно обладавшего значительными достоинствами и являвшегося к тому же одним из самых ранних итальянских знакомых мистера Фокленда, — они встретились еще в Милане. Более того — ему мгновенно представились возможные последствия дуэли при таких обстоятельствах. Он горячо восхищался леди Лукрецией, хотя чувства его к ней вовсе не были похожи на чувства влюбленного; он знал также, что Лукреция относилась к графу Мальвези с большой нежностью, как бы она ни старалась скрыть это своей надменностью. Мысль о том, что какая-то неосторожность в его поведении испортит будущее столь достойной четы, была ему невыносима. Руководимый этими чувствами, он

попробовал разубедить итальянца. Но попытки его не имели успеха. Его противник не помнил себя от гнева и не хотел слушать ничего, что клонилось к успокоению его запальчивости. Он мерил комнату неровными шагами и задыхался от злобы и отчаяния. Видя, что все его усилия тщетны, мистер Фокленд сказал, что, если графу угодно будет прийти на другой день в то же время, он последует за ним в любое место, на котором тот пожелает остановить свой выбор.

Расставшись с графом Мальвези, мистер Фокленд немедленно отправился в палаццо Пизани. Там ему с большим трудом удалось утишить негодование леди Лукреции. Его понятия о чести ни в коем случае не позволяли ему добиться этого, объявив о сделанном ему вызове; такое открытие, конечно, подействовало бы немедленно, как самый сильный довод, который мог быть приведен этой высокомерной красавице. Впрочем, мысль о возможности подобного исхода возникала у нее самой, но смутное опасение было не настолько сильным, чтобы оно могло заставить ее немедленно поступиться своей гордостью и забыть обиду. Но мистер Фокленд нарисовал такую увлекательную картину смятения графа Мальвези и нашел такие лестные объяснения его горячности, что все это, наряду с доводами, которые он приводил, довершило его победу над гневом леди Лукреции. Выполняя таким образом свою задачу, он открыл ей все, что произошло.

На другой день, точно в назначенный час, граф Мальвези явился в гостиницу. Мистер Фокленд встретил его у входа, но попросил его зайти в дом, так как ему потребуется еще минуты три, чтобы покончить с одним делом. Они прошли в гостиную. Тут мистер Фокленд оставил графа и вскоре вернулся, ведя под руку леди Лукрецию во всем обаянии ее чар, еще увеличившихся от сознания великодушия и уступчивости, которые она проявляла. Мистер Фокленд подвел ее к изумленному графу, и она, нежно коснувшись руки своего возлюбленного, воскликнула с самой подкупающей грацией:

— Позвольте ли вы мне взять назад слишком поспешные и заносчивые слова, сказанные под влиянием заблуждения?

Восхищенный граф, не смея верить своим ушам, бросился перед нею на колени и пролепетал, что поторо-

пился он сам, что ему одному следует просить прощения, что, даже получив его от нее, он сам никогда не простит себе кощунства, допущенного по отношению к ней и к этому божественному англичанину. Как только первый порыв его радости улегся, Фокленд обратился к нему со следующими словами:

— Граф! Я испытываю величайшее удовольствие от того, что мне удалось мирными средствами обезоружить вашу досаду и обеспечить ваше счастье. Но, должен сознаться, вы подвергли меня жестокому испытанию. Нрав у меня не менее горячий и несдержанный, чем у вас, и не всегда мне удастся так обуздывать его. Но я считаю, что действительно с самого начала вина была моя. Хотя подозрение ваше было неосновательно, оно не было бессмысленно. Мы шутили с опасностью. Я не должен был при теперешних слабостях нашей природы и несовершенствах общественного устройства проявлять такое настойчивое внимание к этой очаровательной женщине. Не было бы ничего удивительного, если бы, имея к тому столько удобных случаев и выступая в роли ее наставника, я попался в сети раньше, чем успел отдать себе отчет в этом, и затаил бы в душе желание, от которого впоследствии не имел бы мужества отказаться. Я был обязан загладить перед вами эту неосторожность. Но законы чести в высшей степени суровы, и, как бы мне ни хотелось быть вашим другом, я мог бы оказаться вынужденным стать вашим убийцей. К счастью, храбрость моя достаточно известна, так что я едва ли подвергся бы порицанию, отклонив ваш вызов. Хорошо, однако, что при нашей вчерашней встрече вы застали меня одного и что таким образом случай передал все дело в мои руки. Теперь, если происшествие станет известным, — узнают одновременно как о вызове, так и о том, чем кончилось дело, — поэтому я удовлетворен. Но если бы вызов на поединок был сделан публично, доказательства моей храбрости, данные раньше, не оправдали бы моей теперешней сдержанности, и — как бы я ни желал избежать поединка — это оказалось бы не в моей власти. Пусть же каждый из нас будет теперь избегать торопливости и неосторожности, последствия которых могут быть искуплены только кровью, и да благословит небо ваш союз с супругой, достойным которой я вас считаю во всех отношениях!

Я уже говорил, что это был не единственный случай, когда мистер Фокленд во время своих странствий самым блистательным образом доказал, что он был столь же храбр, сколь и добродетелен. Он провел за границей еще несколько лет, и с каждым годом росло уважение к нему, а также укреплялась его нетерпимость ко всему нечестному или порочному. Наконец он счел нужным вернуться в Англию, чтобы провести остаток своих дней в поместье, доставшемся ему от его предков.

ГЛАВА III

Первые же шаги к исполнению этого намерения, подсказанного ему, вероятно, естественным чувством долга, были также началом его несчастий. Все, что мне в дальнейшем придется рассказать о его жизни, — это повесть о непрерывных гонениях злой судьбы, цепь происшествий, причиной которых, казалось, были разные случайности; но все они вели к одному концу. Они удручали его скорбью, которую он был способен переносить меньше всякого другого; эти потоки горечи, изливаясь, отравляли своим смертельным ядом окружающих, из которых самой злосчастной жертвой оказался я.

Начало всем этим бедствиям положил ближайший сосед мистера Фокленда, человек равного с ним положения, по имени Барнаба Тиррел. На первый взгляд, мистера Тиррела, судя по его образованию и образу жизни, меньше всего можно было считать способным и расположенным к тому, чтобы нарушать душевное спокойствие столь умного человека, как Фокленд. Мистер Тиррел мог служить типичным образцом английского сквайра. Он рано остался под присмотром матери, женщины ограниченной и не имевшей других детей. Членом этой семьи, о котором еще осталось упомянуть, была также мисс Эмили Мелвилль, сирота, дочь тетki мистера Тиррела с отцовской стороны; в то время она жила в их родовой усадьбе и всецело зависела от милости хозяев.

Миссис Тиррел, по-видимому, считала, что на свете нет ничего драгоценнее ее многообещающего Барнабы. Все должно было быть приноровлено к его удобствам

и желаниям, каждый обязан был оказывать самое рабское повиновение его приказам. Его нельзя было обуздывать или обременять каким бы то ни было учением. В результате успехи его, даже по части чтения и письма, оказались весьма скромными. От природы он был мускулист и крепок и, находясь в материнских покоях, напоминал львенка, которого дикий подарил своей любовнице вместо комнатной собачки.

Впрочем, он скоро разорвал свои оковы и свел знакомство с конюхом и лесничим. Под их руководством он обнаружил столько же усердия, сколько проявлял лени и непокорности по отношению к педанту, исполнявшему обязанности его учителя. Теперь стало очевидным, что его малые успехи в науках отнюдь не следовало приписывать недостатку способностей. Он обнаружил живость ума и немалую смекалку, изучая науку об уходе за лошадьми, и достиг значительного совершенства в искусстве стрельбы, охоты и рыбной ловли. Но, кроме того, он усвоил теорию и практику бокса, умение владеть палкой и дубиной. Благодаря этим упражнениям к его прежним достоинствам присоединилась удесятая сила.

Ростом он вытянулся в пять футов десять дюймов, и телосложение его могло бы послужить живописцу моделью для того героя древности, доблесть которого заключалась в умении одним ударом свалить быка и поглотить его в один присест. Сознывая свои преимущества в этом отношении, он был невыносимо заносчив, деспотичен с низшими и дерзок с равными ему. Его ум, деятельный, но отвращенный от всего действительно полезного и благородного, изощрялся в грубых проделках увальня-переростка. В этой области, как и во всех своих других специальностях, он превосходил своих соперников; если бы можно было забыть о бессердечии и дурной направленности, обнаруживавшихся в этих затеях, то трудно было бы отказать в похвалах той изобретательности и тому грубому саркастическому остроумию, которыми они были приправляемы.

Мистер Тиррел отнюдь не склонен был позволить своим необычайным талантам притупляться в бездействии. В соседнем городке, который часто посещали окрестные землевладельцы, раз в неделю происходили вечера. На них он в то время фигурировал во всем

своим блеске как признанный глава избранного общества, так как никто не мог сравняться с ним в богатстве, а что касается происхождения, то большинство, хотя и претендовавшее на звание дворян, сильно уступало ему в этом существенном пункте. Молодые люди этого круга смотрели на наглого пашу с боязливым почтением, признавая его неоспоримое превосходство над ними по своим умственным способностям; а он умел удерживать за собой положение твердой рукой. Случалось, что он вдруг начинал улыбаться и на время становился приветлив и доступен, но они знали по опыту, что, если кто-нибудь из них, обнадеженный его снисходительностью, забудется и не окажет мистеру Тиррелу тех знаков почтения, которые тот принимал как должное, его тотчас заставят пожалеть о проявленной им самонадеянности. Так тигр снисходит иногда до того, чтобы поиграть с мышью, но при этом маленький зверек ежеминутно находится в опасности быть раздавленным лапами свирепого соучастника этой забавы.

Так как мистер Тиррел отличался большой болтливостью и богатым, хотя и беспорядочным воображением, он мог быть всегда уверен, что слушатели у него найдутся. Его соседи толпились вокруг него и на его хохот дружно отвечали хохотом, частью из раболепства, частью от неподдельного восторга. Нередко случалось, впрочем, что в минуты благодушного расположения духа ему вдруг приходила на ум какая-нибудь характерная для него утопченная жестокость. Если подданные, ободренные его приветливостью, забывали об осторожности, приступ мрачности овладевал им, внезапно набежавшее облако покрывало его чело, голос из приятного становился страшным, и из-за безделицы немедленно вспыхивала ссора с любым человеком, лицо которого ему не нравилось. Поэтому к удовольствию, которое доставляли окружающим безудержные вспышки его фантазии, всегда примешивались внезапные приступы опасений и страха. Легко понять, что вначале, пока эта деспотическая власть не утвердилась окончательно, она встречала некоторое противодействие. Но всякое сопротивление властно укрощалось этим сельским Антеем.* Благодаря преимуществам богатства и репутации, которой он пользовался среди соседей, он каждый раз вынуждал противника обращаться в борьбе

против него к его же собственному оружию и не оставлял несчастного в покое до тех пор, пока тот до мозга костей не проникался раскаянием в своей самонадеянности. Тирания мистера Тиррела не сносила бы так терпеливо, если бы его власть, первоначально приобретенная при помощи богатства и ловкости, не поддерживалась бы постоянно его красноречием.

Положение нашего сквайра в женском обществе было еще более завидным, чем среди мужчин. Каждая мать внушала своей дочери, чтобы она смотрела на полученные руки мистера Тиррела как на высшую цель своих тщеславных стремлений; каждая дочь провожала благосклонным взглядом атлетическую фигуру этого человека, за которым установилась репутация храбреца. Подлинно атлетическое телосложение, пожалуй, всегда отличается действительной соразмерностью; к тому же одно из качеств, которое женщина рано приучается искать в мужчине, — это способность служить ей защитником. И если не было ни одного мужчины, достаточно отважного, чтобы оспаривать его превосходство, то в этом провинциальном кругу не нашлось бы, вероятно, также ни одной женщины, которая поколебалась бы предпочесть его внимание ухаживанию любого другого поклонника. Его шумные остроты имели для женщин своеобразную прелесть, и не было более лестного для их тщеславия зрелища, как видеть этого Геркулеса сменившим палицу на прялку.* Их радовала мысль, что они с полной безопасностью могут играть когтистой лапой дикого зверя, одно представление о котором наполняло трепетом самые смелые сердца.

Таков был соперник, которого прихоть судьбы приуготовила благовоспитанному Фокленду. Это не укрощенное, хотя и не лишенное разума животное оказалось способным погубить будущность человека, рожденного, казалось, для того, чтобы наслаждаться счастьем и делать счастливыми других. Вражда, разгоревшаяся между ними, питалась неблагоприятным течением обстоятельств, пока не достигла силы, почти ни с чем не сравнимой; и оттого, что они смотрели друг на друга со смертельной ненавистью, я стал предметом гонений и всеобщего отвращения.

Приезд мистера Фокленда нанес удар влиянию мистера Тиррела на сельских вечерах. По характеру своему

мистер Фокленд отнюдь не был расположен воздерживаться от светских развлечений; но он и его соперник были как бы две звезды, которым предопределено никогда не подниматься над горизонтом одновременно. Преимущества, которыми обладал мистер Фокленд, были очевидны. Но даже не будь этого, подданные его деревенского соседа оказались бы в достаточной мере склонными восстать против жестокого ига. До сих пор они покорялись из страха, а не из любви, и если не бунтовали, то только за отсутствием вождя. Даже дамы особенно благосклонно смотрели на мистера Фокленда. Его утонченные манеры прекрасно гармонировали с его чисто женской мягкостью. Его остроты разнообразием и меткостью оставляли далеко позади себя остроты мистера Тиррела; к тому же за ними было то преимущество, что быющее через край веселье направлялось и сдерживалось в них рассудительностью просвещенного ума. Личная привлекательность мистера Фокленда усиливалась изяществом его манер, а его доброта и щедрость проявлялись при всяком удобном случае. Общим у мистера Тиррела и мистера Фокленда было то, что чувства смущения и неловкости были мало свойственны им обоим. Но мистер Тиррел был этим обязан самовлюбленной наглости, шумной и неумеренной болтливости, которыми он имел обыкновение поражать нападающих, тогда как мистер Фокленд, с его чисто-сердечием и тонкостью ума, благодаря обширному знанию света и правильной оценке собственных сил был способен почти мгновенно угадывать, какого образа действий следует ему держаться.

Мистер Тиррел с беспокойством и возмущением следил за успехами своего соперника. Он часто толковал об этом с ближайшими друзьями как о вещи совершенно непостижимой. Мистера Фокленда он изображал существом, не заслуживающим даже презрения: малорослый и хилый, он стремится установить новый образец человеческой природы, приспособленный к его собственному жалкому виду. Он желает убедить окружающих в том, будто человеческий род имеет назначение сидеть пригвожденным к стулу и корпеть над книгами. Он хочет, чтобы люди сменили те здоровые упражнения, которые делают нас радостными во время их исполнения и сильными впоследствии, на такие мудрые заня-

тия, как ломание головы над рифмой или выстукивание пальцем размера стиха. Чем лучше обезьян такие люди, как эти! Целому народу, состоящему из таких животных, не справиться с кучкой старых приверженцев английского бифштекса и пудинга. Он никогда не видел, чтобы учение приводило к чему-нибудь путному; от учения люди только становятся дерзкими хвастунами. И разумный человек даже врагам своего народа не пожелает худшей напасти, чем потерять голову из-за этой вредной чепухи. Не может быть, чтобы людям действительно хоть сколько-нибудь нравилась такая смешная штука, как этот заморский, изготовленный за границей англичанин. Он, Тиррел, хорошо понимает, в чем тут дело: это жалкое притворство, комедия, которая разыгрывается только ему назло. Но да поразит господь его душу, если он не отомстит всем за это самым злейшим образом!

При таком настроении терпение мистера Тиррела должно было подвергаться большому испытанию, когда он слышал, что говорили на эту же тему его соседи. В то время как он находил в мистере Фокленде только черты, достойные презрения, соседи, казалось, никогда не уставали расточать ему похвалы: сколько достоинства, приятности, какая непрестанная забота о благополучии других, какая деликатность чувств и выражений! Он просвещен без чванства, утончен без фатовства, изящен без изнеженности. Постоянно беспокоясь, как бы не дать другим болезненно почувствовать свое превосходство, он достигал этим лишь того, что это превосходство воспринималось как подлинное и вызывало со стороны зрителей не зависть, а восхищение. Нужно ли говорить о том, что переворот, происшедший в чувствах сельской округи, был вызван одним из самых понятных свойств человеческого ума? Грубое произведение искусства находит своих поклонников, пока не появится более благородное, после чего люди сами удивляются, как могли довольствоваться прежним. Мистеру Тиррелу казалось, что похвалам, расточаемым его сопернику, не будет конца, и он ждал, когда их общие знакомые падут ниц и поклонятся пришельцу. Наиболее неумеренные выражения восторга причиняли ему адские муки. Он корчился в отчаянии; его черты искажались, взгляд вызывал ужас. Такие страдания испортили бы.

вероятно, самый кроткий характер. Какое же действие должны были они оказать на мистера Тиррела, и без того грубого, неистового и свирепого?

Преимущества мистера Фокленда, казалось, ничуть не умалялись по мере того, как к ним привыкали. Каждая новая жертва тирании мистера Тиррела немедленно переходила под знамя его противника. Дамы, хотя их сельский кавалер обращался с ними мягче, чем с мужчинами, иногда тоже страдали от его капризов и дерзости. Они не могли не заметить разницы между этими двумя соперниками, состязавшимися на поприще рыцарства, из которых один никогда не обращал внимания ни на чьи желания, кроме своих собственных, а другой был олицетворением доброты и всегда находился в хорошем расположении духа. Тщетно мистер Тиррел пытался обуздать свой грубый нрав. Его одолевало нетерпение; его мысли принимали мрачный оттенок, в ухаживании за дамами он напоминал любезничающего слона. Казалось, в характере его было больше человеческих черт, когда он не сдерживал себя, чем теперь, когда он сердито старался наложить на себя узду и избегать крайностей.

На упомянутых уже вечерах среди дам, по-видимому, не было ни одной, которая пользовалась бы такой благосклонностью мистера Тиррела, как мисс Хардингем. При этом она была одной из немногих, еще не перешедших на сторону врага, — потому ли, что действительно предпочитала джентльмена, с которым дольше была знакома, или потому, что расчет подсказывал ей такое поведение как лучший способ обеспечить себе успех в поисках мужа. Но в один прекрасный день она нашла нужным, вероятно лишь в виде опыта, показать мистеру Тиррелу, что и она может открыть враждебные действия, если он когда-нибудь даст ей к этому достаточный повод. Она повела дело так, что мистер Фокленд пригласил ее на первый танец без малейшего намерения задеть своего соседа (он был непростительно неумел в искусстве болтовни и любовных интриг). Хотя в обществе мистер Фокленд и вел себя предупредительно и внимательно, часы досуга он посвящал главным образом размышлениям, слишком благородным для сплетен и слишком глубоким для того, чтобы служить предметом спора на собраниях прихожан или избирателей.

Незадолго до начала танца мистер Тиррел направился к своей прекрасной *inamorata*¹ и завел с ней какой-то незначительный разговор, чтобы заполнить время, так как собирался через несколько минут увлечь ее в залу танцевать. Он привык пренебрегать церемонией предварительного приглашения, не допуская возможности, чтобы кто-нибудь решился пойти наперекор его желанию, и даже если бы это было иначе, именно в данном случае он счел бы такую формальность излишней, поскольку всем было известно предпочтение, оказываемое им мисс Хардингем.

Пока он был занят этим разговором, подошел мистер Фокленд. Мистер Тиррел всегда смотрел на него с досадой и отвращением. Тем не менее мистер Фокленд легко и непринужденно вмешался в их разговор. В его манере держать себя было столько искреннего воодушевления, что в ту минуту это могло бы смягчить злобу самого дьявола. Мистер Тиррел, вероятно, думал, что его соперник подошел к мисс Хардингем случайно, и ждал с минуты на минуту, что он удалится.

В зале началось движение; все приготовились к танцу. Мистер Фокленд повернулся к мисс Хардингем.

— Сэр, — резко перебил его мистер Тиррел, — эта леди — моя дама.

— Не думаю, сэр. Леди была так любезна, что приняла мое приглашение.

— Нет, говорю вам, сэр. Я заинтересован в расположении этой леди, сэр. И никому не позволю посягать на мои права.

— В данном случае речь идет не о расположении леди.

— Сэр, разговоры излишни. Очистите место, сэр.

Мистер Фокленд спокойно остановил своего соперника.

— Мистер Тиррел, — сказал он довольно твердо, — не будем спорить по этому поводу. Раз мы не можем прийти к соглашению, то это недоразумение разрешит распорядитель. Ни один из нас не может стремиться к тому, чтобы хвастаться своей храбростью перед дамами. Подчинимся же без возражений его приговору.

— Будь я проклят, сэр, если понимаю...

¹ Возлюбленной (*итал.*).

— Тише, мистер Тиррел. Я не имел намерения вас оскорбить. Но ни один человек не помешает мне осуществить то, на что я уже заявил свои права, сэр.

Слова эти мистер Фокленд произнес с самым невозмутимым видом. Голос его звучал немного громче обыкновенного, но в тоне не было ни грубости, ни нетерпения. В его манерах было столько обаяния, что свирепость его противника превратилась в слабость. Мисс Хардингем, которая уже начинала жалеть о своей затее, быстро успокоилась, видя, с каким благородным самообладанием держит себя ее новый кавалер. Мистер Тиррел удалился, не проронив больше ни слова. Отходя, он бормотал про себя проклятия, слышать которые мистера Фокленда не обязывал никакой кодекс чести; да и вообще разобрать их было бы нелегкой задачей. Возможно, что мистер Тиррел уступил бы не так легко, если бы здравый смысл не подсказывал ему, что, как ни пылал он жаждой мщения, это была не та почва для ссоры, какой ему желательно было бы воспользоваться. Но если он не мог открыто посчитаться с мистером Фоклендом за такой бунт против его власти, то втихомолку его злокозненный ум непрестанно был этим занят, и было достаточно ясно, что он ведет жестокий счет, по которому противник его, как он надеялся, расплатится в один прекрасный день.

ГЛАВА IV

Это была одна из тех бесчисленных, с каждым днем как будто учащавшихся мелких обид, которые мистер Тиррел был обречен переносить от мистера Фокленда. Во всех подобных случаях мистер Фокленд вел себя с такой безупречной порядочностью, что это только укрепляло доброе мнение о нем. Чем больше мистер Тиррел боролся против своей неудачи, тем очевидней и упорнее она становилась. Тысячу раз проклинал он свою звезду, которая, как он говорил, злорадствует, делая мистера Фокленда на каждом шагу орудием его унижения. Страдая от целого ряда досадных происшествий, он, видимо, остро переживал всякое лестное отличие, оказываемое его противнику, даже когда дело шло о предметах,

в которых он раньше нисколько не притязал на первенство. Такой случай вскоре произошел.

Мистер Клер, поэт, творения которого принесли бессмертную славу его стране, * после долгих лет, посвященных возвышенному творчеству гения, недавно удалился как раз в эти места, чтобы спокойно вкушать плоды своих трудов в виде сбережений и заслуженной славы. Все окрестные джентльмены смотрели на такого соседа с известной долей обожания. Они испытывали тщеславие при мысли, что предмет гордости Англии — родом из их округи, и отнюдь не скупились на выражения признательности при виде того, кто некогда покинул их искателем счастья, а на склоне своих дней вернулся в их среду, увенчанный почестями и богатством. Читатель знаком с его творениями; он, наверное, с восторгом зачитывался ими, и мне незачем напоминать ему об их совершенстве. Но он, может быть, ничего не знает о личных качествах поэта; ему неизвестно, что его произведения вряд ли более замечательны, чем его беседа. В обществе, казалось, он был единственным лицом, не подозревавшим о величии его славы. Для всего мира сочинения его надолго останутся своего рода образцом того, что способен создать человеческий разум; но никто не замечал их недостатков так остро, как он сам, не видел так ясно, как много еще нужно было бы сделать; он один, казалось, смотрел на свои творения с чувством превосходства и равнодушно. Одной из черт, особенно сильно выделявших его из среды окружающих, была неизменная ласковость обращения, глубокая душевная чуткость, которая на заблуждения других взирала без тени недоброжелательства и исключала для кого бы то ни было возможность видеть в нем врага. Он откровенно и непринужденно указывал людям на их ошибки; его замечания вызывали удивление, порой возражения, но никогда не смущали тех, к кому они относились. Они чувствовали прикосновение инструмента, применяемого для исправления их погрешностей, но он никогда не калечил того, кого стремился исцелить. Таковы были нравственные качества, выделявшие мистера Клера в кругу его знакомых. Проявляемые им умственные совершенства заключались прежде всего в спокойной и кроткой восторженности и в глубине мыслей, непринужденно и с такой легкостью выражавшихся

в его словах, что только оглядываясь назад можно было заметить, каким изумительным многообразием идей были они насыщены.

В этой глуши мистер Клер нашел, разумеется, мало людей, способных разделять его мысли и удовольствия. Впрочем, к числу слабостей великих людей всегда принадлежало стремление бежать на лоно природы и вести беседу с лесами и рощами, а не с людьми, одаренными умом сильным и чутким, подобным их собственному. С момента приезда мистера Фокленда мистер Клер стал явно отличать его самым лестным образом. Для такого гения не требовалось долгого опыта и терпеливого наблюдения, чтобы обнаружить достоинства и недостатки в любом человеке. Материал для суждений накапливался у него в течение долгого времени, и к концу столь славной жизни он, можно сказать, видел человека насквозь почти с первого взгляда. Что удивительного в том, что он заинтересовался умом, до известной степени родственным его собственному? Но большому воображению мистера Тиррела всякое отличие, оказываемое его сопернику, казалось обидой, намеренно нанесенной ему, Тиррелу. С другой стороны, мистер Клер, настолько мягкий и благосклонный в своих замечаниях, что обижаться на них было невозможно, не скупился на похвалы и охотно пользовался оказываемым ему уважением с целью воздать людям должное.

Однажды на вечере, на котором присутствовали мистер Фокленд и мистер Тиррел, в одном из многочисленных кружков, на которые разбилось общество, зашла речь о поэтическом таланте Фокленда. Присутствовавшая там дама, известная остроумием своего ума, сказала, что ей посчастливилось прочесть только что оконченное мистером Фоклендом стихотворение — «Оду гению рыцарства» — и что она находит в нем изысканные достоинства. Любопытство общества тотчас разгорелось, а дама добавила, что переписанный экземпляр этого произведения сейчас находится при ней и собравшиеся могут ознакомиться с ним, если только оглашение его не будет неприятно автору. Присутствующие тотчас же принялись упрашивать мистера Фокленда уступить их желанию, и мистер Клер, находившийся тут же, поддерживал их просьбу. Ничто не доставляло этому джентльмену большего удовольствия, как возможность быть

свидетелем и отдавать должное проявлениям выдающихся умственных способностей. Мистер Фокленд не отличался ни ложной скромностью, ни жеманством и потому охотно выразил согласие.

Случилось так, что мистер Тиррел находился в том же кружке. Трудно предположить, чтобы оборот, который принял разговор, был ему хоть сколько-нибудь приятен. Он, видимо, хотел удалиться, но словно какая-то неведомая сила, какое-то волшебство удержало его на месте и заставило выпить до дна горькую чашу, уготованную ему завистью.

Стихотворение прочел обществу мистер Клер, декламационный талант которого вряд ли уступал другим его дарованиям. Простота, богатство оттенков и выразительность отличали его чтение. Трудно представить себе более утонченное наслаждение, чем выпавшее на долю тех, кому посчастливилось быть его слушателями. Красоты стихотворения мистера Фокленда были показаны в самом выгодном свете. Смена страстей, переживаемых автором, захватила и слушателей. Места пылкие и торжественные были прочитаны с соответствующим чувством, плавно и непринужденно. Картины, вызванные к жизни творческой фантазией поэта, вставали во весь рост, то угнетая душу суеверным страхом, то восхищая ее образами сверкающей красоты.

Каковы были на этот раз слушатели, об этом уже говорилось. Это были по большей части люди простые, необразованные, с неразвитым вкусом. Поэтов они читали, — если вообще читали их, — только из подражания, испытывая при этом мало удовольствия. Поэма мистера Фокленда была пронизана своеобразным огнем пылкого вдохновения. То же стихотворение на многих из присутствующих, вероятно, не произвело бы особого впечатления, если бы они читали его сами. Но выразительность интонации мистера Клера открыла стихотворению дорогу к их сердцам. Он кончил. И как раньше слушатели всем своим видом выражали сочувствие переживаниям, составлявшим содержание произведения, так теперь они постарались превзойти один другого в похвалах. Чувства их были такого рода, к каким они совсем не привыкли. Один говорил, другой перебивал, побуждаемый непреодолимым порывом. И самый характер похвал, неловких и отрывистых,

делал их своеобразными и замечательными. Но с чем мистеру Тиррелу было трудней всего примириться — это с поведением мистера Клера. Он вернул рукопись даме, от которой получил ее, и, обращаясь к мистеру Фокленду, сказал живо и выразительно: «Да, это то, что нужно. Это настоящая поэзия! Мне приходилось читать слишком много стихов, вымученных усилиями педантов, и пасторалей, лишенных всякого смысла. Нам нужны именно такие поэты, как вы, сэр. Не забудьте, однако, что муза существует не для того, чтобы украшать ленивые досуги, а для целей самых возвышенных и неопценимых. Поступайте согласно велению своей судьбы».

Немного погодя мистер Клер встал и удалился вместе с мистером Фоклендом и двумя-тремя другими лицами. Как только они ушли, мистер Тиррел придвинулся ближе к слушателям. Он так долго просидел молча, что теперь, кажется, готов был лопнуть от желчи и негодования.

— Недурные стишки, — сказал он как бы про себя, ни к кому не обращаясь. — Что ж, в самом деле, стишки довольно сносные! Черт побери! Хотел бы я знать, какой прок от этого добра, даже если бы его хватило на то, чтобы нагрузить целый корабль?!

— Что вы! — воскликнула дама, которая познакомилась с «Одой» мистера Фокленда. — Вы должны признать, что поэзия — приятное и изысканное развлечение.

— Изысканное? Вон что! Лучше поглядите на этого Фокленда. Что за сморчок! Ради самого дьявола, сударыня, неужели вы думаете, что он стал бы писать стишки, если бы был годен на что-нибудь лучшее?

Разговор на этом не остановился. Дама стала возражать, к ней присоединилось еще несколько человек, находившихся под свежим впечатлением от чтения. Мистер Тиррел становился все безудержнее в своих нападках, облегчая этим свою душу. Лица, которые до известной степени могли бы укротить его пыл, ушли. Говорившие один за другим умолкали, слишком робкие, чтобы возражать, или слишком равнодушные, чтобы состязаться с охваченным яростью мистером Тиррелом. Он вернул себе видимость прежнего могущества; но он чувствовал, что она обманчива и ненадежна, и испытывал досаду.

Домой он возвращался в сопровождении молодого человека, который был весьма схож с ним нравом, что сделало его одним из главных поверенных Тиррела, которому было с ним по пути. Можно было думать, что мистер Тиррел в достаточной мере излил свою желчь в диалоге, который он только что вел. Но оказалось, что он не в состоянии изгнать из памяти пережитую неприятность.

— Будь проклят этот Фокленд! — заговорил он. — Из-за ничтожного негодяя столько шуму! Но женщинам и дуракам одна цена. Тут уж ничего не поделаешь. Те, кто их учит, вот кто должен отвечать, а больше всех — мистер Клер. Ведь он человек, которому следовало бы знать жизнь и не поддаваться обману всякой мишуры и побрякушек. Он как будто разбирается в вещах. Я никогда бы не поверил, что он станет подпевать каким-то ублюдкам без чести и разума. Но все на свете одинаковы. Те, кто кажется лучше своих соседей, просто искуснее притворяются. Дороги выбирают разные, а хотят все одного. Он и меня самого ввел было в обман. Но теперь — довольно. Это зачинщики зла. Дураки могут сплеховать, но они не стали бы упорствовать, если бы люди, которые должны указывать им правильный путь, не поощряли их вместо этого на дурное.

Через несколько дней после этого случая мистер Тиррел был удивлен посещением мистера Фокленда. Мистер Фокленд без обиняков объяснил причину своего прихода.

— Мистер Тиррел, — сказал он, — я пришел, чтобы дружески объясниться с вами.

— Объясниться? Чем я оскорбил вас?

— Решительно ничем, сэр. И по этой-то причине я считаю данный момент самым подходящим для того, чтобы нам как следует договориться.

— Вы чертовски торопитесь, сэр! Уверены ли вы, что такая спешка не испортит дела, вместо того чтобы поправить его?

— Да, я уверен, сэр. Я твердо полагаюсь на чистоту своих намерений и не хочу сомневаться в том, что вы охотно согласитесь содействовать им, как только узнаете, с чем я пришел.

— Может случиться, что мы и не сойдемся в этом вопросе, мистер Фокленд. Один думает так, другой —

иначе. Может быть, я считаю, что у меня вовсе нет особенных причин быть довольным вами.

— Может быть, так. Однако я не нахожу за собой никакой вины, которая дала бы вам основание быть недовольным мною.

— Как бы то ни было, сэр, вы не имели права беспокоить меня. Если вы пришли посмеяться надо мной и разведать, с какого рода человеком вам придется иметь дело, то будь я проклят, если вам придется порадоваться своей затее.

— Нет ничего легче, как нам поссориться, сэр. Если вы этого желаете, то вы всегда найдете к тому благоприятный случай.

— Будь я проклят, сэр, если вы не явились задирать меня.

— Мистер Тиррел! Сэр! Осторожнее!

— Чего мне бояться, сэр? Вы грозите мне? К черту! Кто вы такой! Для чего вы пришли сюда?

Горячность мистера Тиррела заставила мистера Фокленда сдержаться.

— Я неправ, — сказал он. — Признаю это. Я пришел с мирными намерениями. И только поэтому я взял на себя смелость посетить вас. Каковы бы ни были мои чувства при других обстоятельствах, сейчас я должен подавить их.

— А! Прекрасно, сэр! Что же вы можете еще предложить?

— Мистер Тиррел, — продолжал мистер Фокленд, — вы легко поймете, что меня привела сюда не пустая причина. Я не стал бы беспокоить вас своим посещением, не будь у меня для этого серьезного основания. Мой приход может служить порукой, что сам я нахожусь под сильным впечатлением того, что хочу сообщить.

Мы — в опасном положении. Мы — на краю водоворота, который, если захватит нас, сделает всякие разговоры излишними. Между нами, видимо, закралась несчастная зависть, которую я хотел бы устранить. И потому я пришел просить вашего содействия. Мы оба люди требовательные, и оба способны быстро воспламеняться, горячиться и негодовать. В настоящее время осторожность не может быть позорной ни для одного из нас. Может быть, придет время, когда мы пожалеем,

что не прибегли к ней, но будет уже поздно. Зачем нам быть врагами? Вкусы у нас разные, но мы не должны мешать друг другу. У нас есть с избытком все, что нужно для счастья. Каждый из нас может пользоваться общим уважением и прожить долгую жизнь в покое и радости. Разумно ли с нашей стороны обменять такое приятное будущее на плоды раздора? Вражда между людьми с нашими свойствами и нашими слабостями чревата последствиями, о которых я думаю с содроганием. Боюсь, сэр, что это обозначает смерть — по крайней мере для одного из нас — и несчастье и упреки совести для оставшегося в живых.

— Клянусь честью! Вы странный человек! Зачем вы морочите мне голову своими предсказаниями и предчувствиями?

— Потому что это необходимо для вашего счастья. Потому что я должен предупредить вас об опасности сейчас, не ожидая, пока эта возможность уже будет исключена. Ссорясь, мы будем только подражать огромной массе людей, которые легко поссорились бы на нашем месте. Поступим лучше. Покажем, что у нас есть достаточно великодушия, чтобы пренебречь мелкими недоразумениями. Этим мы окажем больше всего чести самим себе, а поступив иначе, только доставим смешное зрелище нашим знакомым.

— Вы думаете? Пожалуй, в этом есть доля правды. Будь я проклят, если соглашусь служить забавой хоть одному человеку!

— Вы правы, мистер Тиррел. Будем же оба действовать так, чтобы наилучшим образом вызвать к себе уважение. Ни один из нас не намерен сворачивать с дороги, пусть ни один не мешает другому идти спокойно его путем. Заключим такой договор, и пусть взаимная терпимость обеспечит мир между нами.

С этими словами мистер Фокленд в знак примирения протянул мистеру Тиррелу руку. Но этот жест был слишком обязывающим, и своенравный грубиян, на которого все, что перед этим произошло, как будто произвело некоторое впечатление, отшатнулся. Мистер Фокленд опять чуть не вспыхнул из-за этой новой грубости, но сдержался.

— Все это очень невразумительно! — воскликнул мистер Тиррел. — Ради какого черта стали бы вы

торопиться, если бы у вас не было тайной цели надуть меня?

— Мои намерения мужественны и честны, — возразил мистер Фокленд. — Зачем вы отвергаете предложение, внушенное разумом и одинаково важное для нашей обоюдной пользы?

Мистер Тиррел воспользовался случаем, чтобы передохнуть, после чего заговорил в своем обычном тоне:

— Так, сэр. Я должен признать, что все это не лишено искренности. Отплачу вам той же монетой. Не важно, как я дошел до теперешнего состояния. Нрав у меня крутой и не поддается обузданию. Может быть, вы считаете это слабостью, но я не желаю его изменять. Пока вас не было, я чувствовал себя прекрасно. Мне нравились мои соседи, и они хорошо ко мне относились. Но теперь положение совершенно изменилось. И до тех пор, пока я не смогу выходить из дому, не натываясь на какие-нибудь обиды, к которым вы имеете прямое или косвенное отношение, я буду ненавидеть вас. Так вот, сэр, если вы уедете из нашего графства или даже из королевства — хоть к самому черту, если вам угодно, и так, чтобы я никогда больше ничего не слышал о вас, — я готов обещать вам, что не буду с вами ссориться до конца своих дней. Тогда пусть ваши стихи и ребусы, загадки и каламбуры будут самыми замечательными в мире — для меня это безразлично.

— Мистер Тиррел, будьте благоразумны! Ведь и я мог бы пожелать, чтобы вы оставили наше графство, как вы желаете, чтобы я оставил его. Я пришел к вам как к человеку своего круга. В человеческом обществе нам приходится не только наслаждаться, но кое с чем и мириться. Никто не должен воображать, будто мир существует для него одного. Будем брать вещи как они есть и по возможности приспосабливаться к неизбежным обстоятельствам.

— Правильно, сэр. Красноречиво сказано. Но я повторяю свое: мы все такие, какими нас создал бог. Я не философ и не поэт, чтобы гоняться за журавлями в небе, стараясь быть не тем, каким вы меня знаете. А что до последствий, то чему суждено быть, то будет. Что посеяли, то и пожнем. Так вот, видите ли, я не стану задумываться над тем, что должно случиться, а стойко выдержу это, когда оно произойдет. Скажу вам

только одно: до тех пор, пока вы будете залезать каждый день в мое блюдо, я буду ненавидеть вас пуше александрийского листа и валерьянки. И будь я проклят, если я не возненавидел вас еще больше за ваше сегодняшнее наглое появление, когда никто за вами не посылал и вы явились только затем, чтобы показать, до какой степени вы умнее всех на свете!

— Мистер Тиррел, я свое сказал. Я предусмотрел последствия и пришел к вам как друг. Я надеялся, что путем взаимных объяснений мы сумеем лучше понять друг друга. Я ошибся. Но, может быть, когда вы хладнокровно обсудите то, что произошло, вы отдадите должное моим добрым намерениям и признаете, что мое предложение не было неразумно.

После этого мистер Фокленд удалился. Во время свидания он, безусловно, держался так, что его поведение делало ему особую честь. Однако он не мог сдерживать полностью свою горячность, и даже в те мгновения, когда он был на особенной высоте, в его манерах оставался оттенок надменности, который не мог не вызвать раздражения. Даже самое благородство, с каким он обуздывал свою страстность, служило косвенным упреком его противнику. Свидание было им задумано под влиянием самых благородных побуждений, но оно, бесспорно, послужило к углублению трещины, которую должно было заделать.

Что касается мистера Тиррела, то он прибегнул к своему испытанному средству и излил пришедшие в смятение мысли своему верному другу.

— Вот новая уловка этого молодчика, чтобы доказать свое воображаемое превосходство! — кричал он. — Мы отлично знаем, что у него язык хорошо подвешен. Конечно, если бы мир управлялся при помощи слов, Фокленд был бы на своем месте. Да, он держал бы его в руках. Но что толку в болтовне. Это не дело. Удивляюсь, как я его не треснул. Но это еще впереди. Это только лишний долг к той куче долгов, которые он когда-нибудь полностью мне заплатит. Фокленд преследует меня, как демон. Я не могу проснуться, не думая о нем! Не могу уснуть, не видя его во сне! Он отравляет мне все удовольствия. Я был бы счастлив, если бы узнал, что его разрывают крючьями на части. Я готов впиться зубами в его сердце. Я не буду знать

радости, пока не увижу его гибели! Может быть, в нем и есть кое-что неплохое, но для меня он — вечное мученье. Мысль о нем мертвым грузом лежит у меня на сердце. И я имею право стряхнуть ее. Неужели он думает, что я так и буду терпеть все это ни за что ни про что?

Несмотря на ожесточение мистера Тиррела, он, по-видимому, стал относиться с некоторой справедливостью к своему сопернику. Разумеется, он продолжал смотреть на него со все возрастающей неприязнью, но уже не видел в нем врага, достойного презрения. Он стал избегать встреч с ним, воздерживаться от бесцельных выражений вражды. Он как будто притаился, выслеживая свою жертву и припасая яд для смертоносного нападения.

ГЛАВА V

Через некоторое время в окрестностях вспыхнула болезнь, действие которой отличалось беспримерной быстротой. Она оказалась роковой для многих жителей. Одним из первых заболел мистер Клер. Можно себе представить, сколько огорчений и тревоги вызвало это обстоятельство среди его соседей. Мистер Клер был в их глазах чем-то большим, нежели простым смертным. Ровное и невозмутимое обхождение, необычайная ласковость и сердечная доброта, вместе с его талантами, безобидным остроумием и обширным умом, делали его кумиром всех, кто его знал. Во всяком случае, в его сельском уединении у него не было врагов. Все скорбели об опасности, которая теперь угрожала ему. До тех пор казалось, что у него впереди долгая жизнь, что он сойдет в могилу, обремененный годами и почестями. Может быть, внешность была обманчива. Может быть, умственные усилия, которые он делал и которые часто имели более стремительный, бурный и длительный характер, чем это допускало бережное отношение к здоровью, посеяли в нем семена грядущего недуга. Как бы то ни было, доверчивый наблюдатель, безусловно, стал бы утверждать, что его привычка к умеренности, деятельный ум и всегда веселое расположение духа смогут на время остановить самую смерть и воспрепятствовать приступам болезни при условии, если она не подступит

с необычайной быстротой и силой. Это обстоятельство еще более увеличивало всеобщую скорбь.

Но никто не был поражен ею в такой степени, как мистер Фокленд. Быть может, не было человека, который бы так хорошо понимал, насколько ценна жизнь, подвергавшаяся теперь опасности. Он поспешил к больному, но не сразу был допущен к нему. Зная о заразности своей болезни, мистер Клер распорядился, чтобы к нему входило как можно меньше людей. Мистер Фокленд назвал себя. Ему ответили, что общее правило распространяется и на него. Однако он был не из тех, кто легко позволяет отстранить себя. Он стал упорно настаивать и наконец добился своего, выслушав только наставление о мерах, признанных наиболее действительными для предохранения от заразы.

Он застал мистера Клера в спальне, но не в постели. Мистер Клер сидел в халате за письменным столом у окна. Вид у него был спокойный и радостный, но приближение смерти уже чувствовалось в чертах его лица.

— Я хотел было не допускать вас к себе теперь, Фокленд, — сказал он, — а между тем нет в мире человека, повидаться с которым мне бы доставило большее удовольствие. Но я подумал, что мало кто мог бы встретиться с такого рода опасностью, имея больше шансов остаться невредимым, чем вы. По крайней мере надеюсь, что в вашем случае крепость не будет взята из-за предательства коменданта. Не сумею объяснить вам, каким образом попался я сам, поучающий вас теперь благоразумию. Но пусть мой пример вас не разочаровывает. Я не подозревал об опасности, а то я справился бы с этим лучше.

Раз утвердившись в квартире своего друга, мистер Фокленд ни под каким видом не соглашался удалиться оттуда. Мистер Клер наконец решил, что такое положение, пожалуй, менее опасно, чем частые переходы из чистого воздуха в зараженный, и перестал настаивать на его удалении.

— Когда вы вошли, Фокленд, — сказал он, — я только что кончил свое завещание. Я был недоволен написанным раньше, но мне не хотелось в теперешнем моем положении вызывать нотариуса. Да и на самом деле странно было бы, если бы человек в здравом уме, с честными и ясными намерениями, не мог сам выполнить этой обязанности.

Мистер Клер продолжал держать себя так же легко и свободно, как в то время, когда он обладал прекрасным здоровьем. Его бодрый тон и выдержка устраняли всякую мысль о близости смерти. Он ходил по комнате, рассуждал, шутил с полным самообладанием. Но вид его каждые четверть часа заметно менялся к худшему. Мистер Фокленд со смешанным чувством страха и восхищения не сводил с него глаз.

— Фокленд, — сказал мистер Клер, оторвавшись от дум, в которые был погружен некоторое время, — я чувствую, что умираю. У меня странная болезнь. Вчера я был как будто совсем здоров, а завтра буду бесчувственным телом. Как странна в смертном человеке эта черта, отделяющая жизнь от смерти! Быть в одно мгновение деятельным, веселым, проникательным, располагать множеством познаний, уметь услаждать, просвещать, воодушевлять человечество, а в следующее — превратиться в нечто безжизненное и отталкивающее, обременяющее лик земли! Такова судьба всех людей, такова будет и моя.

Я чувствую, что мог бы еще многое сделать на свете, но этому не бывать. Я должен довольствоваться тем, что было в прошлом. Я напрасно призываю все силы своего духа. Враг слишком могуч, слишком беспощаден ко мне, он не хочет дать мне время хотя бы для передышки. Эти вещи, сейчас по крайней мере, не в нашей власти, — они составляют часть непрерывно убегающего потока. Общее благо, великое дело вселенной, пойдет своим порядком, а я больше не смогу трудиться для него. Эта задача остается на долю более молодых сил — на вашу долю, Фокленд, и на долю таких, как вы. Мы, безусловно, заслуживали бы презрения, если бы перспектива человеческого совершенствования не доставляла нам чистой и полной радости, независимо от того, будем ли мы существовать и участвовать в новой жизни. Человечеству незачем было бы завидовать грядущим векам, если бы все люди наслаждались такой же ничем не омраченной душевной ясностью, какой пользовался я во вторую половину своей жизни.

Мистер Клер просидел весь день, разрешая себе легкие и бодрые движения, которые, пожалуй, скорей достигали цели — освежить и подкрепить тело, — чем это сделал бы покой в точном смысле этого слова. Время

от времени его терзала мучительная боль. Но как только он чувствовал ее приближение, он как будто поднимался выше нее и улыбался бессилию этих приступов. Они могут уничтожить его, но не могут нарушить его спокойствия. Три или четыре раза он обливался обильным потом, и каждый раз вслед за этим кожа его страшно пересыхала и горела в жару. Потом она покрылась мелкими синевато-багровыми пятнами; появился лихорадочный озноб, вскоре приостановленный усилием воли больного. Вслед за этим он успокоился и затих, а немного погодя решил лечь в постель, тем более что уже наступала ночь.

— Фокленд, — сказал он, пожимая ему руку, — умирать не так трудно, как некоторые воображают. Когда, подойдя к грани, оглядываешься назад, невольно удивляешься, что окончательное уничтожение может достаться такой дешевой ценой.

Он уже лежал некоторое время в постели, и, так как все было тихо, мистер Фокленд стал надеяться, что он уснул. Но это была ошибка. Мистер Клер вдруг откинул полог и взглянул своему другу в лицо.

— Не могу уснуть, — сказал он. — Нет! Если бы я мог уснуть, это было бы равносильно выздоровлению, а я обречен на то, чтобы проиграть эту битву.

Фокленд, я только что думал о вас. Не знаю ничего, на чье будущее, в смысле его полезности, я возлагал бы больше надежд. Берегите себя. Смотрите, чтобы мир не оказался лишенным ваших добродетелей. Я знаю ваши слабые места, так же как и сильные. В вас много запальчивости; вы не в состоянии вынести мысль о воображаемом бесчестии; все это, будучи дурно направлено, может сделать вас настолько же исключительно вредным человеком, насколько при других условиях вы были бы полезны. Подумайте серьезно над тем, чтобы искоренить в себе эти недостатки. И если эти краткие упреки, оправдываемые моим теперешним состоянием, не могут сразу вызвать в вас желательной перемены, то кое-что я все же могу сделать. Я могу предостеречь вас от зла, которое кажется мне неминуемым. Остерегайтесь мистера Тиррела. Не делайте ошибки, пренебрегая им как недостойным противником. Малые причины иногда вызывают крупные беды. Мистер Тиррел неистов, груб и бессердечен. А вы слишком страстны, слишком остро чувствуете

сбиды. Было бы действительно достойно сожаления, если бы человек, до такой степени уступающий вам, человек, не заслуживающий того, чтобы его сравнивали с вами, оказался способным превратить всю вашу жизнь в цепь преступлений и несчастий. Меня гнетет мучительное предчувствие, что с этой стороны вас ждет что-то ужасное. Подумайте об этом. Я не требую от вас обещаний. Я не хотел бы связывать вас сетями суеверия. Пусть вами руководят чувство справедливости и разум.

Мистер Фокленд был глубоко тронут этим наставлением. Чувство, охватившее его при этом проявлении великодушного внимания со стороны мистера Клера — и в такую минуту, — было так велико, что почти лишило его дара слова. Он говорил отрывистыми фразами, с видимым усилием.

— Я буду вести себя лучше, — ответил он. — Не беспокойтесь за меня! Ваше предостережение не пройдет для меня бесследно.

Мистер Клер заговорил о другом:

— Я назначил вас своим душеприказчиком; надеюсь, вы не откажете мне в этой последней дружеской услуге. Прошло немного времени с тех пор, как я имел счастье познакомиться с вами, но за это короткое время я внимательно наблюдал за вами и хорошо узнал вас. Не обманите же моего доверия и надежд, которые я питал!

Я оставил кое-какое наследство. Все, с кем я был связан раньше, когда жил среди людской сутолоки, с кем был близок, — дороги мне. У меня не было времени собрать их теперь вокруг себя, да я и не хотел этого. Воспоминания обо мне, я надеюсь, будут вызываться лучшими поводами, чем те, о которых обычно думают при подобных обстоятельствах.

Облегчив себе таким образом сердце, мистер Клер замолчал на несколько часов. Под утро мистер Фокленд отдернул полог и взглянул на умирающего. Глаза мистера Клера были открыты, и их кроткий взгляд остановился в это мгновение на друге. Лицо его осунулось, близость смерти наложила на него свою печать.

— Надеюсь, вам лучше, — произнес Фокленд полупшепотом, как бы боясь обеспокоить его.

Мистер Клер приподнял руку с одеяла и протянул ее. Мистер Фокленд шагнул вперед и взял ее в свои руки.

— Много лучше, — отвечал мистер Клер едва слышно, — борьба уже кончена, я доиграл свою роль... Прощайте! Не забывайте обо мне!

Это были его последние слова. Он прожил еще несколько часов. Время от времени губы его как будто шевелились. Он испустил дух без единого стога.

Мистер Фокленд смотрел на эту сцену в страшном смятении. Надежда на благоприятный перелом болезни и боязнь потревожить последние минуты друга сковывали ему уста. Последние полчаса он стоял и не отрываясь глядел на мистера Клера. Он уловил его последний вздох, последнее судорожное движение его тела. Он продолжал смотреть. Иногда ему представлялось, что жизнь возвращается. Наконец он не мог больше сомневаться и воскликнул как безумный: «И это все?» Он хотел броситься на тело своего друга, но присутствующие удержали его. Они попробовали насильно увести его в другое помещение, но он вырвался из их рук и с нежностью склонился над постелью.

— Ужели это конец гению, добродетели, совершенству? Неужто светоч мира закатился навсегда? О вчерашний день! Вчерашний день! Клер, почему я не мог умереть вместо тебя? Ужасный миг! Невознаградимая утрата! Похищен в самом расцвете духовных сил! Погиб, когда он мог быть еще в десять тысяч раз полезнее, чем раньше! О, это был ум, который мог наставлять мудрых и руководить добродетелью! Вот все, что нам от него осталось... Красноречивые уста умолкли! Всегда деятельное сердце остановилось! Ушел лучший и самый мудрый из людей, а мир не чувствует, кого он потерял!

Тиррел принял известие о смерти мистера Клера с волнением, но совсем иного рода. Он открыто признавался, что не может простить ему исключительного расположения к Фокленду и поэтому не может вспоминать о нем с теплым чувством. Впрочем, если бы даже он мог забыть то, что считал несправедливым отношением к себе в прошлом, то в настоящем было достаточно поводов, которые поддерживали его раздражение.

— Скажите пожалуйста! Фокленд ухаживал за ним, когда он был на смертном одре, как будто не нашлось никого более достойного выслушать его последние слова!

Но хуже всего было назначение мистера Фокленда душеприказчиком покойного.

— В любом деле этот назойливый мошенник опережает меня! Презренная тварь, в которой нет ничего человеческого! До каких пор будет он попираť тех, кто лучше его? Неужели никто не в состоянии разгадать, из какого теста сделан этот человек? Внешность их обманывает, что ли? Легковесное предпочитают основательному! И даже на смертном одре! (Мистер Тиррел, как это обычно случается, к своей грубости и некультурности примешивал некоторые смутные религиозные понятия.) Он, наверно, теперь стыдится того положения, в которое попал. Бедняга! Душе его приходится за многое держать ответ! Он отнял у меня спокойный сон. И каковы бы ни были последствия, его приходится благодарить за них в первую очередь.

Смерть мистера Клера, человека, который мог бы успешнее всех смягчить взаимную вражду соперничавших сторон, устранила главную преграду, сдерживавшую бесчинства мистера Тиррела. Нравственное влияние его знаменитого соседа невольно держало в узде этого сельского тирана, и, несмотря на свой жестокий нрав, он, казалось, до последнего времени не питал к мистеру Клеру никакой вражды. В короткое время, прошедшее между водворением мистера Клера по соседству и возвращением мистера Фокленда с материка, в поведении мистера Тиррела даже появились некоторые признаки улучшения. Конечно, он предпочел бы обойтись без такого пришельца в том кругу, где привык царить. Но с мистером Клером он не мог соперничать: достойный характер мистера Клера внушал ему почтение. Яд зависти и ревнивые ухищрения ложно понятого чувства чести, казалось, давно стали чуждыми великому человеку.

Однако обаяние Клера для Тиррела уже теряло свою силу из-за соперничества, разгоревшегося между ним и Фоклендом. А теперь, когда влияние личности и добродетелей Клера окончательно прекратилось, нрав Тиррела проявился в еще более преступных затеях. Мрачное настроение духа, которое поддерживалось и усиливалось в нем мыслью о соседстве с мистером Фоклендом, изливалось на всех, с кем он имел дело, и обратно: новые проявления его злобы и тирании, которые приносил с собою каждый день, отбрасывали зловещий свет на эту чудовищную, все разгоравшуюся вражду.

Результаты всего описанного вскоре обнаружилились. Ближайший случай до известной степени предрешил катастрофу. До сих пор в моем рассказе речь шла только о побочных обстоятельствах, на первый взгляд как будто не связанных одно с другим, но приводивших обе стороны к такому состоянию духа, которое вызвало роковые последствия. Все остальное совершилось стремительно и было ужасно. Злое дело, несущее с собой смерть, надвигается быстрыми шагами, как бы бросая вызов человеческому благоразумию и силам, которые могли бы остановить его.

Пороки мистера Тиррела в их настоящем, сильно увеличившемся виде заставляли особенно страдать его домочадцев и тех, кто от него зависел. Но больше всего от них терпела молодая женщина, уже упомянутая выше, — сирота, дочь сестры его отца. Мать мисс Мелвилль вступила в неосторожный или, вернее, несчастный брак против желания своих родных, которые после допущенного ею необдуманного шага сговорились лишить ее поддержки. Муж ее, как выяснилось, был не более чем искателем приключений. Он растратил ее состояние, которое, вследствие враждебного отношения к нему ее семьи, было менее значительно, чем он рассчитывал, и разбил ей сердце. Ее малолетняя дочь осталась без всяких средств к существованию. В таком положении предстательство тех людей, к которым сирота случайно была помещена, перед миссис Тиррел, матерью сквайра, достигло цели, и она взяла ребенка в свою семью. По справедливости девочка, пожалуй, имела право на ту часть состояния, которой, из-за своей неосторожности, лишилась ее мать и которая послужила к умножению имущества мужского представителя рода. Но эта мысль никогда не приходила в голову ни матери, ни сыну. Миссис Тиррел решила, что явила пример самой возвышенной доброты, разрешив мисс Эмили занять довольно двусмысленное положение, которое не было положением служанки, но и не отмечалось теми знаками внимания, какие должны были бы оказываться члену семьи.

Впрочем, первое время мисс Эмили не испытывала всех унижений, которых можно было бы ждать в ее

положении. Миссис Тиррел при всей своей гордости и властолюбии не была злым человеком. А одна женщина, которая жила в доме в качестве экономки, видевшая когда-то лучшие времена и отличавшаяся приятным характером, скоро искренне привязалась к маленькой Эмили, предоставленной главным образом ее попечениям. Эмили, со своей стороны, от всего сердца отвечала привязанностью своей наставнице и с большим усердием воспринимала те не слишком обширные познания, которые миссис Джекмен могла ей передать. Но прежде всего она заимствовала у нее искренность и веселое расположение духа, позволявшие ей из всякого события извлекать приятное и утешительное и побуждавшие ее делиться своими чувствами, в которых никогда не было ничего постыдного, скрытого или притворного. Помимо того, что Эмили получала от миссис Джекмен, ей было разрешено брать уроки у тех учителей, которых держали в доме для обучения ее двоюродного брата. А поскольку юный джентльмен очень редко бывал расположен заниматься науками, учителям было бы нечего делать, если бы их не выручало присутствие мисс Мелвилль. Руководясь этими соображениями, миссис Тиррел поощряла занятия Эмили; к тому же она рассчитывала, что этот наглядный пример обучения косвенно послужит приманкой для ее баловня Барнабы. Никаких других способов убеждения она не допускала. Применение силы она безусловно запретила, а о том, что литература и знание обладают присущим им самим обаянием, она не имела понятия. По мере того как Эмили подрастала, она проявляла необыкновенную чувствительность, которая в ее положении была бы для нее источником постоянных огорчений, если бы ей не сопутствовали чрезвычайная мягкость и уступчивость характера. Ее никак нельзя было назвать красавицей. Наружность у нее была заурядная. Она была маленького роста, сложения типичного для брюнетки, лицо ее было отмечено следами оспы, достаточными для того, чтобы кожа потеряла гладкость и лоск, но не для того, чтобы испортить выражение лица. И, несмотря на некрасивую наружность, она обладала большой привлекательностью. Цвет лица у нее был здоровый и нежный; густые темные брови легко выражали разнообразные оттенки ее мыслей, а во взгляде светилась живая, проникательная и вместе

с тем добродушная искренность. Образование, которое она получила, будучи совершенно случайным, освободило ее от недостатков полного невежества, но не отняло у нее некоторой природной непосредственности, свидетельствовавшей о том, что она не способна лукавить или подозревать в этом других. Она шутила, сама, видимо, не сознавая, какой тонкий смысл имеют ее замечания; вернее, не будучи испорченной никакими похвалами, она придавала мало значения собственным достоинствам и весело болтала от чистого юного сердца, не стараясь отличиться и вызвать восхищение.

Смерть тетки мало изменила ее положение. Эта предусмотрительная женщина, которая сочла бы почти святотатством самую мысль о том, что мисс Мелвиль — тоже отпрыск семьи Тиррел, уделила ей в своем завещании так мало внимания, что включила в список подарков своим слугам также сто фунтов и для нее. Миссис Тиррел никогда не приближала ее к себе и не дарила своим доверием; даже молодой сквайр, когда он остался единственным ее покровителем, был как будто склонен проявлять по отношению к ней больше щедрости, чем это допускала его мать. Эмили выросла у него на глазах, и потому, хотя разница в возрасте между ними была всего в шесть лет, он проявлял своего рода отеческую заботу о ее благополучии. Привычка сделала Эмили до известной степени необходимой ему, и как только у него оставался досуг от охоты или развлечений с собутыльниками, он чувствовал себя одиноким и покинутым, если при нем не было мисс Мелвиль. Близкое родство и отсутствие красоты в наружности Эмили были причинами того, что никогда он не смотрел на нее с вожделением. Светское образование Эмили проявилось в его обыденном и поверхностном виде — танцах и музыке. Ее искусство в танцах заставляло мистера Тиррела иной раз предоставлять ей свободный уголок в своей карете, когда он отправлялся к соседям на вечера. И, как бы ни относился к ней он сам, всякая особа, даже его горничная, им рекомендованная, получала, по его мнению, бесспорное право на то, чтобы занять место в самом блестящем кругу. Музыкальные таланты мисс Мелвиль часто служили ему развлечением. Она удостаивалась иногда чести убаюкивать его музыкой, когда он, усталый, возвращался с охоты. А так как у него было

некоторое пристрастие к гармоничным звукам; то ей часто удавалось при их помощи успокаивать тревожные настроения, рабом которых его делал тяжелый, мрачный нрав. В общем, ее можно было, пожалуй, считать его любимицей. Она была тем посредником, к которому привыкли обращаться его арендаторы и слуги, когда они навлекали на себя его неудовольствие, тем привилегированным существом, которое могло безнаказанно приближаться к этому рычащему льву. Она говорила с ним без страха; ее ходатайства были всегда простодушны и бескорыстны; и, даже отклоняя их, он наполовину умиротворялся и снисходительно улыбался ее самонадеянности.

Таково было положение мисс Мелвиль в течение нескольких лет. Она забывала его ненадежность благодаря необычной снисходительности, с которой относился к ней ее грубый покровитель. Но нрав его, и раньше грубый, становился все более жестоким с тех пор, как мистер Фокленд поселился по соседству. Теперь он часто забывал о той мягкости, с какой он имел обыкновение обращаться со своей простодушной кузиной. Ей уже не всегда удавалось смягчать его гнев своими невинными шутками, и на ее ласковое обращение он иной раз отвечал так раздраженно и сурово, что ее бросало в дрожь. Однако природная беспечность и легкость характера быстро сглаживали эти впечатления, и она неизменно возвращалась к прежним привычкам.

Около этого времени произошло событие, особенно усилившее раздражительность мистера Тиррела и в конце концов положившее предел счастью, которым до сих пор наслаждалась мисс Мелвиль, вопреки превратностям судьбы. Эмили было ровно семнадцать лет, когда мистер Фокленд вернулся с материка. В этом возрасте она была особенно чутка к очарованию красоты, изящества и морального превосходства, соединенных в одной особе другого пола. Ее неосторожность проистекала именно от того, что ее собственное сердце не знало зла. Она еще ни разу не испытала на себе жала бедности, на которую была обречена, и не задумывалась над тем непреодолимым расстоянием, которое разделяет богатые и бедные классы одного и того же общества. Она с восхищением взирала на мистера Фокленда, когда он встречался с ней на вечерах, и, не отдавая себе ясного

отчета в своих переживаниях, она провожала его взглядом с пылкостью и нетерпением, что бы ни происходило вокруг. В ее глазах он не был, как в глазах всех собравшихся, потомственным владельцем одного из крупнейших поместий округа, имевшим возможность предложить свой титул самой богатой невесте. Она думала только о самом мистере Фокленде и о тех его достоинствах, которые были свойственны ему всего более и которых его не могли лишить никакие преследования злой судьбы. Словом, она бывала вне себя от восторга в его присутствии, он был постоянным предметом ее грез и сновидений, но образ его не вызывал в ее душе никаких других чувств, кроме чувства непосредственного удовольствия, которое ей доставляли мысли о нем.

Внимание, которым мистер Фокленд дарил ее в ответ, казалось достаточно ободряющим для такого ослепленного существа, каким была Эмили. Во взорах его, обращенных к ней, была особенная снисходительность. Кто-то из знакомых передал ей его слова; он сказал, что мисс Мелвиль кажется ему приятной и интересной особой, что он сочувствует ее необеспеченному и одинокому положению, что был бы рад оказывать ей больше внимания, если бы не боялся повредить ей ввиду предубеждения подозрительного мистера Тиррела. Все это она воспринимала с восторгом, как благожелательное отношение к себе высшего существа, потому что если, с одной стороны, она не была склонна упорно задерживаться мыслью на тех дарах фортуны, какими он располагал, то, с другой, она была исполнена благоговения перед его несравненным совершенством. Но в то время как она открыто отрицала возможность какого-либо сопоставления мистера Фокленда с ней, в глубине души она, вероятно, лелеяла смутную надежду на то, что какое-нибудь событие, пока еще таящееся во тьме грядущего, примирит вещи, как будто совсем непримиримые. При таком ее душевном состоянии любезности, оказанные ей в суе светского общества, — поднятый веер, который она уронила, принятая из ее рук пустая чашка, — заставляли ее сердце биться и порождали самые необузданные мечты введенной в заблуждение фантазии.

В это время произошло событие, которое способствовало тому, что душевные колебания мисс Мелвиль

приняли определенное направление. Однажды вечером, вскоре после смерти мистера Клера, мистер Фокленд в качестве душеприказчика был в доме своего покойного друга и по какой-то случайности, не имевшей существенного значения, задержался там на три или четыре часа дольше, чем предполагал. Он пустился в обратный путь только в два часа ночи. В такой удаленной от столицы местности в эту пору царит полная тишина, как в совершенно необитаемой стране. Луна ярко светила, и окружающие предметы, отбрасывая резкие тени, придавали всему пейзажу какую-то торжественность. С Фоклендом был Коллинз, так как дело, которое надо было закончить в доме у Клера, в некотором отношении было сходно с теми обязанностями, которые обычно выполнял этот верный слуга. Они о чем-то говорили, потому что в те времена мистер Фокленд еще не имел привычки своей натянутостью и сдержанностью напоминать окружающим, кто он такой. Захватывающая торжественность картины заставила его почти внезапно оборвать разговор, чтобы насладиться ею без помех. Они проехали небольшую часть пути, как вдруг до них донесся порыв ветра, поднявшегося вдаль, и они услышали нечто похожее на глухой рев моря. Вдруг небо с одного края приняло красно-бурый оттенок, и неожиданный поворот дороги поставил их лицом к лицу с этим зрелищем. По мере их движения вперед оно становилось все явственнее, и наконец стало очевидно, что причина его — пожар. Мистер Фокленд прищипорил лошадь, и по мере того как они приближались, открывавшееся их взорам зрелище с каждой минутой принимало все более угрожающий вид. Пламя яростно рвалось ввысь, охватило значительную часть горизонта, и так как оно уносило с собой множество мелких горящих частиц, ярко сверкавших в огне, — все это создавало картину, несколько напоминавшую страшное извержение вулкана.

Огонь бушевал в селении, которое лежало у них на пути. Восемь или десять домов уже пылали, и казалось, что всему селению грозит немедленное уничтожение. Жители были в полной растерянности, так как им еще не приходилось сталкиваться с подобным бедствием. Они поспешно выносили свои пожитки и мебель на соседние поля. Те из них, кому удалось осуществить это

в той мере, в какой это было возможно без риска для себя, не способны были ничего придумать и стояли, ломая руки, в муках бессильного отчаяния, созерцая опустошения, производимые огнем. Вода, которую можно было бы раздобыть тем или иным способом, практиковавшимся в этом месте, была бы бессильна состязаться с разбушевавшейся стихией, тем более что поднялся ветер и огонь стал распространяться все с большей и большей быстротой.

Фокленд несколько мгновений смотрел на это зрелище, как бы обсуждая мысленно, что следует предпринять. Потом он приказал нескольким крестьянам, его окружившим, снести дом, пока еще не тронутый, но соседний с тем, который был весь охвачен пламенем. Они, по-видимому, были удивлены распоряжением, которое требовало от них добровольного разрушения их собственности, и, кроме того, находили, что, ввиду близости огня, дело это — чересчур опасное, чтобы можно было за него взяться. Видя, что крестьяне не двигаются, Фокленд слез с лошади и повелительно крикнул, чтобы они следовали за ним. В одно мгновение Фокленд вошел в дом и тотчас же появился на крыше, как бы в самой середине огня. С помощью двух или трех человек, которые быстрее других последовали за ним и уже успели вооружиться первыми попавшимися под руку инструментами, он освободил крепления у ряда дымовых труб и сбросил их прямо в огонь. Он обошел крышу по всем направлениям и, расставив людей в разных концах и дав каждому работу, сошел вниз посмотреть, что можно сделать в других местах.

В это мгновение из одного объятых пламенем дома выбежала пожилая женщина; лицо ее выражало величайший ужас; как только она немного опомнилась и поняла, что происходит, для тревоги явился новый повод.

— Где мое дитя? — закричала она, обводя испуганным взглядом столпившийся вокруг народ. — Ах, она погибла! Она осталась в огне! Спасите ее! Моя дочка!

Женщина испускала душераздирающие вопли. Она повернула к дому. Стоявшие поблизости пытались удержать ее, но она в одно мгновение оттолкнула их, выбежала во двор, взглянула на обезображенные стены и уже хотела ринуться наверх по пылающей лестнице.

Мистер Фокленд увидел это, догнал женщину, схватил ее за руку. Это была миссис Джекмен.

— Стойте! — крикнул он очень твердо, но с благожелательностью. — Ступайте на улицу! Я найду и спасу ее!

Миссис Джекмен повиновалась. Он поручил стоявшим вблизи присмотреть за ней и справился, где расположена комната Эмили. (Миссис Джекмен гостила у сестры, жившей в этом селении, и привезла с собой Эмили.) Мистер Фокленд поднялся на крышу соседнего дома и проник через слуховое окно в помещение, где находилась Эмили.

Она уже проснулась. Увидя себя в опасности, Эмили тотчас закуталась в широкий плащ — такова непреодолимая сила женских привычек; после этого она с диким отчаянием стала осматриваться вокруг. Фокленд вошел в комнату. Она с молниеносной быстротой бросилась к нему, обняла его и прижалась в порыве, который не успела осознать. Волнение ее было неопишимо. За несколько коротких мгновений она пережила целую вечность любви.

Через две минуты мистер Фокленд был уже на улице со своей прелестной полуобнаженной ношей на руках. Вырвав ее из самых когтей смерти, от которых никто, кроме него, не спас бы ее, и передав любящей покровительнице, он вернулся к прежнему делу. Своим самообладанием, неутомимой любовью к людям и настойчивыми усилиями он спас от разрушения три четверти селения.

Когда пожар наконец был потушен, он опять отыскал миссис Джекмен и Эмили, которая тем временем получила кое-что взамен своих платьев, погибших в огне. Он проявил самую нежную заботу о молодой леди и приказал Коллинзу как можно скорее ехать к себе и прислать его коляску в ее распоряжение. На это ушло больше часа. Мисс Мелвиль никогда раньше не приходилось так долго видеть мистера Фокленда. Любовь к людям, деликатность, твердость и справедливость, так щедро проявленные им за этот короткий промежуток времени, — все это было для нее и ново и в высшей степени обаятельно. У нее осталось смутное впечатление, что в ее поведении или внешности в то мгновение, когда мистер Фокленд явился к ней на помощь, было что-то не

совсем пристойное, и это, в соединении с другими ее переживаниями, делало все приключение опасным и увлекательным.

Не успела Эмили подъехать к родовой усадьбе семьи Тиррел, как хозяин выбежал к ней навстречу. Он только что узнал о печальном происшествии, случившемся в селении, и ужаснулся за свою простодушную кузину. Он выказал те непосредственные чувства, которые свойственны почти каждому представителю человеческого рода. Он был очень испуган при мысли, что Эмили могла стать жертвой катастрофы, разразившейся так неожиданно в глухую ночь. Он был доволен, когда смог заключить ее в свои объятия и его страшные опасения сменились радостной уверенностью. Не успела Эмили войти под хорошо знакомый кров, как ее ум поспешно, а язык неустанно занялись изображением опасности и своего спасения.

Мистера Тиррела и раньше терзали невинные похвалы, которые она произносила по адресу мистера Фокленда. Но это была сама бесцветность по сравнению с богатством и яркостью речи, лившейся теперь из ее уст. Любовь действовала на нее не так, как действовала бы на женщину, усвоившую науку притворно краснеть и не чуждую сознания зла. Эмили с увлечением описывала деятельность и находчивость Фокленда, быстроту, с которой он задумывал свои мероприятия, и осторожную, хоть и смелую рассудительность, с которой выполнял их. Все было сказочно, прекрасно и волшебным в ее безыскусственном рассказе; перед слушателем возникал благодетельный гений, все направлявший и всем руководивший, но не давалось никакого понятия о том, при помощи каких человеческих средств были осуществлены его намерения.

Некоторое время мистер Тиррел терпеливо слушал эти невинные излияния: да, он был в состоянии выслушать похвалы человеку, который только что сделал ему столько добра. Но от многословия рассказчицы тема начала возбуждать в нем отвращение, и наконец он довольно грубо оборвал ее речь. По всей вероятности, позже, когда он мысленно возвращался к этому, все представлялось ему еще более назойливым и невыносимым, чем в первое мгновение; чувство благодарности изгладилось, а преувеличенные похвалы продолжали

терзать его память и звучать у него в ушах; Эмили смешалась в его глазах с той кликой заговорщиков, которая нарушала его покой. Что касается ее самой, то она вовсе не подозревала о своем проступке и продолжала при каждом удобном случае приводить мистера Фокленда как образец изящных манер и подлинного ума. Она была совершенно чужда притворству. Поэтому она не могла представить себе, чтобы кто-нибудь относился к предмету ее восхищения с меньшим пристрастием, чем она сама. Ее бесхитростная любовь стала более пылкой, чем раньше. Она тешила себя надеждой, что только взаимная страсть могла побудить мистера Фокленда к отчаянной попытке спасти ее от пламени. Она не сомневалась, что эта страсть вскоре проявит себя и заставит предмет ее обожания пренебречь разделяющим их расстоянием.

Сперва мистер Тиррел довольно сдержанно пытался останавливать мисс Мелвиль в ее славословиях, давая ей понять, что этот разговор ему неприятен. Он привык обращаться с ней мягко. Эмили, со своей стороны, была всегда готова повиноваться ему без возражений, поэтому остановить ее было нетрудно. Но при первом же случае излюбленная тема невольно опять возвращалась к ней на уста. Ее послушание было уступкой открытого и доброго сердца, но труднее всего на свете было запугать ее. Зная, что сама она и червяку не причинит вреда, она не могла представить себе, чтобы кто-нибудь питал против нее жестокое и мстительное чувство. Ее характер предохранял ее от ссор с людьми, покровительством которых она пользовалась; а так как она не колеблясь во всем уступала, то ей не приходилось подвергаться строгому и суровому обращению. Когда гнев мистера Тиррела при самом имени Фокленда стал более очевиден и постоянен, мисс Мелвиль усилила осторожность. Она обрывала себя среди начатой фразы, которая должна была содержать ему похвалу. Это обстоятельство неизбежно производило неприятное впечатление; получалась ядовитая насмешка над глупостью ее родственника. В таких случаях она иногда решалась добродушно упрекнуть его. «Дорогой сэръ! Право, я удивляюсь, как вы можете быть таким упрямым. Я уверена, что мистер Фокленд оказал бы вам любую услугу», — говорила

она, пока ее не останавливало его нетерпеливое и сердитое движение.

Наконец она преодолела свою неосторожность и невнимательность, но было уже слишком поздно. Мистер Тиррел уже заподозрил существование страсти, которую она легкомысленно выдала. Его воображение, изобретательное на терзания, подсказывало ему возможные темы разговора, в которые она включила бы похвалы мистеру Фокленду, если бы над ней не тяготел этот противостественный запрет. Ее теперешняя сдержанность на эту тему была, пожалуй, еще несносней, чем прежнее многословие. Вся доброта его к несчастной сироте понемногу исчезла. Ее пристрастие к человеку, который был для него предметом безграничного отвращения, казалось ему последней каплей в гонениях коварной судьбы. Он уже видел себя всеми покинутым. Под влиянием роковых чар люди одобряли только извращенное и искусственное и относились со смертельной ненавистью к простому и цельному произведению природы. Охваченный мрачным предчувствием, он теперь испытывал к мисс Мелвиль злобное отвращение и, привыкнув беспрепятственно давать волю своим страстям, решил отомстить ей.

ГЛАВА VII

Мистер Тиррел посоветовался с приятелем, которому с давних пор поверял свои тайны, относительно плана, которому надо было следовать; тот, в своем сочувствии бессердечию и дерзости друга, не допускал и мысли, чтобы ничтожной девчонке, не обладающей ни состоянием, ни красотой, можно было позволить хоть на мгновение помешать такому значительному человеку, как мистер Тиррел, в осуществлении его затей. Первой мыслью ее родственника, теперь неумолимого, было вытолкать ее за дверь и предоставить ей добывать себе хлеб, как она сумеет. Но он понимал, что такой поступок вызовет большие пересуды, и в конце концов остановился на способе, который, по его мнению, достаточно оберегал его имя и в то же время с полной несомненностью обеспечивал ей унижение и наказание.

Для этой цели он остановился на молодом человеке лет двадцати, сыне некоего Граймза, который жил на небольшой ферме, принадлежащей другу мистера Тиррела. Этого парня он решил навязать мисс Мелвиль в качестве мужа, злобно предвидя, что она встретит с отвращением всякое брачное предложение, так как, к ее несчастью, у нее зародилось нежное чувство к мистеру Фокленду. Граймза он выбрал как человека, во всех отношениях противоположного мистеру Фокленду.

В сущности, это был парень без порочных наклонностей, но невероятно грубый и невоспитанный. Телосложение у него было самое нескладное; черты лица — крупные, до странности плохо гармонизировавшие между собой; губы — толстые; голос его звучал резко, без всяких оттенков; ноги его были одинаковой толщины сверху донизу, с уродливыми и неуклюжими ступнями. По натуре он не был завистлив или зол, но всякая нежность была ему совершенно чужда. Тонкость чувств в других не могла его трогать, так как сам он никогда не испытывал ничего подобного. Он был искусным кулачным бойцом, любил самые буйные развлечения и наслаждался драками, которые он не считал особенно обидными, если они не оставляли никаких следов. Вообще ему нравилось шуметь и горланить, не обращая внимания на других; он был упрям и неуступчив не по жестокости или суровости характера, а по неспособности постичь те более тонкие чувства, которые занимают так много места в жизни людей более благородного склада.

Таково было неотесанное и полудикое существо, избранное мрачной злобой мистера Тиррела как наиболее отвечающее его целям. До сих пор Эмили была совершенно свободна от гнета деспотизма. Защитой ей служило ее собственное счастливое ничтожество. Никто не считал пужным связывать ее теми многочисленными мелочными условностями, которыми обычно отравляют жизнь девиц, рожденных в богатстве. Она жила такая же вольная и такая же хрупкая, как птица, спокойно щебечущая в родной чаще.

Поэтому, услышав от своего родственника, что он прочит сй в мужья мистера Граймза, она первое мгновение молчала, удивленная таким неожиданным заявле-

нием. Но как только дар слова вернулся к ней, она возразила:

— Нет, сэр, я не хочу выходить замуж.

— Вы должны. Будто вы не льнете постоянно к мужчинам? Давно пора вас пристроить.

— Мистер Граймз! Нет, право... Если у меня и будет муж, то не такой, как мистер Граймз.

— Бросьте пустяки молоты! Это еще что за неслыханные вольности?

— Боже мой, я даже представить себе не могу, что бы я стала с ним делать. С таким же успехом вы могли бы прислать мне своего страшного пса-водолаза и приказать, чтобы я сшила для него шелковую подушку и положила его у себя в туалетной комнате. Кроме того, сэр, ведь Граймз — простой работник, а я твердо помню, тетушка всегда говорила, что семья наша очень высокого происхождения.

— Это ложь! Наша семья... Неужели вы имеете наглость считать себя членом нашей семьи?

— Но как же, сэр? Разве ваш дедушка не был и моим дедушкой? А если так, то как же мы можем принадлежать к разным семьям?

— На это есть самая основательная в мире причина. Вы дочь негодяя-шотландца, который растратил до последнего шиллинга все состояние моей тетушки Люси и оставил вас нищей. У вас есть сто фунтов, и отец Граймза обещал дать ему столько же. Как вы смеете кичиться перед равным вам?

— О сэр, я не кичусь. Но, право же, право, я никогда не смогу полюбить мистера Граймза. Я очень счастлива и теперь. Зачем мне идти замуж?

— Довольно болтовни! Граймз будет здесь сегодня после обеда. Смотрите, ведите себя с ним пристойно! А то он припомнит и сведет с вами счеты, когда вам это меньше всего придется по вкусу.

— Нет, сэр, я знаю, вы это говорите не серьезно...

— Не серьезно?.. Будь я проклят, если вы не убедитесь, до какой степени это серьезно. Я знаю, чего бы вам хотелось. Вам бы больше хотелось быть любовницей мистера Фокленда, чем женой простого, честного земледельца. Но я возьмусь за вас! Вот к чему приводит снисходительность. Надо с вас сбить спесь, мисс. Надо вас проучить, чтобы вы знали, какая существует разница

между заносчивыми представлениями и действительностью. Вы, пожалуй, немножко посердитесь, не без того. Но не беда. За гордость всегда приходится платить. А если бы вы опозорились, за это винили бы меня.

Тон, которым говорил мистер Тиррел, был так отличен от всего, к чему мисс Мелвилль привыкла, что она чувствовала себя совершенно не способной понять, какой смысл надо придать его словам. Порой ей казалось, что он на самом деле хочет вынудить ее стать в такое положение, о котором она и подумать не может спокойно. Но она тотчас отбрасывала эту мысль как обвинение, которого ее родственник не заслужил, и решила, что это только уловка с его стороны, что он только испытывает ее, не более. Как бы то ни было, чтобы окончательно удостовериться, она решила поговорить со своим постоянным советчиком, миссис Джекмен, и рассказала ей все, что произошло. Миссис Джекмен оценила положение совсем иначе, чем оно рисовалось Эмили: она задрожала от страха за будущее спокойствие своей любимой питомицы.

— Боже мой, дорогая мама! — воскликнула Эмили (она любила называть так добрую экономку). — Неужели вы так думаете? Но все равно. Я никогда не выйду замуж за Граймза, будь что будет.

— А вы можете это сделать? Хозяин заставит вас.

— Нет, вы на самом деле говорите со мной как с ребенком. Мне ведь выходить замуж, а не мистеру Тиррелу. Вы думаете, я позволю кому-нибудь другому выбирать для меня мужа? Право, я не так глупа.

— Ах, Эмили! Вы совсем не сознаете серьезности своего положения. Ваш двоюродный брат — человек жестокий: он, пожалуй, выгонит вас из дома, если вы будете противиться.

— Ах, мама! С вашей стороны нехорошо так говорить. Я уверена, что мистер Тиррел — очень хороший человек, хоть иной раз и бывает сердитым. Он прекрасно знает, что я вправе поступать по-своему в таком деле, как брак. Не наказывают же людей за то, что они поступают по праву.

— Никого не должны бы наказывать, моя дорогая. Но на свете есть очень злые и деспотичные люди.

— Нет, нет... Я никогда не поверю, что мой двоюродный брат из их числа.

— Надеюсь, что нет.

— А если... Что тогда? Конечно, мне очень не хотелось бы сердить его.

— Что тогда? Тогда моя бедняжка Эмили стала бы нищей. Каково бы мне было смотреть на это?..

— Нет, нет, мистер Тиррел только что сказал мне, что у меня есть сто фунтов. Но если бы у меня и не было состояния, разве в таком же положении не находятся тысячи других людей? Зачем мне огорчаться, если они терпят то же самое и веселы? Не тревожьтесь. Я твердо решила пойти на что угодно, только бы не выходить замуж за Граймза. Так я и сделаю.

Миссис Джекмен была не в силах вынести тягостную неизвестность, в которую ее поверг этот разговор, и немедленно отправилась к сквайру, чтобы разрешить свои сомнения. То, как ею был задан вопрос, само по себе достаточно ясно свидетельствовало о том, что она думает об этом браке.

— Это правда, — сказал мистер Тиррел. — Я хотел поговорить с вами об этом деле. Девчонка вбила себе в голову бессмысленные бредни, и они погубят ее. Вы, может быть, знаете, откуда они у нее? Но, так или иначе, давно пора что-нибудь предпринять. Короткий путь — самый лучший. Вещи надо беречь, пока они еще целы. Словом, я твердо решил, что она выйдет замуж за этого парня. Вы не знаете за ним ничего дурного, не правда ли? Вы имеете на нее большое влияние, и я, видите ли, хочу, чтобы вы воспользовались им, направив ее на путь, который приведет ее к добру. Это лучшее, что вы можете сделать, смею вас уверить. Она дерзкая и злая девчонка. Мало-помалу она стала бы распутницей, не лучше обыкновенной проститутки, и сгнила бы на навозной куче, если бы я не прилагал всех этих стараний, чтобы спасти ее от гибели. Я хочу сделать из нее честную жену фермера, а прекрасная мисс не может примириться с этой мыслью.

После обеда, согласно уговору, явился Граймз и был оставлен наедине с молодой леди.

— Ну, мисс, — сказал он, — сквайру, как видно, желательно, чтобы мы были мужем и женой. Что до меня, не могу сказать, чтобы мне это приходило в голову, но уж если сквайр проломил лед и вам это дело по душе —

что ж, я готов. Скажите свое слово: слепой лошади что кивнуть, что подмигнуть — все одно.

Эмили была только что достаточно оскорблена неожиданным предложением мистера Тиррела. Теперь ее привели в смятение новизна положения и еще больше — невежество и грубость ее нареченного, превзошедшие даже ее ожидания. Граймз объяснил ее смущение застенчивостью.

— Полно, полно, никогда не нужно теряться. Надо глядеть веселей. Чего там! Моей первой зазнобушкой была Бет Батерфильд. Так что ж из этого? Чему быть — того не миновать, слезами сыт не будешь. Она была славная, видная девка — что правда, то правда. Пять футов десять дюймов и такая дюжая, что кавалеристу впору. О, она могла уйму наработать. Вставала рано, ложилась поздно, десять коров своими руками выдаивала. Накинет плащ, да и едет на рынок со своими корзинами, будь то хорошая погода или дурная, град, вестер или снег. Сердце радовалось, как взглянешь на ее щеки, нарумяненные морозом, что красное яблочко из ее же сада. Ах, вот это была девка для горячей поры: со жнецами как развезится, — одного — хлоп по спине, с другим борется, и для каждого-то у нее найдется шельмовская проделка и шутка. Бедная! Как-то на крестинах сломала себе шею, спускаясь с лестницы. Ну, другой такой я уж, понятно, не найду. Но вы на это не обращайтесь внимания. Надо полагать, как познакомимся ближе, в вас тоже что-нибудь мне понравится. Уж как вы ни скромны да стыдливы, а наверно — тоже шельма! Вот посмотрим, как я вас растормошу да помну малость. Что вы там ни думайте, а я малый не промах. Знаю, что к чему, и не хуже другого вижу, что надо. Да, да... Все обойдется. Ключет рыбка на приманку, будьте покойны. Да, да, мы здорово поладим друг с другом.

Между тем Эмили собралась с духом и, выражая благодарность мистеру Граймзу за его доброе мнение о ней, стала объяснять ему, что ее никогда не могли бы заставить отнестись благосклонно к его ухаживанию. На этом основании она просила его отказаться на будущее время от всяких на нее притязаний. Это заявление Эмили прозвучало бы более внятно, если бы не шумное поведение и неуместная жизнерадостность Граймза, которые не располагали его к молчанию и за-

ставляли его предполагать, что он уже с полуслова достаточно уловил мысль собеседника. Между тем мистер Тиррел ни под каким видом не хотел прерывать эту сцену, не дав им времени подойти к объяснению; потом он постарался помешать молодым людям слишком близко узнать склонности друг друга. В результате Граймз приписал сдержанность мисс Мелвиль девической стыдливости и посмотрел на нее как на свое нравную пугливую необъезженную кобылку. Впрочем, если бы даже дело обстояло иначе, вряд ли это произвело бы на него большое впечатление, так как он давно привык считать женщин созданными для удовольствия мужчин и возмущался слабостью тех, кто допускает, что женщины могут иметь собственное мнение.

По мере того как ухаживание Граймза продолжалось и мисс Мелвиль чаще видела своего поклонника, ее неприязнь все усиливалась. Но, хотя характер ее не был испорчен теми ложными претензиями, которые часто делают девушек несчастными в родной семье, в то самое время как они располагают решительно всем, чего только может желать человек, — она все-таки не привыкла в прошлом встречать противодействие и была в ужасе от возрастающей суровости своего родственника. Порой она думала о бегстве из дома, который стал для нее тюрьмой, но привычки юности и незнание света заставили ее отказаться от этого намерения, когда она подробней обсудила его. Миссис Джекмен, конечно, не могла спокойно думать о Граймзе как о супруге для ее ненаглядной Эмили. Но осторожность заставляла ее всеми силами противиться намерениям молодой леди перейти к решительным действиям. Она не могла допустить, чтобы мистер Тиррел упорно продолжал свои притеснения, и уговаривала мисс Мелвиль забыть на мгновение о природной независимости своего характера и победить упрямство двоюродного брата трогательными мольбами. Она очень верила в действие бесхитростного красноречия своей питомицы. Миссис Джекмен не знала, что происходит в душе тирана.

Мисс Мелвиль решила последовать совету своей нянюшки. Однажды утром, сейчас же после завтрака, она подошла к своим клавикордам и сыграла одну за другой несколько пьес, которые мистер Тиррел особенно любил. Миссис Джекмен удалилась, слуги разошлись

по своим делам, и мистер Тиррел ушел бы тоже — он был не в настроении, и музыкальные упражнения Эмили уже не доставляли ему того удовольствия, которое он обыкновенно испытывал от них раньше. Но пальцы ее на этот раз оказались искуснее, чем обычно. Должно быть, мысль о том деле, которое она собиралась защищать, сообщила ей твердость и смелость; к тому же она не знала расслабляющего трепета, который испытывал бы человек, не способный заглянуть в лицо нищете. Мистер Тиррел был не в силах покинуть комнату. Порой он принимался нетерпеливо шагать взад и вперед, потом наклонялся над несчастной невинной девушкой, которая прилагала все старания, чтобы угодить ему. Наконец он опустился в кресло против Эмили и впериł в нее взор. Морщины, бороздившие его лицо, постепенно разгладились, черты озарились улыбкой; казалось, в сердце его снова оживает доброта, с которой он прежде взирал на Эмили.

Эмили выжидала удобную минуту. Кончив одну из пьес, она встала и подошла к мистеру Тиррелу.

— Ну как? Разве я не хорошо это сыграла? И после этого неужели вы не дадите мне награду?

— Награду? Ну что же... Подите сюда, я вас поцелую.

— Ах, нет, не то! Хотя... вы уже давно не целовали меня. Раньше вы говорили, что любите меня, и звали меня своей Эмили. Но, уж верно, вы любили меня не так сильно, как я вас. Вы не забыли, как были прежде добры ко мне? — тревожно добавила она.

— Забыл? Нет, нет! Как вы можете задавать такой вопрос? Вы опять будете моей дорогой Эмили.

— Ах, какие это были счастливые времена! — воскликнула она немного жалобно. — Знаете, братец, мне так хотелось бы проснуться и узнать, что весь последний месяц, — да, около месяца, — просто дурной сон.

— Что вы хотите этим сказать? — спросил мистер Тиррел изменившимся голосом. — Берегитесь! Не портите мне настроения! Не разводите снова своих романтических бредней!

— Нет, нет, никаких романтических бредней у меня и в мыслях нет. Я говорю о том, от чего зависит счастье всей моей жизни.

— Вижу, к чему вы клоните. Молчите! Вы отлично знаете, что бесполезно надоедать мне своим упорством. Вы ни минуты не даете мне побыть с вами в хорошем настроении. Что я решил насчет Граймза, от этого я не откажусь, будь хоть весь мир против меня!

— Милый, милый братец! Подумайте! Граймз грубый, неотесанный, как Орсон в детской книге.* Ему и жена нужна такая же, как он. Со мной ему было бы так же плохо, как и мне с ним: он тоже не знал бы, что ему со мной делать. Зачем принуждать нас обоих к тому, что ни одного из нас не привлекает? Не могу понять, как это пришло вам в голову. Но теперь — умоляю вас! — откажитесь от этой мысли. Брак — дело серьезное. Не можете же вы соединить людей, которые ни в каком, решительно ни в каком отношении не подходят друг другу. Всю жизнь мы бы чувствовали себя униженными и несчастными. Месяц проходил бы за месяцем, год за годом, и для меня не было бы никакой надежды вернуть себе свободу — разве только после смерти того человека, которого я должна была бы любить. Я уверена, сэр, что вы не захотите причинить мне столько зла. Что я сделала? Почему вы стали моим врагом?

— Я не враг вам. Я все время твержу, что вас необходимо уберечь от зла. Но даже если бы я был вашим врагом, я не мог бы терзать вас больше, чем вы меня. Разве вы не распеваете постоянно хвалы Фокленду? Разве вы не влюблены в Фокленда? Для меня этот человек стоит легиона дьяволов!.. Можно подумать, что я нищий. Можно подумать, что я урод, чудовище. Было время, я считал себя вправе быть всеми уважаемым. А теперь, развращенные этим французоподобным негодяем, они называют меня грубым, угрюмым тираном. Что правда, то правда: я не умею вести тонкий разговор, льстить людям лицемерными похвалами и скрывать, что на самом деле у меня на душе. Мерзавец понимает, в чем его жалкие преимущества, и то и дело унижает меня. Он мой соперник и мой гонитель. Наконец — точно мало всего этого! — он сумел еще посеять заразу в моей собственной семье. И надо же, чтоб вы, которую мы приняли из милости, случайное порождение тайного брака, вы обернулись против своего благодетеля и уязвили меня как раз в самое чувствительное место! Если

бы я даже стал вашим врагом, разве у меня нет на это причины? И разве беды, которые я мог бы навлечь на вас, сравнятся с тем, что вы заставили меня вытерпеть? А что вы такое? Даже жизнью пятидесяти таких, как вы, не искупить одного неприятного для меня часа. Вас хоть двадцать лет пытай, вы не почувствуете того, что я чувствую. И все-таки я ваш друг! Я вижу, куда вы идете. И я твердо решил спасти вас от этого оболстителя, этого лицемерного злодея, которого всем нам надо опасаться. Каждая минута, в течение которой зло идет своим путем, делает плохое еще худшим. И я намерен спасти вас без промедлений.

Сердитые укоры мистера Тиррела произвели перемену в нежной душе мисс Мелвиль. Он никогда еще не изливал своих чувств с такой откровенностью. Буря, поднявшаяся в нем, лишила его власти над самим собою. Мисс Мелвиль с изумлением увидела, что он непримиримый враг мистера Фокленда, которого — как она думала — нельзя было узнать, не полюбив. Она поняла, что он затаил глубоко укоренившуюся неприязнь против нее. Она отпрянула, сама хорошенько не зная почему, перед злобной яростью своего родственника и поняла, что ей нельзя ждать ничего хорошего от его неумолимого нрава. Но тревога эта предшествовала в ней приступу твердости, а не трусости.

— Нет, сэр, — возразила она, — поверьте, я не позволю вести себя по любому пути, какой вам вздумается выбрать для меня. Я привыкла вам повиноваться и буду повиноваться и впредь во всем, что благоразумно. Но вы требуете слишком многого. Что вы толкуете мне о мистере Фокленде? Позволила ли я себе хоть один поступок, который мог заслужить ваши недобрые подозрения? Я невинна и буду невинной и впредь. Мистер Граймз неплохой человек и, без сомнения, встретит женщин, которым понравится. Но мне он не подходит, и никакие пытки не заставят меня быть его женой.

Мистер Тиррел был немало удивлен мужеством, которое Эмили проявила в этом случае. Он был слишком уверен в мягкости и кротости ее характера. Теперь он попытался смягчить суровость только что выраженных им чувств.

— Черт возьми! Да вы, оказывается, умеете браниться. Вам угодно, чтобы каждый сворачивал со своего

пути и приносил да уносил все, что вам вздумается. Если заглянуть мне в сердце... Ну, да вы знаете, чего я хочу. Я настаиваю на том, чтобы вы позволили Граймзу ухаживать за вами, перестали бы дуться и как следует слушали бы его. Согласны на это? Если и после этого вы станете упорствовать в своем своенравии, — ну что же, придется, пожалуй, покончить с этим делом. Только не воображайте, что найдется охотник жениться на вас с вашего согласия или без него. Не такой уж вы лакомый кусочек, уверяю вас! Если бы вы понимали свою собственную выгоду, вы были бы рады взять молодца, пока он на это идет.

Мисс Мелвиль обрадовалась возможному окончанию в недалеком будущем ее теперешних мучений, на которое позволяли надеяться последние слова ее родственника. Миссис Джекмен, с которой она поделилась своими надеждами, поздравила Эмили с возвращением к сквайру умеренного расположения духа и здравого смысла, а себя самое — с той осторожностью, которая подсказала ей советы молодой леди, приведшие к такой счастливой развязке. Но их взаимные поздравления продолжались недолго. Мистер Тиррел заявил миссис Джекмен, что он вынужден отослать ее довольно далеко по делу, которое, наверное, задержит ее на несколько недель. И хотя поручение отнюдь не производило впечатления придуманного и сомнительного, мисс Мелвиль и ее друг усмотрели в этой несвоевременной разлуке печальное предзнаменование. В то же время миссис Джекмен убеждала свою питомицу держаться твердо, напоминала ей о раскаянии, которое уже проявил ее родственник, и поддерживала в ней надежду на то, что все уладится благодаря ее смелости и доброте. Со своей стороны, Эмили, хотя и огорченная отсутствием в столь критический момент своей защитницы и советчицы, была не в силах подозревать мистера Тиррела в таком коварстве и двоедушии, которые могли бы подать повод к серьезной тревоге. Она поздравляла себя с освобождением от столь горестных притеснений и считала счастливый исход первого в ее жизни серьезного дела предвестием будущего счастья. На смену ее прежним приятным грезам, связанным с мистером Фоклендом, пришло состояние духа, исполненное мужества и тревоги. Она переносила это безропотно. Неуверенная в главном, она даже

склонна была скорее продлить, чем привести к концу положение, которое, может быть, было обманчиво, но не лишено своей прелести.

ГЛАВА VIII

Ничто не было так далеко от намерений мистера Тиррела, как подобное завершение его замыслов. Освободившись от страха перед вмешательством экономки, мистер Тиррел тотчас же круто изменил свое поведение. Он приказал, чтобы мисс Мелвиль оставалась безвыходно у себя в комнате, и лишил ее всякой возможности сообщить о своем положении кому бы то ни было за пределами его дома. Он приставил к ней служанку, на которую мог всецело положиться и которая, будучи раньше осчастливлена любовным вниманием сквайра, видела в тех преимуществах, которыми пользовалась в усадьбе Эмили, присвоение прав, скорее принадлежащих ей самой. Сквайр, в свою очередь, делал все, что было в его силах, для очернения доброго имени молодой леди и внушал своей челяди, что предосторожности эти необходимы, чтобы воспрепятствовать ей бежать к его соседу и тем окончательно ввергнуть себя в пучину гибели.

После того как мисс Мелвиль провела двадцать четыре часа в заточении и можно было с некоторым основанием предположить, что она смирилась духом, мистер Тиррел счел уместным отправиться к ней, чтобы объяснить причины теперешнего обращения с ней и указать ей единственный путь, на котором ее может ожидать перемена к лучшему. Как только Эмили увидела его, она повернулась к нему с таким решительным видом, какого, пожалуй, не имела ни разу в жизни, и обратилась со следующими словами:

— Это вы, сэр? Прекрасно! Мне нужно было видеть вас. Говорят, я заперта по вашему приказанию. Что это значит? Какое право имеете вы держать меня пленницей? Чем я обязана вам? Ваша мать оставила мне сто фунтов. Разве вы когда-нибудь предлагали увеличить мое имущество? Да если бы и предложили, мне этого не нужно. Я не хочу жить в лучших условиях, чем дети других бедных родителей. Как и они, я могу сама себя

содержать. Я предпочитаю свободу богатству. Я вижу, вы удивлены решимостью, которую я проявляю. Но разве я могу позволить растоптать себя? Я покинула бы вас раньше, если бы миссис Джекмен не уговорила меня и если бы я не была о вас лучшего мнения, чем вы заслуживаете, судя по теперешнему вашему поведению. Но теперь, сэр, я намерена оставить ваш дом сию же минуту и настаиваю на том, чтобы вы не пытались удерживать меня.

Сказав это, она поднялась и направилась к дверям, в то время как мистер Тиррел стоял ошеломленный ее душевной твердостью. Однако, видя, что еще мгновение — и она будет вне пределов досягаемости, он спохватился и потащил ее назад.

— Это еще что за новости! Потаскуха! Ты думаешь, что одержишь надо мной верх своим бесстыдством? Садись! Удовлетворись этим. Так тебе угодно знать, по какому праву я держу тебя здесь, да? По праву собственника. Этот дом мой, и ты в моей власти. Сейчас здесь нет миссис Джекмен, чтобы увезти тебя. Да. Нет и Фокленда, чтобы затеять из-за тебя ссору. Будь я проклят, если я не перехитрил тебя и не пустил на ветер все твои затеи. Ты думаешь, я позволю безнаказанно возражать себе и чинить мне препятствия? Случалось ли тебе видеть живое существо, которое противилось бы моей воле и потом не раскаивалось бы? Так неужели я отступлю теперь перед рябой девчонкой! Я не увеличил твоих средств, черт побери? А кто тебя вырастил? Я предъявляю тебе счет за тряпки и помещение. А разве тебе не известно, что всякий кредитор имеет право задержать своего сбежавшего должника? Думай что хочешь. Но ты не выйдешь отсюда до своей свадьбы с Граймзом. Нет силы ни на небе, ни на земле, которая помешала бы мне тебя переупрямить.

— Недостойный, безжалостный человек! Значит, вам довольно того, что меня некому защитить? Но я не так беспомощна, как вам кажется. Вы можете держать в заточении тело, но вы не покорите моего духа. Выйти замуж за мистера Граймза! И такими средствами вы думаете склонить меня к выполнению своего желания? Каждое притеснение, которое я терплю, еще больше отодвигает то, ради чего я подвергаюсь такому несправедливому обращению. Вы не привыкли, чтобы противились

вашей воле. А когда я противилась ей? Но в деле, которое касается только меня, неужели моя воля ничего не значит? Неужели, установив такое правило для самого себя, вы не позволяете воспользоваться им никому другому? Мне от вас ничего не нужно. Как смеете вы отнимать у меня право всякого разумного существа жить спокойно в бедности и невинности? Каким человеком выказываете вы себя — вы, имеющий притязание на уважение и похвалы со стороны всех знающих вас?

Смелые упреки Эмили сперва производили на мистера Тиррела сильное впечатление, повергая его в изумление и вызывая в нем смущение и страх перед беззащитной невинной девушкой. Но смятение его произошло от неожиданности. Как только первое впечатление изгладилось, мистер Тиррел стал клясть себя за то, что позволил себе смягчиться от ее увещаний. Его негодование против Эмили удесятирилось оттого, что она посмела пренебречь его недовольством в такое время, когда ей следовало всего страшиться. Его деспотический и неумолимый нрав был возбужден до степени, близкой к умопомешательству. Он изощрялся в придумывании всевозможных наказаний для упрямцы. Он начинал подозревать, что у него мало надежды добиться победы прямым насилием, и потому он решил прибегнуть к хитрости.

В Граймзе он нашел орудие, достаточно пригодное для его целей. Этот малый, в котором не было ни капли умышленной злобы, был способен причинять другим величайший вред из-за одной грубости своих понятий. Сам он видел вред или пользу в чем бы то ни было в зависимости от того, насколько это удовлетворяло его запросы, и считал признаком истинной мудрости свысока относиться к тем, кто позволяет себе терзаться из-за душевных горестей. Он был убежден, что на долю молодой женщины не может выпасть более счастливой участи, чем быть его женой, и полагал, что такой исход с избытком вознаградит ее за любые беды, каким она может подвергнуться. Поэтому при помощи нескольких соблазнов, которые мистер Тиррел сумел пустить в ход, он легко позволил склонить себя к участию в заговоре, имевшем целью опутать мисс Мелвиль. Подготовив таким образом почву, мистер Тиррел начал действовать на пленницу запугиваниями через посредство приставлен-

ной к ней для надзора служанки (так как уже испытанный им опыт личных пререканий с нею не располагал к их повторению). Эта женщина время от времени оповещала Эмили — иной раз под предлогом дружеского расположения, иной раз с нескрываемым злорадством — о приготовлениях, которые делаются к ее свадьбе. Иногда она сообщала: «Сквайр ездил посмотреть славную маленькую ферму, которая предназначена служить местожительством для четы новобрачных»; или: «Закупается множество скота и предметов домашнего обихода, чтобы все было готово для их встречи». Потом она говорила ей о том, что разрешение на брак получено, что приглашен пастор и что назначен день свадьбы. Когда Эмили пыталась, хотя и со все возраставшими дурными предчувствиями, высмеивать эти меры как совершенно недействительные при отсутствии согласия с ее стороны, эта коварная женщина рассказывала всевозможные истории о девушках, насильно выданных замуж, и уверяла ее, что ни возражения, ни молчание, ни обморок не смогут остановить брачный обряд и не позволят признать его несостоявшимся после того, как он будет совершен.

Положение мисс Мелвиль было в высшей степени жалкое. Она ни с кем не виделась, кроме своих гонителей. У нее не было ни одного человека, с которым она могла бы посоветоваться, от которого могла бы получить хоть самую слабую поддержку и утешение. Мужество было ей свойственно, но оно не укреплялось и не направлялось внушениями опыта. Нельзя было поэтому ожидать, чтобы оно осталось таким же непреклонным, каким оно, без сомнения, было бы при большей осведомленности. Ум у нее был ясный и благородный, но ей не были чужды некоторые слабости, свойственные ее полу. Она падала духом под напором постоянных страхов, и ее здоровье заметно ухудшалось.

Когда ее твердость была уже поколеблена этими хитрыми происками, Граймз, следуя полученным указаниям, при ближайшем свидании с нею не преминул сделать намек, что он, со своей стороны, никогда не стремился к этому браку, и раз эта свадьба так ей не по душе, то и он, Граймз, предпочел бы, чтобы она вовсе не состоялась. Впрочем, раз уж он очутился между двух огней, — видно, хочешь не хочешь, а жениться придется.

Оба сквайра, конечно, разорят его при малейшей попытке пойти на попятный, — они ведь привыкли поступать так с низшими, когда те противятся их воле. Эмили обрадовалась, видя, что ее нареченный так благоприятно настроен, и принялась настойчиво убеждать его претворить в дело его добросердечное заявление. Ее уговоры были исполнены силы и красноречия. Граймз как будто был тронут пылкостью ее доводов, но делал вид, что бонится гнева мистера Тиррела и своего хозяина. Наконец он все-таки предложил план тайного побега, которому он соглашался содействовать, надеясь остаться вне подозрений.

— Оно конечно, вы обидно отказали мне, как говорится, — заявил он, — может, подумали, что я не лучше скотины. Но я на вас не сержусь и докажу, что сердце у меня добрее, чем вам думается. Чудной у вас нрав: сами себе вредите и всем друзьям своим делаете неприятности. Но уж раз вы решили, понимаете... Претит мне брать девушку, которая идет за меня неохотно. Потому я и хочу помочь вам отправиться, куда вам вздумается, и устраиваться по своему желанию.

Сначала Эмили прислушивалась к этим предложениям с горячим одобрением. Но пыл ее немного охладел, когда они начали обсуждать подробности такого предприятия. Необходимо, заявил ей Граймз, чтобы бегство ее осуществилось глубокой ночью. Для этого он спрячется в саду, запасшись поддельными ключами, при помощи которых он и освободит ее из заключения. Это обстоятельство отнюдь не могло способствовать успокоению ее встревоженного воображения. Отдать себя в руки человека, общения с которым она всеми силами старалась избежать, которого как навязанного ей спутника жизни она могла выносить меньше, чем кого бы то ни было, — без сомнения значило совершить необычайный поступок. Привходящие обстоятельства — темнота и безлюдье — делали картину еще сграшнее. Усадьба Тиррелов была расположена крайне уединенно; до ближайшего селения было три мили, и не меньше семи — до того, где проживала сестра миссис Джекмен, у которой мисс Мелвиль собиралась укрыться. Простодушие Эмили не позволило ей ни на одно мгновение заподозрить Граймза в том, что он намерен грубо и неблагородно воспользоваться этими обстоятельствами. Но в

душе она невольно возмущалась при мысли, что должна была довериться мужчине, на которого последнее время привыкла смотреть как на орудие своего вероломного родственника.

Поразмыслив некоторое время над этими обстоятельствами, она нашла выход и выразила желание, чтобы Граймз попросил сестру миссис Джекмен ждать ее за оградой сада. Но Граймз решительно отказался. Он даже вспылил при таком предложении: видно, не очень-то она ему благодарна, если желает, чтобы он обнаружил перед посторонними свое участие в этом опасном деле. Что до него, он решил ради собственной безопасности не выдавать этого ни одной живой душе. Хотя он и сделал это предложение только по сердечной доброте, но если она не хочет вполне довериться ему одному, — что ж, пусть сама отвечает за последствия. Он твердо решил не снисходить больше к капризам женщины, которая обращалась с ним так надменно, как сам Люцифер.*

Эмили приложила все усилия, чтобы успокоить его. Но все красноречие ее сообщника не могло заставить ее сразу отказаться от своих опасений. Она пожелала отложить решение до завтрашнего дня, чтобы иметь время все обдумать. А на послезавтра мистером Тиррелом была назначена свадебная церемония. Тем временем ее преследовали самые разнообразные напоминания о судьбе, ожидающей ее в столь скором времени. Приготовления велись так неумоимо, непрерывно и последовательно, что могли вызвать в ней только чувство самой мучительной и болезненной тревоги. А если сердце ее находило минуту отдыха, то сторожившая ее женщина тотчас спешила нарушить ее покой каким-нибудь лукавым намеком или ядовитым замечанием. Позже Эмили говорила, что она чувствовала себя одинокой, неопытной, как будто только что освободившейся от младенческих пеленок, не имеющей ни одного живого существа, которого волновала бы ее судьба. Она, до сих пор не знавшая врагов, за последние три недели не видела человека, которого с полным основанием не считала бы в лучшем случае совершенно чуждым ей и в худшем — неумоимо подготовляющим ее гибель. Тут она впервые испытала скорбь о том, что никогда не знала своих родителей и пользовалась милостью людей,

по отношению к которым занимала настолько неравное положение, что не могла надеяться на дружеское участие с их стороны.

Ночь была полна самых мучительных раздумий. Как только минутное забытие овладевало ею, измученное воображение вызывало тысячи образов насилия и обмана. Она видела себя в руках своих заклятых врагов, которые не останавливались перед самым дерзким предательством, чтобы довершить ее гибель. Не более утешительными были и ее мысли наяву. Борьба оказалась не по ее слабым силам. Когда наступило утро, Эмили решилась довериться Граймзу на волю случая. Как только это решение было принято, она почувствовала значительное облегчение. Эмили не могла представить себе такого несчастья, явившегося следствием этого поступка, которое можно было бы приравнять к бедам, казавшимся ей неминуемыми под кровом ее родственника.

Когда она сообщила Граймзу о своем решении, невозможно было сказать, обрадовало или огорчило его это известие. Граймз улыбнулся, но эта улыбка сопровождалась такой неожиданной суровостью в обращении с ней, что в этом можно было прочесть и радость и насмешку. Впрочем, он повторил свои обещания быть верным принятым им на себя обязательствам и точно их выполнить. Весь этот день был занят получением свадебных подарков и приготовлениями, подтверждающими как твердую решимость, так и сознание безответственности исполнителей этой затеи. Эмили надеялась, что по мере приближения решительного момента они немного ослабят обычный надзор. Она решила в этом случае, если бы обстоятельства сложились удачно, ускользнуть и от своих тюремщиков и от нового, поневоле избранного ею сообщника. Но хотя ради этого она и проявляла крайнюю бдительность, намерение ее оказалось невыполнимым.

Наконец пришла ночь, столь роковая для ее счастья. При таких условиях Эмили, разумеется, не могла не испытывать крайнего волнения. Сначала она напрягала всю свою изворотливость, чтобы обмануть бдительность приставленной к ней служанки. Эта наглая и бесчувственная тиранка вместо каких бы то ни было послаблений только издевалась над нею. Так, один раз она спряталась и, наведя Эмили на мысль, что путь свобо-

ден, встретила ее затем в конце галереи, почти у самой лестницы.

— Как вы себя чувствуете, моя дорогая? — сказала она оскорбительным тоном. — Значит, милая крошка считает себя достаточно ловкой, чтобы перехитрить меня? Экая вострушка! Ступайте-ка обратно, миленькая, живо!

Эмили была глубоко возмущена этой проделкой. Она вздохнула, но не удостоила ответом низкую и черствую женщину. Вернувшись к себе в комнату, она опустилась в кресло и просидела так, погруженная в думы, больше двух часов. После этого она подошла к комоду и торопливо и беспорядочно перебрала свое белье и платья, прикидывая в уме, чем необходимо запастись для бегства. Ее сторожиха услужливо следовала за ней от одного места к другому и на этот раз в полном молчании наблюдала ее действия. Пришло время ночного отдыха.

— Спокойной ночи, деточка, — сказала ей наглая женщина, перед тем как удалиться. — Пора запирать. В ближайшие часы вы располагаете собой. Воспользуйтесь этим получше. Вы не пролезете в замочную скважину, милая, а? Как вы думаете? В восемь часов вы меня опять увидите. А там, а там, — добавила она, хлопая в ладоши, — все будет окончено. Вы соединитесь со своим достойным женишком; это так же верно, как то, что взойдет солнце.

В тоне этой отвратительной особы, когда она прощалась, было что-то такое, что заставило Эмили спросить себя: «Что она подразумевает? Неужели она знает о том, что должно совершиться в ближайшие часы?» В первый раз у нее возникло подозрение, но оно держалось недолго. С болью в сердце собрала она немногие необходимые вещи, которые намерена была взять с собой. Она инстинктивно прислушивалась к малейшему шороху с таким страхом, что расслышала бы даже шелест листочка. Время от времени ей казалось, что до ее слуха доносится шум шагов, но если это и было так на самом деле, то ступали так осторожно, что нельзя было убедиться, действительно ли это звук или только плод ее воображения. Потом все затихло, как если бы в мире приостанавливалось всякое движение. Понемногу ей стало казаться, что она улавливает какие-то звуки вроде жужжания, словно разговор шепотом. Сердце ее забило. Во второй раз она усомнилась в честности Граймза.

Подозрение на этот раз было сильнее, чем прежде. Но было уже поздно. В эту самую минуту она услышала звук поворачиваемого в замке ключа, и в дверях появился фермер. Вздвогнув, она воскликнула:

— Нас накрыли? Я слышала, вы с кем-то разговаривали!

Граймз подошел к ней на цыпочках, прижав палец к губам.

— Нет, нет, — возразил он, — все спокойно. — И, взяв ее за руку, он молча вывел ее из дому в сад.

По мере того как они подвигались вперед, Эмили вопрошала взглядом все двери и переходы, глядя по сторонам с боязливым подозрением. Но все было так пусто и тихо, как только можно было желать. Граймз распахнул незапертую боковую калитку, которая вела из сада на уединенную дорожку. Там стояли две лошади, уже взнузданные и оседланные для езды, привязанные уздечками к столбу не более как в шести ярдах от сада. Граймз захлопнул за собой калитку.

— Боже мой! — воскликнул он. — У меня прямо душа в пятки ушла. Когда я пробирался к вам, так видел Мена, кучера: он глядел из кухонной двери на конюшню. Стоило ему только прыгнуть, шагнуть — и быть бы мне пойманным. Да у него фонарь в руках был — ну, он и не видел, как я в темноте притаился.

Рассказывая, Граймз помог мисс Мелвиль сесть на лошадь. Дорогой он мало беспокоил ее, напротив, был необыкновенно молчалив и задумчив — обстоятельство, стнюдь не неприятное для Эмили, которая с трудом переносила беседы с ним. Проскакав около двух миль, они свернули в лес, через который шла дорога к цели их путешествия. Ночь была необычайно темная, и в то же время воздух был теплый, ласкающий, как всегда в середине лета. Когда они значительно углубились в недра этого сумрачного и уединенного леса, Граймз, под тем предлогом, что ему нужно разведать дорогу, поравнялся с мисс Мелвиль и поехал с ней рядом; вдруг, неожиданно протянув руку, он схватил ее лошадь за узду.

— Пожалуй, задержимся здесь малость, — сказал он.

— Задержимся?! — воскликнула Эмили в изумлении. — Зачем нам задерживаться? Что вы хотите этим сказать, мистер Граймз?

— Ну, ну, — был ответ, — нечего удивляться. Вы что же думаете, я такой простофиля, что стану трудиться ради одного вашего каприза? Э, нет, говорю по чести: ни для кого не буду выючной лошастью, не хочу устраивать чужие дела неизвестно ради чего. Не могу сказать, чтобы поначалу вы мне были очень нужны. Да и обхождение у вас такое, что и в прадедушке моем кровь закипела бы. Но издалека привезенное да дорого оплаченное — всегда лакомо. Так трудно было добиться вашего согласия, что сквайр подумал — в темноте дело выйдет верней. Ну, а в доме у себя, говорит, таких штук не позволю. Вот мы сюда и приехали, как видите.

— Мистер Граймз, ради бога, подумайте, что вы делаете! Не можете же вы быть таким низким, чтобы погубить несчастное существо, которое доверилось вашей защите!

— Погубить? Нет, зачем же. Когда все будет кончено, я сделаю из вас честную женщину. Ну, довольно кривляний. На проезжих не рассчитывайте. Вы у меня здесь так же в руках, как лошадь в загоне. Ближе чем на одну милю нет ни дома, ни лачуги. И если я не воспользуюсь случаем, можете назвать меня разиней. По чести, кусочек лакомый, и время терять не приходится.

У мисс Мелвиль в распоряжении было только мгновение, чтобы собраться с мыслями. Она видела, что мало надежды умиловить упрямое и бесчувственное животное, во власти которого она находилась. Но присутствие духа и неустрашимость — эти неотъемлемые свойства ее характера — не изменили ей и на этот раз. Не успел Граймз договорить, как сильным и неожиданным движением она вырвала из его рук узду и в то же мгновение пустила лошадь в галоп. Едва отдалилась она на расстояние, равное длине ее лошади, как Граймз пришел в себя и бросился за ней в погоню, жестоко уязвленный, что его провели так легко. Топот его лошади позади только горячил лошадь Эмили. Благодаря ли случайности или своей сообразительности животное, не сбиваясь, держалось извилистой дорожки, и погоня продолжалась на всем протяжении леса.

В конце его были ворота. Мысль о них немного смягчала жестокую досаду Граймза, потому что он был уверен, что с их помощью он остановит бегство Эмили. Трудно было ожидать, чтобы кто-нибудь появился здесь

и помешал ему исполнить свои намерения в таком месте, в глухой тишине ночи. Однако по совершенно необычайному совпадению у ворот оказался всадник, кого-то поджидавший. «Помогите, помогите! — воскликнула охваченная ужасом Эмили. — Грабят! Убивают! На помощь!» Всадник был мистер Фокленд. Граймз узнал его голос; поэтому, хотя он и пытался сердито возразить, но это звучало слабо. Двое других людей, которых он сперва не заметил из-за темноты и которые были слугами мистера Фокленда, услышав шум и встревожившись за безопасность хозяина, подъехали ближе. Тогда Граймз, обманутый в своих расчетах, так как добыча ускользнула у него из рук, и в то же время встревоженный сознанием своей вины, уклонился от дальнейших переговоров и молча поехал прочь.

Может показаться удивительным, что мистер Фокленд вторично оказался спасителем мисс Мелвиль и что это произошло при самых странных и неожиданных обстоятельствах. Но в данном случае это объясняется просто. До Фокленда дошли слухи о человеке, будто бы скрывающемся в этом лесу с целью грабежа или с другими дурными намерениями; по общему мнению, это был Хоукинс, еще одна жертва сельской тирании мистера Тиррела, о котором мне вскоре представится случай рассказать читателю. Мистер Фокленд очень жалел Хоукинса, но тщетно старался его разыскать, чтобы помочь ему. Он считал, что если предположения, которые делались насчет Хоукинса, окажутся правильными, то ему удастся не только выполнить свое давнишнее намерение, но и удержать также от гибельных проступков против закона и общества человека, который, по-видимому, глубоко проникнут чувствами справедливости и добродетели. Фокленд взял с собою двух слуг, так как, отправляясь со специальным намерением встретить разбойников, счел бы непростительным не обезопасить себя от возможных случайностей, если бы разбойники в самом деле оказались налицо. В то же время он приказал слугам держаться так, чтобы их самих не было видно, но чтобы они могли услышать его зов. И только рвение и усердие привели их так скоро к месту встречи.

Это новое приключение сулило что-то необыкновенное. Мистер Фокленд не сразу узнал мисс Мелвиль, а личность Граймза была ему совершенно незнакома;

он не помнил, чтобы когда-нибудь встречал его. Но на этот раз нетрудно было понять, чье дело правое и кто нуждается в защите. Решительность мистера Фокленда и страх, который вызвало в Граймзе, подавленном сознанием своей вины, вмешательство столь высокопоставленного лица, быстро обратили насильника в бегство. Эмили осталась наедине со своим освободителем. Он нашел, что она значительно лучше владеет собой и более спокойна, чем можно было ожидать от девушки, которая за минуту перед тем находилась в самом опасном положении. Эмили назвала ему место, куда желала бы поехать, и он тотчас вызвался проводить ее.

Дорогой она настолько успокоилась, что нашла нужным познакомиться со всеми несчастьями, постигшими ее в последнее время, человека, которому вторично оказалась столь обязанной и который был для нее предметом безмерного восхищения. Мистер Фокленд слушал ее с живейшим вниманием и удивлением. Хотя ему были известны разные случаи, в которых мистер Тиррел проявлял низкую зависть и бессердечный деспотизм, но этот превосходил все остальные, и, слушая рассказ мисс Мелвиль, он едва верил своим ушам. Ему казалось, что в его жестоком соседе воплотились все сатанинские страсти. Мисс Мелвиль вынуждена была по ходу рассказа повторить выдвинутое ее родственником грубое обвинение ее в страсти к мистеру Фокленду; она сделала это с самой подкупающей простотой и очаровательным смущением. Хотя эта часть ее рассказа оказалась источником настоящего мучения для ее освободителя, все-таки можно думать, что лестное для него пристрастие несчастной девушки усилило как интерес, который он проявлял к ее судьбе, так и негодование, которое охватило его против ее бесчеловечного родственника.

Они без приключений приехали к дому доброй женщины, под защиту которой Эмили желала укрыться. Мистер Фокленд охотно оставил ее тут, как в надежном месте. Для успеха такого заговора, жертвой которого едва не оказалась Эмили, необходимо, чтобы лицо, против которого он направлен, находилось вне пределов досягаемости для тех, кто мог бы ему помочь; но в тот момент, когда такой заговор разоблачен, он оказывается уничтоженным. Подобное рассуждение большинство

найдет достаточно основательным, и мистеру Фокленду оно казалось вполне применимым к данному случаю. Но он ошибался.

ГЛАВА IX

Мистер Фокленд уже испытал на собственном опыте бесполезность каких-либо объяснений с мистером Тиррелом и поэтому ограничился тем, что сосредоточил свое внимание на намеченной им жертве. Негодование, с которым он размышлял о личности своего соседа, дошло до такой степени, что при одной мысли о добровольной встрече с ним его охватывало отвращение. Случилась, правда, и другая история, по времени совпавшая с этой, которая еще раз поставила этих смертельных врагов в положение соперников и способствовала тому, что вспышка злобы, давно уже снедавшей мистера Тиррела, довела его до пределов, близких к безумию.

У мистера Тиррела был арендатор, некто Хоукинс; не могу упомянуть его имени, не вспомнив о тяжелой трагедии, связанной с ним. Сперва мистер Тиррел принял этого Хоукинса с намерением защитить его от незаконных действий одного соседнего сквайра, но потом Хоукинс стал предметом гонений самого мистера Тиррела. Их отношения начались следующим образом. У Хоукинса, кроме фермы, которую он арендовал у вышеупомянутого сквайра, был небольшой клочок собственной земли, который достался ему от отца. Это, разумеется, давало ему право голоса на выборах в графстве, и так как предстоявшие выборы вызвали сильное соперничество, то его лендлорд потребовал, чтобы Хоукинс голосовал за того кандидата, за которого решил голосовать он сам. Хоукинс отказался повиноваться такому требованию и вскоре после того получил приказание оставить ферму, которую он арендовал в то время.

Случилось так, что мистер Тиррел был сильно заинтересован в другом кандидате. Так как поместье мистера Тиррела граничило с усадьбой, где жил в то время Хоукинс, то изгнанный арендатор не мог придумать лучшего выхода, как, сев на лошадь, отправиться в поместье этого джентльмена и изложить ему происшедшее. Мистер Тиррел внимательно его выслушал.

— Так, мой друг, — сказал он. — Я, конечно, хотел бы, чтобы на выборах прошел мистер Джекмен, но, как известно, в таких случаях принято, чтобы арендатор голосовал за тех, кто угоден их ленлорду. Я не считаю уместным поощрять бунтарство.

— Все это совершенно справедливо, — возразил Хоукинс, — и, с вашего разрешения, я тоже голосовал бы по приказу своего лендлорда за любого человека в королевстве, но только не за сквайра Марло. Надо вам доложить, что однажды его егерь перескочил через мою изгородь и проскакал по моему лучшему полю, когда хлеб еще не был сжат. А между тем по проезжей дороге ему было бы всего на каких-нибудь двенадцать ярдов дальше. И такие шутки этот молодец проделывал со мной, если ваша честь позволите мне сказать, уж и раньше раза три-четыре. Ну, я только и спросил его, зачем он это делает и как у него хватает совести портить людям урожай. А тут подъехал сам сквайр. Худой такой, со сморщенным лицом, цыпленок, с позволения сказать. Он рассвирепел и стал грозить мне хлыстом. Чтобы угодить своему лендлорду, я не хуже всякого другого арендатора готов исполнить каждое его разумное желание. Но я не стану голосовать за человека, который грозился меня отхлестать. И вот, ваша милость, меня, мою жену и троих детей гонят из дому, от родного очага, и что мне делать, чтобы прокормить их, один бог ведает. Я всю жизнь был человеком работающим, всегда жил по совести, и это для меня горькая обида. Сквайр Эндервуд гонит меня с моей фермы, и если ваша милость не возьмет меня к себе, то, я знаю, никто из соседних землевладельцев меня не возьмет: им боязно, как они сами говорят, поощрять своих арендаторов к непослушанию.

Это соображение не замедлило подействовать на мистера Тиррела.

— Ладно, ладно, любезный, посмотрим, что можно сделать. Порядок и послушание — вещи очень хорошие, но надо же понимать, чего можно требовать. Судя по твоему рассказу, за тобой нет большой вины. Марло просто хлыщ и нахал, что правда, то правда. И если человек сам лезет на рожон, то что ж, он должен уметь и отвечать за последствия. Я сам всей душой ненавижу этих офранцузенных щеголей и не скажу, чтобы мне нравилось, что мой сосед Эндервуд держит сторону

такого прохвоста. А ты, Хоукинс, — так тебя, кажется, зовут? — зайди завтра к Барнсу, моему управляющему, он с тобой переговорит.

Пока мистер Тиррел говорил, он вспомнил, что у него есть свободная ферма, примерно в ту же цену, как та, которую Хоукинс снимал у мистера Эндервуда. Он сейчас же посоветовался со своим управляющим, и, поскольку дело казалось во всех отношениях подходящим, Хоукинс был тут же занесен в список арендаторов мистера Тиррела.

Мистер Эндервуд отнесся очень неодобрительно к подобному образу действий, который, конечно, противоречил молчаливому соглашению между местными землевладельцами и на который немногие отважились бы, кроме мистера Тиррела.

— Если такое неповиновение арендаторов будет поощряться, тогда конец всякому порядку, — заявил Эндервуд. — Дело не в том или другом кандидате, потому что всякий джентльмен, истинно преданный своей родине, скорее потерпит неудачу на выборах, чем позволит себе поступок, который, войдя в обычай, может навсегда лишить его собратьев возможности руководить выборами. Крестьяне сами по себе народ достаточно смелый и решительный, с каждым днем все труднее держать их хоть сколько-нибудь в повиновении, и если господа землевладельцы настолько неблагодарны, что пренебрегают общественным благом и поощряют их наглость, то трудно даже представить себе, чем это кончится.

Однако мистер Тиррел был не такого склада человек, чтобы на него могли подействовать подобные нравоучения. Их общий дух в достаточной мере совпадал с теми чувствами, которых он сам придерживался. Но у него был слишком горячий нрав, чтобы он мог быть последовательным в своих поступках; притом, как бы он ни был неправ в своих действиях, он ни в коем случае не допустил бы, чтобы кто бы то ни было исправлял их. Чем больше осуждали покровительство, которое он оказывал Хоукинсу, тем упорнее он его осуществлял и не отступал, когда в клубе или на других собраниях надо было укротить, заставить замолчать или изобличить хулителей. Помимо всего, Хоукинс обладал некоторыми достоинствами, которые способствовали расположению к нему

мистера Тиррела. Резкостью обращения и суровостью нрава он был немного похож на своего лендлорда, и поскольку эти качества, само собой понятно, проявлялись чаще в отношениях с людьми, навлекшими на себя недовольство мистера Тиррела, чем с самим мистером Тиррелом, последний смотрел на это с некоторой долей снисходительности. Словом, каждый день приносил Хоукинсу новые знаки благосклонности его покровителя, и через некоторое время он был назначен помощником мистера Барнса в должности управляющего имением. Почти тогда же ферма, на которой он жил, была сдана ему в аренду.

Мистер Тиррел решил оказывать поддержку всем членам семьи этого своего подчиненного, пользовавшегося его благосклонностью. У Хоукинса был сын, парень лет семнадцати, приятной внешности, с румяным лицом, живой и смысленый. Юноша этот был особенным любимцем отца, которого, казалось, ничто так не заботило, как будущность сына. Мистер Тиррел, встретив его раза два-три, взглянул на него одобрительно, и юноша, питавший склонность к охотничьим забавам, стал иногда ходить с ним на охоту и не раз проявлял в присутствии сквайра свою ловкость и находчивость. В один прекрасный день он был особенно в ударе, и мистер Тиррел, не долго думая, предложил отцу отпустить юношу к нему в доезжачие, до того как ему подыщут более выгодную должность в поместье.

Это предложение было встречено Хоукинсом с явными признаками огорчения. Он смущенно попросил извинения, что не может принять предложенную милость, сказал, что мальчик полезен ему самому, и выразил надежду, что его честь не станет настаивать на том, чтобы лишить его помощи сына. Для всякого другого, кроме мистера Тиррела, такие доводы, вероятно, оказались бы достаточными. Но об этом джентльмене уже неоднократно говорилось, что раз он решился на какую-нибудь меру, даже самую незначительную, то еще не было случая, чтобы он впоследствии отказался от нее. Возражения только усиливали настойчивость и упорство, с которыми он добивался того, к чему перед тем был почти равнодушен. Сначала он как будто принял извинения Хоукинса добродушно и счел их вполне разумными. Но потом, каждый раз как он встречался с юношей, желание

взять его к себе на службу у него возрастало, и он не раз повторял отцу о своем расположении к его сыну. Наконец он заметил, что юноша не принимает больше участия в его любимых охотничьих забавах, и заподозрил в этом намерение воспрепятствовать его замыслам.

Задетый за живое этим подозрением, которое человек с характером мистера Тиррела должен был проверить без промедления, он послал за Хоукинсом, чтобы переговорить с ним.

— Хоукинс, — с досадой начал он, — я тобой недоволен. Я говорил тебе два или три раза о твоём сыне, которого желаю облагодетельствовать. Что за причина, сударь, что ты, по-видимому, не чувствуешь благодарности ко мне за это и противишься моей доброте? Ты должен бы знать, что со мной шутки плохи. Я не люблю, чтобы мои милости отвергались такими людьми, как ты. Я сделал тебя тем, что ты есть, а если захочу, могу сделать еще более беспомощным и несчастным, чем ты был, когда я тебя подобрал. Берегись!

— Не в обиду будь сказано вашей милости, — отвечал Хоукинс, — вы были для меня добрым господином, и я скажу вам всю правду. Надеюсь, вы не погневаетесь на меня. Этот мальчик — мой любимец, мое утешение и опора моей старости.

— Так что ж из этого? Разве это причина, чтобы мешать его преуспеянию?

— Умоляю вас, ваша милость, выслушайте меня. Может быть, я пристрастен в этом деле, но что поделаешь... Отец мой был священником. Все в нашей семье вели достойную жизнь, и я не могу примириться с мыслью, что мой бедный мальчик пойдет в услужение. Что до меня, то я не вижу никакого толку в слугах. Не знаю, ваша честь, но мне думается, — для меня было бы мало радости, если б Леонард стал таким, как они. Да простит мне господь, если я несправедлив к ним. Но ведь это для меня самое дорогое дело. Я не в силах рисковать благополучием моего бедного мальчика, когда так легко, с вашего разрешения, убережешь его от зла. Сейчас он благоразумен и прилежен и, не будучи ни дерзок, ни застенчив, знает себе цену. Я понимаю, ваша милость, что это очень безрассудно так говорить с вами, но ваша милость были мне добрым господином, и я не смею вам лгать.

Тиррел выслушал всю эту речь молча, потому что был слишком удивлен, чтобы проронить слово. Если бы молния ударила у самых его ног, и тогда он не испытал бы большего изумления. Он и раньше думал, что Хоукинс так безумно любит сына, что не в силах отпустить его от себя, но у него никогда не было ни малейшего представления о том, что он узнал теперь.

— Ого-го, так ты джентльмен, вот оно что! Нечего сказать, хорош джентльмен! Твой папенька был священником. Вся ваша семья слишком хороша, чтобы идти ко мне в услужение. Ах ты, бессовестный негодяй! Да затем ли я подобрал тебя, когда мистер Эндервуд прогнал? Отогрел змею на своей груди! Боишься, что у сынка барские манеры испортятся, что он уронит свое достоинство и привыкнет слушаться приказаний? Подлый мужик! Прочь с глаз моих! Можешь быть уверен: я на своей земле джентльменов не потерплю. Долой их, с корнями и ветками, со всеми пожитками! Слышишь, сударь! Завтра утром приведи своего сына и проси у меня прощения, или, даю тебе слово, я сделаю тебя таким несчастным, что ты пожалеешь о том, что родился.

Такое обращение было слишком сильным испытанием для терпеливого Хоукинса.

— Мне нет надобности приходить к вам снова по этому делу, ваша честь. Я уже принял решение, и время не изменит его. Очень сожалею, что прогневал вашу милость, и знаю, что вы можете навлечь на меня немало бед. Но надеюсь, вы не будете так бессердечны, чтобы погубить отца за любовь к своему ребенку, если даже эта любовь заставляет его поступать неразумно. Ничего не поделаешь, ваша честь. Поступайте как вашей милости будет угодно. Недаром говорится, что даже у самого бедного негра есть что-нибудь, с чем он не хочет расстаться. Пусть я потеряю все, что имею, и стану поденщиком, — да, если понадобится, и сын мой тоже, — но я не сделаю из него слуги для джентльмена.

— Так, так, приятель, отлично! — отвечал Тиррел в бешенстве. — Можешь быть уверен, я тебя не забуду, я тебе пособью спесь. Проклятье! Так вот до чего дошло! Мошенник, обрабатывающий какие-то сорок акров, смеет оскорблять владельца поместья! Я тебя в землю вгною! И вот тебе мой совет, негодяй: запри свой дом и беги так, будто сам дьявол гонится за тобой по пятам.

Счастье твое, если я не догоню тебя и ты унесешь свою шкуру в целости. Ни одного дня не потерплю такого бездельника на своей земле, хотя бы мне обещали за это все сокровища Индии.

— Не торопитесь, ваша честь, — гневно ответил Хоукинс. — Я надеюсь, вы одумаетесь и сами увидите, что я ни в чем не виноват. Ну, а если нет, знайте, что если есть зло, которое вы можете мне причинить, так есть и такое, которое сделать не в вашей власти. И пусть я простой труженик, ваша честь, а все-таки человек. Да и ферма моя в аренде, и я оттуда не уйду. А закон, надо думать, найдется и для бедняка, как для богача.

Мистер Тиррел, не привыкший, чтобы ему противоречили, был до последней степени возмущен смелостью и вольнодумством Хоукинса. Не было ни одного арендатора, по крайней мере в его поместье, с такими скромными, как у Хоукинса, средствами, которого сплоченная политика землевладельцев и к тому же властный и неукротимый нрав мистера Тиррела не могли бы удержать от поступков, заключающих в себе открытый вызов.

— Превосходно, черт меня побери! Будь я проклят, если есть еще другой такой молодец. Так ферма у тебя в аренде, у тебя, вот как! Ты говоришь, не уйдешь? Хорошенькие дела пойдут, если аренда будет защищать таких субъектов, как ты, от хозяина владения! Хочешь померяться силами? Отлично, любезный, отлично. Рад от всей души. Раз уж дошло до этого, так мы тебе покажем несколько занятных штучек, прежде чем покончим с этим делом. А теперь прочь с глаз моих, негодяй! Мне больше тебе нечего сказать. И не смей никогда переступать порог моего дома.

Хоукинс в этом деле был (выражаясь языком света) виновен в двойной неосторожности. Он разговаривал со своим лендлордом более независимо, чем это разрешалось общественным устройством и практикой этой страны подвластному человеку. Кроме того, дав увлечь себя негодованием, он должен был предвидеть последствия. Совершенным безумием с его стороны было думать о том, чтобы тягаться с лицом, обладающим такими средствами и положением, как Тиррел. Это было равносильно борьбе лани со львом. Можно было с уверенностью сказать, что ему нисколько не поможет его правота, раз его противник пользуется влиянием и бо-

гатством и, следовательно, может успешно снять с себя вину в любом сумасбродстве, которое пожелает совершить. Это житейское правило в дальнейшем вполне подтвердилось. Богатство и тирания отлично умеют пользоваться в качестве пособников для своих притеснений теми законами, которые, быть может, сперва предназначались (глупая и жалкая предосторожность) для защиты бедняков.

С этого мгновения мистер Тиррел задался целью погубить Хоукинса и не оставлял неиспользованным ни одного средства, чтобы причинить страдание предмету своих преследований или повредить ему. Он лишил его должности помощника управляющего и приказал Барнсу и другим подчиненным, чтобы они при всяком удобном случае чинили ему неприятности. Мистер Тиррел как владелец поместья имел право на десятую долю дохода, и это обстоятельство давало ему частые поводы к мелочным спорам. Часть полей, принадлежавших к ферме Хоукинса, хотя и засеянная хлебами, была расположена ниже остальной земли, вследствие чего могла подвергнуться наводнению, случавшемуся время от времени благодаря находившейся здесь реки. Тиррел недели за две до уборки урожая собственноручно тайком прорвал плотину на этой реке, и весь хлеб был залит водой. Потом он приказал своим слугам в одну ночь убрать изгороди, защищавшие более высокие участки, и пустить туда скот, чтобы полностью уничтожить урожай. Однако эти меры коснулись только части имущества несчастного. Тиррел на этом не остановился. У Хоукинса при очень подозрительных обстоятельствах начался внезапный падеж скота. Это событие усилило бдительность Хоукинса, и в конце концов ему удалось выяснить это дело с такой точностью, что уже нельзя было сомневаться в том, что и здесь действует мистер Тиррел.

До этого времени, несмотря на понесенный ущерб, Хоукинс старательно избегал всяких попыток восстановить свое право мерами судебными, так как справедливо считал, что закон приспособлен скорее к тому, чтобы служить оружием тирании в руках богачей, нежели щитом, ограждающим более бедную часть общества от их несправедливых притязаний. Однако нанесенная ему на этот раз обида была так жестока, что казалось невозможным, чтобы даже самое высокое

положение могло защитить виновного от строгости закона. Впоследствии он получил основание хвалить себя за свою прежнюю бездеятельность в этом отношении и сожалеть о том, что нашелся повод достаточно веский, чтобы побудить его вступить на другой путь.

Это и было той крайностью, до которой мистер Тиррел хотел довести свою жертву, и он едва поверил своей удаче, когда ему сообщили, что Хоукинс затеял тяжбу. Его восторгам по этому поводу не было границ, потому что он понимал, что теперь разорение его прежнего любимца неминуемо. Он посоветовался со своим стряпчим и, ссылаясь на доводы, какие только можно было изобрести, настоял на том, чтобы тот использовал в этом деле весь запас своих уловок. Меньше всего его интересовало немедленное опровержение выставленного против него обвинения; задача заключалась в том, чтобы допросами под присягой, заявлениями, жалобами, отсрочками, оспариванием и апелляциями затягивать дело от сессии суда до сессии и переносить его из одного суда в другой. Было бы позорно для просвещенного государства, рассуждал мистер Тиррел, если бы джентльмен, подвергнувшийся дерзкому нападению на его права со стороны какого-то проходимца, не мог бы свести все дело к вопросу о том, у кого толще кошелек, и отпустить своего противника только тогда, когда тот будет доведен до нищеты.

Впрочем, мистер Тиррел отнюдь не был настолько поглощен этим судебным процессом, чтобы пренебрегать другими способами наносить вред своему арендатору. Среди разных мер, приходивших ему в голову, была одна, которая не была отвергнута, хотя и клонилась скорее к терзанию жертвы, нежели к причинению ей непоправимого ущерба. Она исходила из особенностей местоположения дома Хоукинса, его амбаров, гумен и надворных строений. Они находились в конце узкой полосы, соединявшей их с остальной частью имения, и были окружены с трех сторон полями, которые были в распоряжении другого арендатора мистера Тиррела, всячески старавшегося угодить прихотям своего лендлорда. Дорога в город, где бывали базары, проходила по другую сторону самого большого из этих полей и была видна из дома со стороны его фасада. До сих пор это обстоятельство не причиняло никаких неудобств, так как имела широкая дорожка, которая перерезывала поле и

вела прямо от дома Хоукинса к большой дороге. Эта дорожка, или частная дорога, теперь, по соглашению мистера Тиррела с его услужливым арендатором, была закрыта, так что Хоукинс оказался в своем собственном владении как бы в плену и был вынужден делать около лишней мили, когда ему нужно было поехать на рынок.

Молодой Хоукинс, юноша, который был первой причиной ссоры между его отцом и сквайром, был такой же мужественный, как и его отец, и пылал безудержным негодованием против следовавших одно за другим деспотических действий, свидетелем которых он был. Его возмущение усиливалось еще тем, что все страдания, выпавшие на долю его отца, проистекали из привязанности последнего к нему; в то же время он не мог устранить повод ссоры, потому что если бы он это сделал, то вышло бы так, что он нанес отцу удар за его родительскую любовь. На этот раз, ни с кем не посоветовавшись и побуждаемый только своим гневом и чувством обиды, он поздно ночью вышел из дома, убрал все заграждения, которые были устроены на старой дорожке, сбил повешенные замки и распахнул ворота.

Пока он все это проделывал, за ним следили, и на следующий день был дан приказ об его аресте. Его, как полагается, отвели к судье, и тот постановил отправить его в тюрьму графства с тем, чтобы в ближайшую сессию он предстал перед судом по обвинению в уголовном преступлении. Мистер Тиррел твердо решил поддерживать обвинение с величайшей строгостью, и его стряпчий, наведя с этой целью соответствующие справки, намеревался подвести дело под статью закона Георга I, обычно называемого «Черным актом»,* гласящую, что «всякий, вооруженный мечом или другим вредоносным оружием и зачернивший себе лицо либо иным способом изменивший свою наружность, появившийся в каком-либо заповедном месте, где содержались или будут содержаться зайцы либо кролики, и надлежащим образом в этом уличенный, карается смертью, как при уголовном преступлении, и право духовенства судить собственным судом на эти дела не распространяется».** Молодой Хоукинс, по-видимому, опустил на лицо капюшон своего широкого плаща, как только заметил, что за ним следят, и, кроме того, взял с собой гаечный ключ для того, чтобы отбивать замки. А стряпчий взялся доказать

при помощи достаточного количества свидетелей, что поле, о котором шла речь, было заповедником, где постоянно откармливались зайцы. Мистер Тиррел ухватился за эти измышления с неизъяснимой радостью. Нарисовав перед судьей картину упорства и дерзости Хоукинсов, он убедил его на основании этого нелепого обвинения отдать приказ об аресте юноши. И отцу отнюдь нельзя было с уверенностью рассчитывать на то, что под тем же непреодолимым влиянием упомянутая статья о наказании не будет действительно применена со всей строгостью.

Это было смертельным ударом для несчастного Хоукинса; не имея недостатка в мужестве, он все другие преследования выдерживал стойко. Он был осведомлен о предпочтении, которое в такого рода спорах наши законы и обычаи оказывают богатому по сравнению с бедными. Однако, раз втянутый в такое дело, он из упорства не хотел отступать и позволял себе не столько ожидать благоприятного исхода, сколько надеяться на него. Но последнее событие задело то, что было ему дороже всего. Было время, когда он опасался, как бы его сына не развратило и не унизило положение слуги, а теперь этот сын проходит курс тюремной науки!

С этой минуты его сердце умерло. Раньше он надеялся, что при помощи упорного труда ему удастся спасти жалкие остатки его маленькой собственности от низкой злобы лендлорда. Но теперь у него исчезло мужество, необходимое для тех усилий, которых больше чем когда-либо требовало его положение. Мистер Тиррел продолжал свои козни, не давая ему передышки. Дела Хоукинса с каждым днем принимали все более безнадежный оборот, и сквайр, выжидавший удобного случая, воспользовался первой же возможностью, чтобы захватить остатки его имущества, наложив на них арест за невзнос платы.

Дела были именно в таком положении, когда мистер Фокленд и мистер Тиррел случайно встретились на частной дороге, недалеко от местожительства последнего. Оба они ехали верхом; мистер Фокленд направлялся к дому несчастного арендатора, который, по-видимому, был на краю гибели вследствие злобы своего лендлорда. Он только что узнал историю этих гонений. В довершение бедствий Хоукинса случилось так, что мистер Фокленд, вмешательство которого могло бы спасти его, дол-

гое время находился в отсутствии. Он провел три месяца в Лондоне, а оттуда ездил в свои поместья в другой части острова. Гордый и самоуверенный характер бедняги Хоукинса всегда побуждал его рассчитывать как можно дольше только на собственные силы. В начале распри он избегал обращаться к мистеру Фокленду и вообще делиться своей бедой с другими и оплакивать свою тяжелую судьбу. А когда он дошел до крайности и охотно отказался бы от своего упорства, это было уже не в его власти. Наконец, после довольно продолжительного отсутствия, мистер Фокленд неожиданно вернулся. Услышав среди первых деревенских новостей о беде этого несчастного поселянина, он решил на следующее же утро съездить к нему и обрадовать его обещанием помощи, которую он был в силах ему оказать.

При виде Тиррела, столь неожиданно ему встретившегося, Фокленд покраснел от негодования. Первым его чувством, как он говорил впоследствии, было желание уклониться от встречи. Но, убедившись, что они неизбежно должны поравняться, он понял, что было бы недостатком смелости скрывать от мистера Тиррела чувства, которые он испытывал.

— Мистер Тиррел, — сказал он немного резко, — мне очень неприятны некоторые новости, которые я только что услышал.

— Позвольте, сэр, какое мне дело до ваших неприятностей?

— Очень большое, сэр. Они вызваны несчастьями вашего бедного арендатора Хоукинса. Если ваш управляющий действовал без вашего ведома, мне кажется, вам не худо бы узнать, что он сделал. А если он действовал по вашему приказанию, я был бы рад уговорить вас взглянуть на это дело другими глазами.

— Мистер Фокленд, не худо было бы также, если бы вы занимались своими делами и предоставили мне заниматься моими. Я не нуждаюсь в наставнике и не желаю иметь его.

— Вы ошибаетесь, мистер Тиррел. Я занимаюсь своими собственными делами. Если бы я видел, что вы свалились в колодец, мое дело было бы вытащить вас оттуда и спасти вам жизнь. Если я вижу, что вы идете в своих поступках неправильной дорогой, мое дело направить вас на верный путь и спасти вашу честь.

— К черту, сэр! Бросьте со мной эти штуки. Разве этот человек не мой арендатор? Разве я не хозяин на своей земле? К чему называть ее моей, если я не могу ею распоряжаться? Я оплачиваю то, что имею, сэр. Я не должен ни пенни ни одной живой душе. И я не позволю опекать мое поместье — ни вам и ни кому другому.

— Совершенно верно, что существует разница в положениях, — сказал Фокленд, избегая прямого ответа на последние слова Тиррела. — Я считаю, что разница эта — дело хорошее и необходимое для мирной жизни человечества. Но как бы она ни была необходима, мы должны признать, что она ложится некоторым бременем на людей низшего состояния. Болит сердце, когда думаешь, что один рождается для того, чтобы наследовать всякий избыток, тогда как доля другого, без какой-либо вины с его стороны, — грязная работа и голод. Мы, богатые, мистер Тиррел, должны делать все, что в нашей власти, чтобы облегчить ярмо этих обездоленных людей. Мы не должны злоупотреблять преимуществами, которыми случай наградил нас щедрой рукой. Бедняги! Они и без того уже угнетены чуть ли не свыше сил. И если мы бессердечно лишним раз повернем колесо машины, они будут окончательно раздавлены.

Нарисованная картина произвела впечатление даже на неподатливый ум Тиррела.

— Что ж, сэр, я не тиран. Я прекрасно знаю, что тирания — скверная штука. Но не хотите же вы сказать, что эти люди могут делать все, что им вздумается, и никогда не получают по заслугам?

— Мистер Тиррел, я вижу, ваша вражда поколеблена. Разрешите мне приветствовать вновь рожденную доброту вашего сердца. Поедьте к Хоукинсу. Не будем говорить о том, чего он заслуживает. Несчастный! Он вынес почти все, что могут вынести человеческие силы. Пусть на этот раз ваше прощение положит прочное начало добрососедским и дружеским отношениям между нами.

— Нет, сэр, я не поеду. Я согласен — кое в чем вы правы. Я всегда знал, что вы, если захотите, всегда сумеете придумать складную историю и преподнести правдоподобный рассказ. Только я не дам себя провести таким способом. Такой уж у меня всегда был характер: раз я задумал отомстить, то никогда не отступлю. А характер менять я не желаю. Я подобрал Хоукинса, когда

все от него отвернулись, и сделал из него человека. А неблагодарный за мои же старания оскорбил меня. Будь я проклят, если когда-нибудь прощу ему. Нечего сказать, хорошая была бы штука, если бы я простил наглость своей собственной твари в угоду такому человеку, как вы, который всегда был моим бичом.

— Ради бога, мистер Тиррел, не забывайте в своей неприязни о благоразумии. Допустим, что Хоукинс вел себя непросительно и оскорбил вас, — неужели это оскорбление ничем нельзя искупить? Неужели отец должен быть разорен, а сын повешен, чтобы утолить ваш гнев?

— Будь я проклят, сэр! Можете говорить до изнеможения, вы ничего от меня не добьетесь. Никогда не прощу себе, что слушал вас хоть минуту. Никому не позволю останавливать поток моего гнева. Если бы я когда-нибудь и простил Хоукинсу, то не по чьим-нибудь просьбам, а по своему желанию. Но я никогда не прощу. Если бы он и вся его семья валялись у меня в ногах, я приказал бы тотчас же всех их повесить, будь у меня на это не только желание, но и власть.

— И это ваше окончательное решение? Мистер Тиррел, мне стыдно за вас. Всемогущий боже! Слушая, что вы говорите, начинаешь ненавидеть общественные установления и порядок, хочешь бежать от лица человека. Но нет! Общество отвергнет вас, люди будут гнушаться вами. Никакое богатство, никакое положение не искупят пятна, которое ляжет на вас. Вы будете жить, покинутый себе подобными, вы будете появляться среди многолюдного общества, и ни один человек не удостоит вас даже поклоном. Все будут бежать от вашего взгляда, как от взгляда василиска.* Где рассчитываете вы найти каменные сердца, которые станут сочувствовать вам? На вас печать несчастья, всегда неразделенного, не возбуждающего сожаления.

С этими словами мистер Фокленд пришпорил лошадь, сурово отстранил мистера Тиррела и тотчас исчез из виду. Пламенное негодование победило даже столь дорогое ему чувство чести, и в своем соседе он видел теперь только презренную тварь, с которой невозможно вступать в пререкания. Что касается последнего, то он был поражен настолько, что первое время оставался недвижим. Энтузиазм мистера Фокленда был таков, что мог поколебать самого решительного противника.

Мистер Тиррел, против воли страдаемый угрызениями совести за свою вину, не мог вызвать в себе настроения, подходящего для борьбы. Картина, которую нарисовал мистер Фокленд, была пророческая. В ней был отклик его собственных мыслей; она облекала плотью его мысли, сообщала голос тому призраку, который преследовал его, и тем ужасам, добычей которых он ежечасно бывал.

Однако мало-помалу он овладел собой. И чем сильнее было его временное смятение, тем безудержнее была его злоба, когда он пришел в себя. Подобная ненависть, когда она бушует в груди человеческой, неизбежно сеет на своем пути насилие и смерть. Но мистер Тиррел не был склонен искать выхода в том, что вражда его никогда не будет предана забвению и не остынет под влиянием времени или каких-либо событий. Месть грезилась ему по ночам и первенствовала в его мыслях, когда он бодрствовал.

Мистер Фокленд отъехал, еще больше осуждая после этой встречи поведение своего соседа и утвердившись в непоколебимом решении сделать все возможное, чтобы облегчить несчастную участь Хоукинса. Но было слишком поздно. Когда он приехал, он увидел, что том уже оставлен его хозяином. Семья ушла неизвестно куда. Хоукинс скрылся, и — что было всего более странно — сын Хоукинса в тот же день бежал из тюрьмы графства. Усилия мистера Фокленда разыскать их оказались тщетными: не удалось найти никаких следов этих несчастных. Вскоре мне придется рассказать о разразившейся над ними последней катастрофе, и она окажется полной такого ужаса, какого не измыслит и самая мрачная фантазия.

Продолжаю свою повесть. Продолжаю излагать те события, в которые моя собственная судьба была так таинственно вовлечена. Поднимаю занавес. Начинается последний акт трагедии.

ГЛАВА X

Легко представить себе, что злоба, которую Тиррел растравлял в себе во время распри с Хоукинсом, и усилившаяся вражда между ним и Фоклендом обостряли раздражение, с которым он думал о бегстве Эмили.

Тиррел с изумлением узнал о неудаче замысла, в успехе которого у него не возникало раньше никаких сомнений. Он пришел в бешенство. Граймз не решился сам сделать сообщение об исходе своей поездки, а лакей, доложивший Тиррелу об исчезновении мисс Мелвиль, тотчас же скрылся с его глаз, охваченный страшными опасениями.

Вскоре после этого хозяин заорал, чтобы явился Граймз, и молодой человек предстал перед ним ни жив ни мертв. Он приказал Граймзу повторить все подробности истории; но не успел тот кончить, как поспешил убраться прочь, перепуганный проклятиями, которыми мистер Тиррел стал осыпать его. Граймз не был трусом, но он благоговел перед природной божественностью, присущей высокому положению, подобно тому как индеец почитает дьявола. Но дело было не только в этом. Ярость мистера Тиррела была так безудержна и ужасна, что только немногие сердца оказались бы достаточно стойкими и не затрепетали бы перед ней в непреодолимом ощущении собственного ничтожества.

Как только он немного собрался с мыслями, он стал перебирать в уме, охваченном бурей, разные обстоятельства этого дела. Его сетования были горьки и в спокойном наблюдателе могли бы пробудить смешанное чувство жалости к его страданиям и ужаса перед его испорченностью. Он вспоминал все предосторожности, которые принимал; он не находил ни одного изъяна в ходе дела и проклинал слепую и коварную силу, которая тешилась, разрушая так тщательно продуманные замыслы. От этой коварной силы он страдает больше всех других живых существ. Его дразнят призраком власти, а стоит ему занести руку для удара, как ее внезапно поражает паралич. (В горестном сокрушении он забывал о своем недавнем торжестве над Хоукинсом или, может быть, считал его не столько торжеством, сколько поражением, так как ему не удалось завести дело так далеко, как того хотела его злоба.) Зачем небо наделило его способностью живо ощущать обиды и злопамятством, если ему никогда не удастся выместить свою злобу? Стоит ему стать врагом любого человека, как тот оказывается огражденным от руки несчастья. Какие оскорбления, самые возмутительные, беспрестанно терпел он от этой подлой девчонки! И кто же уберег ее

теперь от его гнева? Этот дьявол, который не дает ему ни минуты покоя, перечит ему на каждом шагу; когда вздумает, вгоняет стрелы ему в сердце и строит рожи, издеваясь над его невыносимыми муками.

Было одно обстоятельство, которое усиливало его тревогу и делало его ко всему равнодушным и безразличным. Бесполезно было бы скрывать от самого себя, что этим событием будет нанесен жестокий удар его доброму имени. Он надеялся, что, когда Эмили будет силой навязан ненавистный ей брак, приличие заставит ее, как только все будет кончено, опустить завесу над насилием, которому она подверглась. Но этот расчет не оправдался. Мистер Фокленд сочтет своим долгом разгласить о его недостойном поведении. И хотя он считал, что поводы, которые давала ему мисс Мелвиль, могли оправдать любое обращение, какое он нашел бы нужным применить к ней, он понимал, что свет взглянет на дело иначе. Эти рассуждения усиливали твердость его решений и укрепляли его в намерении не пренебрегать никакими средствами, при помощи которых он мог бы переложить терзавшие его мучения на другого.

Между тем спокойствие и твердость духа Эмили значительно ослабели, как только она почувствовала себя спасенной. Пока ей со всех сторон грозили опасности и притеснения, она находила в себе мужество для борьбы. Наступившее затем мнимое успокоение оказалось для нее более роковым. Не было больше ничего, что мощно питало бы ее мужество и возбуждало энергию. Она оглядывалась назад, на испытания, через которые прошла, и сердце ее сжималось при воспоминании о том, что она имела силы перенести, когда это было действительностью. До того как мистер Тиррел почувствовал к ней эту жестокую неприязнь, она в полном смысле слова не знала ни страха, ни тревоги. Не привыкшая к несчастьям, она внезапно и без всякой подготовки стала жертвой самого дьявольского коварства. Когда заболевает человек здоровый и крепкий, болезнь действует на него гораздо сильнее, чем на человека, хилого от природы. Так случилось и с мисс Мелвиль. Следующую ночь она провела без сна, беспокойно, а утро застало ее в горячке. Болезнь не поддавалась никаким попыткам ослабить ее, но было основание надеяться, что здоровый организм, покой и ласковый уход окружающих в конце концов одер-

жат верх. На другой день она была в бреду. Вечером по требованию Тиррела она была арестована за долг, заключавшийся в стоимости ее питания и содержания за последние четырнадцать лет.

Мысль об этом аресте, как читатель, может быть, помнит, впервые пришла в голову Тиррелу во время его разговора с мисс Мелвиль, вскоре после того, как он нашел нужным запереть ее в комнате. Но в то время он, по всей вероятности, не думал серьезно, что у него когда-нибудь явится повод привести эту мысль в исполнение. Он упомянул об этом в виде угрозы, которая возникла в уме, давно привыкшем вести учет всем способам тирании и мести. Но теперь, когда непредвиденное спасение и бегство его несчастной родственницы довели его воображение почти до безумия и он перебирал в мрачных закоулках своего ума, как бы поскорее отделаться от подавлявшей его тяжести разочарования, эта мысль предстала перед ним с удвоенной силой. Он скоро принял решение и, позвав управляющего Барнса, немедленно дал указания, как тому действовать.

Барнс в течение многих лет был орудием произвола мистера Тиррела. Привычка очерствила его душу, и он мог без угрызений совести быть зрителем или даже изобретателем и устройством самых жестоких и грубых сцен. Но на этот раз даже он был несколько озадачен. Характер и поведение Эмили в семье мистера Тиррела были безупречны. У нее не было ни одного врага, и невозможно было без симпатии и сочувствия смотреть на ее молодость, живость, простодушную невинность.

— Вашей милости угодно... Я не понимаю вас. Взять под арест мисс... мисс Эмили?

— Ну да, я сказал вам. Что с вами такое? Ступайте сейчас же к Суайнерду, юристу, и скажите, чтобы он немедленно закончил все это дело.

— Боже храни вашу честь! Арестовать ее! Да ведь она не должна вам медного фартинга.* Она всегда жила у вас из милости.

— Осел! Негодяй! Говорю вам, она должна мне... должна тысячу сто фунтов. Так выходит по закону. Для чего пишутся законы, как вы думаете? Я никогда не делаю ничего незаконного, а что принадлежит мне по праву, то я и хочу получить.

— Я всегда без возражений повиновался вашим приказаниям, ваша честь. Но теперь я должен... Я не могу смотреть, как вы губите мисс Эмили, бедную девушку. Да заодно и себя самого. И не видите, куда идете... Уж вы простите меня, но... даже если бы она была должна вам так много, ее нельзя привлечь к судебной ответственности: она несовершеннолетняя.

— Вы кончили? Никаких «не могу» и «нельзя». Это делалось раньше и будет сделано теперь. Пусть оспаривает кто осмелится. Я сделаю это сейчас и отстою потом. Скажите Суайнерду, что если он будет мямлить, это будет стоить ему жизни, — я заморю его голодом.

— Ваша честь, прошу вас, одумайтесь. Клянусь жизнью, вся округа будет позорить вас.

— Барнс! Что это значит? Я не привык к таким разговорам и не потерплю их. Вы были мне полезны не раз. Но если я увижу, что вы заодно с теми, что идут мне наперекор, будь я проклят, если я не отравлю вам жизнь.

— Я кончил, ваша честь. Не скажу больше ни слова. Только... я слышал, мисс Эмили лежит больная. Вы говорите, что решили посадить ее в тюрьму. Но не хотите же вы убить ее, я полагаю?

— Пусть умирает. Я не дам ей отсрочки ни на час. Довольно с меня оскорблений. У нее не было почтительности ко мне, и у меня нет для нее пощады. Я стою на этом. Они изводили меня, и они почувствуют мою руку. Найдите Суайнерда — в постели или на ногах, днем или ночью — и скажите ему, что я слышать не хочу о промедлении хоть на одну минуту.

Таковы были приказания мистера Тиррела, и почтенный представитель закона, к которому Тиррел прибегнул в этом случае, стал действовать в строгом соответствии с ними. Мисс Мелвиль пролежала в бреду значительную часть того дня, в конце которого к ней явились судебный пристав и его спутник. По предписанию врача, которому Фокленд поручил уход за больной, ей было дано успокоительное питье. Измученная дикими и безумными видениями, которые в течение многих часов преследовали ее воображение, она теперь впала в подкрепляющую дремоту. Миссис Хеммонд, сестра миссис Джекмен, сидела у ее постели, полная жалости к достойной любви страдальце, и радовалась наступившему успокоению, когда

маленькая девочка, единственный ребенок миссис Хеммонд, открыла дверь на стук судебного пристава. Он сказал, что ему нужно поговорить с мисс Мелвиль, и ребенок ответил, что сейчас скажет об этом матери. С этими словами девочка направилась к дверям в заднюю комнату на первом этаже, в которой лежала Эмили. Но как только дверь приоткрылась, судебный пристав, не дожидаясь появления матери, вошел в комнату одновременно с девочкой.

Миссис Хеммонд привстала.

— Кто вы? — спросила она. — Зачем вы вошли сюда? Тсс... тише...

— Мне надо видеть мисс Мелвиль.

— Да, но это невозможно. Скажите мне, что вам нужно? Бедная девушка весь день была без памяти. Она только что уснула, ее нельзя тревожить.

— Это не мое дело. Я должен исполнять приказания.

— Приказания? Чьи приказания? Что вы хотите сказать?

В эту минуту Эмили открыла глаза.

— Что за шум? Пожалуйста, дайте мне уснуть.

— Мне надо поговорить с вами, мисс. У меня есть предписание о вашем аресте в связи со взысканием с вас тысячи ста фунтов в пользу сквайра Тиррела.

При этих словах миссис Хеммонд и Эмили онемели. Последняя едва ли поняла подлинный смысл этого сообщения. И даже для миссис Хеммонд, хотя она была немного больше знакома с тем языком, который был употреблен пришедшим, столь странное и неожиданное обращение к больной показалось почти таким же загадочным, как и для самой бедняжки Эмили.

— Предписание об аресте? Как может она быть должницей мистера Тиррела? Арестовать ребенка!

— Какой смысл задавать нам вопросы? Мы делаем только то, что нам приказано. Вот бумага, читайте.

— Всемогуший боже! — воскликнула миссис Хеммонд. — Что это значит? Не может быть, чтобы вас прислал мистер Тиррел.

— Довольно болтать, голубушка. Разве вы не умеете читать?

— Все это обман. Бумага поддельная. Это гадкая уловка, чтобы отнять бедную сиротку у тех, у кого она

только и может быть в безопасности. Действуйте, если не боятесь сами себя погубить.

— Не беспокойтесь. Будьте уверены, мы отлично знаем, как нам следует поступать.

— Но вы ведь не вытащите ее из постели? Говорю вам, у нее горячка. Увезти ее — значит убить. Ведь вы судебный пристав, не правда ли, а не убийца?

— Закон ничего не говорит об этом. Нам приказано доставить ее здоровой или больной. Мы не причиним ей вреда, а только выполним свою обязанность, будь что будет.

— Что вы собираетесь делать? Куда вы повезете ее?

— В тюрьму графства. Беллок, подите потребуйте почтовую карету от Гриффина.

— Стойте, говорю вам. Не отдавайте таких приказаний. Подождите только три часа. Я пошлю нарочного к сквайру Фокленду, и, уверена, он устроит все так, что и вам не будет убытка и бедное дитя незачем будет везти в тюрьму.

— У нас есть особое приказание на этот счет. Мы не должны терять ни одной минуты. Беллок, почему вы не ушли? Велите сейчас же прислать сюда лошадей!

Эмили слышала этот разговор, и он достаточно разъяснил ей все, что было загадочного в появлении судебного пристава. Мучительная и невероятная действительность, таким образом представшая перед ней, совершенно разогнала бредовые видения, добычей которых она только что была.

— Дорогая миссис Хеммонд, — заговорила она, — не мучьте себя напрасными стараниями. Я очень жалею, что наделала вам столько хлопот. Но мне не избежать этой беды. Если вы пройдете в соседнюю комнату, сэр, я оденусь и буду немедленно в вашем распоряжении.

Миссис Хеммонд тоже начала понимать, что борьба бесполезна, но она не могла быть такой покорной. Она то пенствовствовала против жестокости мистера Тиррела, которого называла не человеком, а воплощением дьявола, то жаловалась на жестокосердие судебного пристава, осыпала его горькими упреками, умоляла его придать немного человечности и умеренности исполнению своих обязанностей; но он был глух ко всему, с чем бы она к нему ни обращалась. Тем временем Эмили

с самой кроткой покорностью уступила неизбежному злу. Миссис Хеммонд стала настаивать, чтобы ей по крайней мере было разрешено сопровождать молодую леди в почтовой карете. Хотя полученные судебным приставом распоряжения были настолько решительны, что он не осмелился поступить по собственному усмотрению, когда дело касалось приказа об аресте, он все же начинал испытывать некоторое беспокойство и был готов согласиться на всякую меру предосторожности, которая не стояла в прямом противоречии с полученным им предписанием. Впрочем, он знал, что, во всяком случае, опасно признавать болезнь или явную неспособность к передвижению достаточной причиной для того, чтобы приостанавливать действие законных мер, и что, в соответствии с этим, во всех сомнительных случаях и даже при наличии убийства судебная практика с похвальным пристрастием склонна оправдывать своих должностных лиц. Вдобавок к этому общему правилу на него действовали как настояния и уверения Суайнерда, так и страх, который возбуждало имя мистера Тиррела на много миль в округности. Перед отъездом миссис Хеммонд отправила нарочного с запиской в три строчки к мистеру Фокленду с сообщением о необычайном происшествии. Когда нарочный явился, мистера Фокленда не было дома, его ждали только на другой день; на этот раз случай как будто благоприятствовал мести мистера Тиррела — сам он был слишком поглощен безудержной яростью, чтобы быть в состоянии предусмотреть подобное обстоятельство.

Легко представить себе полную растерянность двух несчастных женщин, которых везли — одну насильно, другую по ее доброй воле — в такое малоприспособленное для них помещение, как обыкновенная тюремная камера. Однако миссис Хеммонд обладала чисто мужской смелостью и пылкостью духа, как нельзя более необходимыми при тех трудностях, которые их ожидали. Сангвинический темперамент и способность страстно ненавидеть несправедливость до известной степени предназначали ее к выполнению именно тех дел, которые предписало бы и здравое, сдержанное суждение. Здоровье мисс Мелвиль сильно пострадало от испуга и переезда в такое время, когда ей был необходим покой, чтобы сохранить силы. Горячка усилилась; больная стала

бредить больше прежнего; муки ее воображения соответствовали плохому состоянию, в котором совершен был ее переезд; трудно было полагать, что она выживет.

В те мгновения, когда рассудок покидал ее, она все время называла имя Фокленда. Мистер Фокленд, говорила она, — ее первая и единственная любовь и должен быть ее мужем. Потом она скорбно, голосом печальным, но все же полным упрека, жаловалась, что он слишком считается с предрассудками света. Как жестоко с его стороны держаться так гордо и давать ей понять, что он ни за что не женится на нищей! Но если он горд, то и она решила быть гордой. Он увидит, что она не станет вести себя как отвергнутая девушка, что он может оттолкнуть ее, но не в его власти разбить ее сердце. Иногда ей чудилось, будто она видит мистера Тиррела и его оружие — Граймза — с руками и одеждой, залитыми кровью; и волнующие упреки, которыми она осыпала их, заставили бы дрогнуть даже каменное сердце. Потом ее больному воображению являлся образ Фокленда, обезображенного ранами, смертельно бледного, и она кричала в ужасе, жаловалась на всеобщее бессердечие, на то, что никто не хочет сделать ни малейшего усилия, чтобы спасти его. В таких мучениях, в постоянном страхе гонений, обид, заговоров, убийств она провела около двух суток.

К вечеру второго дня приехал Фокленд в сопровождении доктора Уилсона, который уже лечил ее раньше. Сцена, свидетелем которой оказался мистер Фокленд, должна была особенно терзать человека с такой обостренной чувствительностью. Весть об аресте потрясла его; он был вне себя от гнева против беспримерного коварства человека, замыслившего арест. Но когда он увидел страшное, с написанным на нем смертным приговором лицо мисс Мелвиль, этой жертвы дьявольских страстей ее родственника, — казалось, он был не в силах владеть собой. Он вошел как раз в тот момент, когда у нее был приступ бреда, и она тотчас приняла своих посетителей за двух убийц. Она стала кричать, требуя, чтобы они сказали, куда упрятали ее Фокленда, ее жизнь, ее супруга! Она умоляла вернуть ей его изуродованное тело, чтобы она могла обнять его слабеющими руками, испустить дух, прижавшись к его устам, и быть погребенной в одной с ним могиле. Она упрекала их

за подлость, за то, что они стали орудием негодяя, ее двоюродного брата, который довел ее до сумасшествия и не успокоится до тех пор, пока не убьет ее. Фокленд бежал от этой мучительной сцены и, оставив доктора Уилсона возле больной, просил его после того, как он отдаст необходимые распоряжения, прийти к нему в гостиницу.

Постоянное душевное возбуждение, в котором по характеру своей болезни мисс Мелвилль пребывала уже несколько дней, чрезвычайно истощило ее силы. Примерно через час после посещения мистера Фокленда бред прекратился, и она впала в состояние такой слабости, что трудно было уловить какие бы то ни было признаки жизни. Доктор Уилсон, удалившийся, чтобы по возможности успокоить взволнованного и гневного мистера Фокленда, при этой перемене в состоянии больной был снова вызван и просидел у ее постели остаток ночи. Положение было таково, что одно время он опасался близкого конца. Пока мисс Мелвилль лежала в изнеможении, миссис Хеммонд проявляла все признаки самой нежной тревоги. Она всегда была очень чувствительной, Эмили же вызвала к себе ее глубокое расположение. Она полюбила ее как мать. При создавшемся положении каждый звук, каждое движение бросали ее в дрожь. Ввиду того что миссис Хеммонд была измучена непрерывным уходом за больной, мистер Уилсон привез другую сиделку и пытался уговорами, даже силой своей власти заставить миссис Хеммонд покинуть помещение, где находилась больная. Но она ничего слышать не хотела, и в конце концов он решил, что, пожалуй, больше повредит ей, применив насилие, которое потребовалось бы, чтобы разлучить ее с невинной страдальцей, нежели предоставив ей следовать своим побуждениям. Взгляд ее множество раз обращался к доктору Уилсону с настойчивым вопросом, но она не решалась проронить ни слова, чтобы узнать его мнение, страшась, как бы он не сообщил ей в ответ роковую весть. В то же время она с глубочайшим вниманием прислушивалась ко всему, что говорили врач или сиделка, надеясь из косвенных намеков узнать то, о чем у нее не было мужества спросить прямо.

К утру в положении больной, казалось, произошел благоприятный перелом. Она проспала около двух часов и, проснувшись, была совершенно спокойной и в полном

сознании. Догадавшись, что это Фокленд привез врача, чтобы позаботиться о ней, и что сам он находится где-нибудь поблизости, она пожелала видеть его. Тем временем Фокленд вместе с одним из своих арендаторов ездил поручиться за должника и теперь явился в тюрьму узнать, можно ли с безопасностью для ее здоровья перевести молодую девушку из ее теперешнего жалкого местопребывания в более удобное помещение с хорошим воздухом. При виде его в памяти мисс Мелвиль ожило смутное воспоминание о ее бредовых видениях. Она закрыла лицо руками и с самым красноречивым смущением и присущей ей безыскусственной простотой благодарила его за те хлопоты, которые он взял на себя. Она надеется, что больше не доставит их ему, ей кажется, что она скоро поправится. Стыдно такой молодой и здоровой девушке, говорила она, не суметь перенести те ничтожные неприятности, которые выпали на ее долю. Но в то время как она это говорила, она была по-прежнему слаба. Она старалась казаться веселой, но ее усилия были напрасны: слабое тело не в состоянии было их поддерживать. Фокленд и доктор просили ее успокоиться и не утомлять себя.

Обманутая внешними признаками улучшения состояния больной, миссис Хеммонд решила выйти из комнаты вслед за двумя джентльменами, чтобы расспросить доктора. Доктор Уилсон заявил, что сначала он нашел больную в очень тяжелом состоянии, но теперь появились признаки улучшения, и он не теряет надежды на ее выздоровление. Однако он добавил, что ни за что не ручается, что ближайшие двенадцать часов решат все и что если к утру не произойдет ухудшения, то он надеется, что она выживет.

Миссис Хеммонд, все это время находившаяся в полном отчаянии, теперь не помнила себя от радости. Она залилась слезами радости, в самых энергичных и горячих выражениях благословляла врача и лепетала всяческие нелепости. Доктор Уилсон воспользовался этим, чтобы убедить ее немного отдохнуть, на что она выразила согласие; для нее была поставлена кровать в комнате, соседней с той, где помещалась мисс Мелвиль, и она удалилась туда, наказав сиделке дать ей знать, если в состоянии больной произойдет какая-нибудь перемена. Миссис Хеммонд проспала несколько часов непробудным

сном. Была уже ночь, когда ее разбудила неожиданная суэта в соседней комнате; несколько мгновений она прислушивалась, потом решила пойти узнать, что случилось. Открыв с этой целью дверь, она увидела, что сиделка идет к ней. По выражению лица этой вестницы она без единого слова догадалась о том, что собирались ей сообщить. Она поспешила к постели мисс Мелвиль и нашла ее умирающей.

Внешние признаки улучшения, которые внушили было столько надежд, оказались кратковременными. Утреннее спокойствие было своего рода предсмертным облегчением. За несколько часов больной стало гораздо хуже. Румянец исчез с ее лица. Она дышала с трудом. Взгляд у нее был остановившийся. Вошедший тут же доктор Уилсон тотчас понял, что все кончено. У нее начались судороги, продолжавшиеся некоторое время. Когда они прошли, она заговорила с врачом спокойно, хотя и слабым голосом. Она благодарила его за внимание и выразила чувство живейшей признательности мистеру Фокленду. Она искренне прощает своего двоюродного брата и надеется, что его не будет слишком сильно преследовать воспоминание о жестоком обращении с ней. Она хотела бы жить; мало кто более искренне радовался жизни, чем она. Но она предпочитает умереть, чем стать женой Граймза. Когда в комнату вошла миссис Хеммонд, она повернулась к ней лицом и с ласковой улыбкой несколько раз назвала ее по имени. Это были ее последние слова. Меньше чем через два часа она испустила дух в объятиях этого своего верного друга.

ГЛАВА XI

Такова была судьба мисс Эмили Мелвиль. Быть может, никогда тирания не представляла более мучительного напоминания о том отвращении, которое должно к ней испытывать. У каждого свидетеля этой драмы невольно возникала мысль, что Тиррел — самый отъявленный негодяй, который когда-либо бесчестил человеческий образ. Даже служители этого дома угнетения, — ведь драма разыгралась в таком публичном месте, что не могла не стать известной всем, — выражали свое

удивление и отвращение по поводу столь беспримерной жестокости.

Если таковы были чувства людей, призванных творить несправедливости, — что можно сказать о чувствах, которые должен был испытывать мистер Фокленд? Он неистовствовал, он проклинал, он бился головой об стену, он рвал на себе волосы. Он был не в состоянии сохранять одно и то же положение, оставаться на одном и том же месте. Он бежал прочь от позора с такой стремительностью, словно хотел оставить позади себя и свои воспоминания и самое свое существование. Казалось, земля горит у него под ногами — так сильны были его бешенство, его ярость. Но вскоре он вернулся. Он приблизился к печальным останкам Эмили и смотрел на них с таким напряжением, что, казалось, глаза его готовы были выскочить из орбит. При его высоких, утонченных понятиях о добродетели и чести он не мог удержаться от укоров по адресу всего мироздания за то, что на свет было произведено такое чудовище, как Тиррел. Он стыдился себя самого из-за того, что имел человеческий облик. Он не мог спокойно думать о представителях рода человеческого. Он с пеной у рта извергал хулы против законов вселенной, которые не позволяют уничтожать таких гадин одним ударом, подобно тому как мы можем раздавить столько вредных насекомых. Его приходилось стеречь, как сумасшедшего.

Обязанность решать, что следует делать в подобных обстоятельствах, легла целиком на доктора Уилсона. Доктор был человек, привыкший действовать хладнокровно и методически. У него прежде всего явилась мысль, что мисс Мелвиль — отпрыск семейства Тиррел. Он не сомневался в готовности мистера Фокленда покрыть те расходы, которые потребуют в дальнейшем печальные останки несчастной жертвы. Но он понимал, что законы приличия и благопристойности требуют довести о совершившемся до сведения главы семьи. Возможно также, что он не забывал при этом и о своих профессиональных интересах и не хотел навлечь на себя неприязнь лица, пользующегося таким весом в округе, как мистер Тиррел. Но, при всей своей слабости, он разделял некоторые чувства, общие всем остальным, и должен был сделать над собой значительное усилие, прежде чем решился взять на себя роль вестника. К тому же

он не считал удобным при настоящем положении вещей оставлять мистера Фокленда.

Когда доктор Уилсон высказал эти мысли, они, видимо, произвели непредвиденное действие на миссис Хеммонд; она настоятельно потребовала, чтобы ей самой было разрешено отправиться с известием. Предложение было неожиданным, но доктор не очень настойчиво отказывал в своем согласии на это. Она говорила, что хочет во что бы то ни стало увидеть собственными глазами, какое впечатление произведет катастрофа на ее виновника; при этом она обещала вести себя сдержанно и учтиво.

Поездка вскоре же была совершена.

— Я приехала уведомить вас, сэр, — сказала она мистеру Тирреллу, — что ваша двоюродная сестра, мисс Мелвиль, сегодня после полудня скончалась.

— Скончалась?

— Да, сэр. Я была при ней до конца. Она умерла на этих руках.

— Умерла? Кто убил ее? Что вы хотите сказать?

— Кто? Вам ли задавать этот вопрос? Убили ее ваша жестокость, ваше коварство.

— Я... Мое... Нет, она не умерла... Этого не может быть. Не прошло и недели, как она покинула этот дом...

— Вы мне не верите? Говорю вам, она умерла.

— Берегись, женщина! Такими вещами не шутят. Нет... Хотя она и дурно поступила со мной, я не хотел бы узнать, что она мертва. Ни за что на свете!

Миссис Хеммонд покачала головой с выражением скорби и гнева в то же время.

— Нет, нет, нет, нет! Ни за что не поверю! Никогда!

— Не угодно ли проехать со мной и убедиться в этом собственными глазами? Это картина, достойная вас. Она порадует такое сердце, как ваше.

С этими словами миссис Хеммонд протянула руку, как бы для того, чтобы проводить его на место.

Мистер Тиррел отпрянул назад.

— Если она и умерла, что мне до этого? Разве я отвечаю за все дурное, что происходит на свете? Для чего вы пришли сюда? Зачем принесли мне эту весть?

— К кому же мне и нести ее, как не к вам — ее родственнику и ее убийце?

— Убийце? Разве я пускал в ход ножи и пистолеты? Разве я подсыпал ей яду? Я сделал только то, что позволяет закон. Если она и умерла, никто не может сказать, что в этом моя вина.

— Ваша вина! Да ведь весь свет будет проклинать вас, гнушаться вами! Не настолько же вы безумны, чтобы думать, что раз люди отдают дань уважения богатству и знатности, то простят даже этот поступок. Последний нищий будет пинать вас и плевать вам в лицо. Да, вы можете стоять и поражаться тому, что наделали. Я прокричу о вас на весь мир, и вам придется бежать от всякого человеческого лица.

— Добрая женщина, — произнес Тиррел крайне униженно, — не говорите так больше. Эмми не умерла! Я уверен... я надеюсь... она не умерла! Скажите только, что вы обманули меня, и я вам все прощу... я прощу ее... я верну ей свое расположение... я сделаю все, что вы захотите. Я никогда не желал ей зла.

— Говорю вам — она умерла! Вы убили самое нежное и невинное создание, какое когда-либо жило на свете. Можете вы вернуть ее к жизни — вы, изгнавший ее из жизни? Если бы вы могли, я бы по двадцать раз в день преклоняла перед вами колени. Что вы наделали! Жалкий негодяй! Вы думали, что все можно сделать и переделать, повернуть так или этак по вашей прихоти, да?

Упреки миссис Хеммонд были первым случаем, когда мистеру Тиррелу пришлось пить чашу возмездия до дна. Они были только началом длинного ряда тех доказательств презрения, ненависти и отвращения, которые ждали его. Слова миссис Хеммонд оказались пророческими. С очевидностью обнаружилось, что хотя богатство и наследственное высокое положение служат оправданием для многих проступков, но бывают преступления, пробуждающие такое непреодолимое негодование человеческого рода, что перед ними, как перед лицом смерти, стираются все различия, а виновный в них низводится на одну ступень с самыми падшими, самыми гнусными представителями человечества. Против Тиррела, как тирана и бесчеловечного убийцы Эмили, даже те, кто не разрешал себе открыто выражать свои чувства, произносили проклятия, если не вслух, то про себя, а голоса остальных сливались в один сплошной вопль ненависти

и омерзения. Он был поражен повизной положения. До сих пор он привык встречать со стороны окружающих повиновение и трепетную покорность и вообразил, что так будет всегда, что никогда никакие излишества с его стороны не смогут нарушить очарования. Теперь он оглядывался вокруг и читал на каждом лице угрюмое отвращение, которое сдерживалось с трудом, но по малейшему поводу прорывалось безудержным потоком и смывало прочь плотины страха и подчинения. Все его огромное богатство не могло доставить ему учтивости окрестных землевладельцев, крестьян, в сущности — даже его собственных слуг. Негодование всех окружающих было тем призраком, который преследовал его при всякой перемене места, будил угрызения совести, лишал его покоя. С каждым днем вся округа делалась для него все более и более невыносимой, и становилось очевидным, что в конце концов он будет вынужден покинуть страну. Побуждаемые гнусностью его последнего поступка, люди начинали припоминать все случаи его невоздержанности; количество обвинений росло. Казалось, общественное негодование давно собирало свои силы и теперь прорвалось неодолимо.

Вряд ли можно найти живое существо, для которого такого рода возмездие было бы более тягостным, чем для мистера Тиррела. Хотя у него не было сознания своей невинности, которое заставляло бы его постоянно содрогаться от человеческой ненависти, как совершенно им не заслуженной, но властность его характера и опыт, который он имел в отношении уступчивости окружающих, приводили к тому, что он воспринимал общее и нескрываемое осуждение, ставшее его уделом, с исключительно сильным гневом и раздражением. Как! Он, перед сверкающим взором которого каждый терялся, кому, если он распалялся гневом, ни одна живая душа не осмеливалась возражать, встречал теперь открытую неприязнь и подвергался бесцеремонному порицанию? Это была мысль, которую он не в силах был ни допустить, ни перенести. Признаки всеобщего отвращения поражали его каждое мгновение, и при каждом ударе он корчился в невыносимой муке. Он отражал каждое нападение самым свирепым негодованием; но чем больше он боролся, тем отчаяннее, казалось, становилось его положение. Наконец он решил собраться

с силами для решительной схватки и встретиться один на один с общественным мнением.

Для осуществления этого замысла он отправился без промедления на один из тех сельских вечеров, о которых я уже упоминал в ходе своего повествования. Со смерти мисс Мелвиль прошел уже месяц. Фокленд последнюю неделю был в отъезде, в отдаленной части страны; его ждали обратно не раньше как через неделю. Тиррел охотно воспользовался благоприятным случаем, полагая, что если ему удастся теперь восстановить свое положение, то он без труда удержит взятые твердыни даже перед лицом страшного врага. В мужестве у мистера Тиррела не было недостатка, но он считал момент слишком решительным в своей жизни, чтобы позволить себе бесцельно рисковать возможностью завоевать спокойствие и положение в обществе.

Когда он явился на вечер, произошло некоторое замешательство, так как между джентльменами, посещавшими вечера, было решено, что мистеру Тиррелу вход будет воспрещен. Это решение было уже сообщено ему в письменной форме распорядителем, но человека с нравом мистера Тиррела такое извещение могло скорее настроить вызывающе, чем запугать. В дверях он был встречен самим распорядителем, который услышал шум подъехавшего экипажа; распорядитель попытался подтвердить запрещение, но мистер Тиррел властно и презрительно отстранил его. Когда он вошел, все взгляды остановились на нем. Все джентльмены, бывшие в комнате, столпились вокруг него. Одни пробовали вытеснить его из комнаты, другие осыпали упреками. Но он нашел способ заставить замолчать одних и отделаться от других. Его мускулистая фигура, хорошо известная всем сила его ума, долгая привычка к его власти, с которой сжился каждый из них, — все это говорило в его пользу. Он знал, что ведет отчаянную игру, и собрал всю силу, какой обладал, чтобы быть на высоте положения в столь важном для него деле. Освободившись от докучливых насекомых, которые сразу налетели на него, он с высокомерным видом зашагал назад и вперед по комнате, сердито сверкая глазами. Наконец он нарушил молчание. Если кто хочет что-нибудь сказать ему, он, Тиррел, сумеет ответить. Однако он советует такому лицу прежде хорошенько поразмыслить, что тот собирается сделать.

Если кто воображает, что имеет к нему личные претензии, — что ж, прекрасно! Но, надо полагать, не найдется такого невежды и неоперившегося птенца, который станет вмешиваться в то, что его не касается, и впутываться в частные семейные дела.

Поскольку это было своего рода вызовом, кое-кто из джентльменов выдвинулся вперед, чтобы ответить на него. Тот, который был ближе других, заговорил, но мистер Тиррел выражением лица, резким тоном, вовремя вставленными замечаниями и дерзкими намеками заставил его сначала запнуться, а потом замолчать. Кажалось, что он уже близок был к торжеству, на которое рассчитывал. Все собравшиеся были изумлены. Они, как и прежде, испытывали к нему отвращение и осуждали его, но не могли не восхищаться смелостью и находчивостью, которые он проявлял в этом случае. Они легко могли заново сосредоточить чувства своего негодования, но, по-видимому, им не хватало главаря.

В эту критическую минуту в комнату вошел Фокленд. Чистая случайность дала ему возможность вернуться раньше, чем он рассчитывал.

И он и Тиррел покраснели, увидев друг друга. Ни мгновения не колеблясь, Фокленд направился к Тиррелу и повелительным тоном спросил его, что он здесь делает.

— Здесь? Что вы хотите этим сказать? Доступ в это место открыт для меня так же, как и для вас, и вы последний, которому я соизволю дать отчет о своих действиях.

— Доступ сюда закрыт для вас, сэр. Разве вам неизвестно, что вы исключены? Какие бы права ни имели вы раньше, ваше позорное поведение лишило вас этих прав.

— Мистер, как вас там! Если вы желаете что-нибудь мне сказать, выберите подходящее время и место. Не воображайте, что вы можете буянить под защитой этого собрания. Я этого не потерплю.

— Вы ошибаетесь, сэр. Это общественное собрание — единственное место, где я могу сказать вам то, что считаю нужным. Если вам не угодно видеть выражения негодования, общего всему человеческому роду, то вам незачем появляться среди людей. Позор вам, бесчеловечный, неумолимый тиран! Мисс Мелвил!

Неужели вы можете слышать ее имя без желания провалиться сквозь землю? Неужели, когда вы удаляетесь к себе, вас не преследует ее бледный, кроткий призрак, вставший из гроба, чтобы укорять вас? Неужели вы можете вспоминать ее добродетели, ее невинность, ее безупречное поведение, ее беззлобный характер — и не бежать, терзаемый угрызениями совести? Не вы ли убили ее в самом расцвете юности? Как вы можете вынести мысль, что она тлеет теперь в могиле, она, жертва ваших проклятых козней, в десять тысяч раз более достойная оставаться в живых, чем вы? И вы думаете, что человечество забудет или простит вам когда-нибудь это злодеяние?.. Ступай, презренный негодяй! Считай себя счастливым, что тебе дозволено бежать от лица людей! О, какой у тебя жалкий вид в эту минуту! Неужели ты думаешь, что нашлось бы что-нибудь на свете, что заставило бы содрогнуться такого закоренелого злодея, как ты, если бы твоя собственная совесть не была заодно с теми, кто укоряет тебя? И неужели ты был так глуп, что думал, будто упорство, как бы оно ни было велико, поможет тебе пренебречь суровым осуждением справедливости? Ступай прочь, несчастный, замкнись в самого себя! Вон! И пусть твой вид никогда больше не оскверняет моего взора!

И тут, как бы это ни казалось невероятным, Тиррел начал уступать своему обличителю. Во взгляде его были ужас и безумие; он дрожал всем телом, язык отказывался ему повиноваться. Он не мог устоять перед стремительным потоком обвинений, который изливался на него. Он еще колебался, стыдился собственного поражения, как будто хотел оспаривать его. Но борьба была напрасна: каждая попытка рушилась в то же мгновение, как возникала. Общественное мнение приводило его все в большее замешательство. Чем явственнее обнаруживалось его смятение, тем сильнее становился ропот. Постепенно он возрастал, перешел в крики, в шум, в оглушающий вопль негодования. Наконец, не будучи больше в состоянии вынести чувства, им вызванные, он послушно удалился из собрания.

Часа через полтора он вернулся. Никаких предосторожностей на этот случай принято не было, потому что его ожидали всего менее. В промежутке он одурманил себя большой порцией водки. В мгновение ока

он очутился в той части комнаты, где стоял мистер Фокленд, и одним ударом мускулистой руки поверг его наземь. Однако удар не ошеломил Фокленда, и он тотчас вскочил на ноги. Нетрудно догадаться, насколько неравны были их силы в этого рода борьбе. Не успел Фокленд подняться, как Тиррел нанес ему второй удар. На этот раз Фокленд был настороже и не упал. Но удары противника посыпались с быстротой, которую трудно себе представить, и Фокленд был снова повергнут наземь. Тут Тиррел ударил его ногой и нагнулся с очевидным намерением проташить его по полу. Все это произошло в одно мгновение, и присутствующие джентльмены не успели прийти в себя от неожиданности. Теперь они вмешались, и Тиррел снова оставил помещение.

Трудно представить себе происшествие, более ужасное для мистера Фокленда, чем то оскорбление, какому он подвергся на этот раз. Вся его прежняя жизнь заставляла его воспринять случившееся особенно остро. Он не раз проявлял необычайную энергию и осторожность, стараясь, чтобы из-за недоразумений, возникших между ним и Тиррелом, дело не дошло до крайностей. Напрасно. Они привели к катастрофе, превзошедшей все, чего он опасался, все, что могла бы предвидеть самая проникательная дальновидность.

Для Фокленда бесчестье было хуже смерти. Малейший намек на позор пронзал его до глубины души. Что же должно было значить для него это унижение, подлое, оскорбительное и публичное? Если бы Тиррел в состоянии был постичь, какое зло он причиняет, то даже он, при всех подстрекавших его обстоятельствах, вряд ли решился на это. Дух мистера Фокленда стал вместилищем бурь, подобных борьбе враждующих стихий; страдания, которые он испытывал, превосходили все, какие могли бы вызвать ухищрения самой изобретательной жестокости. Он желал уничтожения; покоиться в вечном забвении, ничего не чувствовать, в сравнении с тем, что он испытывал, было для него не менее заманчиво, чем даже вечное блаженство. Ужас, отвращение, жажда мести, невыразимо страстное желание прогнать наваждение и уверенность, что все направленные к этому усилия будут бесполезны, переполняли его душу.

Еще одно происшествие завершило цепь событий этого памятного вечера. Фокленд лишился последнего, что у него еще оставалось: возможности отомстить. Кто-то из членов общества нашел мистера Тиррела на улице мертвым. Он был убит на расстоянии нескольких ярдов от того дома, где происходили общественные вечера.

ГЛАВА XII

Остающуюся часть этого повествования я постараюсь передать словами самого мистера Коллинза. Читатель имел уже случай убедиться, что Коллинз был незаурядным человеком; его рассуждения об этом предмете были как нельзя более справедливы.

— Этот день был днем перелома в судьбе мистера Фокленда. Здесь берут свое начало та мрачность, необщительность, меланхолия, жертвой которых он стал с тех пор. В некоторых отношениях нет двух характеров, более противоположных один другому, чем Фокленд до этого события и Фокленд после него. До тех пор счастье и постоянная удача покровительствовали ему.

Его ум отличался пылкостью; он был полон той непоколебимой веры в свои собственные силы, которую человеку обычно внушает преуспевание. Хотя у него были привычки вдумчивого и восторженного мечтателя, тем не менее ему не были чужды веселье и спокойствие. Но с этого момента и гордость его и возвышенная смелость духа были подавлены. Из предмета зависти он превратился в предмет сострадания. Жизнь, которой он до сих пор наслаждался с утонченностью, как никто более, стала для него бременем. Исчезли и его способность быть довольным собою и приходить в восторг, его снисходительность к самому себе и радующая сердце благосклонность к людям. Он, когда-то более чем всякий другой человек живший великими и вдохновляющими мечтами воображения, теперь, казалось, стал видеть одни только признаки душевных мук и отчаяния. Положение, в котором он находился, особенно достойно сочувствия, ибо если бы честность и чистота побуждений давали право на счастье, то, без сомнения, немногие могли бы

заявить столь основательные и веские притязания на него, как мистер Фокленд.

Он слишком глубоко проникся праздной и пустой рыцарской романтикой, чтобы мог забыть о положении, на его взгляд унижительном и позорном, в которое он был поставлен на этот раз. В личности подлинного рыцаря есть некая таинственная божественность, вследствие которой всякое совершенное над ним грубое насилие становится несмываемым и незабываемым. Быть опрокинутым наземь, избитым кулаками, истоптанным, проташенным по полу! Святые небеса! Нет сил терпеть воспоминание о таком обращении. Ничем нельзя будет и впредь смыть это пятно; хуже всего в данном случае было то, что восстановление чести, как его предписывают законы странствующего рыцарства, оказывалось вовсе невозможным, так как оскорбитель перестал существовать.

Когда-нибудь в грядущем, когда человеческий род достигнет большего совершенства, несчастье, которое в настоящем случае лишило блеска и силы один из самых возвышенных и привлекательных умов, покажется, быть может, в какой-то мере непонятым. Если бы мистер Фокленд судил об этом происшествии вполне здраво, он, по всей вероятности, сумел бы взглянуть равнодушно на нанесенное ему оскорбление. Насколько больше достоинства, чем современные дуэлянты, являет нам самый доблестный из греков, Фемистокл, * который в тот момент, когда его начальник Эврибиад в ответ на какое-то его замечание с угрозой занес над ним палку, ответил благородным восклицанием: «Бей, но выслушай!»

Что сказал бы в подобном случае своему грубому противнику человек, трезво рассуждающий? «Я горжусь тем, что могу терпеть несчастье и горе, неужели же я окажусь не способным перенести незначительную неприятность, которую может причинить мне твое безрассудство? Может быть, человек был бы совершеннее, если бы он владел искусством самозащиты, но как редко представлялся бы ему случай применить это искусство! Как мало придется ему встретить на своем пути людей, таких же несправедливых и грубых, как ты, если в своем собственном поведении он будет руководиться правилами разума и милосердия. Кроме того, сколь ограничено

было бы применение этого искусства после того, как оно было усвоено! Вряд ли оно уравнило бы человека деликатного телосложения и небольшого роста с кулачным бойцом. И если бы даже оно в известной мере обезопасило меня от злобы противника, действующего в одиночку, то все же моей личности и жизни всегда грозила бы опасность со стороны двоих. Оно могло бы пригодиться мне только для немедленной самозащиты от непосредственного насилия — не более того. Человек, который может предумышленно драться со своим противником, для того чтобы подвергнуть опасности одного из них или обоих, попирает все принципы разума и справедливости. Дуэль — гнуснейший из видов эгоизма. Дуэлянт ни во что не ставит общество, которое имеет все права на его силы и способности, и только самого себя, или, вернее, какой-то туманный призрак, связанный с его собственной личностью, считает заслуживающим права на исключительное внимание. Я не способен совладать с тобой... Что из того? Может ли это обстоятельство обесчестить меня? Нет, обесчестить меня может только совершение несправедливого поступка. Моя честь охраняется мною самим, и весь человеческий род не властен над нею. Бей! Я стерплю. Какое бы оскорбление ты мне ни нанес, оно не заставит меня подвергнуть тебя или себя бесцельной опасности. Я отказываюсь от поединка, но это не значит, что я малодушен. Если я уклонюсь от каких-либо опасностей или страданий, которые могли бы послужить общему благу, тогда, и только тогда, клейми меня как труса».

Такого рода рассуждения, сколь бы простыми и убедительными ни должен был найти их беспристрастный ум, мало кем разделяются в свете; особенно чужды они были предрассудкам мистера Фокленда.

Но публичным посрамлением и наказанием, которым он подвергся, — как невыносимо ни было воспоминание о них, — не ограничивались беды, обрушившиеся на нашего несчастного покровителя в результате событий этого дня. Стали перешептываться о том, что убийцей его противника является не кто другой, как он сам. Слухи эти имели слишком большое значение для самой его жизни, чтобы их можно было скрыть от него. Он узнал о них с неописуемым изумлением и ужасом. Это было страшное добавление к тому бремени душевных

страданий, которое уже угнетало его. Никто никогда так не дорожил своим добрым именем, как мистер Фокленд, и вот в один день на него свалились ужаснейшие бедствия: самое жестокое личное оскорбление и обвинение в самом гнусном преступлении. Он мог бы бежать, так как не было никого, кто торопился бы начать преследование человека столь уважаемого, как мистер Фокленд, в отместку за человека, столь ненавидимого всеми, как мистер Тиррел. Но он пренебрег бегством. Тем временем дело приняло самый серьезный оборот. Казалось, непроверенные толки нарастали с каждым днем. Порой мистер Фокленд как будто склонен был предпринять шаги, которые ускорили бы разбирательство дела. Но он, вероятно, опасался слишком прямым обращением к правосудию сделать еще более отчетливым обвинение, самую мысль о котором отвергал. В то же время он охотно пошел бы навстречу самому строгому расследованию; и если он не мог надеяться, что выдвинутое против него обвинение забудется, то желал, чтобы самым убедительным образом была доказана его несправедливость.

Представители местного суда наконец сочли нужным предпринять некоторые шаги по этому делу. Не подвергая мистера Фокленда аресту, они известили его о своем желании видеть его на одном из своих ближайших заседаний. После того как дело таким образом началось, мистер Фокленд выразил надежду, что расследование будет обставлено возможно более торжественно. Заседание было многолюдным. Все лица, принадлежащие к уважаемым кругам общества, были допущены в качестве слушателей. Весь город — один из самых больших в графстве — был осведомлен о характере этого дела. Не многие процессы, облеченные в форму настоящего судопроизводства, возбуждали такой всеобщий интерес. При наличных обстоятельствах дело вряд ли могло дойти до судебного разбирательства, а потому обе стороны, — и главный участник и третейские судьи, — казалось, желали предать происходящее возможно большей гласности и сообщить ему всю важность настоящего судебного процесса.

Судьи расследовали подробности всей истории. Как выяснилось, мистер Фокленд вышел из комнаты, тотчас же вслед за мистером Тиррелом, и хотя один или двое из присутствующих джентльменов проводили его до

гостиницы, было доказано, что он под каким-то пустым предлогом покинул их, как только они туда прибыли. Когда они справились о нем у слуг, то оказалось, что он уже сел на лошадь и уехал домой.

По самому характеру дела никакие особые обстоятельства не могли быть противопоставлены этим фактам. Поэтому, как только последние были освещены достаточно подробно, мистер Фокленд приступил к своей защите. Его защитительная речь была переписана в нескольких экземплярах, и одно время мистер Фокленд как будто собирался ее напечатать, от чего впоследствии отказался по неизвестной причине. В моем распоряжении имеется один из списков этой речи, и я прочту ее тебе.

С этими словами Коллинз встал и вынул рукопись из секретного ящика своего письменного стола. Делая это, он словно раздумывал. Не то чтобы он колебался в полном смысле этого слова, но он счел нужным до известной степени оправдаться в том, что делает.

— Ты, как видно, ничего не слышал об этом памятном событии; оно и понятно, поскольку общество, в интересах добрых нравов, склонно умалчивать о нем. Считается ведь позорным для человека, если ему приходится защищаться от обвинения в уголовном преступлении. Надо полагать, что это замалчивание особенно приятно мистеру Фокленду. И я не стал бы действовать вопреки его взглядам, сообщая тебе эту историю, если бы не произошли особенно важные события, которые как будто делают такое сообщение желательным.

Сказав это, он стал читать вслух бумагу, которую держал в руках:

Джентльмены!

Я стою перед вами, обвиняемый в преступлении, самом черном из всех, какие только способно совершить человеческое существо. Я невиновен. Я не опасаясь, что мне не удастся добиться признания моей невинности всеми здесь присутствующими. А между тем что должен я чувствовать? Сознывая, как я это сознаю, что заслуживаю одобрения, а не порицания, что я провел всю свою жизнь в делах справедливости и благотворитель-

ности, — могу ли я считать что-либо более заслуживающим сожаления, чем то, что я призван к ответу по обвинению в убийстве? Положение мое так ужасно, что я не мог бы принять вашего добровольного оправдания даже в том случае, если бы вы захотели подарить меня им. Я должен ответить на обвинение, самая мысль о котором для меня в десять тысяч раз хуже смерти. Я должен напрячь все силы своего ума, чтобы не дать приравнять себя к самым гнусным среди людей.

Джентльмены! В таком положении человеку должно быть позволено хвалить самого себя. Ненавистное положение! Никто не должен завидовать отвратительному и оскверненному торжеству, которого мне предстоит сейчас добиться. Я не вызывал свидетелей, которые дали бы оценку моему характеру и поведению. Великий боже! Что это за поведение, которое нуждается в свидетелях, чтобы получить одобрение? Но если я должен говорить, то взгляните вокруг, спросите каждого здесь присутствующего, загляните в ваши собственные сердца! Ни одного слова упрека никогда не было сказано мне даже шепотом. Я не колеблясь сошлюсь на тех, кто знал меня больше других; я не сомневаюсь, что они дадут обо мне самый достойный отзыв.

Жизнь моя прошла в самой неустанной и непрерывной заботе о моем добром имени. Я почти равнодушен к тому, что принесет мне сегодняшний день. Я не сказал бы ни слова по этому поводу, если бы дело шло только о моей жизни. Не во власти вашего решения вернуть мне мою незапятнанную репутацию, изгладить бесчестье, которое я перенес, или отвратить воспоминание о том, что я был привлечен к следствию по обвинению в убийстве. Ваше решение уже не в силах воспрепятствовать тому, что жалкие остатки моего существования будут для меня самым несносным бременем.

Я обвиняюсь в том, что совершил убийство Барнабы Тиррела. С огромной радостью я отдал бы каждый фартинг, который имею, и обрек бы себя на постоянную нищету, если бы только я мог сохранить ему жизнь. Его жизнь была для меня драгоценнее, чем жизнь всего человечества. С моей точки зрения, величайшая несправедливость, которую совершил неизвестный убийца, заключается в том, что он отнял у меня возможность справедливой мести. Сознаюсь, я вызвал бы мистера

Тиррела на поединок, и наша встреча кончилась бы только смертью одного из нас либо нас обоих. Это было бы всего лишь жалким и недостаточным удовлетворением за его беспримерную обиду, но это было все, что мне оставалось.

Я не прошу сострадания, но должен открыто заявить, что ни одно несчастье не было столь ужасным, как мое. Я с радостью в добровольной смерти нашел бы убежище от воспоминания о той ночи. Ведь жизнь лишена теперь для меня всех тех благ, ради которых она ценится. Но даже это утешение отнято у меня. Я обречен влачить невыносимое бремя существования под угрозой, что если когда-нибудь, хотя бы в самое отдаленное время, я сброшу его, — в этой торопливости увидят подтверждение обвинений в убийстве. Джентльмены, если бы своим решением вы могли отнять у меня жизнь, не утверждая этим актом моего бесчестия, я благословил бы веревку, которая остановила бы навсегда мое дыхание.

Всем вам известно, как легко я мог бы убежать от такого самооправдания. Будь я виновен, разве я не ухватился бы за такую возможность? Но при настоящих условиях я не мог этого сделать. Доброе имя было идолом, сокровищем моей жизни. Я был бы не в силах вынести мысль, что хоть одно живое существо в самой отдаленной части земного шара убеждено в том, что я преступник. Увы! Какое божество выбрал я для поклонения! Я осудил самого себя на муку и отчаяние, которым никогда не будет конца.

Мне остается добавить только одно слово. Джентльмены! Я поручаю вам воздать мне ту несовершенную справедливость, которая окажется в ваших силах. Моя жизнь есть нечто потерявшее цену. Но моя честь, ничтожные остатки чести, какими я могу еще похвалиться, — в ваших руках, и каждый из вас отныне и все вы вместе должны взять на себя задачу быть ей защитником! Не много можете вы сделать для меня, но ваша обязанность — сделать это немногое. Да хранит вас бог, источник чести и благоденствия! Человек, который стоит сейчас перед вами, обречен на пожизненное бесчувствие и пустоту! Ему будет не на что больше надеяться после того слабого утешения, которое принесет ему сегодняшний день!

— Ты можешь себе легко представить, что мистер Фокленд был оправдан с полным доверием. Но в жизни нет ничего более прискорбного, чем то обстоятельство, что даже такое полное и окончательное оправдание связывается в представлениях людей с чем-то позорным. Ни у кого не было и тени сомнения в человеке, а между тем достаточно было пустого совпадения обстоятельств, чтобы лучший из людей оказался вынужденным публично защищаться, будто бы и в самом деле уличаемый в зверском преступлении. Нельзя не признать, конечно, что у мистера Фокленда были свои недостатки, но самые эти недостатки делали невозможным его участие в преступлении, о котором шла речь. Он был помешан на чести и доброй славе; это был человек, которого ничто не могло остановить, когда дело шло о его добром имени, который целые миры готов был бы отдать за то, чтобы добиться славы подлинного доблестного и неустрашимого героя, и считал все несчастья несуществующими, кроме пятна на своей чести. Как чудовишно нелепо было допустить, чтобы какое бы то ни было побуждение могло заставить такого человека взять на себя роль убийцы из-за угла! Каким бессердечием было принуждать его защищаться от подобного обвинения! Случалось ли, чтобы человек, а тем более человек с самым обостренным чувством чести, от жизни, не запятнанной ни одним дурным поступком, в одно мгновение шагнул к самым глубинам человеческой развращенности?

Когда решение судей было объявлено, слышался общий шепот одобрения и возгласы невольного восторга присутствующих. Сначала тихие, они становились все громче. Это было выражением безудержной радости, чувства бескорыстного и божественного. В самом этом шуме было нечто неопишное, трогавшее сердце и убеждавшее каждого зрителя, что не было ни одного удовольствия, когда-либо существовавшего, которое не представлялось бы ребяческим и слабым по сравнению с этим всеобщим энтузиазмом. Каждый старался как можно сильнее выразить свое уважение обвиняемому. Не успел мистер Фокленд удалиться, как присутствующие джентльмены решили еще более закрепить дело своими поздравлениями. Они тотчас же выбрали депутацию, которая должна была отправиться к нему с этой целью. Каждый хотел внести свою долю в выражение общих

чувств. Это было единодушное сочувствие, охватившее людей всех званий и состояний. Толпа встретила его криками «ура», выпрягла лошадей из его экипажа, повлекла его с торжеством и провожала на протяжении многих миль на обратном пути домой. Казалось, публичное следствие по обвинению в уголовном преступлении, которое до сих пор всегда рассматривалось как клеймо позора, на этот раз стало поводом для пылкого поклонения и беспримерных почестей.

Но ничто не могло тронуть сердце мистера Фокленда. Он был чувствителен к общей доброте и вниманию, но было слишком очевидно, что печаль, овладевшая его духом, непреодолима.

Прошло всего лишь несколько недель после этой памятной сцены, и настоящий убийца был обнаружен. Каждая часть этой истории необычайна. Настоящим убийцей был Хоукинс. Его нашли вместе с сыном в селе, милях в тридцати от города; они жили там под чужим именем, в страшной нужде. Со времени своего бегства Хоукинс жил там так уединенно, что все розыски его, предпринятые с благими намерениями мистером Фоклендом и с ненасытной злобой мистером Тиррелом, не могли открыть его местопребывания. Первое, что помогло найти его, был сверток платья, запачканного в крови, найденный в пруду и по извлечении оттуда опознанный жителями села как принадлежащий Хоукинсу. Убийство мистера Тиррела было не из тех происшествий, которые могут остаться неизвестными, поэтому подозрение возникло тотчас же. После тщательных поисков в одном из углов жилища Хоукинса нашли заржавленную рукоятку ножа вместе с частью лезвия, которое, будучи приложено к острию ножа, оставшемуся в ране, показалось совершенно с ним совпадающим. При дальнейшем расследовании два крестьянина, которые случайно были на месте преступления, припомнили, что в этот самый вечер они видели Хоукинса и его сына в городе и окликали его, но не получили никакого ответа, хотя и уверены, что это был именно он.

На основании всех собранных улик оба Хоукинса, отец и сын, были посажены на скамью подсудимых, осуждены и затем казнены. В промежутке между объявлением приговора и его исполнением Хоукинс сознался в своей вине, видимо, чувствуя угрызения совести;

впрочем, есть лица, которые это отрицают. Но я приложил некоторые старания, чтобы проверить это обстоятельство, и убежден, что их недоверие поспешно и неосновательно.

По этому поводу вспомнили и жестокую несправедливость, которую этот человек претерпел от своего сельского тирана. По какой-то странной и роковой случайности дикие поступки мистера Тиррела почти никогда не оставались незавершенными, даже смерть его содействовала окончательной гибели человека, которого он ненавидел, — обстоятельство, которое, если бы оно могло быть доведено до его сведения, быть может до известной степени утешило бы его в его собственной безвременной кончине. Этот несчастный Хоукинс, конечно, заслуживал некоторого сострадания, потому что, если он был в конце концов доведен до отчаяния и его вместе с сыном постигла позорная гибель, то этим он был обязан прежде всего стойкости своей добродетели и независимости. Однако общественное сочувствие в значительной степени отвернулось от него, так как примером грубого и непростительного себялюбия было сочтено то, что он не выступил смело вперед, чтобы на себе испытать последствия своего собственного деяния, и допустил, чтобы такой почтенный человек, как мистер Фокленд, который был проникнут желанием делать ему добро, подвергся опасности быть судимым за убийство, которое совершил Хоукинс.

С того времени мистер Фокленд был почти всегда таким, каким ты видишь его сейчас. Хотя после этих событий прошло уже много лет, впечатление, которое они произвели, всегда свежо в памяти нашего несчастного покровителя. С тех пор его привычки совершенно изменились. Раньше он очень любил бывать в обществе и играл роль среди людей, составлявших его ближайшее окружение. Теперь он сделался суровым отшельником. У него нет ни товарищей, ни друзей. Сам безутешный, он, однако, желает обращаться с другими ласково. В его обхождении есть торжественная печаль, соединенная с совершенной мягкостью и человечностью. Все уважают его, потому что доброта его непоколебима. Но его манера держать себя отличается величавой холодностью и сдержанностью, которые не позволяют даже самым близким людям выражать ему свою дружескую привя-

занность к нему. Это — его постоянное состояние, но бывают периоды, когда страдания его становятся невыносимы и он обнаруживает признаки буйного помешательства. В такое время речь его ужасна и таинственна. Он, по-видимому, представляет себе одно за другим всякого рода преследования и тревоги, которые, вероятно, должны сопровождать обвинение в убийстве. Но, сознавая собственную слабость, он в такие дни старается уединиться; слуги его, в общем, ничего о нем не знают, только во всем, что он делает, они видят его необщительность и надменность, вялость и угнетенность духа.



КНИГА
ВТОРАЯ



ГЛАВА I

Я

изложил рассказ мистера Коллинза вместе с другими сведениями, которые мне удалось собрать, со всей точностью, на какую оказалась способной моя память, поддерживаемая некоторыми записями, которые я вел в то время. Я не могу поручиться за достоверность какой бы то ни было части этих записей, кроме той, которая касается событий, происходивших при мне, и эта часть будет передана с той простотой и правдивостью, которые я стал бы соблюдать перед судом, собирающимся вынести окончательный приговор всему, что мне дорого. Та же добросовестная точность заставляет меня воздержаться от того, чтобы переделывать выражения мистера Коллинза с целью приноровить их к требованиям моего собственного вкуса; вскоре обнаружится, насколько существенно его повествование для уяснения моей истории.

Мой друг хотел своим сообщением успокоить меня, но на деле он только усилил мое смятение. До тех пор мне не приходилось соприкасаться с миром и его страстями. Хотя они не вовсе были мне незнакомы, так как я знал их в том виде, в каком они отражались в книгах, но это оказало мне мало помощи, когда пришлось столкнуться с ними лицом к лицу. Дело совершенно менялось оттого, что человек, одержимый этими страстями, был постоянно у меня перед глазами, а события происходили, как это и было в действительности, совсем недавно и в ближайшем

соседстве с тем местом, где я жил. В повествовании об этих событиях были согласованность и движение вперед, и это делало их совсем непохожими на мелкие сельские происшествия, бывшие мне известными до сих пор. Чувства мои поочередно приходили в волнение, по мере того как лица появлялись на сцене. Мистер Клер пробуждал мое благоговение; миссис Хеммонд своей неустрашимостью вызывала живое одобрение. Я удивлялся, что человеческое существо может быть так безгранично развращено, как мистер Тиррел. Я заплатил слезами дань памяти простодушной мисс Мелвиль. Я находил тысячи новых оснований, чтобы восхищаться мистером Фоклендом и любить его.

В то время меня радовало, что для меня ясен смысл всякого события. Но история, которую я выслушал, не выходила у меня из головы, и мне страшно хотелось понять ее во всем ее значении. Я перетолковывал ее на все лады и рассматривал со всех точек зрения. В своей первоначальной передаче она показалась мне достаточно ясной и убедительной, но когда я стал упорно размышлять над ней, она мало-помалу стала казаться мне таинственной. Было что-то странное в характере Хоукинса. Такой твердый, такой непреклонно честный и справедливый, каким этот человек казался вначале, — он вдруг превратился в убийцу! Его первоначальное поведение в ответ на притеснения не могло не располагать в его пользу. Разумеется, если он был виновен, с его стороны было непростительно допустить, чтобы человек, обладающий столькими достоинствами и заслугами, как мистер Фокленд, страдал, обвиненный в его преступлении. И все-таки я не мог не сочувствовать честному малому, в сущности говоря доведенному до виселицы кознями мистера Тиррела, этого воплощенного дьявола. И сын его, тот сын, ради которого он добровольно пожертвовал всем своим достоянием, умер вместе с ним, на том же столбе. Несомненно, не было более волнующей истории!

Возможно ли было в конце концов, что убийцей был мистер Фокленд? Читатель вряд ли поверит, что в моем мозгу зародилась мысль спросить об этом его самого. Эта мысль была мимолетной, но она достаточно свидетельствовала о моей простоте. Потом я вспоминал о добродетелях своего покровителя, казавшихся слишком

возвышенными для человеческой природы; я думал о его страданиях, таких беспримерных, таких незаслуженных, и бранил самого себя за подозрение. Я вспоминал предсмертное признание Хоукинса и чувствовал, что нет больше никакой возможности сомневаться. И все-таки — что означают мучения и страхи мистера Фокленда? Короче говоря, однажды зародившаяся в уме мысль укрепилась там навсегда. Мысли мои переходили от предположения к предположению, но все вертелись вокруг одного центра. Я решил взять на себя наблюдение над своим покровителем.

С той минуты как я решил приняться за это занятие, я начал находить в нем странное удовольствие. Делать то, что запрещено, всегда имеет свою прелесть, потому что нам свойствен непреодолимый протест против того произвольного и деспотического, что заключает в себе всякий запрет. Шпионить за мистером Фоклендом! Опасность, с которой было связано такое занятие, придавала моему решению заманчивую остроту. Я помнил суровый выговор, который уже получил, и страшные взгляды мистера Фокленда; воспоминание об этом вызывало у меня своеобразное, не лишенное приятности, щекочущее ощущение. Чем дальше я заходил, тем труднее было противиться этому чувству. Мне самому постоянно казалось, что я вот-вот буду разоблачен, и это понуждало меня особенно тщательно скрывать свои замыслы. Чем более непроницаемым решил быть мистер Фокленд, тем неудержимее становилось мое любопытство. Но, в общем, к моей тревоге и боязни опасности, угрожающей мне лично, примешивалась значительная доля наивности и чистосердечия. Сознывая, что я никому не хочу зла, я всегда был готов сказать все, что у меня было на уме; и ни за что не поверил бы, что, когда наступит момент испытания, на меня станут серьезно сердиться.

Эти размышления произвели мало-помалу перемену в моем душевном состоянии. Когда я только что переехал в дом мистера Фокленда, новизна обстановки делала меня осторожным и скрытным. Сдержанное и важное обхождение моего покровителя как будто уничтожило мою природную веселость. Но новизна постепенно сглаживалась, и так же постепенно ослабевало мое чувство принужденности. История, которую я только что выслушал, и любопытство, которое она возбудила

во мне, вернули мне энергию, живость и смелость. У меня всегда была склонность делиться своими мыслями; конечно, самый возраст мой располагал к болтливости; и порой с некоторыми колебаниями, как бы спрашивая, допустимо ли такое поведение в присутствии мистера Фокленда, я решался выражать свои чувства, как только они возникали.

Когда я в первый раз сделал это, он взглянул на меня удивленно, ничего не ответил и вскоре поспешил оставить меня. Вскоре опыт был повторен. Казалось, мой покровитель не прочь поощрить меня, но в то же время сомневается, следует ли ему отважиться на это. Всякого рода удовольствия были ему давно чужды, а мои простодушные и необдуманые замечания обещали немного развлечь его. Могло ли быть опасным развлечение такого рода?

В неуверенности он, видимо, не мог решиться на то, чтобы со строгостью отнестись к моим невинным излияниям. Мне же было довольно самого малого поощрения, так как в смятении моего ума эти излияния давали мне облегчение. Моя простота, происходившая от того, что все светские отношения были мне совершенно чужды, уживалась бок о бок с умом, в известной степени просвещенным чтением и, быть может, не совсем лишенным наблюдательности и таланта. Мои замечания были поэтому всегда неожиданны; иногда они свидетельствовали о величайшем невежестве, иногда — о некоторой доле сообразительности и всегда носили отпечаток невинности, откровенности и смелости. В манере делать их было явное отсутствие преднамеренности, даже после того, как я научился тщательно взвешивать свои замечания и следить за действием, которое они производят; по-видимому, влияние старой привычки проявлялось заметнее, чем действие возникшего намерения, еще не успевшего созреть.

Положение мистера Фокленда было похоже на положение рыбы, играющей с приманкой на удочке, закинутой для того, чтобы поймать эту рыбу. Мое поведение побуждало его ослабить свою обычную сдержанность и умерить величие; но вдруг какое-нибудь неожиданное замечание или вопрос уязвляли его напоминанием и снова пробуждали в нем тревогу. Во всяком случае, было очевидно, что это растравляет его тайную рану.

Как только кто-либо касался причины его горестей, хотя бы самым косвенным и отдаленным образом, выражение его лица менялось, дурное настроение возвращалось к нему, и только с трудом удавалось ему справиться со своим волнением; иногда он мужественным усилием овладевал собой, иногда же, чувствуя приближение приступа безумия, он спешил укрыться в уединение.

Часто я истолковывал все эти внешние признаки как основания для подозрений, хотя мог бы с такой же вероятностью и с большим великодушием приписать их тем мучительным унижениям, с которыми столкнулось его пылкое честолюбие. Мистер Коллинз настойчиво убеждал меня хранить все в тайне, и мистер Фокленд всякий раз, когда какое-нибудь мое движение или его собственное сознание наводили его на мысль, что я знаю больше, чем высказываю, смотрел на меня с глубокой серьезностью, словно вопрошая, насколько я осведомлен и каким образом получил эти сведения. Но при следующей нашей встрече простодушная живость моего обращения снова возвращала ему спокойствие, уничтожала причиненное ему волнение и восстанавливала все в прежнем положении.

Чем дольше с моей стороны поддерживалась эта почтительная короткость наших отношений, тем больших она требовала усилий, чтобы сдерживать ее в должных границах; но мистер Фокленд не был расположен унижать меня строгим запрещением говорить с ним, а может быть, не желал приписывать таким разговорам слишком большое значение, что и действительно могло бы подразумеваться в таком запрещении. Хотя я и был любопытен, не следует предполагать, будто я всегда думал о предмете своих расследований или что мои вопросы и намеки постоянно строились с хитростью, свойственной седовласому инквизитору. О своей тайной душевной ране мистер Фокленд думал гораздо чаще, чем я; тысячи раз он принимал на свой счет случайно проскользнувшие в разговоре замечания, тогда как у меня и в мысли не было относить их к нему, пока что-нибудь неожиданное в его поведении не возвращало мои мысли к тому же предмету. Сознание присущей ему болезненной чувствительности и соображение, что все возникает, быть может, под ее влиянием, подстрекали мистера Фокленда снова и снова возвращаться к опасным

предметам; а как только у него возникало намерение пресечь непринужденность наших отношений, он испытывал нечто вроде стыда.

Приведу образец разговоров, которые я имею в виду. И так как он будет выбран из числа тех, которые начинались на темы самые общие и отдаленные, то читатель легко представит себе смятение, в которое почти ежедневно повергался столь подверженный страху ум моего хозяина.

— Прошу вас, сэр, — начал я однажды, помогая мистеру Фокленду приводить в порядок кое-какие бумаги, перед тем как отдать их в переписку для его собрания, — скажите мне, как случилось, что Александр Македонский был назван Великим?

— Как случилось? Разве вы никогда не читали его истории?

— Читал, сэр.

— И что же, Уильямс, вы не нашли там никаких оснований для этого?

— Право, не знаю, сэр. Я узнал, почему он так прославился. Но не всякий человек, о котором много говорят, вызывает восхищение. Ученые расходятся во взглядах насчет заслуг Александра. Доктор Придо в своем «Согласовании» * говорит, что он заслуживает скорее наименования «Великого Головореза», а автор «Тома Джонса» написал целый том, чтобы доказать, что Александр и все другие завоеватели должны быть приравнены к Джонатану Уайльду. **

При этих ссылках мистер Фокленд покраснел.

— Гадкое кощунство! Неужели эти писатели воображают, что непристойностью своего сквернословия они сумеют подорвать вполне заслуженную славу? Неужели ученость, чувствительность и вкус не могут служить для их обладателя надежной защитой от таких вульгарных заблуждений? Читали ли вы когда-нибудь, Уильямс, о человеке более доблестном, щедром и свободном? Жил ли когда-нибудь смертный, представлявший собой такую полную противоположность всему приобретательскому и себялюбивому? Он создал себе в воображении дивный образ высокого совершенства, и его единственным стремлением было воплотить этот образ в своей собственной жизни. Вспомните: он роздал все, что имел, перед тем как отправиться в свой великий поход, оста-

вив себе, по его собственному признанию, только надежду. Вспомните его героическое доверие к Филиппу-врачу,* его глубокую и неизменную дружбу с Гефестием.** К пленному семейству Дария он отнесся с самым радушным гостеприимством,*** а почтенную Сизигамбу принял с сыновней нежностью и вниманием. Никогда не полагайтесь, Уильямс, на суждение о подобных вещах церковника-педанта**** или вестминстерского законника. Вдумайтесь сами, и вы увидите, что Александр — образец чести, великодушия и бескорыстия, человек, который за просвещенную широту своего ума и несравненное величие замыслов должен стать исключительно предметом изумления и восхищения для всех веков и всего мира.

— О, сэр! Хорошо нам, сидя здесь, слагать ему панегирики. Но могу ли я забыть, какой огромной ценой был сооружен памятник его славы? Не был ли он просто разрушителем покоя рода человеческого? Разве он не устраивал нашествий на народы, которые ничего бы о нем не слыхали, если бы он не опустошил их страны? Сколько сотен тысяч жизней уничтожил он на своем поприще! Что должен думать я о его жестокостях? Целое племя было перебито за преступление, совершенное его предками за полтораста лет перед тем, пятьдесят тысяч человек было продано в рабство, две тысячи распято за их доблестную защиту своей родины! Да, человек в самом деле странное создание. Никого он не превозносит с таким восторгом, как того, кто сеет разрушение и гибель среди народов!

— Образ мыслей, который вы высказываете, Уильямс, довольно естествен, и я не могу порицать вас за него. Но позвольте мне надеяться, что вы станете думать менее предвзято. На первый взгляд смерть ста тысяч человек вызывает сильное возмущение, но, в сущности, сотня тысяч таких людей — не то же ли самое, что сто тысяч овец? Разум, Уильямс, порождение знания и добродетели, — вот что мы должны любить. Таков был и замысел Александра. Он предпринял огромное дело — просветить человечество, он освободил обширный азиатский материк от глупости и развращенности персидской монархии, и хотя деятельность его была прервана на середине, мы легко можем проследить громадные

последствия его замысла. Греческая литература и образованность, Селевкиды, Антиохи и Птолемен* — вот что последовало за ним, и это — у народа, который перед тем опустился почти до животного состояния. Очевидно, Александр был столько же созидателем городов, как и разрушителем их.

— И все-таки, сэр, боюсь, что копье и секира — неподходящие орудия для того, чтобы делать людей умными. Допустим, было бы признано, что можно без угрызений совести приносить в жертву человеческие жизни, если следствием явится высшее благо, — даже и тогда, мне кажется, убийство и кровопролитие оказались бы очень неудачным способом насаждения просвещения и любви. Но скажите, не думаете ли вы, что этот великий герой был своего рода сумасшедшим? Что вы скажете, например, о поджоге дворца в Персеполисе,** о том, как он печалился, что не может покорить иные миры, о том, как повел целую армию через жгучие пески Ливии*** только для того, чтобы посетить некий храм и доказать человечеству, что он сын Юпитера Аммона?

— Александр во многом остался непонятым, мой мальчик. Человечество отомстило кривотолками за то, что он затмил прочих его представителей. Для осуществления его замыслов было необходимо, чтобы его считали богом: только таким путем он мог удержать поклонение глупых и фанатичных персов. Только эти соображения, а не безумное тщеславие были источником его поступков. И сколько пришлось ему бороться из-за этого с тупым упорством некоторых подвластных ему македонян!

— Значит, сэр, Александр в конце концов пользовался только теми средствами, которые употребляют по его примеру все политические деятели? Он насильничал над людьми, чтобы сделать их мудрыми, и обманом заставлял их гоняться за собственным счастьем. Но что всего хуже, сэр, что этот Александр в порыве безудержной ярости не щадил ни друга, ни недруга. Не станете же вы оправдывать крайности, на которые его толкали неукротимые страсти? Может ли быть оправдание для человека, которому довольно было случайного повода, чтобы совершить убийство...****

В то самое мгновение, как я произнес эти слова, я понял, что наделал. Между мной и моим покровителем

существовала какая-то магическая связь, и потому — не успели мои слова произвести на него свое действие, как я уже упрекал себя в душе за бесчеловечность намека. Смушение наше было взаимным. Кровь тотчас отхлынула от лица мистера Фокленда, ставшего прозрачным, потом так же быстро и буйно прилила обратно. Я не решился проронить ни слова из боязни впасть в новую ошибку, еще хуже той, которую только что сделал. После короткой, но сильной борьбы с самим собой мистер Фокленд, возобновляя разговор, сказал дрожащим голосом, который затем стал более спокойным и умиротворенным:

— Вы пристрастны... Александр... Учитесь быть более снисходительным. Александр, говорю я, не заслуживает такого сурового отношения. Вспомните его слезы, угрызения совести, твердое решение воздерживаться от пищи; от такого решения его едва убедили отказаться. Разве это не говорит о силе чувства и глубоко укоренившихся правил справедливости?.. Да, да, Александр был верным и здравомыслящим другом человечества, и подлинные его заслуги были плохо оценены.

Не знаю, как точнее передать мое душевное состояние в эту минуту. Когда душой овладевает одна мысль, нет возможности помешать словам слететь с уст. Ошибка, однажды допущенная, имеет роковую силу вроде той, которую приписывают взгляду гремучей змеи. Она вовлекает нас в следующую ошибку. Она лишает нас той гордой веры в наши собственные силы, которой мы обязаны столь многими из наших добродетелей. Любопытство — беспокойное свойство. Оно часто увлекает нас вперед тем неудержимее, чем больше опасность, связанная с его удовлетворением.

— Клит был человек очень грубого и вызывающего поведения, * не правда ли? — сказал я.

Мистер Фокленд понял все значение моего вопроса. Он посмотрел на меня своим пронизательным взглядом, как будто хотел заглянуть в самую глубину моей души, и тотчас отвел глаза; я успел заметить, что его охватила судорожная дрожь, в которой, — хотя она и была подавлена внутренним усилием, а потому почти незаметна, — было что-то страшное. Он бросил то, чем был занят в эту минуту, сердито прошелся по комнате; лицо его мало-помалу приняло выражение как бы сверхъ-

естественной жестокости; он вдруг вышел из комнаты и, уходя, с такой силой захлопнул за собой дверь, что, казалось, весь дом задрожал.

«Что это, — подумал я, — плод сознания своей вины или негодование, которое испытывает честный человек при незаслуженном обвинении?»

ГЛАВА II

Читатель поймет, как быстро приближался я к краю пропасти. Я испытывал смутную боязнь перед тем, что делаю, но не мог остановиться. «Возможно ли, — рассуждал я сам с собою, — чтобы мистер Фокленд, до такой степени подавленный сознанием незаслуженного бесчестья, которым он заклеен перед лицом света, станет долго терпеть присутствие несведущего и недружелюбно настроенного юноши, который беспрестанно оживляет в нем воспоминание об этом бесчестье и в конце концов сам как нельзя охотнее поддержал бы обвинение?»

Я понимал, конечно, что мистер Фокленд не станет торопиться с моим увольнением по той же причине, которая удерживала его от многих других поступков, способных служить доказательством его чрезмерной и слишком подозрительной чувствительности. Но это соображение не сулило мне успокоения. Мысль о том, что он таит в сердце все растущую ненависть ко мне и все же считает себя вынужденным держать меня как источник постоянной досады для себя, отнюдь не сулила мне в будущем ничего хорошего.

Спустя немного времени после описанного выше разговора я приводил в порядок некоторые ящики и обнаружил бумагу, которая случайно соскользнула за один из них и осталась незамеченной. В другое время любопытство мое, быть может, отступило бы перед правилами приличия и я, не разворачивая, передал бы бумагу ее собственнику, моему покровителю. Но мое страстное желание собрать новые сведения было слишком возбуждено предыдущими событиями, чтобы я мог теперь упустить любой случай получить эти сведения. Это оказалось письмо, написанное старшим Хоукинсом. Судя по содержанию, оно было написано в то время, когда у

Хоукинса впервые зародилось намерение бежать от притеснений мистера Тиррела. Оно гласило следующее:

Высокоchtимый сэр!

Я ждал некоторое время, ежедневно надеясь на возвращение Вашей чести в наши места. Старый Уарнс и его жена, которые присматривают за Вашим домом, сказали мне, что не знают наверное, когда это произойдет, и не знают точно, в какой части Англии Вы теперь находитесь. Что до меня, то несчастье так одолело меня, что я должен принять решение (это уже непременно), и как можно скорее. Наш сквайр, который поначалу был довольно милостив ко мне, — я должен это признать (хотя боюсь, что это было больше в пику сквайру Эндервуду), — решил теперь погубить меня. Сэр, я не был трусом, я боролся храбро; в конце концов Вы знаете, — да благословит бог Вашу честь! — дело мужчины противостоять мужчине; но оказалось, что мне с ним не совладать.

Пожалуй, если бы я поехал в город и спросил у Менсла, Вашего стряпчего, он сумел бы мне сказать, куда писать Вам. Но пока я ждал и надеялся, и все понапрасну, я начал задумываться. Я не торопился обращаться к Вам, сэр; я не люблю никого беспокоить. Я приберегал это как свой последний козырь. И вот теперь, сэр, когда из этого, как видно, ничего не выйдет, мне стало стыдно: как я мог думать об этом! Да разве у меня нет рук и ног, как у всякого другого? — сказал я себе. — Меня гонят из дома, от моего очага. Что же из этого? Ведь я не кочан капусты: ту выдернешь из земли — она и погибла. У меня нет ни гроша, это верно. А сколько сотен людей так и живут всю жизнь — что заработали, то и проели! И, думаю я себе (прошу прощения Вашей милости), что если б у нас, маленьких людей, хватало разума, чтобы самим о себе позаботиться, то и большие люди не блажили бы так, как теперь делают. Подумали бы сначала.

Но есть одна вещь, которая подействовала на меня больше, чем все остальное. Не знаю, как и сказать Вам, сэр. Мой бедный мальчик, мой Леонард, гордость моей жизни, вот уже три недели как находится в тюрьме. Да, это так, сэр! Сквайр Тиррел упрятал его туда. И вот, сэр, каждый раз, как я кладу голову на подушку под

собственной бедной кровлей, сердце мое сжимается за судьбу Леонарда. Не в том дело, что это для него тяжелое испытание; это не так уж важно, я ведь никогда не рассчитывал, что в жизни он будет ступать по бархату! Не такой я дурак. Но кто знает, что может случиться в тюрьме? Я три раза ходил к нему на свидание; есть там, в той же тюремной камере, где он сидит, один очень дурной на вид человек. Да и другие не очень-то мне по вкусу. Леонард — славный малый, лучше быть не может. Думается, он с такими не очень-то захочет водиться. Но будь что будет: я решил, что он и двенадцати часов не просидит больше вместе с ними. Видно, я упрямый старый дурак, но я уж вбил себе это в голову, и я это сделаю. Не спрашивайте меня, как. А только... если бы я написал Вашей чести и стал бы ждать ответа, прошла бы неделя, а то и десять дней. Нечего и думать об этом!

Сквайр Тиррел очень своевольный человек, а Вы, Ваша честь, могли бы малость разгорячиться. Нет, я не хочу, чтобы из-за меня дело дошло до ссоры. Довольно и без того зла наделано. Лучше я уйду с дороги. А пишу я Вам это, Ваша честь, только чтобы душу отвести. Я отношусь к Вам с такой любовью и уважением, как если бы Вы мне во всем помогли, так как я знаю, что помогли бы, если бы дело вышло иначе. Очень похоже на то, что больше Вы обо мне никогда ничего не услышите. Если так, то пусть Ваше достойное сердце не тревожится. Слишком хорошо я знаю сам себя, чтобы меня когда-нибудь потянуло на какое-либо действительно скверное дело. Надо мне теперь искать по свету своего счастья. Со мной обошлись плохо, видит бог. Но я не помню зла. Душа моя в мире со всеми людьми. И я всем прощаю. Видно, нам с Леонардом придется немало тяжелого вынести среди чужих, скрываясь как взломщики или грабители с большой дороги. Но никакая злая проделка судьбы не заставит нас пойти на скверный поступок, ручаюсь! Это всегда будет служить нам утешением во всех испытаниях, которые воздвигает для нас этот плачевный мир.

Да благословит Вас бог!

Об этом молит смиренный слуга Вашей чести,
готовый к услугам

Бенджамин Хоукинс.

Я прочел это письмо с большим вниманием, и оно навело меня на многие размышления. На мой взгляд, оно заключало в себе очень интересное изображение грубоватой, но прямой и честной души. «Какой печальный конец! — говорил я себе. — Но таков уж человек. Судя по внешним признакам, всякий сказал бы: этот малый останется неподкупным перед ударами и наградами судьбы. А между тем, подумать только, чем все это кончилось! Человек этот оказался способным стать убийцей и кончил свою жизнь на виселице. О бедность! Поистине ты всемогуща. Ты угнетаешь нас до отчаяния, ты разрушаешь все самые похвальные и глубоко вкоренившиеся нравственные правила, ты до предела переполняешь нас злобой и жаждой мести и делаешь нас способными на самые ужасные поступки. Пусть я не узнаю тебя никогда во всем твоём могуществе!»

Удовлетворив свое любопытство относительно этой бумаги, я постарался положить ее так, чтобы она была найдена мистером Фоклендом, и вместе с тем, следуя тому правилу, которого я в то время стал неуклонно держаться, — придать ей такое положение, чтобы это само по себе наводило на мысль, что она побывала у меня в руках. На другой день я увидел мистера Фокленда и приложил все усилия к тому, чтобы навести разговор, заводить который я к тому времени уже прекрасно научился, на свою излюбленную тему. После нескольких предварительных вопросов, замечаний и возражений я продолжал так:

— А все-таки, сэр, не могу не чувствовать огорчения при мысли о человеческой природе, когда вижу, что нельзя полагаться на ее постоянство и что, по крайней мере у непросвещенных людей, самая многообещающая видимость может привести к отвратительному бесчестью.

— Значит, вы думаете, что только литература и просвещенный ум создают уверенность в постоянстве наших принципов?

— Гм! А не кажется ли вам, сэр, что ученость и острота ума скорее помогают людям скрывать свои преступления, чем удерживают от них?

— Уильямс, — ответил мистер Фокленд, немного смущенный, — вы крайне склонны к порицанию и суровому отношению к людям.

— Надеюсь, что нет, сэр. Я, безусловно, очень люблю заглядывать на обратную сторону медали и видеть, сколько людей были оклеветаны и даже, раньше или позже, чуть не разорваны в клочья своими ближними,— людей, которые, если хорошенько вдуматься, оказались бы достойными нашего уважения и любви.

— Да, да,— со вздохом отвечал мистер Фокленд,— когда я думаю об этих вещах, я перестаю удивляться восклицанию умирающего Брута: * «О Добродетель, я искал тебя как нечто существующее, а нашел, что ты звук пустой!» Я очень склонен мыслить подобно ему.

— О, безусловно, сэр, в жизни человеческой слишком часто путают правого с виноватым. Припоминаю волнующую историю одного бедняка,— дело было при королеве Елизавете,— которого неминуемо повесили бы за убийство, если бы этому не помешал действительно виновный, который сам оказался на суде.

Сказав это, я коснулся пружины, которая толкала его к безумию. Он направился ко мне со свирепым выражением лица, словно решившись силой заставить меня открыть мои мысли. Но вдруг, охваченный внезапной мукой, он переменял намерение, отступил назад и с дрожью в голосе воскликнул:

— Презрение вселенной и законам, которые правят ею! Честь, справедливость, добродетель— все это обманы бездельников! Если бы это было в моей власти, я в один миг обратил бы все это в ничто!

Я возразил:

— О сэр! Все обстоит вовсе не так плохо, как вам кажется. Мир создан для людей разумных, чтобы они сделали из него то, что хотят. Если его делами будут править подлинные герои,— чего же еще лучше! А если они в конце концов окажутся самыми преданными друзьями мира в целом, то толпе останется только глядеть на них, следовать им и восторгаться ими.

Мистер Фокленд сделал огромное усилие, чтобы успокоиться.

— Вы меня хорошо наставляете, Уильямс,— сказал он.— Вы отлично разбираетесь в вещах, и я возлагаю на вас большие надежды. Я сделаю больше, чем в силах человека: я забуду прошлое и впредь буду поступать лучше. Будущее, будущее всегда принадлежит нам.

— Сожалею, сэр, что огорчил вас. Боюсь сказать все, что думаю. Но, по-моему, все ошибки в конце концов разъясняются, справедливость торжествует и настоящее положение вещей обнаруживается, несмотря на искусственную раскраску, которая временно скрывала его.

Мысль, которую я высказал, не доставила мистеру Фокленду особенного удовольствия. Новый приступ его недуга овладел им.

— Справедливость! — пробормотал он. — Я не знаю, что такое справедливость. Мой случай не поддается обыкновенным лекарствам — никаким не поддается, может быть. Я знаю только, что я несчастен. Я начал жизнь с самыми лучшими намерениями, с самой горячей любовью к людям, — и вот теперь я несчастен — несчастен больше, чем можно выразить и вытерпеть.

Сказав это, он как будто внезапно опомнился и вернул себе привычное достоинство и властность.

— Как начался этот разговор? — воскликнул он. — Кто дал тебе право быть моим поверенным? Подлый, хитрый негодяй — вот ты кто! Учись быть более почтительным! Неужели дерзкий слуга будет разъярять и утишать мои страсти? Уж не воображаешь ли ты, что я буду инструментом, на котором ты станешь играть в свое удовольствие, пока не извлечешь все сокровища моей души? Прочь! И страшись, чтобы тебе не пришлось расплачиваться за допущенную дерзость!

В жестах, которыми сопровождалась эти слова, была такая сила и решительность, что они не допускали возражений. Уста мои сомкнулись. Я почувствовал, что всякая способность действовать покинула меня, и был в состоянии только молча и покорно выйти из комнаты.

ГЛАВА III

Через два дня после этого разговора мистер Фокленд велел мне явиться к нему. (В своем повествовании я и в дальнейшем буду рассказывать как о явной, так и о другой стороне наших отношений, не выраженной словами.) Лицо его обычно было гораздо более оживленным и выразительным, чем мне приходилось видеть

это у других людей. Любопытство, которое, как я уже говорил, было моей господствующей страстью, побуждало меня постоянно изучать его. Очень возможно, что, собирая теперь разрозненные происшествия моей истории, я в некоторых случаях буду давать внешним признакам такое объяснение, которого отнюдь не находил в то время и к которому пришел только в свете последующих событий.

Войдя в комнату, я обратил внимание на непривычно спокойное выражение лица мистера Фокленда. Однако похоже было на то, что спокойствие это происходит не из внутренней свободы, а является следствием усилия, которое он сделал над собой, готовясь к важному разговору, чтобы присутствие его духа и могучая воля к действию не потерпели ущерба.

— Уильямс, — сказал он, — я решил, чего бы это мне ни стоило, объясниться с тобою. Ты безрассудный и неосмотрительный мальчик и причинил мне много беспокойства. Тебе следовало бы знать, что, хотя я позволяю тебе беседовать со мной о посторонних предметах, с твоей стороны в высшей степени неуместно переводить разговор на что-либо, касающееся меня лично. В последнее время ты часто выражался чрезвычайно загадочно и как будто знаешь больше, чем я предполагал. Я в одинаковой мере не в состоянии догадаться, откуда у тебя эти сведения и в чем они заключаются. Но, мне кажется, ты проявляешь излишнюю склонность забавляться моим душевным спокойствием. Этого не должно быть, да я и не заслужил подобного обращения с твоей стороны. Во всяком случае, догадки, которыми ты заставляешь меня заниматься, слишком для меня мучительны. Это своего рода игра на моих чувствах, которой я как человек решительный намерен положить конец. Предлагаю тебе поэтому отбросить всякую таинственность и двусмысленные уловки и сообщить мне совершенно отчетливо, на чем основаны твои намеки. Что тебе известно? Чего ты добиваешься? Я испытал уже достаточно беспримерных унижений и тяжелых испытаний, и мои раны не вынесут этого постоянного растравливания.

— Понимаю, как я был неправ, сэр, — ответил я, — и стыжусь, что такой, как я, мог причинить вам столько тревог и неприятностей. Я это всегда чувствовал, но

что-то толкало меня — не знаю что. Я все время старался остановиться, но не мог совладать с дьяволом, вселившимся в меня. Я знаю только то, что рассказал мне мистер Коллинз, сэр. Он рассказал мне историю мистера Тиррела, мисс Мелвиль и Хоукинса. И уверяю вас, сэр, что все, что он говорил, служило вам к чести и показывало, что вы скорее ангел, чем человек.

— Допустим... Но на днях я нашел письмо, в свое время написанное этим Хоукинсом... Разве это письмо не побывало у тебя в руках? Разве ты не прочел его?

— Ради бога... сэр, выгоните меня из своего дома! Накажите меня тем или другим способом, чтобы я мог простить себе. Я глупый, злой, презренный негодяй! Сознаюсь, сэр, я прочел это письмо.

— Как же ты посмел? Это было, конечно, очень дурно с твоей стороны. Но об этом мы поговорим после. Ну, и что же ты скажешь об этом письме? По-видимому, тебе известно, что Хоукинс повешен.

— Что я скажу, сэр... Оно поразило меня в самое сердце. Скажу, как говорил третьего дня, что, когда я вижу человека таких твердых правил вступающим на путь преступления, самая мысль об этом мне невыносима.

— Вот как!.. Ты как будто знаешь также, — проклятое воспоминание! — что я был обвинен в этом преступлении?

Я молчал.

— Очень хорошо. Быть может, тебе известно также, что с той минуты, когда было совершено злодеяние, — да, сэр, с этой именно минуты (при этих словах лицо его приняло страшное, я готов сказать — дьявольское выражение), для меня не было ни минуты покоя. Из счастливейшего я превратился в самое несчастное существо на свете. Сон бежал от моих глаз, радость стала чужда моей душе, и я тысячу раз предпочел бы полное уничтожение такому существованию, какое я влачу. Как только я стал способен выбирать, я выбрал почести и уважение людей как благо, которое для меня превышает всех других. Кажется, тебе известно, каким образом оказались обманутыми мои ожидания, — я отнюдь не благодарен Коллинзу за то, что он взял на себя роль историка моего бесчестья. Дал бы бог, чтобы этот

вечер изгладился из памяти людей! Но, вместо того чтобы оказаться забытыми, события этого вечера стали для меня источником новых бед, источником неиссякаемым. И неужели я, поверженный в бездну несчастья и гибели, кажусь тебе подходящим предметом для упражнения твоей изобретательности и усовершенствования твоего умения терзать? Не довольно ли того, что я был публично обещан? Что по смертоносной воле какой-то адской силы я был лишен возможности отомстить за свою поруганную честь?.. Нет, в довершение всего меня стали обвинять в том, что в роковое мгновение я преградил путь для собственной мести гнуснейшим из преступлений! Это испытание уже позади. Самое несчастье не припасло для меня ничего хуже того, что ты заставляешь меня испытывать, — сомнения в моей невиновности, которая была окончательно установлена после самого полного и торжественного расследования. Ты вынудил у меня признание, которого я не расположен был делать. Но таково мое несчастное положение, что я отдан на произвол любого существа, как бы ничтожно оно ни было, если только ему вздумается играть моими страданиями. Ты можешь быть довольным собою. Ты достаточно унизил меня.

— О сэр! Я совсем не доволен! Я не могу быть довольным! Мне невыносима мысль о том, что я наделал. Я больше никогда не решусь смотреть прямо в лицо лучшему из господ и лучшему из людей. Прошу вас, сэр, прогоните меня со службы. Позвольте мне уйти и скрыться там, где я никогда больше вас не увижу.

У мистера Фокленда в течение всего этого разговора был очень строгий вид. Но тут он стал более груб и неистов, чем когда-либо.

— Как, негодяй! — крикнул он. — Ты хочешь оставить меня, говоришь ты? Кто сказал тебе, что я желаю расстаться с тобою? А, тебе невыносимо жить с таким жалким созданием, как я! Ты не расположен терпеть капризы такого недовольного и несправедливого человека!

— О сэр! Не говорите со мной так. Поступите как вам угодно. Убейте меня, если хотите.

— Убить тебя? (Тома описаний не передадут тех чувств, с какими это эхо моих слов было сказано и выслушано.)

— Сэр, я готов умереть, служа вам! Я люблю вас больше, чем могу выразить. Я благоговею перед вами, как перед существом высшего рода. Я глуп, несведущ, неопытен, но никогда в сердце моем не возникало ни одной вероломной мысли по отношению к вам!

На этом разговор наш кончился. Невозможно передать то впечатление, которое он произвел на мой юношеский ум. Я с изумлением, даже с восторгом думал о доброте и снисходительности ко мне, которые проявил мистер Фокленд, несмотря на всю суровость своего обращения. Я не мог довольно надивиться тому, что я, человек такого скромного происхождения и никому до сих пор не известный, мог вдруг приобрести такое большое значение для счастья одного из наиболее просвещенных и образованных людей в Англии. Но сознание этого еще сильнее привязывало меня к моему хозяину, и, раздумывая над своим положением, я тысячу раз клялся, что никогда не окажусь недостойным такого великодушного покровителя.

ГЛАВА IV

Совершенно непостижимым образом, в то самое время как мое преклонение перед мистером Фоклендом увеличилось и едва лишь улеглось сильное душевное возбуждение, передо мной снова встал старый вопрос, заставлявший меня строить разные догадки: не он ли убийца? Это было своего рода роковое тяготение, как бы предназначенное к тому, чтобы толкать меня к гибели. Я не удивлялся тому смущению, которое вызывал в мистере Фокленде каждый, хотя бы самый отдаленный, намек на это злосчастное дело. Это могло объясняться как его чрезмерной чувствительностью в вопросах чести, так и предположением, что он был виновен в совершении ужасного преступления. Зная, что подобное обвинение уже было однажды связано с его именем, он, естественно, был в постоянной тревоге и во всем подозревал скрытый намек. Он должен был сомневаться и опасаться, не таит ли каждый, с кем он беседует, гнуснейшего подозрения против него. Что касается меня, то он обнаружил, что я располагаю какими-то сведениями,

большими, чем он думал, и что он лишен возможности установить, как далеко они заходят, не зная, слышал ли я верный или неверный, беспристрастный или клеветнический рассказ. Он имел также основание предполагать, что я таю мысли, оскорбительные для его репутации, и что я не составил себе того благоприятного суждения, которое изысканная утонченность его господствующей страсти делала необходимым для его спокойствия. Все эти обстоятельства должны были, конечно, постоянно держать его в тревожном состоянии. Хотя я и не открыл ничего, что могло бы сделать основательной малейшую тень подозрения, но все-таки, как я уже сказал, неуверенные и беспокойные домыслы отнюдь не оставляли меня.

Мятущееся состояние моего духа приводило к борьбе между противоречивыми началами, которые поочередно оспаривали власть надо мной. По временам мною руководило самое безграничное преклонение перед хозяином; я был совершенно уверен в его невинности и добродетели; я слепо подчинялся ему во всех своих суждениях, которые он мог направлять как ему вздумается. В другой раз доверчивость, которая перед тем изливалась подобно изобильному морскому приливу, начинала убывать; я по-прежнему становился настороженным, назойливо-любопытным, подозрительным, строил множество всяких догадок относительно самых незначительных поступков. Мистер Фокленд, который был мучительно чуток ко всему, имеющему отношение к его чести, видел эти перемены и по-разному обнаруживал, что знает о них: сегодня — так, завтра — иначе, часто — раньше, чем я сам обращал на них внимание, иногда — чуть ли не раньше, чем они возникали. Положение нас обоих было прискорбно. Каждый из нас был бичом для другого, и я часто удивлялся, почему снисходительность и кротость моего хозяина в конце концов не иссякнут и он не решится навсегда избавить себя от такого назойливого наблюдателя. Было одно существенное различие между его и моим участием в этом деле. Я находил некоторое утешение в самых своих тревогах. Любопытство — такое начало, которое включает в себе самом источник как радостей, так и страданий. Ум находится в непрестанном возбуждении; ему все время кажется, что он приближается к своей цели, и так как

причиной его деятельности является ненасытимое желание удовлетворить себя, то он находит в этом особое наслаждение, которое, как ему кажется, может вознаградить его за все, что он должен был претерпеть на пути к достижению цели. А для мистера Фокленда во всем этом утешения не было. Испытания, вызванные нашими отношениями, представлялись ему напрасным злом. Ему оставалось только желать, чтобы на свете вообще не существовало человека, подобного мне, и проклинать тот час, когда человеколюбие побудило его извлечь меня из неизвестности и взять к себе на службу.

Необходимо упомянуть о следствии, которое имела для меня необычайность моего положения. Непрерывное состояние настороженности и подозрительности, в котором я находился, произвело очень быструю перемену в моем характере. Казалось, оно произвело в нем все те следствия, каких можно было бы ожидать только от многих лет наблюдения и опыта. Тщательность, с которой я старался отмечать все, что происходит в душе человека, и разнообразие догадок, в которые я вовлекался, превращали меня как бы в сведущего знатока разных способов, к которым прибегает человеческий ум в своей тайной работе. Я больше не говорил себе, как делал это вначале: «Спрошу мистера Фокленда, не он ли убийца». Напротив, после того как я внимательно изучил разного рода свидетельства, которые могли относиться к предмету, и припомнил все, что уже произошло, я с большим огорчением почувствовал, что совершенно не способен найти такой путь, который привел бы меня к полному и неопровержимому убеждению в невинности моего покровителя. Что касается его вины, то я почти не сомневался в том, что тем или иным способом, рано или поздно я окончательно открою ее, если она действительно существует. Но мысль об этом была мне невыносима. При всей моей неукротимой подозрительности, проистекавшей из таинственности обстоятельств, при всем том наслаждении, какое юный и неопытный ум находил в мыслях, дающих простор для самой страшной и величественной игры воображения, я все-таки не мог еще рассматривать предположение о вине мистера Фокленда как имеющее хотя бы самую отдаленную вероятность.

Надеюсь, читатель простит мне, что я так долго задерживаюсь на этих предварительных обстоятельствах. Я скоро перейду к истории своих собственных злоключений. Я уже говорил, что одной из причин, побудивших меня написать это повествование, было желание утешиться в своих невыносимых горестях. Мне доставляет печальное удовольствие останавливаться на подробностях, которые незаметно привели меня к гибели. Когда я припоминаю или описываю события прошлого, внимание мое на короткий срок отвращается от безнадежных бедствий, которые стали моим уделом в настоящее время. Поистине необычайной черствостью сердца должен был бы обладать тот, кто позавидовал бы столь слабому утешению. Продолжаю.

После объяснения между мной и мистером Фоклендом его меланхолия, вместо того чтобы смягчиться хоть в самой слабой степени под благодетельной рукой времени, продолжала усиливаться. Его припадки безумия, — я вынужден назвать их так за неимением более точного определения, хотя, возможно, они не подошли бы под определение, которое дают этому термину ученые авторитеты или коронный суд, — стали сильнее и длительнее, чем когда бы то ни было. Невозможно уже было скрывать их от членов семьи и даже от соседей. Иной раз он без всякого предупреждения исчезал из дому на два-три дня, не сопровождаемый ни слугой, ни спутниками. Это казалось тем более необычайным, что — насколько всем было известно — он никого не посещал и вообще не поддерживал никаких сношений с окрестными джентльменами. Трудно было представить, чтобы такой знатный и богатый человек, как мистер Фокленд, мог долго вести себя таким образом и чтобы это оставалось тайной для других, хотя значительная часть нашего графства и лежит в самых пустынных и диких областях Южной Англии. Мистера Фокленда видели иногда взбирающимся на скалы и часами неподвижно просиживающим на краю пропасти; иногда шум стремительных потоков успокаивал его, повергая в состояние какой-то несказанной летаргии отчаяния. Он проводил целые ночи под открытым небом, не замечая ни места, ни времени, нечувствительный к переменам погоды, или, вернее, как бы наслаждаясь разнузданностью стихий,

отчасти отвлекавшей его внимание от разлада и уныния, охвативших его душу.

Сначала, когда нам сообщали о месте, куда удаллся мистер Фокленд, кто-нибудь из его домашних, мистер Коллинз или я, — большей частью я сам, так как я был всегда дома и не занят в обычном смысле этого слова, — отправлялся к нему, чтобы уговорить его вернуться. Но после нескольких попыток мы нашли более разумным в дальнейшем отказаться от них и предоставлять ему бродить или возвращаться домой согласно его собственному желанию. Мистеру Коллинзу (его седые волосы и долгая служба давали ему некоторое право быть докучливым) иногда удавалось увести его, но даже в этих случаях ничто не могло бы показаться мистеру Фокленду более тягостным, чем намек на то, будто он нуждается в опекуне, который заботился бы о нем, или будто он находится в состоянии, либо подвергается опасности впасть в состояние, при котором не может разумно говорить и действовать. Иной раз он неожиданно уступал своему скромному почтенному другу, с горечью бормоча что-то о насилии, которое чинится над ним, но не имея достаточно бодрости даже для того, чтобы энергично на это пожаловаться. Другой раз, даже уступая, он внезапно впадал в ярость. В этих случаях в злобе его было что-то непостижимо дикое, страшное, что доставляло людям, на которых она изливалась, самые унижительные и невыносимые ощущения. Со мной он в таких случаях всегда обращался свирепо и гнал меня от себя с надменной, резкой и упорной запальчивостью, превосходившей все, на что я мог считать способной человеческую природу. Эти вспышки, по-видимому, всегда играли роль своего рода кризисов в его недомоганиях; и если удавалось приводить его в себя преждевременно, он всегда впадал потом в состояние самого меланхолического бездействия, в котором обычно и пребывал два-три дня. И вот, в силу какой-то роковой судьбы, каждый раз как я видел мистера Фокленда в этом плачевном состоянии, в особенности когда я, проискав его среди скал и пропастей, натыкался на него, бледного, изможденного и осунувшегося, — каждый раз все та же мысль снова возвращалась ко мне, вопреки моему желанию, вопреки убеждению, вопреки очевидности: конечно, этот человек — убийца.

В один из светлых промежутков, если я могу так назвать их, случившихся в этот период, к мистеру Фокленду, как к мировому судье, привели крестьянина, обвиняемого в убийстве своего односельчанина. Так как к этому времени мистер Фокленд уже приобрел репутацию человека болезненного, страдающего приступами меланхолии, то весьма вероятно, что в данном случае он не был бы призван действовать в своей официальной роли. Но двое или трое из соседних судей находились в отсутствии, и на много миль в окружности он оставался единственным. Описывая признаки болезни мистера Фокленда, я употребляю выражение — «безумие»; однако читатель отнюдь не должен думать, будто большинство тех, кому случалось встречаться с ним, считало его сумасшедшим. Правда, по временам поступки его бывали странными и необъяснимыми, но зато в другое время в нем было столько достоинства, разума и сдержанности, он так хорошо умел приказывать и заставлять уважать себя, в его поступках и обхождении было столько снисходительности, внимательности и расположения к людям, что он далеко не утратил доверия несчастных и многих других, — напротив, они громко и убежденно расхваливали его.

Я присутствовал на допросе этого крестьянина. В то самое мгновение, когда я услышал, какое дело привело к нам эту толпу народа, у меня мелькнула неожиданная мысль. Я подумал о возможности воспользоваться этим происшествием в интересах великого следствия, которое иссушало все живые источники моей души. Этот человек привлечен к суду по обвинению в убийстве, а убийство — тот ключ, который открывает болезни доступ к рассудку мистера Фокленда. Я буду неотступно наблюдать за ним. Я прослежу все изгибы его мыслей. Очевидно, в такую минуту его тайная скорбь будет принуждена выдать себя. Несомненно, что, если я сам не совершу ошибки, я буду в состоянии на этот раз открыть, в каком положении находится его тяжба перед судом непогрешимого правосудия.

Я занял место, наиболее благоприятное для достижения той цели, которую я упорно преследовал. На лице мистера Фокленда, когда он вошел, я прочел силь-

нейшее нежелание заниматься делом, в которое он был вовлечен, но отступить у него не было возможности. Он был явно смущен и встревожен; вряд ли он даже видел кого-нибудь. Допрос еще только начался, когда он случайно кинул взгляд в ту часть комнаты, где находился я. Тут случилось то же, что и в некоторых предшествовавших случаях: мы обменялись безмолвными взглядами, которые сказали друг другу бесконечно много. Лицо мистера Фокленда то багровело, то бледнело. Я прекрасно понимал его чувства и охотно удалился бы. Но это было невозможно: страсть слишком сильно охватила меня; я был словно пригвожден к месту. Если бы дело шло о моей собственной жизни, о жизни моего господина, даже, пожалуй, о целом народе, — не в моей власти было бы уйти отсюда.

Однако, лишь только удивление прошло, мистер Фокленд принял вид твердый и решительный и даже как будто лучше овладел собой, чем этого можно было ожидать, судя по его появлению. По всей вероятности, он и сохранил бы такой вид, если бы разыгравшаяся перед ним сцена не менялась беспрестанно. Человека, которого к нему привели, с жаром обвинял брат покойного, говоря, что убийца действовал под влиянием закоренелой злобы. Он клялся, что между обеими сторонами была давняя вражда, и в подтверждение приводил разные случаи. Он утверждал, что убийца ухватился за первую возможность отомстить и нанес первый удар и что хотя с внешней стороны борьба походила на обыкновенное состязание в боксе, но что обвиняемый подстерег минуту, чтобы нанести роковой удар, за которым и последовала мгновенная смерть его противника.

Пока обвинитель давал свои показания, обвиняемый проявлял все признаки самого мучительного волнения. То лицо его искажалось страданием и невольные слезы струились по его щекам; то испуганно и с очевидным удивлением следил он за неблагоприятным оборотом, который придавался рассказу, хотя и не выказывал желания прервать его. Я никогда не видывал человека, в наружности которого проявлялось бы меньше жестокости. Он был высок, хорошо сложен и привлекателен. Выражение лица его было простодушное и благожелательное, но не глупое. Подле него стояла молодая женщина, его возлюбленная, чрезвычайно приятная на вид;

взгляды ее свидетельствовали о том, как глубоко она заинтересована судьбой своего друга. Случайные зрители разделились: одни негодовали по поводу гнусности предполагаемого преступления, другие сочувствовали бедной девушке, сопровождавшей обвиняемого. Они как будто не замечали привлекательной наружности обвиняемого, пока их внимание в дальнейшем не было привлечено к ней поневоле. Что касается мистера Фокленда, то были минуты, когда он с любопытством и вдумчивостью следовал за рассказом, и другие — когда он обнаруживал какое-то внезапное изменение чувств, и это делало для него расследование невыносимым.

Когда обвиняемому предложили защищаться, он с готовностью признал, что у него не было на свете злейшего врага, чем покойный, и что раздоры с ним у него бывали действительно. Это был даже единственный его враг, и он не может объяснить, что сделало их врагами. Сам он употреблял всяческие усилия, чтобы победить его неприязнь, но тщетно. Покойный при всяком удобном случае старался досадить ему и сыграть с ним какую-нибудь злую шутку. Но он, обвиняемый, твердо решил никогда не вступать с ним в ссору, и до сегодняшнего дня это ему удавалось. Доведись ему нанести этот несчастный удар другому человеку, люди по крайней мере считали бы, что это несчастный случай, а теперь всегда будут думать, что он действовал по тайной злобе и со злым умыслом.

В действительности было так, что он пошел с девушкой на соседнюю ярмарку, и там им встретился этот человек. Покойный часто старался задеть его, и, может быть, молчание обвиняемого, которое тот объяснял трусостью, поощряло его на еще большие дерзости. Заметив, что мелкие обиды обвиняемый переносит не выходя из себя, покойный нашел уместным обратить свою грубость против молодой женщины, сопровождавшей обвиняемого. Покойный преследовал их; он старался всевозможными способами издеваться над ними, сердить их. Они безуспешно пытались избавиться от него. Молодая женщина была очень испугана. Обвиняемый стал упрекать гонителя и спросил, не стыдно ли ему поступать так жестоко, упорно запугивая женщину? Тот ответил оскорбительным тоном: «Тогда пусть женщина найдет кого-нибудь, кто будет способен ее защитить».

Люди, которые полагаются на такого вора и поощряют его, ничего лучшего и не заслуживают!» Обвиняемый испробовал все способы, какие мог придумать. Наконец он больше не в силах был терпеть. Он вышел из себя и вызвал своего противника. Вызов был принят; образовался круг; он поручил одному из присутствующих позаботиться о его милой, и, к несчастью, первый же нанесенный им удар оказался роковым.

Обвиняемый добавил, что ему безразлично, что с ним сделают. Он всячески старался прожить жизнь, никому не причиняя вреда; теперь же он повинен в пролитии крови. Он сам не знает, но ему кажется, что с их стороны было бы добрым поступком убрать его с дороги, повесив, а то его будет мучить совесть до конца его дней, и покойный, — такой, каким он лежал у его ног, бесчувственный и недвижимый, — будет постоянно преследовать его. Мысль об этом человеке, только что полном сил и жизни и через минуту поднятом с земли бездыханным трупом, — по его вине! — слишком ужасна, чтобы можно было ее вытерпеть. Он всем сердцем любит бедную девушку, которая безвинно оказалась причиной этого несчастья, но отныне вид ее будет ему невыносим, он будет влечь за собой муки ада. Одна несчастная минута убила все его надежды и превратила для него жизнь в тяжкое бремя. Сказав это, он побледнел, мускулы его лица мучительно задрожали. Он был похож на статую отчаяния.

Такова была история, выслушать которую вынужден был мистер Фокленд. Хотя эти события в большей своей части сильно отличались от тех, которые относились к приключениям, описанным в предыдущей книге, и в этой сельской стычке с обеих сторон было проявлено значительно меньше тонкости и искусства, все-таки и там и тут было много черт, представляющих достаточное сходство. В обоих случаях зверь в человеческом образе упорно преследовал человека мягкого характера, в обоих случаях жизнь этого грубияна была неожиданным и ужасным образом пресечена. Эти обстоятельства все время терзали сердце мистера Фокленда. Он то вздрагивал от удивления, то менял положение, как человек, который больше не в силах сносить то, что гнетет его. Потом он опять напрягал свои нервы, настойчиво принуждая себя к терпению. Я видел, что, в то

время как мускулы его лица сохраняли строгую неподвижность, по щекам его катились слезы страдания. Он не решался обратить взгляд к той части комнаты, где находился я, и это сообщало всей его наружности натянутый вид. Но когда обвиняемый заговорил о своих чувствах и стал выражать всю глубину раскаяния в своей невольной вине, он больше не мог вынести. Он вдруг вскочил и кинулся вон из комнаты со всеми признаками ужаса и отчаяния.

Это обстоятельство не оказало существенного влияния на исход дела. Присутствовавшим пришлось прождать около получаса. Мистер Фокленд успел уже выслушать более важную часть показаний. По истечении этого промежутка времени он вызвал мистера Коллинза. Рассказ обвиняемого был подтвержден многими свидетелями, видевшими, как все случилось. Было сообщено, что мой господин заболел, и в то же время было приказано освободить обвиняемого. Однако, как я узнал впоследствии, месть брата на этом не остановилась, и он нашел других судей, более педантичных или жестоких, которые предали обвиняемого суду.

Не успело закончиться это дело, как я поспешил в сад и углубился в его самые густые заросли. Голова моя готова была разорваться. Как только я почувствовал себя достаточно далеко от всяких взоров, мысли мои вдруг стремительно излились в словах, и я воскликнул в исступлении:

— Вот кто убийца! Хоукинсы были невинны. Я в этом уверен. Голову даю на отсечение. Все открылось! Все ясно! Виновен, клянусь моей душой!

Торопливо шагая таким образом по самым глухим тропинкам сада и время от времени невольными восклицаниями давая выход бушевавшей в моем мозгу буре, я чувствовал, словно в моем организме произошел полный переворот. Кровь во мне кипела. Я испытывал какой-то восторг, которого не умел объяснить. Я испытывал какое-то торжество, хотя был во власти быстрой смены чувств, пылал негодованием и энергией. Среди бури и урагана страстей я как бы наслаждался восхитительным спокойствием. Не могу лучше выразить свое душевное состояние в те минуты, как сказав, что никогда в другое время я не жил такой полной жизнью.

Это состояние умственного подъема длилось у меня несколько часов, но наконец утихло и уступило место более спокойным размышлениям. Одним из первых вопросов, которые пришли мне тогда на ум, был такой: как же мне поступить после того, как я узнал то, что хотел? У меня не было желания превращаться в доносчика. Я понял, — а раньше мне это и в голову не приходило, — что можно любить убийцу, и даже, как казалось мне тогда, худшего из убийц. Я находил в высшей степени нелепым и несправедливым губить человека, обладавшего всеми данными, чтобы быть полезным, потому только, что в прошлом он совершил проступок, который, как бы его ни оценивать, не мог уже быть исправлен.

Эта мысль привела меня к другой, на которую я сначала не обратил внимания. Если бы я пожелал стать доносчиком, то все происшествие отнюдь не равнозначно было бы свидетельским показаниям, которые были бы приемлемы для суда. Что же, спрашивал я себя, если оно не будет принято во внимание уголовным трибуналом; уверен ли я, что сам я должен придавать ему значение? Помимо меня двадцать человек присутствовали при той сцене, которую я нахожу столь изобличительной. Никто из них не видел ее в таком освещении, как я. Либо они усмотрели в этом случайное и не имеющее значения обстоятельство, либо сочли его вполне объяснимым болезнью и несчастьями мистера Фокленда. Действительно ли эта сцена дает такие решительные и веские доводы и доказательства, если, кроме меня, ни у кого не хватило проницательности, чтобы заметить их?

Однако все эти рассуждения не произвели никакого изменения в моем образе мыслей. Теперь я уже ни на минуту не мог избавиться от мысли: «Мистер Фокленд — убийца. Он виновен. Я это чувствую. Я в этом уверен». Так увлекала меня вперед непреодолимая судьба. Охватившие меня бурные ощущения, пытливость и необузданность моих мыслей как будто делали этот вывод неизбежным.

Пока я бродил по саду, произошел случай, который в то время не произвел на меня впечатления, но о котором я вспомнил, когда мысли мои приняли более спокойное направление. В то время как я произнес одно из иступленных восклицаний, считая себя вдали от людей,

в небольшом от меня расстоянии промелькнула тень человека, как бы уклоняющегося от встречи со мной. Хотя я едва мог приметить его, в этой встрече было что-то, подсказавшее мне, что это — мистер Фокленд. Я содрогнулся, подумав, что он, может быть, расслышал слова моего разговора с самим собой. Но эта мысль, как ни была она тревожна, не в силах была сразу прервать ход моих размышлений. Однако последующие обстоятельства вновь пробудили во мне опасения. Я уже почти не сомневался в их основательности, когда пришло время обеда, а мистера Фокленда нигде не могли найти. Подоспел и час ужина и время ложиться спать, а положение не изменилось. Единственный вывод, который сделали из этого обстоятельства его слуги, был тот, что он отправился в одно из своих обычных меланхолических блужданий.

ГЛАВА VI

Период, к которому подошло теперь мое повествование, был, кажется, самым роковым в судьбе мистера Фокленда. События следовали одно за другим. На следующее утро часов около девяти поднялась тревога: в одной из дымовых труб показался огонь. На первый взгляд случай был самый обыденный; но вскоре огонь вспыхнул с такой силой, что стало ясно: пламя охватило одно из стропил, неправильно положенное во время постройки дома. Можно было опасаться за все здание. Из-за отсутствия хозяина, равно как и управляющего, мистера Коллинза, смятение усиливалось. В то время как некоторые из слуг старались потушить огонь, было сочтено уместным, чтобы другие занялись перетаскиванием наиболее ценных вещей в сад, на лужайку. Я отчасти руководил этим делом, к чему меня нашли подходящим ввиду моей понятливости и расторопности.

Сделав несколько общих наставлений, я почувствовал, что недостаточно стоять на месте и смотреть на происходящее, но что надо личным трудом участвовать в общем деле. С этим намерением я вошел в дом. И по какой-то таинственной и роковой случайности шаги мои привели меня к маленькой комнате в конце библиотеки.

Там, когда я оглянулся вокруг, взгляд мой остановился вдруг на сундуке, о котором уже упоминалось на первых страницах моего повествования.

Тотчас же страшная тревога охватила меня: в углублении окна лежало долото и другие плотничьи инструменты. Не знаю, что за ослепление вдруг напало на меня. Влечение было слишком сильно, чтобы я мог устоять. Я забыл, для чего пришел сюда, чем заняты слуги, забыл о настоятельных потребностях в виду общей опасности. Я сделал бы то же самое, если бы огонь, который, не унимаясь, охватывал, по-видимому, все большее пространство, достиг бы и этого помещения. Я схватил подходящий для этой цели инструмент, бросился на пол и с увлечением занялся хранилищем, которое заключало в себе все, чего жаждало мое сердце. После двух или трех усилий, при которых к моей физической силе присоединялась энергия безудержной страсти, запоры поддались, и сундук открылся. Все, что я искал, было теперь в моей власти.

В тот момент, когда я собирался поднять крышку, вошел мистер Фокленд — растерянный, задыхающийся, с блуждающим взглядом. Вид пламени привел его домой издалека. При его появлении крышка выскользнула у меня из рук. Как только он заметил меня, глаза его заметали молнии гнева. Он стремительно бросился к заряженным pistolам, висевшим на стене, и, схватив один из них, приставил к моей голове. Я понял его намерение и отскочил в сторону, чтобы избежать выстрела. Но с той же поспешностью, с какой он принял решение, он отказался от него и, быстро подойдя к окну, кинул pistol вниз, во двор. Со своей обычной неотразимой твердостью он приказал мне выйти вон, и я поспешил повиноваться, и без того совершенно подавленный ужасом.

Мгновение спустя значительная часть трубы с шумом обрушилась вниз, во двор, и кто-то крикнул, что пламя разгорается с новой силой. Это обстоятельство оказало как бы механическое действие на моего покровителя. Заперев прежде всего кабинет, он появился вне дома, потом поднялся на крышу и в один миг успел побывать всюду, где требовалось его присутствие. Наконец огонь был потушен.

Читатель с трудом может составить себе представление о состоянии, в каком я очутился в это время. Мой поступок был, в сущности, поступком сумасшедшего; но как неописуемы те чувства, с которыми я оглядывался на него! Это был мгновенный порыв, скоропреходящее, мимолетное помрачение ума. Но что должен был подумать о нем мистер Фокленд? Всякий счел бы опасным человека, однажды оказавшегося способным на столь дикий порыв воображения. Какими же глазами должен был глядеть на меня мистер Фокленд при тех обстоятельствах, в которых он находился! Я только что чувствовал у себя на виске дуло пистолета, приставленного человеком, который решил положить конец моему существованию. Правда, это было уже позади. Но что еще припасла для меня судьба? Ненасытную мстительность Фокленда — человека, руки которого, по моим предположениям, уже обогреты кровью, а мысли свыклись с жестокостью и убийством. Как велика сила его ума, которая отныне будет направлена к моей гибели? Вот к какому концу привело меня безудержное любопытство — влечение, которое я представлял себе таким невинным и простительным.

Пока страсти кипели во мне, я не думал ни о каких последствиях. Теперь это казалось мне сном. Неужели человеку свойственно кидаться с вершины в пропасть или невозмутимо, не колеблясь, бросаться прямо в огонь? Как случилось, что я мог хоть на мгновение забыть о вселяющем ужас поведении мистера Фокленда и о неминуемой ярости, которую я должен был в нем пробудить? Ни разу мысль о том, чтобы обезопасить свое будущее, не закралась в мою душу. Я действовал без всякого расчета. Я не подумал о способах скрыть свой поступок после того, как он будет совершен. Но теперь все было кончено. Один краткий миг произвел полную перемену в моем положении, с внезапностью, быть может не превзойденной в делах человеческих.

Я всегда недоумевал, чем объяснить, что я пошел очертя голову на такой чудовищный поступок. В этом было нечто вроде тяготения, необъяснимого и невольного. Одно чувство по закону природы переходит в другое, подобное. Мне в первый раз случилось быть свидетелем большого пожара. Все вокруг меня было в смятении, и мои чувства разбушевались ураганом. На мой

неопытный взгляд, общее положение было отчаянным, и меня охватило отчаяние. Вначале я был до известной степени спокоен и хладнокровен, но я сделал громадное усилие, и когда оно ослабело, на смену пришло нечто вроде мгновенного умопомешательства.

Теперь мне надо было всего бояться. А между тем в чем заключалась моя вина? Она не проистекала ни от одного из тех заблуждений, которые справедливо вызывают отвращение людей; моей целью не было ни обогащение, ни добывание средств для удовлетворения своих прихотей, ни захват власти. Ни проблеска коварства не таилось у меня в душе. Я всегда преклонялся перед возвышенным умом мистера Фокленда. Я продолжал преклоняться перед ним. Проступок мой был, в сущности, ложно направленной жаждой знания. Но каков бы он ни был, он не мог быть ни прощен, ни уменьшен. Эта эпоха была критической в моей жизни; она отделила часть, которую можно назвать наступательной, от оборонительной, так как во все последующие годы самозащита стала моим единственным делом. Увы! Проступок мой был краток и не усугублялся никаким злым умыслом, а возмездие, которое мне приходится нести, длительно и кончится только вместе с моей жизнью.

Когда на меня опять нахлынули воспоминания о том, что я сделал, я был не способен принять какое бы то ни было решение. Душа моя представляла собою хаос и неопределенность. Мои мысли были слишком поражены ужасом, чтобы мозг мой мог работать. Я чувствовал, что мои умственные способности покинули меня, что ум мой парализован и что я вынужден молчаливо ожидать того несчастья, на которое обречен. Я казался сам себе человеком, пораженным молнией и навсегда лишенным способности двигаться, но все же сохранившим сознание своего положения. Смертельное отчаяние было единственным, что я испытывал.

Я все еще находился в таком душевном состоянии, когда мистер Фокленд прислал за мной. Это сообщение пробудило меня от оцепенения. Придя в себя, я пережил то ощущение тошноты и отвращения, которые, как полагают, должен был бы прежде всего испытывать человек, очнувшийся от смертного сна. Мало-помалу я собрался с мыслями, и ко мне вернулась способность

направлять свои движения. Я узнал, что в ту самую минуту, когда огонь был потушен, мистер Фокленд удалился в свои покои. Был уже вечер, когда он приказал позвать меня.

Я нашел в нем все признаки сильного страдания, но они были скрыты под личиной какого-то торжественного и печального самообладания. В эту минуту исчезли мрачность, надменность и суровость. Когда я вошел, он поднял глаза и, увидев, что это я, велел мне запереть дверь. Я повиновался. Он обошел комнату и осмотрел другие выходы. Потом вернулся ко мне. Я дрожал всем телом, восклицая про себя: «Что за убийство разыграет Росций?» *

— Уильямс! — сказал он тоном, в котором было больше сокрушения, чем неприязни. — Я покушался на вашу жизнь! Я негодяй, предмет презрения и проклятия всего человечества!

Тут он остановился.

— Если есть на свете существо, которое сильнее других чувствует, какого презрения и проклятия заслуживает такой негодяй, так это я сам. Я находился в состоянии беспрестанной муки и безумия, но я могу положить конец ему и его последствиям. И по крайней мере, поскольку это касается вас, я твердо намерен это сделать. Я знаю цену и хочу уплатить ее. Вы должны поклясться, — продолжал он, — должны призвать в свидетели все законы, божеские и человеческие, что никогда не разгласите того, что я скажу вам.

Он произнес клятву, и я с болью в сердце повторил ее. У меня не было сил возразить ни слова.

— Этого признания добивались вы, а не я, — сказал он. — Оно ненавистно мне и опасно для вас.

После такого вступления к тому, что он собирался сообщить, он остановился. Казалось, он собирается с духом перед огромным усилием. Фокленд вытер лицо платком. Оно было влажно скорее от пота, чем от слез.

— Взгляните на меня. Всмотритесь в меня. Не странно ли, что такой человек, как я, еще сохранил облик человеческого существа? Я самый низкий из негодяев. Я убийца Тиррела, я убийца Хоукинсов.

Я затрепетал от ужаса, но промолчал.

— Вот какова моя история! Оскорбленный, обещанный, покрытый стыдом в присутствии множества

людей, я был способен на любой отчаянный поступок. Я улучил мгновение, вышел вслед за мистером Тиррелом из комнаты, схватил подвернувшийся мне под руку острый нож, подошел к нему сзади и поразил его в сердце. Исполнившее тело моего оскорбителя рухнуло к моим ногам.

Все это — звенья одной цепи. Оскорбление действием. Убийство. Потом я должен был защищаться, рассказать хорошо придуманную ложь так, чтобы все сочли ее правдой. Никому еще не выпадало на долю более мучительной и невыносимой задачи.

Да, до сих пор счастье было ко мне благосклонно — даже благосклоннее, чем я того бы желал. Обвинение было снято с меня и возведено на другого. Но с этим я вынужден был примириться. Откуда появились вещественные улики против него — сломанный нож и кровь, — не могу сказать. Предполагаю, что по удивительной случайности Хоукинс проходил мимо и что он попытался облегчить своему гонителю смертные муки. Вы слышали его историю, вы читали одно из его писем. Но вам неизвестна и тысячная доля тех проявлений его чистосердечной и неизменной прямоты, которые зная. Его сын пострадал вместе с ним — тот сын, ради счастья и добродетели которого он погубил себя и готов был умереть сто раз. Мои чувства... Я не могу их описать.

Вот что значит быть джентльменом! Человеком чести! Я был помешан на славе. Моя добродетель, моя честность, вечный мир моей души — все это были малые жертвы на алтарь этого божества. И, что всего хуже, ничто из того, что произошло, ни в самой малой степени не способствовало моему излечению. Я так же помешан на славе, как и раньше. Я буду привержен ей до последнего своего вздоха. Хотя я самый низкий из негодяев, я хочу оставить по себе незапятнанное и славное имя. Нет такого коварного преступления, нет такой страшной, кровавой сцены, в которые я не дал бы вовлечь себя ради этого. Не столь важно, что с некоторого расстояния я смотрю на все это с отвращением; придет час испытания, и я снова уступлю — уверен в этом. Я презираю себя, но я таков. Дело зашло слишком далеко, чтобы можно было возвратиться вспять.

Что принудило меня пойти на это признание? Любовь к славе. Я стал бы дрожать при виде каждого пистолета или другого смертоносного орудия, которое попало бы мне под руку, и, может быть, мое следующее убийство не сошло бы для меня так удачно, как те, которые я уже совершил. Мне не оставалось другого выбора, как сделать вас либо своим поверенным, либо своей жертвой. Лучше было открыть вам всю правду, взяв с вас клятву вечного молчания, чем жить в непрестанном страхе перед вашей пронизательностью или опрометчивостью.

Знаете ли вы, что вы наделали? В угоду вздорному любопытству вы продали сами себя. Вы будете по-прежнему служить у меня, но никогда не будете пользоваться моим расположением. Я буду делать вам добро, но всегда буду ненавидеть вас. Если когда-нибудь с ваших уст сорвется необдуманное слово, если когда-нибудь вы пробудите во мне недоверие или подозрение — готовьтесь заплатить за это своей жизнью или еще дороже. Вы заключили дорогостоящую сделку. Но теперь поздно оглядываться назад. Требую и заклинаю вас всем, что есть святого и ужасного, — не нарушайте вашей клятвы!

В первый раз за много лет язык мой говорит то, что у меня на сердце. Но с этой минуты всякое общение между устами и сердцем моим прекращается навсегда. Мне не надо жалости. Я не нуждаюсь в утешении. Среди обступивших меня ужасов я хочу по крайней мере до конца сохранить силу духа. Если бы мне предназначена была другая судьба, у меня нашлись бы качества, достойные лучшего применения. Я могу быть безрассудным, бесстрашным безумцем, но даже в порыве бешенства я умею сохранять присутствие духа и осторожность...

Такова была история, которую я так жадно хотел узнать. Несмотря на то, что в течение долгих месяцев мои мысли были заняты этим предметом, в сделанном мне признании не было ни одного слова, который не звучал бы в моих ушах как нечто совершенно неожиданное. «Мистер Фокленд — убийца!» — повторял я про себя, выйдя от него. От ужасного слова «убийца» кровь стыла у меня в жилах. Он убил мистера Тиррела, потому что не мог справиться со своим чувством обиды

и злобой. Он пожертвовал Хоукинсом-старшим и Хоукинсом-младшим, потому что был обесчещен публично и не в силах был перенести позора. Как могу я надеяться, что такой страстный и непреклонный человек рано или поздно не сделает и меня своею жертвой?

Но, несмотря на такой страшный вывод из этой истории (которому, быть может, в том или ином виде девять десятых человечества обязано своим отвращением к пороку), я не мог не возвращаться время от времени к размышлениям противоположного характера.

«Мистер Фокленд — убийца, — заключал я. — И тем не менее он все же мог бы быть превосходнейшим человеком, если бы только захотел сам считать себя таким. Порочными нас делает главным образом то, что мы считаем себя порочными».

Потрясение, испытанное мною, когда я узнал, что мои подозрения, в основательность которых я никогда не позволял себе долго верить, подтвердились, не мешало мне открывать все новые основания для того, чтобы восхищаться своим новым хозяином. Угрозы его, конечно, были ужасны, но когда я думал о проступке, в котором провинился, настолько противоречащем всем принятым в просвещенном обществе правилам, столь дерзком и грубом, столь невыносимом для человека такой возвышенной души, как мистер Фокленд, я удивлялся его терпению. Разумеется, у него имелись основания не применять ко мне слишком суровых мер. Но как далеки были от ожидаемых мною ужасов его спокойное обращение и обдуманная мягкость речи! Поэтому я даже вообразил на короткое время, что освободился от бед, столь меня утешавших, и что, имея дело с таким великодушным человеком, как мистер Фокленд, я могу не опасаться никаких жестокостей.

«Каким жалким существом он считает меня, — думал я. — Он полагает, что я не руководствуюсь никакими правилами и не признаю личного превосходства. Но он увидит, что ошибся. Я никогда не стану доносчиком, никогда не причиню вреда своему покровителю, и поэтому он никогда не станет моим врагом. При всех его несчастьях и заблуждениях душа моя жаждет для него благоденствия. Если он был преступен, виной тому — обстоятельства. Те же качества при других условиях были бы в высшей степени благотворны».

Нет сомнения, что мои суждения были неизмеримо более благоприятны для мистера Фокленда, чем суждение, которое люди привыкли выносить в отношении тех, кого они называют великими преступниками. Это не вызовет удивления, если припомнить, что я сам только что преступил установленные границы своих обязанностей и мог поэтому сочувствовать другим правонарушителям. К этому надо добавить, что я с самого начала видел в мистере Фокленде благодетельное божество. Я наблюдал на досуге, со вниманием, которое не могло меня обмануть, прекрасные качества его души и убедился, что он обладает самым плодотворным и совершенным умом, какой мне когда-либо приходилось встречать.

Хотя страхи, угнетавшие меня, в значительной мере рассеялись, положение мое все-таки было достаточно жалким. Непринужденность и жизнерадостность юности навсегда оставили меня. Неукротимый и настоятельный голос приказывал мне: «Бодрствуй». Меня мучила тайна, от которой мне никогда не суждено было освободиться, и в моем возрасте одно это сознание было источником постоянной горести. Я добровольно сделался пленником, в самом невыносимом смысле этого слова, на долгие годы, может быть — до конца своих дней. Хотя бы моя осторожность и скромность оставались неизменными, я должен был помнить, что у меня есть надсмотрщик, бдительный благодаря сознанию своей вины, полный раздражения оттого, что я исторг у него признание, способный в любое время по своему произволу решить судьбу всего, что мне дорого. Даже неусыпность общественного и узаконенного деспотизма — ничто по сравнению с тем, который разжигается самыми беспокойными душевными страстями, как это было в данном случае. Я не знал, как найти мне убежище от преследований этого рода. Я не решался ни бежать от наблюдений мистера Фокленда, ни продолжать подвергаться их действию. Вначале я был даже в некоторой степени усыплен ощущением безопасности на самом краю пропасти. Но прошло немного времени, и тысячи обстоятельств стали беспрестанно напоминать мне о моем истинном положении. Те, о которых я сейчас расскажу, — одни из самых для меня памятных.

Вскоре после того, как Фокленд сделал свое признание, к нам приехал его старший брат по матери, мистер Форстер, чтобы провести некоторое время в семье; это было обстоятельство, особенно противоречившее привычкам и склонностям моего хозяина. Как я уже говорил, он совершенно перестал посещать соседей и никого не принимал у себя. Он отказался от каких бы то ни было удовольствий и развлечений. Он чуждался общества своих близких и все больше и больше замыкался в уединении. Человеку твердому в большинстве случаев нетрудно было бы придерживаться подобного распорядка жизни. Но Фокленд не сумел отклонить приезда Форстера. Этот джентльмен только что вернулся в родные края после долголетнего пребывания на материке; просьба его к сводному брату — предоставить ему жилище, пока его собственный дом, находившийся на расстоянии мили от нас, не будет готов принять его, — была сделана так уверенно, что вряд ли допускала отказ. Фокленду оставалось только выразить опасение, как бы пребывание у него в доме не оказалось для его родственника малоприятным ввиду состояния здоровья хозяина и расположения его духа. На это мистер Форстер заметил, что такого рода слабости возрастают оттого, что им потворствуют, и что, напротив, его общество будет для Фокленда источником существенной пользы, так как вынудит последнего нарушить свое обычное отшельничество. Фокленд больше не возражал. Его огорчило бы, если б родственник, к которому он питал особое уважение, нашел его нелюбезным, да и сознание того, что он не смеет назвать настоящую причину, не позволило ему настаивать на своих возражениях.

Характер мистера Форстера во многих отношениях был прямо противоположен характеру моего хозяина. Самая наружность его свидетельствовала о его странностях. Роста он был маленького и худой; глаза его глубоко запали в орбитах, и над ними нависли черные густые и косматые брови. Лицо у него было смуглое, черты отличались резкостью. Он много видел на свете, а между тем по его наружности и манерам можно было подумать, что он никогда не отходил от своего камелька.

Нрав у него был брюзгливый, раздражительный и резкий. Он легко обижался из-за таких пустяков, о которых никто из имевших с ним дело и подумать не мог, что они вызовут такие последствия. Обидевшись, он большею частью вел себя очень неприятно — только и думал о том, как бы наставить виновного на путь истинный и заставить его пожалеть о своей ошибке; увлеченный этим, он не считался с самолюбием своей жертвы и не замечал, какое причиняет страдание. Увещания он в подобном случае считал порождением трусости; по его мнению, зло надо было искоренять твердой и бесстрашной рукой, а не скрывать из ложной доброты и снисходительности. Как это вообще свойственно любому человеку, он выработал систему мыслей, приуроченную к его чувствам. Он находил, что доброту, с которой мы относимся к человеку, должно таить и скрывать, проявлять ее в существенных благодеяниях, но не обнаруживать, чтобы объект этой доброты не воспользовался ею неподобающим образом.

Под этой непривлекательной оболочкой у мистера Форстера скрывалось доброе и великодушное сердце. В первую минуту его обхождение отвращало от него всех и побуждало приписывать ему дурной характер. Но чем больше его узнавали, тем с большей симпатией к нему относились. Тогда в его резкости начинали видеть только привычку, и близкие знакомые обращали внимание главным образом на его здравый смысл и деятельную доброту. Его беседа, когда он снисходил до того, что переставал изрекать грубые, отрывистые, сварливые фразы, текла свободно и была очень занимательна. Авторитетный тон его суждений сочетался с характерным суховатым юмором, что свидетельствовало о его живой наблюдательности и силе ума.

Странности этого джентльмена вскоре проявились и в той обстановке, в которую он теперь попал. Имея в своем характере большой запас доброты, он вскоре глубоко заинтересовался злосчастиями своего родственника. Он делал все, что было в его власти, чтобы облегчить его горести, но старания его были неловки и грубоваты. С человеком столь совершенного ума и столь впечатлительным, как Фокленд, мистер Форстер не отваживался давать волю обычной резкости своего обхождения; но и воздерживаясь от резкостей, он тем

не менее был совершенно неспособен на то нежное и задушевное красноречие, которое, быть может, одно могло бы обольстить мистера Фокленда и заставить его на время забыть его душевные муки. Мистер Форстер убеждал хозяина дома воспрянуть духом и бросить вызов подлому врагу, но тон его увещаний не затрагивал созвучных струн в душе моего покровителя. Ему не хватало искусства, чтобы убедить ум, настолько закоренелый в заблуждении. Словом, после тысячи подобных попыток мистер Форстер отступил, ворча на собственное бессилие, но не сердясь на упорство мистера Фокленда. Его привязанность к мистеру Фокленду не уменьшилась, и он чистосердечно огорчился, что так мало способен помочь ему. Каждая сторона в этом случае отдавала должное достоинствам другой. В то же время несходство в их характерах было так велико, что присжигий не мог быть особенно тягостным сожителем для хозяина дома. У них вряд ли была хоть одна общая черта. Мистер Форстер был не способен причинить мистеру Фокленду настолько сильное огорчение или доставить ему такое удовольствие, чтобы это подняло в душе последнего бурю и временно лишило бы ее спокойствия и самообладания.

Наш гость, несмотря на свою наружность, был чрезвычайно общителен и многоречив, если его не прерывали и не спорили с ним. В данных обстоятельствах он скоро начал горестно чувствовать себя вне привычной ему обстановки. Фокленд всецело предавался созерцанию и одиночеству. Он немного сдерживал себя в первое время по приезде своего родственника, но даже и тогда его излюбленные привычки давали себя знать. А после того как они провели вместе некоторое время и стало достаточно очевидным, что общество одного является для другого скорее бременем, чем доставляет удовольствие, они заключили молчаливое соглашение, что каждый волен следовать своим склонностям. В известном смысле из них двоих от этого выиграл мистер Фокленд. Он вернулся к образу жизни, который сам себе избрал, и поступал почти совершенно так же, как если б мистера Форстера не было на свете. Зато последний совсем не знал, что ему делать. Он терпел все неприятности уединения и не имел возможности окружить себя

собственными приятелями или развлечься по своему вкусу, как сделал бы это у себя дома.

В этом положении он обратил внимание на меня. Его правилом было приводить в исполнение все то, что приходило ему на ум, не заботясь о светских условностях. Проникнутый глубоким почтением к старинным установлениям, он тем не менее не видел причины, почему бы крестьянин, получивший некоторое воспитание и выросший в благоприятной обстановке, не мог годиться ему в собеседники, как и какой-нибудь лорд. Вынужденный прибегнуть к этому, он нашел, что я лучше подхожу для его целей, чем кто-либо другой из домашних мистера Фокленда.

Манера, с которой он начал со мной общаться, была довольно характерна. Она была резка, но явно отмечена заметной добротой; грубовата и своенравна; привлекательна как раз той простотой обращения, с которой он снисходил до уровня окружающих, особенно по отношению к тем, кто не был ему ровней. Ему надо было и самому примириться с этим и заманить меня; примириться не с необходимостью отказаться от аристократического тщеславия, — последнее было ему отпущено в очень скромной дозе, — а с тем, что ему стоит беспокоиться, чтобы привлечь меня к себе, потому что больше всего он не любил себя стеснять. Все это вызвало в нем некоторую нерешительность, нарушило обычное течение его мыслей и придало его поведению причудливый характер.

Со своей стороны, я отнюдь не был неблагодарным за отличие, которым меня удостоили. Я находился в то время в подавленном состоянии духа, но в моей сдержанности не было примеси брюзгливости или бесчувственности. Вскоре она не устояла против снисходительного внимания мистера Форстера. Постепенно я стал внимательным, ободренным, доверчивым. Я был воодушевлен сильнейшим желанием узнавать людей, и хотя никому, пожалуй, познание, которое он приобретал в подобной школе жизни, не доставалось столь дорогой ценой, это мое желание отнюдь не ослабевало. Мистер Форстер был вторым человеком, показавшимся мне в высшей степени достойным изучения, почти в такой же степени, как и сам мистер Фокленд. Я был рад отделаться от своих тягостных размышлений и, занятый

своим новым другом, забыл о тех суровых бедствиях, которые грозили мне ежечасно.

Охваченный этими чувствами, я был таким, как это было нужно мистеру Форстеру, — прилежным и ревностным слушателем. Я сильно поддавался впечатлениям, и впечатления, которые воспринимал мой ум, заметно отражались на моей внешности и в моих жестах. Наблюдения, которые мистер Форстер делал во время своих путешествий, запас мнений, сложившихся у него, — все занимало и интересовало меня. Манера, с какой он рассказывал какую-нибудь историю или излагал свои мысли, была убедительной, ясной и оригинальной; в беседах он бывал очень остер на язык. Все, что он говорил, восхищало меня, и, наоборот, мое сочувствие, моя страстная пытливость, мое неподдельное воодушевление делали меня в глазах мистера Форстера самым желанным слушателем. Не удивительно поэтому, что наши отношения становились с каждым днем все теснее и сердечнее.

Мистер Фокленд был обречен чувствовать себя несчастным пожизненно; казалось, что не могло случиться такое новое событие, из которого он не сумел бы извлечь пищу, чтобы стать еще несчастнее. Его утомляло постоянное повторение однородных впечатлений, и вместе с тем он питал непреодолимое отвращение ко всему, что было ново. Приезд мистера Форстера он встретил с большим неудовольствием. Он почти не мог смотреть на него без содрогания, и гость с горечью подметил в нем это ощущение — следствие скорее привычки и болезни, чем здравомыслия. Ни один из поступков мистера Форстера не оставался незамеченным; самые малозначительные из них вызывали беспокойство и опасения. Первые признаки сближения между мной и мистером Форстером, по-видимому, зародили в душе моего хозяина чувство ревности. Неровный, изменчивый характер его гостя способствовал усилению этой ревности, порождая видимость чего-то необъяснимого и таинственного. В это время Фокленд намекнул мне, что ему будет неприятно, если между мной и мистером Форстером будут поддерживаться тесные отношения.

Что оставалось мне делать? Можно ли было ожидать, чтобы я, еще юноша, стал бы разыгрывать из себя философа и постоянно обуздывать свои склонности?

Если я и был безрассуден, то в состоянии ли я был добровольно подвергнуть себя вечному покаянию и отчуждению от человеческого общества? Мог ли я отвергать откровенность, до такой степени совпадавшую с моими желаниями, и отвечать холодностью на доброту, покорявшую мое сердце?

Кроме того, я вообще был плохо приучен к той рабской покорности, которой требовал мистер Фокленд. В раннюю пору своей жизни я привык свободно располагать собой. Когда я только что поступил на службу к мистеру Фокленду, новизна положения заставила меня забыть о моих личных привычках; высокие достоинства моего покровителя завоевали мое сердце. На смену этой новизне, и влиянию, которое она на меня оказала, последовало любопытство; любопытство, пока оно длилось, было у меня в душе даже более сильным началом, чем любовь к свободе. Ему я принес бы в жертву и свою независимость и жизнь. Чтобы удовлетворить его, я примирился бы с условиями существования вест-индского негра и согласился бы подвергнуться пыткам у североамериканских краснокожих. Но в данное время мое беспокойное любопытство уже улеглось.

Пока мистер Фокленд ограничивался угрозами вообще, я это терпел. Я помнил о недостойном поступке, который я совершил, и это смирало меня. Но когда он пошел дальше и стал предписывать мне каждый шаг в моем поведении, я потерял терпение. Ум мой, и раньше достаточно отдававший себе отчет в печальном положении, в которое меня поставила собственная неосторожность, начал теперь пристальнее и тревожнее разбираться в обстоятельствах дела. Мистер Фокленд был человек не старый. В нем было еще много сил, какими бы ослабленными они ни казались; он мог прожить столько же времени, сколько и я. А я являлся его пленником, и притом еще каким! Все мои поступки находились под наблюдением, все мои движения замечались. Я не мог двинуться ни вправо, ни влево без того, чтобы глаз моего надзирателя не провожал меня. Он сторожил меня, и его бдительность была пыткой для моего сердца. Конец моей свободе, конец веселью, беспечности, молодости! Это ли жизнь, в которую я вступил, полный таких пылких и радужных надежд? Неужели дни мои будут бесполезно растрacены в этом безрадостном унынии? Неужели я —

только каторжник в руках Природы, которого может освободить лишь смерть, моя собственная или моего умолимого повелителя? Я пустился на все для удовлетворения ребяческого, безрассудного любопытства и твердо решил быть, если понадобится, не менее отважным, защищая все то, что может сделать жизнь благом. Я был готов привести к согласию обоюдные интересы: я мог поручиться, что мистер Фокленд не потерпит от меня никогда никакого ущерба, но взамен я рассчитывал, что и на меня не будет никаких покушений с его стороны и я буду предоставлен самому себе.

Итак, я продолжал настойчиво искать общества мистера Форстера. А по самой своей природе всякая близость, которая не идет на убыль, постоянно усиливается. Мистер Фокленд наблюдал за этим с заметным беспокойством. Всякий раз, когда я замечал, что он понимает, в чем дело, я выдавал свое смущение, что отнюдь не способствовало его успокоению. Однажды он заговорил со мной с глазу на глаз и, сопровождая свои слова взглядом, полным таинственного и странного значения, выразился так:

— Молодой человек, я хочу тебе сделать предупреждение. Может быть, в последний раз ты имеешь благоприятный случай его выслушать. Я не буду постоянной мишенью для твоей простоты и неопытности, не стану терпеть, чтобы твоя слабость торжествовала над моей силой! Зачем ты играешь со мной? Ты не подозреваешь степени моего могущества. В настоящую минуту ты незаметно для себя оплетен сетями моей мести, и в то самое мгновение, когда ты станешь радоваться, что уже освободился, они совсем опутают тебя. С таким же успехом ты мог бы рассчитывать уйти из-под власти вездесущего бога, как из-под моей! Если бы ты причинил вред хоть одному моему пальцу, тебе пришлось бы искупить это часами, месяцами и годами мук, о которых ты не имеешь самого отдаленного представления. Помни! Я говорю не впустую! Я не сказал ни одного слова, которое не будет выполнено с точностью до одной буквы, если ты меня вызовешь на это!

Легко догадаться, что эти угрозы не могли не оказать свое действие. Я молча удалился. Вся моя душа возмущалась обращением, которому я подвергался, но я все-таки не мог вымолвить ни слова. Почему я не высказал

того, чем было полно мое сердце, не предложил соглашения, о котором думал? Неопытность, а не отсутствие решимости сковывала меня. Каждый поступок мистера Фокленда приносил с собой что-нибудь новое, к чему я не был готов. Может быть, когда-нибудь будет установлено, что величайший герой обязан удачей своего образа действий именно привычке, встречаясь с препятствиями, быстро призывать на помощь свои умственные силы.

Я наблюдал поведение своего покровителя с глубочайшим изумлением. Человечность и доброта ко всем были основными чертами его характера, но по отношению ко мне они были бесплодны и бездейственны. Его собственные интересы подсказывали ему, что он должен подкупить меня добротой; но он предпочитал властвовать надо мной, запугивая меня, и сам следил за мной в непрестанном страхе. Охваченный самыми горестными чувствами, я размышлял о существе своих бедствий. Я был уверен, что никогда ни один человек не был поставлен в столь же тяжелое положение, как я. Каждый атом моего тела, казалось, существовал обособленно и содрогался.

У меня было слишком много причин думать, что угрозы мистера Фокленда — не пустые слова. Мне была известна его опытность; я чувствовал его превосходство. Если б я столкнулся с ним, какие были бы у меня надежды на победу? А если б я был разбит, что пришлось бы мне вытерпеть в наказание? Но если так, значит весь остаток дней моих должен быть проведен в рабском повиновении. Ужасный приговор! Что спасет меня от несправедливости человека деятельного, своенравного и преступного? Я завидовал несчастному, приговоренному к казни и ведомому на эшафот, я завидовал жертве инквизиции среди пыток. Те знают, что их ожидает, а мне остается только представить себе все самое страшное и потом сказать: «Ожидающая меня участь страшнее всего этого».

К счастью для меня, эти чувства были преходящи: человеческая природа не могла бы долго выдержать то, что я тогда испытывал. Постепенно душа моя освобождалась от тяготившего ее гнета. На смену чувству страха пришло негодование. Враждебность мистера Фокленда вызвала во мне ответную неприязнь. Я принял решение никогда не говорить про него дурное, даже в самых обы-

денных делах, а тем более — не раскрывать великой тайны, от которой находилось в зависимости все, что ему дорого. Но, окончательно отказавшись от наступления, я твердо решил защищаться. Я сохраню свободу действовать по своему желанию, как бы ни была велика опасность. Если я буду побежден, то по крайней мере сознание того, что я проявил энергию в борьбе, послужит мне утешением. В согласии с этим решением я не стал больше тратить силы на мелкие вылазки и счел уместным действовать обдуманно и последовательно. Я не переставал лелеять мысль об освобождении, но был озабочен тем, чтобы не сделать слишком поспешный шаг.

В этот период, когда я находился в состоянии нерешительности и неуверенности, мистер Форстер оставил наш дом. В моем поведении он заметил странное отчуждение и попрекнул меня за это со свойственным ему добродушием и грубоватостью. Я мог ответить только мрачным, полным таинственности взглядом, а также скорбным и выразительным молчанием. Он вызывал меня на объяснение, но теперь я настолько же искусно уклонялся от встреч с ним, насколько раньше горячо искал их. И — как он впоследствии признавался мне — он уехал от нас под впечатлением, что над этим домом тяготеез какой-то злой рок, который, видимо, обрекает на несчастье всех его обитателей, хотя зритель и не может вникнуть в причину этого.

ГЛАВА VIII

Прошло около трех недель после отъезда Форстера, когда Фокленд послал меня по какому-то делу в поместье, которым владел он в соседнем графстве, милях в пятидесяти от его главного местопребывания. Дорога шла далеко в стороне от жилища нашего недавнего гостя. Уже на обратном пути я начал мысленно перебирать разные обстоятельства, связанные с моим положением, и поемногу, весь погруженный в размышления, перестал обращать внимание на окружающие предметы. Главным моим стремлением было бежать от зоркой мстительности и угнетения Фокленда, но в то же время необходимо было предотвратить всеми мерами предосто-

рожности и предусмотрительности, какие я только мог изобрести, опасность, с которой — я это хорошо знал — была сопряжена такая попытка.

Занятый этими мыслями, я проехал много миль, прежде чем заметил, что я совсем сбился с дороги. Наконец я спохватился и огляделся кругом. Но я не мог приметить ничего, к чему привыкли мои взоры. С трех сторон, на такое пространство, какое мог обнять глаз, тянулась покрытая вереском равнина; с четвертой я увидел на некотором расстоянии довольно большой лес. Впереди — ни одной колеи или следа, которые указали бы, что здесь когда-нибудь бывал человек. Лучшее, что я мог придумать, это повернуть лошадь к лесу и ехать, держась, насколько это было возможно, извилистых изгородей. Это привело меня через некоторое время к равнине. Но я был по-прежнему в недоумении, в какую сторону направить свой путь. Солнце спряталось в сером облачном небе. Я принужден был продолжать дорогу вдоль опушки леса, преодолевая с некоторым трудом изгороди и прочие препятствия, время от времени попадавшие мне на пути. Мысли мои были мрачны и безрадостны. Сумрачный день и полное одиночество, в котором я очутился, наполняли мою душу печалью. Я проехал довольно значительное расстояние, и голод и усталость уже давали себя знать, когда я увидал дорогу и невдалеке, у ее края, небольшой постоялый двор. Я направился туда и, наведя справки, узнал, что, вместо того чтобы держаться нужного направления, я свернул в сторону и ехал скорее к дому мистера Форстера, чем к своему местожительству. Я сошел с лошади и, войдя в дом, тотчас же увидел этого джентльмена.

Мистер Форстер встретил меня приветливо, пригласил в комнату, где он только что находился, и осведомился, какой случай привел меня в эти места.

Пока он говорил, я невольно думал о странности обстоятельств, которые опять свели нас друг с другом, и это вызвало у меня целую цепь рассуждений. По распоряжению мистера Форстера мне приготовили закуску; я сел и занялся едой. Между тем одна мысль не покидала меня: «Мистер Фокленд никогда не узнает о нашей встрече. Случай представился мне, и если я не воспользуюсь им, значит сам буду виноват в последствиях. Я имею сейчас возможность побеседовать с другом — мо-

гущественным другом, не боясь, что меня выследят и подслушают». Можно ли удивляться тому, что у меня явилось искушение — не рассказать о тайне Фокленда, а описать свое собственное положение и попросить совета у достойного и опытного человека, что как будто можно было сделать, не входя в какие-либо подробности, порочащие моего покровителя.

Мистер Форстер, со своей стороны, выразил желание узнать, почему я чувствую себя несчастным и почему в последнее время его пребывания под одной со мной кровлей я настолько же явно избегал его, насколько раньше находил удовольствие в его беседе. Я отвечал, что не могу вполне удовлетворить его любопытство, но постараюсь объяснить, насколько это для меня возможно.

— Дело в том, — продолжал я, — что имеются причины, вследствие которых я не могу рассчитывать ни на минуту покоя, пока нахожусь под кровлей мистера Фокленда. Я обсуждал этот предмет сам с собой всесторонне и наконец убедился, что мой долг перед самим собой — оставить у него службу.

Я добавил, что, насколько я понимаю, это полупризнание может вызвать скорее неодобрение мистера Форстера, нежели его сочувствие; но я тут же выразил уверенность, что каким странным ни казалось бы ему в настоящее время мое поведение, он похвалил бы меня за сдержанность, если бы мог ознакомиться со всем делом.

Казалось, мистер Форстер размышлял с минуту о том, что я сказал, потом спросил, какую я имел причину жаловаться на мистера Фокленда. Я ответил, что питаю глубочайшее почтение к своему хозяину, восхищаюсь его дарованиями и считаю, что он создан для блага своих ближних. Я был бы в собственных глазах самым подлым негодяем, если бы проронил хоть слово против него. Но дело не в этом: я не подхожу ему; может быть, я недостаточно хорош для него. Во всяком случае, я буду всегда несчастен, пока буду жить с ним.

Я заметил, что мистер Форстер пристально смотрит на меня с любопытством и удивлением, но не нашел нужным принимать во внимание это обстоятельство. Спохватившись, он осведомился, почему же, раз таково положение вещей, я не бросаю своей службы? Я отвечал, что именно то, чего он теперь коснулся, и есть главная

причина моих несчастий. Для мистера Фокленда не тайна, что я тягочусь своим настоящим положением; может быть, он считает это неразумным, несправедливым, но, так или иначе, мне известно, что он никогда не даст своего согласия на мой уход.

Тут мистер Форстер перебил меня и, улыбаясь, сказал, что я преувеличиваю затруднения и что я переоцениваю собственное значение; он добавил, что берется устранить препятствия, а также подыскать мне более приятную службу. Это предложение повергло меня в большую тревогу. Я ответил, что убедительно прошу его ни под каким видом не обращаться к мистеру Фокленду по этому поводу. Я добавил, что, быть может, я обнаруживаю этим свою собственную глупость, но что, будучи совсем неопытен и несведущ в житейских делах, я боюсь навлечь на себя недовольство человека с таким положением, как мистер Фокленд. Все, о чем я решаюсь просить, — это то, чтобы он сообразовал дать мне совет по этому поводу или позволил мне надеяться на его покровительство в случае какого-нибудь непредвиденного происшествия. Ободренный этим, я решил бы последовать внушениям внутреннего голоса и поспешить на поиски уграченного спокойствия.

Когда я открылся таким образом великодушному другу, — насколько я мог пристойно и не подвергая себя опасности, — он некоторое время сидел молча, с видом глубокой задумчивости. Наконец он обратился ко мне с необычайно строгим выражением лица и характерной для него резкостью в манерах и голосе:

— Молодой человек! Вы, может быть, не отдаете себе отчета в том, как ведете себя сейчас. Может быть, вы не знаете, что — где тайна, там всегда кроется что-нибудь недостойное. Разве таким путем можно заслужить благосклонность положительного и почтенного человека? Делать вид, будто хочешь довериться, а потом рассказать ему бессвязную историю, в которой нет никакого здравого смысла!

Я отвечал, что, сколь бы ни было велико такое предубеждение, я вынужден ему подчиниться. Я сказал, что рассчитываю на прямоту его характера, которая не позволит ему ложно истолковать мои слова.

Он продолжал:

— Вот как! Вы рассчитываете? Повторяю вам, сэр: прямота моего характера — враг всякого притворства. Вы ведь знаете, мой милый, что я лучше вас разбираюсь в этих вещах. Скажите мне все — или не ждите от меня ничего, кроме порицания и презрения.

— Сэр, — возразил я, — я говорил вполне обдуманно. Я сказал то, что решился сказать, и должен твердо держаться этого, каковы бы ни были последствия. Если, на мое несчастье, вы отказываете мне в помощи, кончим на этом, а я своим сообщением навлеку на себя лишь ваше недовольство и дурное обо мне мнение.

Он сурово посмотрел на меня, как бы пронзая меня взглядом. Наконец черты его разгладились, и обращение стало мягче.

— Ты глупый, упрямый мальчик, — сказал он, — и я буду следить за тобой. Я никогда больше не буду доверять тебе так, как доверял раньше. Но я не покину тебя. В настоящее время весы еще склоняются в твою пользу. Не знаю, долго ли это продлится. Ничего не обещаю. Но мое правило — поступать так, как подсказывает мне чувство. На этот раз я исполню твоё желание, и дай бог, чтобы это было к лучшему. Я приму тебя — сейчас или позже — под свою кровлю, надеясь, что мне не придется раскаиваться и что все кончится благополучно, как я того желаю, хотя и не знаю сам, можно ли на это рассчитывать.

Мы были заняты этим серьезным обсуждением предмета, столь важного для моего спокойствия, когда нас прервало событие, которое следовало бы предотвратить во что бы то ни стало. Без малейшего предупреждения, словно свалившись с неба, в комнату вбежал мистер Фокленд. Впоследствии я узнал, что мистер Форстер приехал в это отдаленное место потому, что сговорился встретиться с мистером Фоклендом и что местом предположенного свидания была выбрана следующая почтовая станция. Из-за нашей случайной встречи мистер Форстер задержался на постоялом дворе, где мы все теперь находились, и в тот момент совсем забыл о назначенном свидании. А мистер Фокленд, не найдя своего родственника в условном месте, направился к его дому. Что касается меня, то встреча эта показалась мне совершенно необъяснимой.

Я тотчас же понял, какой страшный клубок бедствий повлечет за собой это событие. Мистер Фокленд, конечно, сочтет мою встречу с его родственником не случайной, а — по крайней мере с моей стороны — преднамеренной. Я был совершенно в стороне от дороги, которой должен был держаться согласно его указаниям; я был прямо на дороге к дому мистера Форстера. Что он об этом подумает? Чем объяснит мое присутствие в этом месте? Если сказать ему правду, что я заехал сюда без всякого намерения, исключительно потому, что сбился с пути, это будет выглядеть как самая очевидная ложь.

Итак, я был уличен в сношениях, которые были строжайше запрещены. Притом на этот раз положение было несравненно хуже, чем во всех тех случаях, которые уже раньше причиняли мистеру Фокленду так много беспокойства. Тогда все делалось открыто, без утайки, и поэтому была вероятность, что нечего было скрывать. А нынешнее свидание, если оно произошло по предварительному сговору, было в высшей степени подозрительным. И оно было столь же опасно, как и подозрительно; оно было воспрещено под самыми сильными угрозами, и мистеру Фокленду было известно, какое тягостное впечатление произвели эти угрозы на мое воображение. Следовательно, эта встреча не могла быть задумана с пустой целью и вообще с какой бы то ни было целью, при мысли о которой не ныло бы его сердце. Вот как было велико мое преступление, вот какие тревоги должно было вызывать мое присутствие здесь! И надо было думать, что и кара, которая меня ожидает, окажется соответственной. Угрозы мистера Фокленда еще звенели у меня в ушах, и я был охвачен ужасом.

Поведение одного и того же человека при разных обстоятельствах часто бывает столь неодинаково, что очень трудно бывает его предусмотреть. Мистер Фокленд в эту страшную для него минуту отнюдь не выказал гнева. На мгновение он онемел; в глазах его сверкнуло изумление, но в следующее мгновение он, так сказать, был уже совершенно спокоен и вполне владел собой. Если бы все это было по-иному, я бы, конечно, сейчас же объяснил, каким образом я попал сюда, и чистосердечие, а также логичность моего объяснения должны были бы привести дело к более или менее благоприятному результату. Но при данных обстоятельствах я позволил одержать над

собой верх; как и в предшествовавших случаях, я уступил в замешательстве под влиянием неожиданности. Я едва смел дышать; с одинаковым страхом и изумлением я смотрел на обоих присутствующих. Мистер Фокленд спокойно приказал мне вернуться домой и взять с собой грума, который приехал вместе с ним. Я молча повиновался.

Впоследствии я узнал, что он подробно расспросил мистера Форстера об обстоятельствах нашей встречи. Форстер, видя, что наша встреча открыта, и руководясь, как всегда, присущей ему откровенностью, — которой трудно противодействовать, если она коренится в характере человека, — рассказал мистеру Фокленду все, что произошло, присоединив к этому замечания, которые тут же пришли ему в голову.

Мистер Фокленд выслушал это сообщение, храня двусмысленное и деланное молчание, отнюдь не располагавшее мистера Форстера, и без того уже против меня предубежденного, в мою пользу. Молчание Фокленда было отчасти прямым следствием его осторожного, пытливого и сомневающегося ума, а отчасти, вероятно, было преднамеренным, ради того эффекта, которое оно должно было произвести, так как мистер Фокленд был не прочь усилить предубеждение против человека, который в один прекрасный день мог вступить с ним в борьбу.

Что касается меня, то я, конечно, отправился домой, так как противиться было невозможно. С явным намерением, которому он придал вид случайности, мистер Фокленд позаботился приставить ко мне караульного, который должен был следить за своим пленником. Меня как будто доставляли в одну из тех прославившихся в истории деспотизма крепостей, откуда, как известно, несчастная жертва никогда не выходила живой; поэтому, когда я вошел к себе в комнату, я почувствовал себя так, словно вошел в каземат. Я думал о том, что нахожусь во власти человека, доведенного до белого каления моим неповиновением и уже воспитавшего в себе жестокость рядом убийств. Отныне у меня нет будущего. Я должен навсегда отказаться от всего, о чем мечтал с неизъяснимым наслаждением; даже смерть моя, быть может, последует через несколько часов. Я жертва, принесенная на алтарь преступной совести, которой неведомы ни покой,

ни пресыщение; меня вычеркнут из списка живых, и судьба моя навеки останется покрытой тайной; человек, который, убив меня, присоединит это преступление к предыдущим, наутро будет с восторгом и знаками одобрения приветствуем своими согражданами.

Среди этих устрашающих созданий воображения одна мысль приносила мне некоторое облегчение. Это было воспоминание о странном и необъяснимом спокойствии, которое проявил мистер Фокленд, застав меня в обществе мистера Форстера. Это не ввело меня в заблуждение. Я знал, что это спокойствие временное, что на смену ему придут крики и самые страшные бури. Но человек, находящийся во власти таких ужасов, которые в то время одолевали меня, хватается за соломинку. Я говорил себе: «Это состояние спокойствия мне не следует упускать, и чем более кратковременным оно может оказаться, тем быстрее должен я им воспользоваться». Словом, находясь в постоянном страхе подвергнуться мщению мистера Фокленда и рискуя сделать его еще более беспощадным, я принял решение сразу же положить конец настоящему состоянию неопределенности. Я только что открылся мистеру Форстеру, и он дал твердое обещание оказывать мне покровительство. Я решился немедленно обратиться к мистеру Фокленду с приводимым ниже письмом. Мысль о том, что если он замышляет против меня что-либо трагическое, то подобное письмо может лишь утвердить его в этих замыслах, не приходила мне тогда в голову.

Сэр!

Я возымел намерение оставить службу у Вас. Вероятно, это было бы желательно для нас обоих. Я сделаюсь, как это повелевает мне мой долг, хозяином своих поступков. А Вы будете освобождены от присутствия лица, к которому не можете относиться без чувства неприязни.

Зачем Вы хотите подвергнуть меня вечному наказанию? Зачем Вы хотите обречь на страдание и отчаяние надежды моей юности? Сообразуйте с правилами человеколюбия, которыми всегда были отмечены все Ваши поступки, и, умоляю Вас, не делайте меня жертвой бесполезной жестокости! Сердце мое преисполнено благодарности за Ваши милости! Я искренне прошу у Вас прощения.

ния за многочисленные ошибки моего поведения. В Вашем доме ко мне неизменно относились с добротой и великодушием. Я никогда не забуду, чем я Вам обязан, и никогда этому не изменю.

Остаюсь, сэр,
Ваш самый благодарный, почтительный
и преданный слуга

Калед Уильямс.

Вот на что ушел у меня вечер того дня, который навсегда останется памятным в истории моей жизни. Ввиду того, что мистер Фокленд еще не вернулся, но его ожидали с часу на час, я решил воспользоваться усталостью как предлогом, чтобы избежать встречи. Я лег в постель. Нетрудно понять, что сон мой не был ни глубоким, ни освежающим.

Наутро мне сообщили, что мой хозяин вернулся домой очень поздно, что он справлялся обо мне и, узнав, что я уже в постели, больше ничего не сказал по этому поводу. Удовлетворенный этим известием, я пошел в столовую, где был подан завтрак. В ожидании, пока мистер Фокленд спустится вниз, я, несмотря на тревогу и трепет, которыми был охвачен, постарался заняться приведением в порядок книг и некоторыми другими делами. Немного погодя я услышал на лестнице его шаги, которые прекрасно умел различать. Вдруг он остановился и заговорил с кем-то, неторопливо, но понизив голос. Я слышал, как он несколько раз повторил мое имя, словно справляясь обо мне. В соответствии с планом, которого я решил держаться, я положил свое письмо на стол, за которым он обыкновенно сидел, и вышел в одну дверь, в то время как мистер Фокленд входил в другую. Сделав это, я, волнуясь и дрожа, удалился в уединенное место, нечто вроде светлого чуланчика в конце библиотеки, где я имел обыкновение довольно часто сидеть.

Не пробыл я там и трех минут, как услышал голос мистера Фокленда, звавшего меня. Я прошел к нему в библиотеку. У него был вид человека, который борется с какой-то страшной мыслью и между тем пытается придать своему поведению беспечный и безразличный вид. Быть может, никакое другое состояние мистера Фокленда

не могло бы вызвать во мне такого необъяснимого ужаса и тревожной неуверенности в предстоящем.

— Вот твое письмо,— сказал он, швыряя его.— Полагаю, приятель, — продолжал он, — что теперь ты проделал все свои штучки и фарс приближается к концу. Как-никак, твои обезьяньи ухватки и твоя глупость научили меня одной вещи, и если раньше я отступал перед ней с мучением, то теперь я непоколебим. В конце концов я раздавлю тебя так же равнодушно, как сделал бы это со всяким другим маленьким насекомым, которое стало бы нарушать мой покой.

Я не знаю, как ты встретился с мистером Форстером. Может быть, это было преднамеренно, может быть, и случайно. Но я никогда этого не забуду. Ты мне тут пишешь, что желаешь оставить службу у меня. Мой ответ на это будет короток: ты никогда не оставишь ее живым. Если ты попытаешься это сделать, то никогда, до конца своих дней, не перестанешь каяться в своем безумии. Такова моя воля, и я не допущу, чтобы ей противились. Отныне, как только ты в чем-либо ослушаешься меня, твоим выходкам будет положен конец навсегда. Может быть, твое положение и достойно сожаления, это тебе виднее. Я знаю лишь, что от тебя зависит, чтобы оно не стало еще хуже, а улучшить его никогда не смогут ни время, ни случайности.

Не воображай, что я тебя боюсь. Я ношу броню, против которой бессильно твое оружие. Я вырыл для тебя яму, и, куда бы ты ни двинулся — назад или вперед, вправо или влево, — она готова поглотить тебя. Молчать! Если только ты попадешь в нее, то, как бы громко ты ни призывал на помощь, ни один человек на земле не услышит твоих криков. Приготовь какую-либо историю, правдоподобную или даже вполне истинную, — и весь свет будет клеймить тебя как обманщика. Невинность твоя не послужит тебе ни к чему: я смеюсь над столь жалкой защитой. Это говорю тебе я! Ты можешь верить моим словам.

— Да разве ты не знаешь, жалкий негодяй, — прибавил он вдруг, переменяя тон и в бешенстве топая ногами, — что я поклялся сберечь свое доброе имя, чего бы это ни стоило, что для меня оно дороже всего мира и всех его обитателей вместе взятых? И ты вообразил, что мо-

жешь повредить ему? Вон отсюда, мерзавец, гадина! Прекрати бороться с силой, которой тебе не одолеть!

Это как раз та часть моей истории, которую я вспоминаю с наименьшим удовлетворением. Почему я еще раз позволил Фокленду с его властной манерой держать себя совершенно лишить меня самообладания и не мог произнести ни слова? Впоследствии читателю представлено будет много случаев, из которых выяснится, что я обнаружил достаточно изобретательности в достижении цели и силы духа в попытках оправдать себя. В конце концов преследования закалили мой характер и научили меня быть настоящим мужчиной. Но на этот раз я оказался перешителным, запуганным, пристыженным.

Речь, которую я выслушал, была внушена бешеной злобой и вызвала такую же бешеную злобу во мне. Она заставила меня решиться именно на тот поступок, от которого меня так торжественно предостерегали: бежать из дома своего покровителя. Я не мог вступать с ним в переговоры; я не мог больше терпеть гнусное ярмо, которое он одел на меня. Напрасно рассудок мой предостерегал меня против поспешности этой меры, которую мне приходилось принимать без необходимых к тому приготовлений. Я был в таком состоянии, когда разум не имел более власти надо мною. Я чувствовал себя так, что мог хладнокровно взвешивать разные доводы, понимать, что в их пользу говорит осторожность и здравый смысл, и все-таки отвергал их, потому что мною руководил более могущественный советчик.

Я не медлил с выполнением того, что задумал так быстро, и решил, что мое бегство должно состояться в течение этих же суток. Даже в столь короткий срок у меня было, пожалуй, достаточно времени, чтобы все взвесить как следует. Однако все благоприятные возможности мною пренебрегались; я принял решение, и каждая лишняя минута только усиливала невыразимое нетерпение, с которым я мечтал о бегстве. Жизнь нашего дома шла в строго заведенном порядке. Я назначил час ночи для осуществления своего предприятия.

Уже раньше, осматривая комнату, в которой я спал, я обнаружил в ней потайную дверь, которая вела в маленькое, совершенно скрытое помещение, какие нередко встречаются в домах столь же старых, как и тот, который принадлежал Фокленду. Когда-то оно, по всей вероятно-

сти, служило убежищем на случай жестоких нападений неприятеля в древние варварские времена. Я думал, что об этом укромном месте не знает никто, кроме меня. У меня явилось безотчетное желание перенести туда все вещи, составляющие мою личную собственность. Я не мог взять их с собой сейчас, но если бы даже мне не пришлось никогда за ними вернуться, меня утешало бы сознание, что после моего ухода из этого дома не будет найдено никаких следов моего пребывания в нем. Закончив переноску вещей и выждав назначенный час, я, радуясь, потихоньку вышел из своей комнаты со светильником в руке. Я прошел по коридору, который вел к небольшой двери в сад, потом — по саду к воротам, отделявшим аллею вязов от расположенной по другую сторону дорожки для верховой езды.

Я едва верил своему счастью, видя, сколько успел в своем предприятии, не встретив никакой помехи. Страшные картины, представлявшиеся моему воображению под влиянием угроз мистера Фокленда, заставляли меня ожидать, что меня могут остановить на каждом шагу, хотя тревожное состояние и побуждало меня идти вперед с отчаянной решимостью. Но мистер Фокленд, по-видимому, слишком уверенно рассчитывал на силу своих властных внушений и не считал нужным принять никаких предосторожностей против рокового события. Что же касается меня, то легкость, с которой успех дался мне вначале, показалась мне благим предзнаменованием для окончательного завершения моего предприятия.

ГЛАВА IX

Первое, что мне пришло в голову, было дойти до ближайшей проезжей дороги и сесть в первую почтовую карету, направляющуюся в Лондон. Там, думалось мне, я буду в большей безопасности, если мстительность мистера Фокленда побудит его преследовать меня. Притом я не сомневался, что при многочисленных возможностях, имеющихся в столице, я смогу устроиться и найти какую-нибудь работу, отвечающую моим склонностям и трудолюбию. Строя эти планы, я смотрел на мистера Форстера как на последнее средство, к которому мне следует при-

бегнуть только в том случае, если понадобится немедленная защита от руки властного гонителя. Мне недоставало жизненного опыта, который только и делает нас находчивыми или по крайней мере способными произвести правильный выбор из представляющихся возможностей. Я напоминал загипнотизированного взглядом зверя, который охвачен сильнейшим страхом и в то же время не способен избежать опасности.

Выработав план действий, я с легким сердцем отправился в путь по едва заметной тропинке, которой мне нужно было держаться. Ночь была темная; моросил дождь. Но я не замечал этого. В душе у меня светило солнце, и все было полно радости. Я едва касался земли. Тысячу раз я повторял себе: «Я свободен! Что мне теперь зге страхи и опасности! Я чувствую, что свободен, что буду свободен и впредь. Какая сила способна удержать в цепях пылкий и решительный дух? Какая сила может привести к смерти человека, вся душа которого велит ему продолжать жить?» С отвращением оглядывался я назад, на подчинение, в котором меня держали. У меня не было ненависти к виновнику моих несчастий, — это обвинение должно быть снято с меня во имя правды и справедливости. Я скорее сожалел о тяжелой участи, которая, по-видимому, стала его уделом. Но я с невыразимым отвращением думал о тех заблуждениях, вследствие которых каждый человек обречен быть в той или иной степени либо тираном, либо рабом. Я изумлялся безумию себе подобных; почему не встанут они все как один и не стряхнут с себя столь позорные цепи, не покончат раз навсегда со столь невыносимыми бедствиями? Что касается меня, то я решил — и это решение никогда не было окончательно мной забыто — считать себя совершенно свободным от этих ненавистных действий и никогда не играть роли ни угнетателя, ни жертвы.

В течение всего моего ночного путешествия дух мой пребывал в состоянии восторга и самонадеянности; страх был доступен мне лишь в той мере, которая скорей поддерживает приятное волнение, чем порождает тоску и скорбь. После трехчасовой ходьбы я без приключений добрался до деревни, из которой рассчитывал отправиться в Лондон. В этот ранний час все было тихо кругом; ни один звук, который мог бы выдать присутствие человека, не достигал моего слуха. Мне с трудом удалось проникнуть

во двор гостиницы, где я нашел только конюха, при-
сматривавшего за лошадьми. От него я узнал неприят-
ную новость, что почтовую карету ждут только через день,
в шесть часов утра, так как она проезжает через эту де-
ревню всего три раза в неделю.

Это сообщение нанесло первый удар тому восторжен-
но-опьяненному состоянию моего духа, которое владело
мною с того мгновения, как я покинул дом мистера Фок-
ленда. Все мои средства наличными деньгами составляли
около одиннадцати гиней. У меня было еще пятьдесят
с лишним гиней, доставшихся мне от продажи имущества
после смерти отца. Но они были помещены таким обра-
зом, что я лишен был возможности воспользоваться ими
немедленно. Я даже колебался, не лучше ли будет в
конце концов совсем отказаться от них. Заявляя на них
притязания, я рисковал дать путеводную нить для того,
чего я боялся более всего, — для преследований мистера
Фокленда. Ничего не желал я столь пламенно, как того,
чтобы навсегда порвать с ним всякую связь, чтобы он за-
был, что существует на свете такой человек, как я, и что-
бы никогда больше не довелось мне слышать имя че-
ловека, погубившего мой покой.

При таких обстоятельствах я решил, что бережли-
вость — предмет, заслуживающий с моей стороны всяче-
ского внимания, тем более что я не мог предугадать, ка-
кие задержки и разочарования встретит исполнение моих
желаний после моего прибытия в Лондон. Как по этому,
так и по другим соображениям я решил твердо дер-
жаться своего первоначального намерения — ехать в поч-
товой карете. Оставалось только обсудить, каким обра-
зом воспрепятствовать тому, чтобы чреватые событиями
двадцать четыре часа отсрочки не оказались в силу ка-
кого-нибудь досадного происшествия источником новых
бед для меня. Было бы совсем неблагоприятно оставаться
в этом селении, равно как и следовать дальше пешком
по большой дороге. Я решил поэтому сделать обход; сна-
чала пойти в направлении, совершенно противоположном
намеченному пути, а потом, после крутого поворота,
выйти к небольшому городу, на двенадцать миль ближе
к столице.

Установив такой распорядок дня и убедив себя, что
это — лучшее, что я мог предпринять при данных обстоя-
тельствах, я почти совсем отогнал от себя всякие страхи

и весело отдался удовольствиям путешествия. Я то отдыхал, то снова пускался в путь, повинаясь собственному желанию. Иногда я усаживался на пригорке, погружаясь в созерцание, а иногда принимался внимательно рассматривать пейзажи, открывавшиеся передо мною один за другим. Утренний туман рассеялся, и наступил прекрасный, ясный день. С беспечною, свойственной юности, я позабыл все тревоги, которые беспрестанно угнетали меня, и весь погрузился в мечты о грядущих переменах и удачах в моей жизни. Никогда еще, с тех пор как я существую, не провел я ни одного дня, полного столь разнообразных и более приятных удовольствий. Он являл собою сильный и, быть может, небесполезный контраст тем ужасам, которые ему предшествовали, и тем страшным сценам, которые ждали меня впереди.

К вечеру я пришел в намеченное место и справился о гостинице, возле которой обычно останавливается почтовая карета. Однако уже перед этим одно обстоятельство привлекло мое внимание и зародило во мне тревогу.

На расстоянии полумили от города я, несмотря на наступившую уже темноту, заметил человека, ехавшего верхом в противоположную сторону. Во всем его облике, когда он поравнялся со мной, было что-то испытующее, что мне не понравилось; насколько я мог разглядеть его, я должен был признать, что вид у него подозрительный. Не прошло и двух минут после нашей встречи, как я услышал за собой топот коня. Это обстоятельство произвело на меня неприятное впечатление. Сначала я ускорил шаг, но так как это, по-видимому, не достигало цели, я приостановился, чтобы пропустить всадника. Он тоже остановился, и, когда я взглянул на него, мне показалось, что я узнаю в нем встретившегося мне человека. Тут он пустил лошадь рысью и въехал в город. Я последовал за ним и скоро увидел его в дверях трактира, с кружкой пива в руке. Темнота помешала мне заметить его издали, и я чуть не наткнулся на него. Я прошел мимо и потерял его из виду, но во дворе гостиницы, где я собирался провести ночь, тот же человек вдруг подъехал ко мне и спросил, не зовут ли меня Уильямс.

Это происшествие, по мере того как события разворачивались своим чередом, рассеяло мою жизнерадостность и наполнило меня страхом. Впрочем, предчувствия

показались мне неосновательными. Если бы меня преследовали, то, уж конечно, за это можно было поручиться, это делал бы кто-нибудь из людей мистера Фокленда, а не посторонний человек. Темнота мешала мне принять некоторые меры предосторожности. Я решил, во всяком случае, зайти в гостиницу и навести необходимые справки.

Не успел я, входя во двор, услышать топот коня и затем вопрос, заданный мне верховым, как страшная уверенность, что произошло то, чего я боялся, немедленно охватила меня. Все, что было связано с моим прошлым ненавистным положением, вызывало во мне сильную тревогу. Моим первым побуждением было броситься в поля и доверить спасение быстроте своих ног. Но это едва ли было возможно; с другой стороны, я заметил, что враг мой один, и подумал, что сумею справиться с ним при помощи упорства и решительности или тонкой изобретательности.

Приняв такое решение, я отвечал запальчивым и резким тоном, что я именно тот человек, за которого меня принимают, и добавил:

— Я догадываюсь, чего вы хотите, но это напрасно. Вы приехали, чтобы отвезти меня обратно в усадьбу Фокленда, но нет силы, которая могла бы когда-нибудь притащить меня туда живым. Я пришел к такому решению не без серьезных оснований, и весь свет не убедит меня отказаться от него. Я англичанин, а право англичанина — быть единственным судьей и хозяином своих поступков.

— Ну и торопитесь же вы разгадать мои намерения и сообщить свои! — возразил незнакомец. — Но вы угадали. И, пожалуй, вам бы следовало быть благодарным, что я приехал не с чем-нибудь худшим. Да, сквайр ждет вас, это верно, но у меня есть письмо, и думается, что когда вы его прочтете, то немного умерите свое упрямство. А если и это не поможет, тогда видно будет, что делать.

С этими словами он протянул мне письмо, как оказалось, от мистера Форстера, который, по словам незнакомца, при его отъезде был в доме мистера Фокленда. Я прошел в одну из комнат гостиницы, чтобы прочесть письмо, и податель его последовал за мной.

Письмо гласило следующее:

Брат мой Фокленд отправляет подателя сего за тобой в погоню. Он рассчитывает, что, если посланный найдет тебя, ты вернешься вместе с ним. Я тоже на это рассчитываю. Это будет иметь важнейшие последствия для твоей чести и репутации. Если ты негодяй и мерзавец, то, прочтя эти строки, ты, может быть, попытаешься бежать. Если же твоя совесть говорит тебе, что ты невиновен, ты, без всякого сомнения, вернешься. Да и же мне возможность проверить, не был ли я обманут тобой и не позволил ли я, подкупленный твоим притворным чистосердечием, обратить себя в орудие ловкого мошенника. Если ты вернешься, я ручаюсь тебе, что, восстановив свою репутацию, ты не только сможешь свободно уехать куда тебе вздумается, но и получишь помощь, какую я в силах буду тебе оказать. Помни, что ни к чему другому я тебя не призываю.

Валентин Форстер.

Что это было за письмо! Для человека моего душевного склада, пылающего любовью к добродетели, такое обращение обладало достаточной силой, чтобы перенести его с одного конца земли на другой. Дух мой был исполнен энергии и доверчивости. Я сознавал свою невинность и решил ее доказать. Я добровольно стал беглецом. Я даже радовался своему бегству и весело пускался в свет, лишенный всякого обеспечения и полагаясь в будущем только на собственную изобретательность.

«Да, ты можешь это сделать, Фокленд! — говорил я себе. — Распоряжайся мной по своему усмотрению там, где дело идет о благах фортуны, но тебе никогда не удастся купить мою свободу или запятнать чистоту моего имени». Я мысленно перебирал все памятные случаи, происшедшие со мной в его доме. Кроме дела с таинственным сундуком, я не мог припомнить ничего такого, из чего можно было бы извлечь хоть тень обвинения в преступлении. В этом случае поведение мое заслуживало порицания, и я никогда не вспоминал его без раскаяния. Но я не думал, чтобы это был один из тех поступков, которые можно подвести под уголовную ответственность. Еще труднее было мне убедить себя, что мистер Фокленд, который трепетал перед возможностью быть разоб-

лаченным и считал себя в полной моей власти, осмелится затронуть предмет, столь тесно связанный с его тайным душевным страданием. Словом, чем больше я раздумывал над содержанием записки мистера Форстера, тем меньше мог вообразить себе те сцены, которым она должна была служить прологом.

Как бы то ни было, непроницаемость тайны, которая в ней заключалась, была не в силах лишить меня мужества. Я духовно переродился. Раньше, когда я видел в Фокленде моего тайного домашнего врага, я чувствовал робость и смущение; теперь же обстоятельства совершенно изменились. «Встречай меня открытым обвинением, — думал я. — Если нам суждено сразиться, сразимся при свете дня. И тогда, сколь бы несходны ни были наши силы, я тебя не испугаюсь». Не было во всем мире двух вещей, на мой взгляд более противоположных, чем невиновность и преступность. Я не допускал мысли, что первая может быть смешана со второй, разве только если невинный человек позволит победить себя, прежде чем у него отнимут доброе имя. Добродетель, торжествующая над всякой невзгодой, разбивающая при помощи одного только неприкрашенного рассказа все козни порока и приводящая своего противника в смущение, — таковы были излюбленнейшие мечтания моей юности. Я твердо решил никогда не стать орудием гибели мистера Фокленда, но не менее тверд был и в решении добиться справедливости для самого себя.

О следствиях моей доверчивости и надежд я буду иметь случай рассказать тотчас же. Так, в самом великодушном и чуждом всяким сомнениям состоянии духа, я бросился навстречу неизбежной гибели.

— Друг мой, — сказал я после довольно длительного молчания подателю письма, — вы правы. Вы привезли мне действительно необычайное письмо. Оно достигло своей цели. Я, конечно, сейчас же вернусь с вами, будь что будет. Никто не сможет обвинить меня ни в чем, пока я в силах себя оправдать.

Ввиду обстоятельств, в которые меня поставило письмо мистера Форстера, я возвращался не только охотно, но и поспешно, сгорая нетерпением. Мы достали вторую лошадь и молча пустились в путь. Я пытался найти объяснение письму мистера Форстера. Я знал, с какой непреклонностью и жестокостью мистер Фокленд

преследует намеченные им цели, но знал также, что характер его не чужд был началам добродетели и великодушия.

Когда мы прибыли, было уже за полночь, и нам пришлось разбудить одного из слуг, чтобы он впустил нас. Я узнал, что мистер Форстер, посылая за мной, предусматривал возможность моего приезда ночью; поэтому он велел передать мне, чтобы я сейчас же ложился спать и позаботился, чтобы не быть усталым и измученным во время предстоявшего на следующий день разбирательства дела. Я хотел последовать его совету, но сон мой был беспокоен и не освежил меня. Впрочем, мужество не оставляло меня; странность моего положения, мои догадки относительно настоящего, мои опасения за будущее — все это не давало мне погрузиться в состояние бездействия и успокоения.

На следующее утро первым, кого я увидел, был мистер Форстер. Он сказал мне, что до сих пор не знает, что приписывает мне Фокленд, так как тот отказался его слушать. Он приехал в дом брата, как это было условлено между ними накануне, чтобы закончить некоторые неотложные дела, и намеревался тотчас же уехать обратно, зная, что такое поведение будет мистеру Фокленду всего приятнее. Но не успел он приехать, как увидел, что весь дом находится в смятении: за несколько часов перед этим была поднята тревога по поводу моего бегства. Мистер Фокленд разослал слуг во все стороны в погоню за мной, и слуга, посланный в соседний городок, вернулся с сообщением, что человек, отвечающий данному ему описанию, был там очень рано утром и справлялся о почтовой карете на Лондон.

Мистер Фокленд был чрезвычайно обеспокоен этими сведениями и громко и желчно обвинял меня как неблагодарного и бессердечного негодяя.

Мистер Форстер возразил:

— Надо лучше владеть собой, сэр! Негодяй — это серьезное обвинение, с ним нельзя шутить. Англичане — свободный народ, и нельзя никого обзывать негодяем только за то, что он променял один источник существования на другой.

Мистер Фокленд покачал головой и с тонкой улыбкой сказал:

— Брат, брат! Вы позволили ему провести вас! Я всегда смотрел на него с подозрением и догадывался о его испорченности. Но я только что обнаружил...

— Остановитесь, сэр! — перебил его мистер Форстер. — Признаюсь, я подумал, что в минуту гнева вы, может быть, необдуманно употребили резкие эпитеты; но если у вас есть серьезное обвинение, мы не должны слышать о нем, пока не станет известно, сможет ли вас выслушать этот юноша. Сам я равнодушен к доброму мнению других людей. Свет так беспечно дарит и отнимает его, что я не могу с ним считаться. Но это не дает мне права с легким сердцем дурно судить о других. Я держусь того мнения, что самое небольшое снисхождение, которое я могу сделать обвиняемому, — это выслушать то, что он имеет сказать в свою защиту. Мудро установлено, что судья является в суд, не будучи осведомлен об обстоятельствах дела, которое ему предстоит разбирать. Этого правила я также намерен держаться как частное лицо. Я всегда буду считать правильным строгое обращение с виновным, но строгости, которую я применю впоследствии, должны предшествовать беспристрастие и осторожность.

Передавая мне эти подробности, мистер Форстер заметил, что я несколько раз порывался перебить его восклицаниями, но он не дал мне говорить.

— Нет, — сказал он, — я не хотел знать, в чем мистер Фокленд обвиняет тебя, не стану слушать и твою защиту. Сейчас я буду говорить, а не слушать, для этого я и пришел. Я счел правильным предупредить тебя об опасности, но больше мне пока нечего делать. Прибереги то, что имеешь сказать, для более подходящего времени. Приведи лучший рассказ, какой ты способен сочинить в свою пользу, — правдивый, если, как я думаю, правда может помочь тебе, а если нет — самый правдоподобный и искусный, какой только можешь придумать! Вот чего требует самозащита от каждого человека, когда он, как это всегда бывает на суде, имеет против себя весь мир и должен сразиться с ним один. Прощай, и да пошлет тебе господь счастливое освобождение! Если обвинение, выдвигаемое мистером Фоклендом, в чем бы оно ни заключалось, окажется неосновательным, можешь положиться на меня; я больше прежнего буду твоим ревностным другом. В противном случае — это последняя дружеская услуга, которую я тебе оказываю!

Легко себе представить, что эта речь, столь странная, столь торжественная, столь переполненная условными угрозами, не слишком способствовала моему успокоению. Я не мог себе представить, какое обвинение выдвигается против меня, и испытывал немалое удивление, зная, что от меня зависит выступить в качестве грозного обвинителя против мистера Фокленда. Между тем я видел, что все начала справедливости ставятся вверх ногами, что невинный, но осведомленный человек оказывается обвиняемым и страдает, вместо того чтобы держать подлинного преступника в своих руках. Еще больше был я поражен той сверхчеловеческой силой, которой, казалось, обладал мистер Фокленд, чтобы держать предмет своих преследований в пределах своей власти. Это размышление несколько ослабляло пылкость и смелость, всецело владевшие тогда моею душой.

Но размышлять теперь было не время. Человеку гонимому кажется, что у него отнята возможность направлять события; неудержимая сила влечет его вперед, и все его старания не остановят этого бега. Мне дано было только короткое время, чтобы собраться с духом, — и суд начался. Меня отвели в библиотеку, где я провел столько счастливых часов; я увидел там мистера Форстера и трех-четырех наших слуг, уже собравшихся в ожидании меня и моего обвинителя. Все было рассчитано таким образом, чтобы навести меня на мысль, что я должен возлагать надежду только на справедливость участвующих, а отнюдь не на их снисходительность. Мистер Фокленд вошел в одну дверь почти в то же самое время, как я входил в другую.

ГЛАВА X

Он начал так:

— Правилом моей жизни было никогда не причинять умышленного вреда ни одному живому существу. Мне незачем выражать сожаление, что я оказываюсь вынужденным публично выдвинуть обвинение в преступлении. Я с радостью умолчал бы о зле, мне причиненном. Но мой долг перед обществом — открыть преступника и воспрепятствовать другим обмануться притворной честностью, как был обманут я.

— Было бы лучше, если бы вы подошли прямо к делу, — перебил мистер Форстер. — Не следует в такую минуту создавать предубеждение против лица, которое самым обвинением в преступлении уже достаточно опорочено.

— Я сильно подозреваю, — продолжал мистер Фокленд, — что этот молодой человек, который пользовался особенно ласковым отношением с моей стороны, ограбил меня на значительную сумму.

— На чем основываются ваши подозрения? — спросил мистер Форстер.

— Во-первых, на том, что у меня пропали банкноты, драгоценности и серебро. У меня украдены банкноты на девятьсот фунтов стерлингов, трое ценных золотых часов с репетиром, полный алмазный убор — собственность моей покойной матери — и несколько других вещей.

— А почему вы остановились на этом молодом человеке как на предполагаемом виновнике грабежа? — продолжал мой судья, причем удивление, огорчение и желание сохранить самообладание явно боролись в нем, отражаясь на его лице и в голосе.

— Вернувшись к себе в тот день, когда все в доме было в беспорядке из-за пожара, я застал его выходящим как раз из той тайной комнаты, где хранились эти вещи. Увидев меня, он смутился и поспешил удалиться.

— И вы ничего не сказали ему, не отметили то смущение, в которое привело его ваше неожиданное появление?

— Я спросил, что ему здесь нужно. Сначала он был так испуган и подавлен, что не мог ответить. Потом, сильно запинаясь, он сказал, что, когда все слуги занялись спасением наиболее ценных вещей из моего имущества, он пришел сюда с той же целью, но пока ничего еще не тронул.

— Произвели ли вы немедленно осмотр, чтобы убедиться, что все у вас в целости?

— Нет. Я привык полагаться на его честность, и, кроме того, меня внезапно вызвали отсюда, чтобы я принял меры против все усиливавшегося огня. Поэтому я только запер эту комнату, вынул ключ из двери, положил его в карман и поспешил туда, где, по-видимому, было необходимо мое присутствие.

— Сколько времени прошло до того, как вы обнаружили пропажу своего имущества?

— Это было в тот же вечер. В суматохе, вызванной пожаром, я совсем выбросил из головы это обстоятельство, пока, случайно проходя мимо помещения, я вдруг не вспомнил все происшедшее, включая сюда и странное, двусмысленное поведение Уильямса. Я сейчас же вошел в комнату, осмотрел сундук, в котором хранились эти вещи, и, к моему удивлению, обнаружил, что замок взломан, а вещи исчезли.

— Какие шаги предприняли вы после этого открытия?

— Я послал за Уильямсом и очень серьезно говорил с ним на этот счет. Но он уже отлично овладел собой и стал спокойно и решительно утверждать, что ничего не знает о краже. Я указывал ему на чудовищность преступления, но это не произвело на него впечатления. Он не обнаружил ни удивления, ни негодования, которых можно было бы ожидать от человека совершенно невинного, ни беспокойства, которое обычно сопровождает вину. Он был скорее молчалив и сдержан. Тогда я сообщил ему, что намерен поступить совершенно иначе, чем он, может быть, ожидает. Я не стану производить общий обыск, как это часто делается, потому что предпочитаю лучше безвозвратно потерять свое имущество, чем подвергать невинных людей боязни и несправедливости. Я сказал ему также, что в настоящее время мои подозрения падают исключительно на него, но что в столь важном деле я решил действовать не по одному лишь подозрению. Я не хочу ни рисковать возможностью погубить его, если он невиновен, ни делать других жертвами совершенного им преступления, если он действительно виновен. Поэтому я настаиваю лишь на том, чтобы он продолжал служить у меня. Он может быть уверен, что за ним будут бдительно следить, и я надеюсь, что правда в конце концов выяснится. Так как теперь он уклоняется от признания, я советую ему подумать, долго ли ему удастся оставаться безнаказанным. Однако я решил твердо, что первую его попытку бежать я буду рассматривать как доказательство его вины и поступлю соответственно этому.

— Что произошло с того времени по сегодняшний день?

— Ничего такого, что с несомненностью доказывало бы его вину, и кое-что такое, что усиливает подозрение. С того времени Уильямс постоянно тяготился своим положением, постоянно желал — как это ясно теперь — бежать, но боялся выполнить свое намерение, не приняв некоторых мер предосторожности. Вскоре после этого вы, мистер Форстер, стали моим гостем. Я с огорчением наблюдал возрастающую близость ваших с ним отношений, размышляя о его двуличном характере и предвидя, что он, вероятно, постарается обмануть вас своим притворством. Ввиду этого я обошелся с ним сурово, и вы, вероятно, заметили перемену, которая вслед за этим произошла в его отношении к вам.

— Заметил. И в то время это показалось мне таинственным и странным.

— Немного погодя, как вы, наверное, помните, состоялась ваша встреча с ним — с его стороны случайная или намеренная, сказать не берусь, — когда он признался вам в своем тревожном состоянии и прямо просил вас помочь ему в бегстве, встав, в случае надобности, между ним и моим гневом. Как выяснилось, вы предложили ему взять его к себе на службу, но он заявил, что его целям не отвечает ни одно предложение, которое не обеспечивает ему убежища, для меня недостижимого.

— Вам не казалось странным, что он рассчитывал на какую-то существенную поддержку с моей стороны, между тем как вы всегда могли осведомить меня о том, что он ее недостоин?

— Может быть, у него была надежда, что я не сделаю этого, по крайней мере до тех пор, пока его местопребывание останется мне неизвестным и вследствие моих продолжающихся сомнений. Может быть, он рассчитывал на свою способность — нельзя не отдать ей справедливости — сочинять правдоподобные истории, в особенности после того, как я заметил, что первое произведенное им впечатление говорило в его пользу. Впрочем, ваше покровительство приберегалось только на случай, если бы все другие способы оказались неудачными. У него, по-видимому, не было на этот счет иных соображений, кроме тех, что лучше заручиться вашим покровительством, чем остаться совершенно без всякой помощи, в случае если бы все усилия уйти от руки закона потерпели крушение.

Закончив таким образом свои показания, мистер Фок-

ленд сослался на Роберта — лакея, который должен был подтвердить ту часть их, которая относилась ко дню пожара.

Роберт удостоверил, что в тот день, через несколько минут после того, как, увидев пожар, Фокленд вернулся домой, он, Роберт, случайно проходя через библиотеку, застал меня там, со всеми признаками волнения и испуга; он невольно обратил на это внимание, заговаривал со мной два или три раза, прежде чем получил ответ, и единственное, чего мог добиться, — это заявления, что я самое несчастное существо из всех живущих на свете.

Далее он рассказал, что вечером того же дня мистер Фокленд позвал его в скрытое помещение, примыкающее к библиотеке, и велел ему принести молоток и несколько гвоздей. Потом мистер Фокленд показал ему стоявший в этом помещении сундук со сломанными замками и запорами и приказал ему осмотреть этот сундук и запомнить все, что он видит, но никому ничего об этом не говорить. В то время Роберт не понял, что имеет в виду мистер Фокленд, отдавая это распоряжение с необычайно торжественным и многозначительным видом, но у него нет ни малейшего сомнения, что запоры были взломаны и сорваны при помощи долота или какого-нибудь другого инструмента, с намерением открыть сундук.

После этого показания мистер Форстер заметил, что та его часть, которая относится ко дню пожара, действительно дает большие основания для подозрения, что события, имевшие место после того времени, странным образом содействуют укреплению этого подозрения. Однако он спросил, — чтобы не упустить ничего существенно-го, — не взял ли я с собой свои вещи при побеге и нельзя ли с их помощью обнаружить какие-либо следы, которые подтвердили бы мою вину? Мистер Фокленд отнесся к этому совету пренебрежительно, сказав, что если я вор, то я, конечно, принял меры предосторожности, устранив столь очевидные следы, на основании которых мог бы быть разоблачен. На это мистер Форстер возразил только, что догадки, даже самые остроумные, не всегда оправдываются поступками и поведением людей, и велел принести в библиотеку мои ящики и мешки. Я с удовольствием услышал это предложение. При всем своем смущении, вызванном доказательствами, которые нагромождались против меня, я надеялся, что это придаст делу

новый оборот. Я поспешил назвать место, где было сложено мое имущество, и слуги, руководясь моими указаниями, скоро доставили требуемое.

Два ящика, которые были раскрыты сначала, не заключали в себе ничего, что подтверждало бы выдвинутое против меня обвинение. В третьем были найдены часы и несколько драгоценностей, которые были тотчас же признаны собственностью мистера Фокленда. Появление этих явных улик вызвало у присутствующих изумление и беспокойство. Но никто, кажется, не был изумлен более, чем мистер Фокленд. То, что я, уходя, оставил краденое добро, само по себе не могло не показаться невероятным; однако удивление уменьшилось, когда выяснилось, какое надежное потайное место нашел я для своих вещей. Как заметил мистер Форстер, не лишено было вероятности, что мне представлялось более легким вступить в обладание этими вещами позднее, чем захватить их с собой во время моего поспешного бегства.

Но тут я решил, что нужно вмешаться. Я стал горячо настаивать на своем праве требовать справедливости и беспристрастия. Я спросил мистера Форстера, правдоподобно ли то, что я, украв эти вещи, не позаботился унести их с собой? И мало того, — если бы я знал, что они будут обнаружены в моем имуществе, разве указал бы я сам то место, где они были скрыты?

Сомнение в беспристрастии мистера Форстера, которое я позволил себе высказать, покрыло на мгновение краской гнева все его лицо.

— Беспристрастия, молодой человек? Будь спокоен, ты увидишь с моей стороны беспристрастное отношение к тебе. Дай бог, чтобы оно отвечало твоим целям! Сейчас мы выслушаем полностью все то, что ты имеешь сказать в свою защиту.

Ты надеешься убедить нас в своей невинности на том основании, что ты не унес этих вещей с собой. Не так ли, сударь? Но мы не можем отвечать за непоследовательность и оплошность каждого человеческого ума, тем более если он должен был быть подавлен сознанием вины.

Ты обращаешь внимание на то, что эти ящики и мешки найдены по твоему собственному указанию? Действительно, это очень странно. Это даже говорит о чем-то вроде затмения ума. Но зачем обращаться нам к предположениям и догадкам перед лицом неопровер-

жимых фактов? Вот твои вещи, сударь. Ты один знал, где надо их искать, ты один располагал ключами от них. Скажи же нам, как попали туда эти часы и драгоценности?

Я молчал. Для всех присутствующих я был только человеком, над которым производится следствие. На самом же деле не было зрителя, который больше меня недоумевал бы при каждой новой сцене и прислушивался бы к каждому произнесенному слову с более неподдельным изумлением. Однако изумление поочередно уступало место то негодованию, то ужасу. Сначала я не мог удержаться от попыток перебивать говорящих, но мистер Форстер останавливал эти попытки. И тогда я понял, сколь необходимо для будущего моего спокойствия сосредоточить всю силу моего ума на том, чтобы отразить обвинение и доказать свою невиновность.

Когда против меня предъявлено было все, что только можно было предъявить, мистер Форстер взглянул на меня с огорчением и жалостью и объявил, что теперь пора мне сказать, что я найду нужным, в свое оправдание. В ответ на это приглашение я сказал приблизительно следующее:

— Я невиновен. По-видимому, обстоятельства напрасно говорят против меня. Нет на земле человека, менее способного на то, в чем меня обвиняют. Я призываю в свидетели свое сердце... свое лицо... все чувства, которые когда-либо выразил мой язык.

Я мог заметить, что страстность, с которой я говорил это, производит известное впечатление на всех слушателей. Но тут же глаза их обращались к разложенным перед ними предметам, и выражение лиц менялось. Я продолжал:

— Я утверждаю еще одно: мистер Фокленд не введен в заблуждение, он отлично знает, что я невиновен.

Не успел я произнести эти слова, как невольный крик негодования вырвался у всех бывших в комнате. Мистер Форстер остановил на мне чрезвычайно строгий взгляд и сказал:

— Молодой человек, подумай хорошенько, что ты делаешь! Право обвиняемой стороны — говорить все, что она считает нужным, и я беру на себя заботу о том, чтобы ты мог воспользоваться этим правом до последней возможности. Но неужели ты думаешь, что тебе послужит

хоть сколько-нибудь на пользу, если ты будешь бросать такие дерзкие и недопустимые намеки?

— Искренне благодарю вас за ваше предостережение, — ответил я, — но я хорошо знаю, что делаю. Я сделал это заявление не только потому, что оно — святая истина, но и потому, что оно неразрывно связано с моим оправданием. Я обвиняемая сторона, и моей собственной защите не поверят. Поэтому я призываю мистера Фокленда быть моим свидетелем. Я спрашиваю его: разве вы никогда не говорили наедине со мной, что в вашей власти погубить меня? Разве вы никогда не заявляли, что стоит мне навлечь на себя тяжесть вашего гнева, и падение мое будет непоправимо? Разве вы не говорили мне, что, какую бы правдоподобную или правдивую историю я ни приготовил на этот случай, весь мир станет клеймить меня как обманщика? Разве это не были ваши собственные слова? Разве вы не добавляли, что самозащита мне не поможет? Далее, я спрашиваю вас: разве вы не получили утром, в тот день, когда я ушел, письма от меня, в котором я просил вашего согласия на то, чтобы я оставил ваш дом? Неужели я сделал бы это, если бы бежал как вор? Предлагаю кому угодно согласовать смысл этого письма с теперешним обвинением! Неужели я начал бы с заявления, что желаю оставить службу, если бы источник этого желания был таков, какой мне теперь приписывается? Разве в этом случае я посмел бы спрашивать у вас, почему я обречен на вечную кару?

С этими словами я достал письмо и положил его на стол.

Мистер Фокленд помедлил с ответом на мои вопросы. Мистер Форстер обернулся к нему и сказал:

— Так, сэр, что вы возразите на этот вызов вашего слуги?

Мистер Фокленд ответил:

— Этот способ защиты едва ли требует опровержений. Но я отвечу, что никогда не вел такого разговора, никогда не употреблял таких выражений, не получал такого письма. И, уж конечно, для того, чтобы опровергнуть уголовное обвинение, недостаточно, чтобы преступник отрицал его многословными речами и с самоуверенностью.

Тогда мистер Форстер обратился ко мне:

— Если ты основываешь свое оправдание на правдоподобности своего рассказа, — сказал он, — то позаботься, чтобы этот рассказ был последователен и доведен до конца. Ты не сказал нам, что было причиной того смущения и испуга, в которых, по словам Роберта, он застал тебя, а также — почему ты так стремился оставить службу у мистера Фокленда, и, наконец, чем ты объясняешь, что некоторые предметы, ему принадлежащие, оказались в твоём владении?

— Это правда, сэр, — отвечал я. — Есть в моей истории кое-что, о чем я умолчал. Если бы я досказал до конца, это не пошло бы мне во вред, и настоящее обвинение показалось бы еще более изумительным. Но я не могу — по крайней мере сейчас — позволить себе раскрыть все. Нужно ли приводить какие-нибудь особые причины тому, что я пожелал переменить местопребывание? Вы все знаете печальное душевное состояние мистера Фокленда. Вы знаете суровость, сдержанность и холодность его обращения. Если бы у меня не было никаких других причин, неужели то, что я пожелал уйти от него к другому, может хоть отдаленно навести на подозрение в преступлении? Более существен вопрос о том, каким образом эти предметы, принадлежащие мистеру Фокленду, оказались в моих вещах. На этот вопрос я совершенно не в состоянии ответить. То, что они оказались там, так же неожиданно для меня, как и для любого здесь присутствующего. Я знаю только одно: будучи вполне уверен, что мистер Фокленд знает о моей невиновности, — ибо, заметьте, от этого утверждения я не отказываюсь, я повторяю его с новой уверенностью, — я твердо и всей душой убежден, что они попали туда по воле мистера Фокленда.

Не успел я это сказать, как меня опять прервали невольные восклицания всех присутствующих. Они смотрели на меня так гневно, словно хотели разорвать на куски. Я продолжал:

— Я ответил теперь на все, что выставлено было в доказательство против меня. Мистер Форстер, вы поборник справедливости. Заклинаю вас не нарушать ее в отношении меня. Вы человек проникательный. Взгляните на меня: видите ли вы какие-нибудь признаки виновности? Вспомните все, что происходило на ваших глазах. Можно ли это совместить со здоровым умом, способным на то,

что теперь мне приписывается? Разве настоящий преступник мог бы держать себя так уверенно, спокойно и твердо, как держу себя я?

Друзья мои, слуги! Мистер Фокленд — знатный и богатый человек. Он ваш хозяин. Я бедный деревенский парень, у которого во всем мире нет ни одного близкого человека. В этом состоит важное различие между нами, но этого недостаточно, чтобы ниспровергнуть справедливость! Подумайте о том, что положение мое не из тех, которыми шутят, что приговор, вынесенный мне сейчас, когда я торжественно уверяю вас, что я невиновен, лишит меня навсегда и доброго имени и душевного покоя, объединит против меня весь мир и, может быть, решит вопрос о моей свободе и жизни. Если вы считаете, если вы видите, если вы знаете, что я невиновен, — выскажитесь в мою пользу. Не дайте малодушной робости помешать вам спасти от гибели своего ближнего, который не заслужил, чтобы хоть одно живое существо стало ему врагом. Зачем нам дан дар речи, как не затем, чтобы выражать свои мысли? Ни за что не поверю, чтобы человек, полный сознания своей правоты, не сумел дать другим почувствовать, что он в ней уверен. Неужели вы не чувствуете, что вся моя душа кричит: я невиновен в том, в чем меня обвиняют!

Вам, мистер Фокленд, мне сказать нечего. Я знаю вас и знаю, что вы недоступны увещаниям. В ту самую минуту, когда вы выдвигаете против меня такое отвратительное обвинение, вы любуетесь моей решительностью и выдержкой. Но мне не на что надеяться с вашей стороны. Вы будете взирать на мою гибель без сострадания, без угрызений совести. Это мое несчастье, конечно, что мне приходится иметь дело с таким противником. Вы принуждаете меня говорить дурно о вас, но я обращаюсь к вашему собственному сердцу, и пусть оно скажет, есть ли в моих словах преувеличение или мстительность?

Так как этим было исчерпано все, что могло быть сказано с каждой стороны, мистер Форстер взял слово, чтобы сделать несколько общих замечаний.

— Уильямс, — сказал он, — обвинение против тебя тяжелое, прямые улики убедительны, совокупные обстоятельства многообразны и поразительны. Надо отдать тебе справедливость, ты проявил большую находчивость

в своих ответах, но, к прискорбию своему, ты убедишься, молодой человек, что, как бы находчивость ни была полезна во многих случаях, она ничто против упрямой истины. К счастью для человечества, власть талантов имеет свои пределы, а изобретательность не в силах уничтожить различие между правдой и ложью. Смею тебя уверить, что, если говорить по существу дела, против тебя свидетельствует слишком многое, чтобы все это можно было опровергнуть ложным мудрствованием. Истина восторжествует, и бессильная злоба будет побеждена.

Вам, мистер Фокленд, общество обязано тем, что вы вывели это черное дело на свет божий. Пусть злобная клевета преступника не смущает вас. Рассчитывайте на то, что она не будет иметь никакой цены. Не сомневаюсь, что в глазах всех, слышавших эту клевету, репутация ваша стоит выше, чем когда-либо. Мы сочувствуем вашему несчастью — тому, что вам приходится выслушивать подобную клевету от лица, причинившего вам столь большой ущерб. Но смотрите на себя в данном случае как на мученика за общее дело. Чистота ваших побуждений и чувств не будет запятнана злобой. Истина и справедливость покроют позором вашего клеветника, а вам доставят любовь и одобрение всех людей.

Я высказал свое мнение о твоем деле, Уильямс. Но я не могу присвоить себе право быть твоим последним судьей. Сколь ни безнадежным кажется мне твое положение, я дам тебе один совет, как это сделал бы адвокат, приглашенный тебе в помощь. Откажись от всего, что клонится к очернению мистера Фокленда! Защищайся как можешь, но не нападай на своего хозяина. Твоя задача — постараться расположить в свою пользу тех, кто слушает тебя, но встречное обвинение, которое ты здесь выдвинул, может вызвать только негодование. Нечестность допускает некоторые оправдания. Умышленная злоба, которую ты проявил теперь, гнуснее в тысячу раз. Она доказывает, что у тебя скорее душа дьявола, чем мошенника. Где бы ты ни стал повторять это, всякий объявит тебя виновным, даже при отсутствии прямых улик. Поэтому, если ты хочешь принять в соображение свои интересы, — а об этом как будто тебе только и нужно думать, — то ты обязательно должен тотчас же во что бы то ни стало признать свои ошибки.

Если ты хочешь, чтобы поверили в твою честность, ты прежде всего должен показать, что умеешь оценивать по достоинству других. Лучше всего для пользы дела попросить прощения у своего хозяина и отдать должное достоинствам и прямоте, даже когда они направлены против тебя.

Легко представить себе, как был я потрясен выводами мистера Форстера; но его призыв уступить и унизиться перед обвинителем преисполнил всю мою душу негодованием. Я ответил:

— Я уже сказал вам, что я невиновен. Если бы это было иначе, то я, кажется, не вынес бы напряжения, требующегося для того, чтобы можно было изобрести правдоподобное оправдание. Вы только что сказали, что никакая изобретательность не в силах уничтожить различие между правдой и ложью, и в то же самое мгновение я увидел, что она уничтожена. Для меня это действительно страшное мгновение. Я ничего не знаю о жизни, кроме того, что доходило до меня по слухам, или того, о чем рассказано в книгах. Я вступил в свет со всей пылкостью и доверчивостью, неразлучными с моим возрастом. В каждом ближнем я рассчитывал встретить друга. Я неопытен в жизни и незнаком с коварством и несправедливостью. Я не сделал ничего такого, что заслуживало бы злобы человечества. А между тем, если судить по тому, что тут совершается, я буду впредь лишен всех благ, которыми пользуются честность и невинность. Мне суждено потерять дружбу всех, знавших меня до сих пор, и навсегда лишиться возможности приобрести новых друзей. Отныне, значит, я должен искать удовлетворения только в самом себе. Могу вас уверить, я не начну этого поприща с бесчестных уступок. Если мне суждено отчаяться в расположении ко мне людей, я хочу по крайней мере сохранить независимость моего суждения. Мистер Фокленд — мой неумолимый враг. Каковы бы ни были его заслуги в других отношениях, по отношению ко мне он действует, не руководясь ни человеколюбием, ни совестью, ни добрыми правилами. Неужели вы думаете, что я когда-нибудь покорюсь человеку, который так обращается со мной; что я паду к ногам того, кто для меня — сам дьявол, или поцелую руку, обгавленную моей кровью?

— Тут уж поступай как знаешь, — отвечал мистер Форстер. — Признаюсь, что твоя твердость и настойчивость удивляют меня. Они кое-что прибавляют к тому представлению о способностях человека, которое у меня сложилось прежде. Может быть, ты выбрал путь, который, принимая во внимание все обстоятельства, легче всего приведет тебя к цели. Впрочем, я полагаю, что большая скромность более располагала бы к себе. Наружные признаки невинности, я с этим согласен, вызовут колебания в людях, которым придется решать твою участь, но этому впечатлению никогда не удастся одержать верх над очевидными и неоспоримыми фактами. Что же касается меня, то я покончил с тобою. В моих глазах ты — новый пример злоупотребления талантами, которыми так склонна восхищаться непроницательная толпа. Я смотрю на тебя с ужасом. Все, что мне остается сделать, — это выполнить свой долг, передав тебя, чудовище развращенности, в руки правосудия нашей страны.

— Нет, — возразил мистер Фокленд, — на это я никогда не соглашусь. До сих пор я сдерживался, потому что улики предъявлялись и справедливость требовала, чтобы расследование шло своим порядком. Я сделал усилие над всеми своими привычками и чувствами, полагая, что долг перед обществом требовал, чтобы маска лицемерия была сорвана. Но больше этого насилия я терпеть не могу. Во всю свою жизнь я переходил к действиям только для того, чтобы защищать, а не угнетать страждущего. Так должен я поступить и сейчас. У меня нет к нему ни малейшей неприязни за его бессильные нападки на меня. Их злобность вызывает у меня улыбку, и они несколько не умаляют моей благожелательности к их виновнику. Пусть он говорит что хочет — он не может причинить мне вреда. Надо было подвергнуть его публичному посрамлению, чтобы другие не оказались обманутыми им так, как были обмануты мы. Но нет необходимости идти дальше. И я настаиваю, чтобы ему было разрешено отправиться куда ему угодно. Я сожалею лишь, что интересы общества открывают такую мрачную перспективу для его будущего счастья.

— Мистер Фокленд, — возразил мистер Форстер, — эти чувства делают честь вашей гуманности. Но я не могу уступить им. Они только бросают еще более яркий свет на ядовитость этой змеи, этого чудовища неблаго-

дарности, которое сначала грабит своего благодетеля, а потом поносит его. Негодяй ты этакий, неужели ничто не может тебя тронуть? Неужели ты недоступен угрызениям совести? Разве тебя не поражает в самое сердце доброта твоего хозяина, столь тобою незаслуженная? Ты — отвратительное порождение природы, поношение рода человеческого! Лишь с твоей смертью земной шар освободится от невыносимого бремени! Вспомните, сэр, что это чудовище в ту самую минуту, когда вы проявляете такую беспримерную снисходительность к нему, имеет наглость утверждать, будто вы обвиняете его в таком преступлении, относительно которого вы знаете, что он в нем неповинен, — мало того, будто это вы поместили украденные вещи среди его имущества со специальной целью погубить его! Такая беспримерная подлость возлагает на нас обязанность освободить мир от подобной чумы, а ваши интересы требуют, чтобы вы не ослабляли своего преследования, чтобы свет не подумал, что ваше милосердие подтверждает его гнусные измышления.

— Я не забочусь о последствиях, — возразил мистер Фокленд, — я подчиняюсь велениям своей совести. Я никогда не окажу содействия преобразованию человечества при помощи топоров и виселиц. Я уверен, что вещи никогда не будут такими, какими должны быть, пока честь, а не закон станет управлять человечеством, пока порок не привыкнет склоняться перед неодолимым могуществом природного достоинства, а не перед холодной формальностью законов. Если бы клеветник был достоин моей неприязни, я бы покарал его своим собственным, а не судебным мечом. Но в данном случае его злоба вызывает у меня улыбку, и я хочу пощадить его, как благородный царь лесов щадит насекомое, осмелившееся нарушить его покой.

— Речи, которые вы теперь ведете, заимствованы из романов и неразумны, — сказал мистер Форстер. — Однако меня невольно поражает открывающийся передо мной контраст между величием добродетели и упрямой, непроницаемой закоренелостью виновности. В то время как ваша душа преисполнена добротой, ничто не может тронуть сердце этого безмерного негодяя. Я никогда не прощу себе, что позволил его отвратительным ухищре-

ниям завлечь меня в западню. Теперь не время спорить о рыцарстве и о законе. Поэтому я как судья, который установил очевидность преступления, просто буду настаивать на своем праве и своей обязанности направить дело в суд и препроводить обвиняемого в местную тюрьму.

После нескольких дальнейших возражений, видя, что мистер Форстер проявляет упорство и неподатливость, Фокленд отказался от своих слов. Затем, как полагается, из соседнего селения было вызвано соответствующее должностное лицо, составлен приказ о моем аресте и подан один из экипажей мистера Фокленда, чтобы отвезти меня к месту заключения. Легко представить себе, как мучительно ощущал я эту внезапную перемену моей судьбы. Я оглядывался на слуг, бывших свидетелями моего допроса, но ни один из них ни словом, ни движением не выразил сочувствия моему несчастью. Кража, в которой меня обвиняли, казалась им чудовищной по своим размерам, и даже те искры сострадания, которые при других условиях могли бы вспыхнуть в их простых и непросвещенных умах, были совершенно уничтожены негодованием на мою предполагаемую испорченность, позволившую мне обрушиться с упреками на их достойного и превосходного хозяина. Итак, участь моя была уже решена; одного из слуг отправили за полицейским; мистер Форстер и мистер Фокленд удалились, а я остался под надзором двух других слуг.

Один из них был сыном фермера, проживавшего неподалеку и бывшего в самых дружеских отношениях с моим покойным отцом. Мне хотелось тщательно разузнать, что думают свидетели этой сцены, имевшие благоприятные возможности прежде наблюдать за мной и моим поведением. Поэтому я попытался вступить с ним в беседу.

— Так вот, добрый мой Томас, — произнес я жалобно и несколько неуверенно, — разве я не самое несчастное существо в мире?

— Не говорите со мной, мастер Уильямс! Вы нанесли мне такой удар, что я от него не скоро оправлюсь. Вас, как говорится, высиживала наседка, а из яйца вылупилось порождение схиidны. Я радуюсь всей душой, что честный фермер Уильямс умер. А то ваша подлость

заставила бы его проклясть тот день, в который вы родились.

— Томас! Я невиновен! Клянусь всемогущим богом, который — придет срок — будет судить меня, я невиновен!

— Пожалуйста, не клянитесь! Ради бога, не клянитесь! Ваша бедная душа и без того уже достаточно огорожена грехами. Из-за вас я теперь уже никогда никому не поверю на слово, не положусь на видимость, будь это хоть сам ангел. Господи боже! Как сладко вы пели! Можно было подумать, что вы чище новорожденного младенца. Только ничего из этого не выйдет. Не удастся вам доказать людям, что черное — это белое. Что до меня — я с тобой покончил. Еще вчера я любил тебя как родного брата. А сегодня так люблю, что с радостью готов десять миль прошагать, только бы поглядеть, как тебя будут вешать!

— Боже мой, Томас! Неужели у вас нет сердца? Какая перемена! Бог свидетель, что я ничем этого не заслужил. В каком ужасном мире мы живем!

— Придержи язык, парень. Тошно слушать тебя. Ни за что на свете не провел бы я больше ночи под одной крышей с тобой. Боялся бы, что дом рухнет и раздавит такого гада! Как это земля не разверзнется и не поглотит тебя живьем! Если ты и дальше пойдешь по тому же пути, то люди, с которыми тебе придется иметь дело, разорвут тебя на части — живым ты до каторги не доберешься. Да, не мешает тебе пожалеть себя, жаба, плюющая ядом во все стороны и отравляющая своей слюной даже землю, по которой она ползает!

Видя, что человек, к которому я обращаюсь, не хочет меня слушать, и понимая, как мало я выиграл бы, если бы мне даже удалось рассеять его предубеждение, я последовал его совету и замолчал. Прошло немного времени, и все уже было готово к отъезду. Меня отвезли в тюрьму, в которой еще так недавно были заключены несчастные, ни в чем не повинные Хоукинсы. Они тоже были жертвами мистера Фокленда. Он представлял собой, — правда, в небольшом размере, но с точным соблюдением очертаний, — образец монарха, который, как все монархи, в числе орудий своей власти имел также государственные тюрьмы.

Что касается меня, я никогда не видел тюрьмы и, подобно большинству моих собратьев, мало печалился об участи людей, совершивших проступки против общества либо заподозренных в этом. О, сколь завидным покажется грозящий падением навес, под которым земледелец отдыхает от своих трудов, в сравнении с пребыванием в этих стенах!

Для меня все было ново: тяжелые двери, гремящие замки, мрачные переходы, окна с решетками, страшный вид тюремщиков, привыкших отклонять всякую просьбу и закалять свои сердца против чувствительности и жалости. Любопытство, равно как и сознание своего положения, побудило меня всмотреться в лица этих людей; но через несколько мгновений я отвратил от них взгляд, охваченный непреодолимым отвращением. Невозможно описать зловоние и грязь, которыми отличаются эти дома. Мне случалось видеть грязные лица в грязных помещениях, но они все же производили впечатление здоровых и говорили не столько о несчастье, сколько о беспечности и легкомыслии. А тюремная грязь наполняет сердце печалью и производит такое впечатление, будто она гниет и распространяет заразу.

Меня больше часа продержали в помещении смотрителя, куда один за другим приходили тюремщики ознакомиться с моей наружностью. Так как меня уже считали виновным в крупной краже, я был подвергнут тщательному обыску, и у меня отобрали перочинный ножик, ножницы и ту часть денег, которая была в золоте. Начались препирательства о том, надо или не надо опечатывать деньги, чтобы, как они говорили, вернуть их мне, если я буду оправдан. И если бы я не проявил неожиданной твердости духа и энергии в попытке разубедить их, они бы, вероятно, это и выполнили. Проделав со мной все это, меня втолкнули в дневную камеру, в которой были собраны все одиннадцать заключенных по уголовным делам. Каждый из них был слишком углублен в собственные размышления, чтобы обратить на меня внимание. Двое из них были посажены в тюрьму за конокрадство, трое — за похищение овцы, один — за кражу в лавке, один — как фальшивомонетчик, двое — за разбой на большой дороге и двое — за кражу со взломом.

Конокрады были поглощены игрой в карты, часто прерываемой расхождением в мнениях, которое сопровождалось крепкой руганью; при этом они обращались то к тому, то к другому, чтобы их рассудили, но безрезультатно: один вовсе не обращал внимания на их призывы, другой отходил от них, не дослушав их рассказа и не будучи в силах нести бремя своих страданий.

У преступников есть обычай устраивать нечто вроде шутовского судилища, решением которого каждому объявляется, будет ли он оправдан или прощен, не будет ли исполнение приговора отложено; тут же ему указывается еще самый выгодный способ защиты. Один из взломщиков, уже прошедший через это испытание и теперь с напускной молодцеватостью шагавший взад и вперед по комнате, воскликнул, обращаясь к своему товарищу, что он так же богат, как сам герцог Бедфордский. У него есть пять с половиной гиней; а больше ему в ближайший месяц никак не истратить. Ну, а что будет дальше — это уж дело Джека Кетча,* а не его. Произнеся эти слова, он вдруг бросился на стоявшую невдалеке от него скамью и заснул, казалось, в одно мгновение. Но сон его был тревожен и беспокоен, тяжелое дыхание по временам переходило в стон. Молодой парень с большим ножом в руке тихо подкрался с другого конца комнаты к тому месту, где он лежал, свесив голову со скамьи, и с такой силой прижал тупую сторону клинка к шее спящего, что тому удалось подняться только после нескольких попыток.

— Ах, Джек! — крикнул этот шутник. — Я чуть было не сделал за тебя твою работу.

Тот не обнаружил ни малейших признаков обиды и только угрюмо ответил:

— Черт бы тебя побрал! Почему не острием? Это был бы твой лучший поступок за много дней.¹

Дело одного из арестованных за разбой на большой дороге было в высшей степени необычайно. Это был простой солдат двадцати двух лет, с очень приятным лицом. Потерпевший, у которого однажды поздно вечером, когда он возвращался из трактира, отняли в общей сложности

¹ Свидетелем совершенно такого же случая был несколько лет тому назад один приятель автора при посещении Ньюгейтской тюрьмы. (Прим. автора.)

три шиллинга, положительно утверждал, что опознает его. Репутация у арестованного была на редкость безупречная. Он жадно стремился к образованию и привык находить свое любимое развлечение в произведениях Вергилия и Горация. Его скромное положение в сочетании с его увлечением литературой придавали его личности необыкновенный интерес. Он был прямодушен и прост и ничего себе не присвоил; он сумел бы при случае проявить твердость характера, но в своем обычном поведении производил впечатление безобидного и уступчивого человека, не подозревающего коварства в других, потому что сам был его совершенно лишен. Его честность была так велика, что вошла в поговорку. Одна дама как-то доверила ему сумму в тысячу фунтов для доставки человеку, находившемуся на расстоянии нескольких миль; в другой раз некий джентльмен, уезжая, нанял его присматривать за своим домом и обстановкой, стоившей по меньшей мере в пять раз больше. Обо всем он судил вполне самостоятельно и притом справедливо, просто и умно. Время от времени он зарабатывал деньги у своих начальников-офицеров благодаря своей необыкновенной сноровке в чистке оружия. Но когда ему предложили сделать его сержантом или капралом, он отклонил это, заявив, что не нуждается в деньгах и что в новом чине у него будет меньше досуга для того, чтобы учиться. Он также всячески отказывался от подарков, которые ему предлагали люди, пораженные его достоинствами, — отказывался не из ложной щепетильности или гордости, а просто потому, что не хотел брать вещи, отсутствие которых не было для него лишением. Этот человек умер, когда я был в тюрьме. Я присутствовал при его последнем вздохе.¹

Я вынужден был проводить весь день в обществе людей, среди которых иные действительно совершили преступления, в которых их обвиняли, других же злая судьба сделала жертвами подозрения. Все это представляло такую картину страданий, вообразить которую невозможно, не ознакомившись с нею вблизи. Некоторые вели себя шумно и крикливо, стараясь напускной развязностью отогнать от себя мысль о своем положе-

¹ Такую же историю можно прочесть в «Ньюгейтском календаре», * т. 1, стр. 382. (Прим. автора.)

нии, между тем как другие, неспособные даже на такое усилие, еще сильнее терзались своими мыслями, усугубленными царившими вокруг непрерывным шумом и беспорядком. На лицах тех, кто больше всего хотел казаться храбрым, можно было заметить следы тревог и забот, и в разгар их деланного веселья в мозгу их порой возникала ужасная мысль, сообщавшая каждой черте лица выражение сильнейшей муки.

Этим людям восходящее солнце не приносило радости. Проходил день за днем, а положение их оставалось неизменным. Их существование было наполнено глубокой печалью: каждое мгновение было для них мгновением страдания; и все-таки они желали продлить это мгновение, ужасаясь при мысли, что будущее может принести им еще более горькую участь. О прошлом они думали с нестерпимым сокрушением; каждый из них схотнул бы свою правую руку, лишь бы снова вернуть себе покой и свободу, столь опрометчиво ими утраченные. Мы толкуем об орудиях пытки. Англичане кичатся тем, что изгнали их из употребления на своих счастливых берегах. Увы! Тот, кто проник в тюремные тайны, хорошо знает, что в томительном прозябании преступника, в минутах невыносимого молчания, на которые он обречен, больше муки, чем в осязаемых пытках кнута и дыбы!

Так шли наши дни. С заходом солнца появлялись тюремщики; они приказывали всем расходиться и запирали каждого в его подземную темницу. Участь нашу сильно ухудшало то, что мы находились во власти полного произвола этих субъектов. Никакое горе не трогало их; из всех людей они были наименее способны на какое бы то ни было чувство. Им доставляло варварское и злобное удовольствие отдавать свои ненавистные приказания и смотреть, с каким мрачным отвращением они выполняются. Что бы они ни приказывали, возражать было бесполезно. Кандалы, хлеб и вода были следствиями сопротивления. Только их собственная прихоть могла положить предел их тирании. К чьей помощи мог прибегнуть несчастный заключенный? Зачем жаловаться, если жалоба неминуемо будет встречена с недоверием? К выдумке о бунте и вынужденных мерах предосторожности неизменно прибегают тюремщики, и эта выдумка — вечная преграда для всяких преобразований.

Наши темницы были камерами размером в семь с половиной на шесть с половиной футов, расположенными ниже земной поверхности. Сырые, без окон, без света, они были совсем лишены воздуха, если не считать того, который поступал через несколько дыр, просверленных для этого в дверях. В некоторые из этих жалких логовищ помещали на ночь по три человека.¹ Мне посчастливилось: я получил отдельное помещение. Дело шло уже к зиме. Нам не разрешалось иметь свечи, и, как я уже сказал, нас загоняли туда на закате, а выпускали только на другой день. В таких условиях мы проводили по четырнадцать — пятнадцать часов из двадцати четырех. Я и до этого не имел привычки спать больше шестисеми часов, а теперь мне хотелось спать еще меньше, чем когда бы то ни было. И вот я был обречен проводить половину суток в этой мрачной обстановке и в полнейшей темноте. Это еще более ухудшало выпавшую мне долю.

Предаваясь печальным мыслям, я задавал работу своей памяти и пересчитывал, сколько дверей, замков, засовов, цепей, толстых стен и окон с решетками отделяет меня от свободы.

«Вот орудия тирании, — думал я, — которые она упорно изобретает путем холодного и серьезного обдумывания. Так человек проявляет свою власть над человеком. Вот существо, ограниченное во всех его желаниях и оцепенелое, хотя оно было предназначено к тому, чтобы двигаться, действовать, улыбаться и радоваться. Как велика должна быть развращенность или безрассудство того, кто одобряет эту систему за то, что она заменяет здоровье, веселье и безмятежность изнурением темницы и глубокими морщинами страдания и отчаяния!»

«Слава богу, у нас нет Бастилии! — восклицает англичанин. — Слава богу, у нас человек не может быть наказан, если он не совершил преступления». Жалкий безумец! Это ли страна свободы, если тысячи томятся здесь в темницах и оковах! Ступай, ступай, невежда и глупец! Пойди, вразумись в наших тюрьмах! Посмотри, как они разрушительны для здоровья, как много в них грязи, познакомься с жестокостью их надсмотрщиков

¹ См. труд Говарда о тюрьмах. (Прим. автора.) *

и мучениями в них заключенных. И после этого укажи мне человека, достаточно бесстыдного, чтобы торжествовать, повторяя: «В Англии нет Бастилии!» Есть ли такое вздорное обвинение, на основании которого человека нельзя было бы ввергнуть в эти отвратительные места? Есть ли такая низость, к которой не прибегали бы судьи и обвинители? На это, пожалуй, возразят, что есть ведь возможность исправления ошибки. Да, возможность исправления, которая только увеличивает обиду. Где несчастному, доведенному до пределов отчаяния бедняку, оправданному уже на краю гибели, найти досуг и — еще больше — деньги, чтобы одарить адвоката и чиновников и приобрести медленно действующее и дорогое лекарство закона? Нет, он слишком счастлив уже тем, что оставляет позади себя и тюрьму и воспоминание о ней. И та же тиранья и бессмысленные притеснения достаются в удел его преемнику.

Что касается меня, я оглядывал стены моей темницы в предчувствии безвременного конца, которого должен был ожидать; я советовался со своим сердцем, которое шептало мне только о моей невинности, и говорил себе: «Таково общество! Таково правосудие, эта вершина человеческого разума! Вот ради чего трудились мудрецы и тратилось масло ночных светильников! Ради этого!»

Читатель простит мне это отступление от непосредственного предмета моего повествования. Если эти замечания будут сочтены слишком общими, пусть будет принято во внимание, что они — плоды опыта, доставшегося дорогой ценой. Из глубины растерзанного сердца упреки сами текут к острию моего пера. Это не декларация человека, желающего быть красноречивым. Я сам испытал, как изъязвляют душу кандалы рабства.

Я думал о том, что несчастье в более чистом виде, чем то, которое я тогда испытывал, еще не выпадало на долю человеческого существа. Я с удивлением вспоминал о своем ребяческом стремлении как можно скорей подвергнуться испытанию и доказать свою невинность. Я проклинал его как самый скверный, невыносимый педантизм.

С горечью в сердце восклицал я: «Какую цену имеет доброе имя?» Это — драгоценность людей, предназначенных тешиться безделушками. Без нее у меня были бы

душевное спокойствие и радостная работа, мир и свобода. Зачем было ставить свое счастье в зависимость от суждения других? Но если бы даже доброе имя имело самую невыразимую ценность, разве таким способом здравый смысл предписал бы его восстанавливать? Вот речь, с которой эти общественные установления обращаются к несчастному: «Иди, и пусть дневной свет перестанет существовать для тебя. Присоединись к тем, кого общество заклеймило своим отвращением; будь рабом тюремщиков, неси на себе тяжесть кандалов. Этим ты очистишься от всякой недостойной клеветы, и твое доброе имя будет восстановлено!» Вот утешение, предоставляемое обществом тому, кого злоба или безумие, личная обида или мнимая очевидность оклеветали без всякого основания. Что касается меня, то я сознавал свою невиновность; и скоро я удостоверился, наведя справки, что три четверти из тех, кто непрерывно подвергался подобному же обращению, были люди, против которых, даже с помощью всего высокомерия и стремительности, столь свойственных нашему правосудию, не могло быть найдено никаких улик, достаточных для обвинения. Сколь же скудной и жалкой должна быть осведомленность и проницательность тех людей, которые соглашаются вверить такой опеке и себя и свое благополучие!

А со мной дело было даже еще хуже: я сознавал вполне, что судебное разбирательство, которое способны были учинить надо мною наши учреждения, явилось бы лишь достойным следствием такого начала. Можно ли было мне рассчитывать на то, что, пройдя через чистилище, в котором я теперь мучился, я вышел бы в конце концов оправданным? Была ли какая-либо вероятность в том, что судебная процедура, которой я подвергся в доме мистера Фокленда, была хуже любой другой, которой я мог ожидать в дальнейшем? Нет. Я заранее предвидел, что буду осужден.

Так был я лишен всего, чем наделяет нас жизнь, — всех радужных надежд, которые так часто рождались у меня, мечтаний о грядущих успехах, которыми так услаждалась моя душа, — и все для того, чтобы, проведя несколько недель в жалкой тюрьме, погибнуть в конце концов от руки наемного палача. Никакими словами не передать негодования и отвращающего душу омерзения, которые порождали во мне эти мысли. Злоба,

затаившаяся в моем сердце, относилась не только к моему преследователю, но распространялась и на весь общественный строй. Я ни за что не хотел поверить, что все это было неизбежным следствием установлений, с которыми неразрывно связано общее благо. Весь род человеческий, казалось мне, состоит только из палачей и мучителей; все они сговорились, чтобы растерзать меня на куски. И эта широкая картина безжалостных преследований вселяла в меня невыразимый страх. Я обращался то в ту, то в другую сторону; я был невиновен; я имел право рассчитывать на помощь; но все сердца ожесточились против меня, каждая рука была готова применить свою силу, чтобы сделать мою гибель более определенной. Ни один человек не может вообразить себе тех ощущений, которые владели моей душой, если он сам никогда не чувствовал, что в самом важном для него деле на его стороне истина, вечная правда, неподкупная справедливость, а на другой — грубая сила, непреодолимое упорство и бесчувственная наглость. Я видел, как торжествует вероломство. Я видел, как невинность сокрушается в прах десницей всемогущего преступления.

В чем мог я найти облегчение от этих чувств? Было ли облегчением то, что дни мои влеклись среди разнужданности и проклятий, что я видел на каждом лице выражение муки, уступающей только моей собственной? Кто захотел бы получить живое представление о муках ада, тому достаточно было бы наблюдать в течение шести часов сцены, которые я видел непрестанно в течение многих месяцев. Ни на час не мог я оторваться от многообразия ужасов или найти прибежище в тиши раздумья. Воздуха, движения, смены впечатлений, контрастов — всех этих великих живителей брэнного человеческого тела навсегда лишила меня неумолимая тирания, под власть которой я попал. Пустота моей ночной камеры казалась мне столь же невыносимой. Все ее оборудование составляла солома, служившая мне для отдыха. Помещение было узкое, сырое, нездоровое. Дремота, в которую погружался мой ум, измученный самым нестерпимым однообразием, ум, которому, чтобы скоротать мучительные часы, никогда не предоставлялось никаких занятий, была кратковременной, несносной и не освежающей. Во сне еще больше, чем наяву, мысли мои

были полны растерянности и беспорядочных искаженных образов. Вслед за такой дремотой наступали часы, которые по правилам нашей тюрьмы я вынужден был, хотя и бодрствуя, проводить одиноко, в унылом мраке. У меня не было там ни книг, ни перьев, ни других предметов, на которые можно было бы направить свое внимание: все было лишь неразличимой пустотой. Как мог выносить эти страдания ум, столь деятельный и неутомимый, как мой? Я не мог погрузить его в летаргию, не мог забыть своих горестей: они преследовали меня с неустанной и дьявольской злобой. Жестокий, неумолимый порядок, установленный человеком и обрекающий человека на подобную пытку, разрешающий ее и не ведающий, что делается с его разрешения, слишком нерадивый и бесчувственный, чтобы входить в такие мелкие подробности, именующий это испытанием невинности и защитой свободы! Тысячу раз готов я был разmozжить себе голову о стены своей темницы; тысячу раз призывал я смерть и с невыразимой жадностью желал, чтобы наступил конец моим страданиям; тысячу раз думал я о самоубийстве и. полный душевной горечи, перебирал способы скинуть с себя бремя жизни. Зачем мне нужна была жизнь? Я видел достаточно, чтобы смотреть на нее с отвращением. К чему мне было ждать затягивающегося осуществления узаконенного произвола, не решаясь даже умереть иначе, как по предписанию последнего? И все-таки какое-то необъяснимое чувство удерживало мою руку. Я с отчаянной настойчивостью цеплялся за призрак существования, за его таинственные прелести и пустые обольщения.

ГЛАВА XII

Вот какие размышления посещали меня в первые дни моего заточения; вследствие их проходило оно в непрестанной тоске. Но через некоторое время мое естество, устав скорбеть, отказалось по-прежнему сгибаться под бременем; мысль, которая непрестанно изменяется, родила ряд размышлений, совершенно отличных от прежних.

Мое мужество ожило вновь. Я привык быть всегда веселым, невозмутимым, в хорошем расположении духа, и эта привычка теперь ко мне вернулась, посетила меня в глубине моей темницы. Как только мои чувства приняли такой оборот, я понял, что разумно и вполне возможно сохранить мир и спокойствие. Мой разум подсказал мне, что в этом беспомощном положении мне следует доказать свое превосходство над моими мучителями. Благословенное состояние невинности и удовлетворенности собой! Солнечное сияние чувства незапятнанности проникало ко мне сквозь все решетки моей камеры и доставляло моему сердцу в десять тысяч раз больше радости, чем рабам порока доставляют соединенные красоты природы и искусства. Я открыл секрет, чем занять свой ум. Я сказал себе: «Меня запирают на половину суток в полной темноте, без всяких видимых источников развлечения. Другую половину суток я провожу среди шума, беспорядка, суеты. Что из того? Разве я не могу черпать развлечения из запасов собственного ума? Разве он не нагружен разными знаниями? Разве я не отдавался в детстве удовлетворению ненасытного любопытства? Когда же мне и извлекать выгоду из этих высоких преимуществ, как не в настоящее время?» В соответствии с этим я приступил к проверке запасов своей памяти и своей способности сочинять. Я стал развлекаться, припоминая историю своей жизни. Постепенно я воскресил в уме множество мелких обстоятельств, которые остались бы навеки забытыми, если бы не эти мои упражнения. Я мысленно повторял целые разговоры, вспоминал, о чем они шли, самый ход их, связанные с ними случаи и часто даже подлинные слова. Я раздумывал над всем этим, пока совершенно не углублялся в свои мысли. Я перебирал их, пока ум мой не воспламенялся энтузиазмом. Я находил разного рода занятия, приспособленные к ночному одиночеству, когда я мог дать полную свободу внушениям своего ума, и к дневной суете, когда главной моей заботой было не замечать шума, меня окружавшего.

Мало-помалу, оставив историю своей жизни, я занялся приключениями воображаемыми. Я представлял себе всевозможные положения, в какие мог бы быть поставлен, и придумывал подходящий для каждого случая образ действий. Так свыкся я со сценами оскорблений

и опасностей, нежности и угнетения. Часто воображение представляло мне страшные часы уничтожения. Иные из моих мечтаний заставляли кипеть мою кровь безудержным негодованием, другие — терпеливо накапливать всю силу моего духа для какого-нибудь потрясающего столкновения. Я вырабатывал в себе ораторские приемы, подходящие к этим различным положениям, и в одиночестве своей темницы достиг больших успехов по части красноречия, чем достиг бы их среди оживленной и суетливой толпы.

В конце концов я стал распределять свое время так же правильно, как это делает человек, изучающий науки, который в разные часы дня переходит от математики к поэзии и от поэзии к международному праву. Я так же редко нарушал свое расписание, да и предметы исследования были у меня не менее многочисленны, чем у такого человека. Я повторил в своем заточении, при помощи одной только памяти, значительную часть Евклида * и восстановил день за днем цепь событий и фактов, описанных некоторыми знаменитейшими историками. Я стал даже поэтом. И в то время как я описывал чувства, взлелеянные лицезрением природы, повествовал о характерах и страстях людей и с пламенным усердием участвовал в их великодушных решениях, я ускользал из убогого одиночества своей темницы и мысленно странствовал по всему многообразию человеческого общества. Я легко находил средства для того, в чем, по-видимому, всегда нуждается человеческий ум и что на свободе человеку предоставляют книги и перья, — отмечать время от времени достигнутые успехи.

В этих занятиях я с торжеством думал о том, до какой степени человек может быть независим от улыбок и превратностей судьбы. Я был недостижим для нее, потому что не мог пасть ниже. С обычной точки зрения я мог казаться жалким и обездоленным, но на самом деле я ни в чем не нуждался. Пищу я получал грубую, но был здоров. Темница моя была отвратительна, но это меня не смущало. Я был лишен свежего воздуха и обычного моциона, но я нашел способ делать телесные упражнения в своей темнице даже до испарины. Я не имел возможности удаляться от внушающего отвращение общества в самую приятную и ценную часть дня, но я скоро в совершенстве усвоил искусство уединяться

мысленно, и я видел и слышал окружающих меня людей столь короткое время и столь редко, как мне этого хотелось.

Таков человек, взятый сам по себе; так проста его природа, так ограничены его потребности. Как отличен от него человек в искусственно созданном обществе! Строятся дворцы, чтобы принять его, приготавливаются тысячи экипажей для его передвижения, целые провинции подвергаются грабежу для удовлетворения его аппетита, и со всех концов света ему доставляются одежда и обстановка. Так велики его траты и порабощающая его жажда приобретения. Его спокойствие и здоровье зависят от тысячи случайностей; его тело и душа преданы каждому, кто готов удовлетворить его властные желания.

В дополнение к невыгодам моего тогдашнего положения я был обречен на бесславную смерть. Но что из этого? Каждый человек должен умереть. Никто не знает, когда это с ним случится. И, уж конечно, неплохо встретить владычицу ужасов здоровым, вполне способным собраться с духом, вместо того чтобы принять ее уже наполовину сломленным болезнью и страданием. Во всяком случае, я решил быть полным хозяином тех дней, которые мне осталось жить. А это во власти человека, особенно если он до последней минуты своего существования сохраняет здоровье. Зачем же буду я позволять себе предаваться тщетным сожалениям? Чувство гордости, или, вернее, независимости и справедливости, побуждало меня говорить моим притеснителям: «Вы можете пресечь мое существование, но не можете возмутить мой душевный покой».

ГЛАВА XIII

Среди этих размышлений у меня явилась другая мысль, которая раньше не возникала. «Я радуюсь, и с основанием, бессилию своего гонителя, — говорил я себе. — Не больше ли даже это бессилие, чем я до сих пор предполагал? Я говорю, что он может пресечь мое существование, но не может возмутить мой душевный покой. И это верно: мой ум, ясность моего духа, твер-

дость характера — не в его власти. Но разве нельзя отнести это и к моей жизни, если я захочу? Каковы те вещественные преграды, которых человек никогда не преодолевал? Существует ли столь трудное предприятие, которое уже не было кем-нибудь осуществлено? А если его могли осуществить другие, почему же не смогу сделать это я? Разве побуждения к действию были у них сильнее? Разве жизнь была им дороже по более разнообразным причинам? Или у них было больше средств одушевить и украсить ее? Многие из тех, кто проявил наибольшую настойчивость и бесстрашие, явно уступали мне в этом отношении. Отчего бы мне не быть столь же смелым, как они? Алмаз и сталь податливы, как вода, для ума достаточно дерзкого и проницательного. Ум — сам себе господин и одарен могуществом, которое может дать ему возможность посмеяться над бдительностью тирана!» Я снова и снова возвращался к этим мыслям и, возбужденный ими, восклицал: «Нет, я не умру!»

В ранней молодости я читал книги всякого рода. Мне случалось читать о взломщиках, для которых замки и запоры были игрушками и которые, для того чтобы показать свое искусство, в виде опыта проникали в самые укрепленные дома без всякого шума и чуть ли не с такой же малой затратой усилий, какая другим нужна на то, чтобы поднять щеколду. Ничто так не привлекает юношеский ум, как удивительное. Ничего не домогается он с большим рвением, чем возможности поражать зрителей своими необыкновенными усилиями. В моих размышлениях, никем не направляемых, неясных, неуловимых и свободных, ум представлялся мне способным вдумчиво доискиваться оснований; он вовсе не предназначен природой быть рабом силы. Так неужели человек властен захватить меня и удерживать при помощи насилия? Неужели я не ускользну от самых неусыпных поисков, если приму решение освободиться? Для мыслящей части нашего существа эти члены, это тело представляют злополучный и обременительный груз, который ему приходится влечь за собою. Но почему бы силе мышления не проявить способности облегчить груз настолько, что он перестанет ощущаться? Эти мысли моей юности отнюдь не были чужды настоящему моему положению.

Ближайшим нашим соседом, когда я жил в доме моего отца, был плотник. Едва оторвавшись от чтения, о котором я говорил, я спешил к нему еще раз посмотреть на его инструменты и узнать, что можно ими делать и как их употреблять. Этот плотник был человек большого и изобретательного ума. А так как его дарования находили применение только в пределах его ремесла, то он был весьма изобретательным и рассуждал о своем мастерстве очень основательно. Поэтому общение с ним занимало меня; он давал толчок моим мыслям, и мне даже случалось совершенствовать те советы, которые он мне давал. Беседовать с ним для меня было особенно приятно. Сначала я иногда работал с ним для забавы, а затем помогал ему время от времени как подручный. Я был крепкого сложения и благодаря приобретенному таким образом опыту присоединил к обладанию силой умение применять ее надлежащим образом по своему желанию.

Существует странное, но нередко наблюдающееся свойство человеческого ума, — что именно те знания, в которых мы больше всего нуждаемся в трудную минуту и которые мы, может быть, успели накопить предшествующими трудами, не возникают в памяти в то время, когда ими следовало бы воспользоваться. Так и мой ум со времени заточения совершил уже два круга совершенно различных мыслей, прежде чем ему представилось средство к освобождению. Мои способности в первом круге были подавлены и поднялись до предельного энтузиазма во втором; но в то же время в обоих случаях я считал несомненным, что должен безмолвно покориться всему, что ни вздумают со мной сделать мои притеснители.

Пока ум мой пребывал в нерешительности, — прошло немногим больше месяца с начала моего заключения, — начались заседания суда, происходившие в этом городе два раза в год. В эту сессию дело мое не было назначено, а обречено было на то, чтобы пролежать еще шесть месяцев. Так же поступили бы с ним и в том случае, если бы у меня были такие же твердые основания ждать оправдания, как теперь — осуждения. Если бы я был задержан по причинам самым незначительным из всех, какие только судья мог признать достаточными для предания суду беззащитного нищего, и тогда мне

пришлось бы ждать примерно двести семнадцать дней, прежде чем выяснилась бы моя невиновность. Вот как несовершенно действие хваленых законов в стране, где законодатели заседают по четыре-шесть месяцев в году! Мне так и не удалось узнать, был ли я обязан этим затягиванием дела вмешательству моего преследователя или оно вытекало из обычного порядка отправления правосудия, который слишком торжествен и полон достоинства, чтобы сообразоваться с правами или нуждами ничтожной личности.

Это было не единственное происшествие из случившихся со мной во время моего заточения, которому я не мог найти удовлетворительного объяснения. Приблизительно в то же самое время отношение ко мне зрителя начало изменяться. Однажды утром он вызвал меня в ту часть здания, которая была отведена лично для него. Слегка запинаясь, он выразил сожаление, что у меня так мало удобств, и спросил, не хочу ли я поместиться в отдельной комнате у него в семье? Я был поражен этим неожиданным вопросом и пожелал узнать, не побудил ли его кто-нибудь сделать мне такое предложение. Он ответил, что нет. Но теперь, когда сессия суда закончилась, на его попечении осталось меньше преступников, и у него больше времени, чтобы приглядеться к ним. Он считает, что я неплохой молодой человек, и дружески расположен ко мне. Я не сводил глаз с его лица, пока он говорил, и не мог подметить в нем ни малейшего признака доброты; мне показалось, что он играет не свойственную ему роль и что это сообщает ему некоторую неловкость. Однако он продолжал в том же духе и предложил мне без стеснений столноваться у него. Если я соглашусь, говорил он, это не составит для него никакого различия, он и не подумает ничего брать с меня за это; у него, конечно, всегда найдется лишний кусок для одного человека, зато его жене и дочери Пегги будет чрезвычайно приятно послушать разговор ученого человека, каким, насколько он может судить, я являюсь. Может быть, и мне самому их общество не покажется неприятным.

Я стал обдумывать его предложение; я ничуть не сомневался, — хотя зритель и утверждал противное, — что это предложение проистекало не из некоего произвольного побуждения человеколюбия, но что

у него, выражаясь языком людей его склада, было достаточно оснований поступать таким образом. Я терялся в догадках, кто мог быть виновником этой снисходительности и внимания. Двумя наиболее подходящими лицами были мистер Фокленд и мистер Форстер. Последнего я знал как человека сурового и неумолимого в отношении тех, кого он считал порочными. Он кичился своей неподатливостью на те мягкие чувства, которые, по его мнению, не достигают другой цели, кроме той, что отклоняют нас от нашего долга. Мистер Фокленд, напротив, был человек самой тонкой чувствительности; из нее происходили его радости и огорчения, добродетели и пороки. Хотя бы он был самым злейшим врагом, во власти которого я только мог очутиться, и хотя чувство человеколюбия отнюдь не могло бы изменить или подчинить себе направление его мыслей, я все-таки убеждал себя, что скорее он, чем его родственник, способен был мысленно посетить мою темницу и почувствовать себя обязанным облегчить мои страдания.

Эти догадки ни в коем случае не могли пролить бальзам на мою душу. Мысли мои были полны гнева против моего преследователя. Мог ли я думать с кротостью о человеке, который ставил ни во что мое доброе имя и мою жизнь, когда дело шло об удовлетворении его господствующей страсти? Я видел, как он уничтожил первое и подвергал опасности вторую с таким спокойствием и хладнокровием, что я не мог думать об этом без ужаса. Я не знал, каковы его намерения в отношении меня. Я не знал, обременяет ли он себя хотя бы пустым желанием сохранить в живых человека, чьи надежды на будущее он так безжалостно омрачил. До сих пор я хранил молчание о главном основании нашей вражды. Но я отнюдь не был уверен, что соглашусь уйти из жизни молча, жертвой злобы и коварства этого человека. Во всяком случае, я чувствовал, что сердце мое истекает кровью при мысли о его несправедливости и что вся душа моя отвергает его жалкие милости, оказываемые в то самое время, как он превращает меня в прах своей безжалостной мстостью.

Мой ответ тюремщику был вызван этими мыслями. И мне доставило тайную радость выразить их во всей их горечи. Я взглянул на него с саркастической улыбкой и сказал, что радуюсь, видя его вдруг таким человеко-

любимым, но что я имею некоторое представление о человеколюбии тюремщиков и догадываюсь об обстоятельствах, вызвавших эту перемену. Но он может сказать тому, кто его подослал, что заботы напрасны: я не стану принимать никаких милостей от человека, который накинуд мне петлю на шею, и у меня хватит мужества вынести худшее — как теперь, так и впредь. Тюремщик взглянул на меня с удивлением и, повернувшись на каблуках, воскликнул:

— Отлично, петушок! Вижу, наука пошла тебе впрок. Ты решил не помирать на навозной куче. Но это еще впереди, приятель. Лучше бы тебе приберечь хоть половину своей храбрости, пока она тебе не понадобится.

Судебная сессия, прошедшая для меня безрезультатно, произвела большие перемены среди моих товарищей по заключению. Я прожил в тюрьме достаточно долго, чтобы оказаться свидетелем общей смены ее обитателей. Один из взломщиков (соперничавший с герцогом Бедфордским) и фальшивомонетчик были повешены. Двое других были приговорены к ссылке. Остальные — оправданы. Высылаемые оставались с нами; и хотя тюрьма таким образом освободилась от девяти обитателей, к заседанию суда в следующем полугодии преступников было всего на три человека меньше, чем я застал здесь при своем поступлении сюда.

Солдат, историю которого я рассказал, умер вечером в тот самый день, когда прибыли судьи, от болезни, явившейся следствием его заточения. Таково было правосудие, являвшееся следствием законов этой страны, по отношению к тому, кто из всех людей, каких я знал, был, может быть, самым добрым и самым сердечным, самым обаятельным и простым в обращении, самым незапятнанным в жизни. Имя его было Брайтуэл. Если бы мое перо было в силах увековечить его имя, окружив его неувядаемой славой, я не мог бы найти задачу, более близкую моему сердцу. Суждения его были проникновенны и мужественны, без всякой примеси слабости, без малейшего признака ограниченности или робости, и в то же время в его обращении было столько неподдельной искренности, что даже поверхностный наблюдатель подумал бы, что этот человек, наверное, стал жертвой мошенничества. У меня много оснований

вспоминать его с любовью! Он был самым пылким, — я чуть не сказал последним, — из моих друзей. Но в этом отношении я не оставался у него в долгу. В самом деле, — да позволено мне будет это сказать, — у нас было большое сходство в характерах, если не считать того, что я не мог сравняться с ним в оригинальности и самостоятельности умственного развития и в благопристойности и незапятнанной чистоте поведения, вряд ли кем в мире превзойденных. Он с интересом выслушал мою историю с теми подробностями, которые я нашел уместным ему рассказать. Он с искренним беспристрастием обсудил ее. И если сначала у него оставались какие-либо сомнения, то скоро частые наблюдения надо мной в минуты моей наибольшей беспечности внушили ему полное доверие ко мне и убедили в моей невинности.

Он говорил без горечи о несправедливости, жертвами которой были мы оба, и радовался при мысли, что наступит время, когда возможность столь невыносимого угнетения будет уничтожена. Но это счастье, говорил он, достанется в удел нашим потомкам; мы уже не успеем им насладиться. Некоторым утешением для него было то, что в своей прежней жизни он не мог указать такого периода, в течение которого, по всей справедливости суждения, на какую он был способен, его поведение оставляло бы желать чего-то лучшего. Он с большим правом, чем множество людей, мог сказать, что выполнил свой долг. Но он предчувствовал, что не переживет своего несчастья. Он предсказал это, будучи еще вполне здоровым. Про него в известном смысле можно было сказать, что сердце его разбито. Но если это выражение и было в какой-то мере применимо к нему, то должно признать также, что никогда отчаяние не отличалось большим спокойствием и не было проникнуто большей покорностью и душевной ясностью.

Ни разу на всем протяжении моих злоключений меня не постигал более тяжкий удар, чем тот, который нанесла мне смерть этого человека. Судьба его вставала передо мной во всем сплетении своих несправедливостей. От него и от тех проклятий, которыми я поносил правительство, оказавшееся орудием его гибели, я обратился к самому себе. Я с завистью смотрел на гибель Брайтуэла. Множество раз я страстно желал, чтобы мое, а не его тело лежало бездыханным. Я сохранен живым;

твердил я себе, только для того, чтобы терпеть невыразимые горести. Через несколько дней он был бы оправдан; его свобода, его доброе имя были бы восстановлены; может быть, человечество, потрясенное несправедливостью, которую он претерпел, обнаружило бы стремление вознаградить его за несчастья и предать забвению позор, которому он подвергся. Но человек этот умер. А я продолжаю жить!.. Я, подобно ему, несправедливо обвиненный, но не имеющий надежды на оправдание, осужденный до конца дней своих носить кличку негодяя, да и после смерти остаться предметом презрения и отвращения других людей!

Таковы были мысли, которые прежде всего породила в моем уме злосчастная судьба этого мученика. Однако мои отношения с Брайтуэлом, когда я вспоминал о них, не лишены были для меня некоторой доли утешения. Я говорил себе: «Этот человек увидел правду сквозь завесу клеветы, которая нависла надо мной. Он понял и полюбил меня. Зачем же мне отчаиваться? Разве и впоследствии я не смогу встретить подобных ему благородных людей, которые отнесутся ко мне справедливо и будут сочувствовать моим несчастьям? Это утешение успокоит меня. Я отдохну в объятиях дружбы, забыв о злобе мира. Тогда я удовлетворюсь спокойной неизвестностью, развивая свои чувства и ум и занимаясь благотворительностью в узком кругу». Так ум мой проникался замыслом, который я решил осуществить.

Едва родилась во мне мысль о побеге, я остановился на следующем способе облегчить приготовления к нему. Я решил заслужить благосклонность зрителя. На воле я большею частью встречал только таких людей, которые, узнав в общих чертах мою историю, смотрели на меня с некоторого рода отвращением и омерзением, побуждавшими их избегать меня так же старательно, как если б я был зачумленным. Мысль о том, что я сначала обокрал своего покровителя, а потом пробовал обелить себя, обвиняя его в кознях против меня, помещала меня в особый разряд преступников, неизмеримо более отталкивающих, чем обыкновенные воры и грабители. Но этот человек слишком давно уже занимал свою должность, чтобы питать к своему ближнему неприязнь на таком основании. Лиц, доверенных его попечениям, он рассматривал только как известное количество челове-

ческих тел, за которые он несет ответственность и которые будут им представлены в то место и в то время, когда в этом будет нужда. Что же касается различия между виновными и невиновными, то, по его мнению, это была такая вещь, которая не стоила его внимания. Ввиду этого, предлагая ему свои услуги, я не опасался натолкнуться на предубеждение, которое в других случаях оказывалось столь упорным. К тому же, какова бы ни была причина, заставившая его незадолго перед тем сделать мне такое щедрое предложение, она должна была сыграть роль и на этот раз.

Я сообщил ему о своем искусстве по части столярного ремесла и сказал, что могу изготовить ему полдюжины красивых стульев, если он даст мне возможность завести необходимые инструменты. Дело в том, что, не получив заранее его согласия, я, конечно, не мог рассчитывать, что мне удастся спокойно заниматься такого рода работой, даже если бы от этого зависела моя жизнь. Сначала он посмотрел на меня, по-видимому спрашивая себя, как ему понимать это новое предложение; потом, смягчив выражение своего лица на более любезное, он выразил удовольствие, что я расстался со своим высокомерием и чопорностью, и сказал, что посмотрит, что тут можно сделать. Через два дня он дал свое согласие. Что до того подарка, который я предлагаю ему, сказал он, то на это он ничего не может сказать; я поступлю, как найду нужным, но я могу рассчитывать с его стороны на вежливое обращение, какое он только может оказать, не подвергая самого себя опасности, если впредь в ответ на эту вежливость я не буду огрызаться и обрывать его.

Одержав таким образом предварительную победу, я понемногу запасся разными инструментами — долотами, сверлами, буравами и прочим. Я немедленно принялся за работу. Ночи были длинные, и торопливая жадность моего стража, несмотря на его показное великодушие, была велика. Поэтому я ходатайствовал о свечном огарке, который и получил, чтобы мне можно было час-другой утешаться работой после того, как меня запрут в камеру. Однако я и не думал упорно заниматься работой, которую я затеял, и мой тюремщик стал проявлять признаки нетерпения. Может быть, он опасался, что я не успею кончить ее, прежде чем меня повесят. Однако

я настаивал, что буду работать не спеша, как мне вздумается, и он не решился открыто это оспаривать. В дополнение к преимуществам, приобретенным таким путем, я потихоньку раздобыл железный лом у мисс Пегги, которая время от времени приходила в тюрьму заниматься наблюдениями над заключенными и, видимо, почувствовала некоторое пристрастие к моей особе.

По этим действиям легко проследить, что порок и двуличие, как это и следует ожидать, вырастают из несправедливости. Не знаю, простит ли мне мой читатель зловещее преимущество, которое я извлек из загадочной уступчивости моего стража; но я должен признать свою слабость в этом отношении. Я рассказываю о своих приключениях, а не защищаюсь; и я не желал неизменно сохранять чистосердечие в своих поступках ценой скорого окончания своей жизни.

Теперь план мой был уже обдуман. Я рассчитал, что при помощи лома смогу легко и без особого шума снять дверь камеры с петель или, если это не удастся, вырезать замок. Дверь эта выходила в узкий коридор с рядом камер по одну сторону и помещением для смотрителя и сторожей, имевшим выход на улицу, — с другой стороны. На этот выход я не смел покушаться из боязни встревожить стражу. Поэтому я остановил свой выбор на другой двери, в дальнем конце коридора, которая была основательно загорожена и вела в садик, находившийся в распоряжении смотрителя. В этот садик я ни разу не входил, но имел возможность осмотреть его из окон общей дневной камеры, так как окна ее выходили в эту сторону. Я заметил, что садик окружен стеной значительной высоты, которая, как сообщили мне товарищи по заключению, служила с этой стороны наружной стеной тюрьмы; за ней шла довольно длинная дорога, которая кончалась у городской черты. После внимательного осмотра и многих размышлений об этом предмете я решил, что сумею, если только попаду в сад, при помощи своих буравов и сверл, вогнанных в стену на соответствующем расстоянии друг от друга, устроить нечто вроде лестницы, которая поможет мне перебраться через стену и снова вкусить прелесть свободы. Я предпочитал эту стену той, которая примыкала непосредственно к моей камере и за которой проходила людная улица.

Я подождал дня два после того, как окончательно обдумал свой замысел, и после этого глубокой ночью приступил к его осуществлению. Первая дверь потребовала значительных усилий, но наконец это препятствие было счастливо устранено. Вторая была заперта изнутри. Поэтому я мог без всякого труда отодвинуть засовы. Однако замок, который был, конечно, главным средством охраны и отличался поэтому большой прочностью, был заперт на два поворота, и ключ из него вынут. Я попытался отодвинуть засов долотом, но напрасно. Тогда я отвинтил винты, укреплявшие коробку замка, и, когда она была вынута, дверь больше не противостояла моим желаниям.

До сих пор я действовал с большим успехом. Но по ту сторону дверей находилась собачья конура, и в ней — большой дворовый пес, о чем я раньше не имел ни малейшего понятия. Хотя я ступал самым осторожным образом, собака насторожилась и начала лаять. Я страшно растерялся, но тотчас же постарался успокоить собаку, что мне вскоре и удалось. Тогда я вернулся в коридор, чтобы послушать, не разбудил ли кого-нибудь собачий лай. Я решил в этом случае вернуться в свою камеру и постараться привести все в прежний вид. Но мне показалось, что все совершенно спокойно, и это поощрило меня продолжать свое предприятие.

Я уже дошел до стены и взобрался на нее до половины, когда услышал голос, кричавший с порога той двери, которая выходила в сад: «Эй! Кто тут? Кто открыл дверь?» Ответа не последовало, и ночь была слишком темна, чтобы кричавший мог разглядеть что-либо на расстоянии. Поэтому он вернулся, как мне показалось, в дом за фонарем. Тем временем пес, уловив тон, которым были заданы эти вопросы, опять начал лаять, еще сильнее прежнего. Я уже не мог вернуться и еще не отказался от надежды выполнить свое намерение — перелезть через стену. Но пока тот ходил за своим фонарем, вышел второй человек, и, когда я добрался до верха стены, он разглядел меня. Он сейчас же поднял крик и кинул большой камень, который задел меня на лету. Испугавшись того положения, в которое я попал, я был вынужден соскочить на противоположную сторону без необходимых предосторожностей и при падении слегка вывихнул себе лодыжку.

В стене была дверь, о которой я раньше не знал, и, отперев ее, оба человека с фонарями в руках в одно мгновение очутились по ту сторону стены. После этого им оставалось только пробежать по дороге вдоль стены до того места, где я соскочил. Я попробовал подняться после своего падения, но боль была так сильна, что я едва держался на ногах. Я сделал, хромая, несколько шагов, нога у меня подвернулась, и я опять упал. Теперь ничто не могло мне помочь, и я молча позволил увести себя обратно.

ГЛАВА XIV

Меня отвели в комнату смотрителя, и оба тюремщика просидели со мной всю ночь. Мне задавали множество вопросов, на которые я почти не отвечал, жалуюсь на боль в ноге. На это я слышал только: «Черт бы тебя побрал, мальчишка! Если в этом все дело, мы пропишем тебе мазь для ноги; приложим к ней холодное железо!» Они в самом деле обращались со мной очень грубо за то, что я причинил им столько беспокойства. Утром они сдержали слово: надели мне на обе ноги кандалы, несмотря на то, что лодыжка к тому времени очень сильно распухла, и, пропустив цепь в скобу, приклепанную к полу, заперли камеру на висячий замок. Я горячо протестовал против такого обращения и убеждал их, что я человек, о котором закон пока еще не вынес решения и который поэтому в глазах закона невиновен. Но они велели мне приберечь этот вздор для людей ничего не смыслящих, так как они знают что делают и готовы держать ответ перед любым судом Англии.

Боль, причиняемая мне кандалами, была нестерпима. Я старался разными способами облегчить ее и даже незаметно освободить ногу. Но чем больше она опухала, тем менее это было возможно. Тогда я решил терпеливо переносить боль; но чем дольше это тянулось, тем сильнее становилась боль. Через два дня я стал просить сторожа пойти к врачу, который обыкновенно оказывал помощь в тюрьме, чтобы он пришел посмотреть, — а то, если так будет продолжаться, я уверен, что

начнется гангрена. Но он угрюмо взглянул на меня и сказал:

— Будь я проклят, если бы я не хотел дожить до этого дня! Умереть от гангрены — это даже слишком хороший конец для такого негодяя!

В то время, когда он сказал мне это, вся моя кровь уже была в лихорадке от перенесенных страданий, терпение мое окончательно истощилось, и я был так глуп, что окончательно вышел из себя от его наглости и грубости.

— Эй вы, тюремщик, — сказал я, — есть одно дело, для которого к нам приставляют таких людей, как вы, и только одно: вы должны смотреть, чтобы мы не убежали, но в ваши обязанности не входит бранить и оскорблять нас. Если бы я не был прикован к полу, вы скорее съели бы собственные пальцы, чем позволили бы себе так со мной разговаривать. И — даю вам слово — вы еще доживете до того, что раскаетесь в своей дерзости.

Пока я это говорил, сторож уставился на меня с изумлением. Он до такой степени не привык к подобным отповедям, что едва поверил своим ушам; тон у меня был очень твердый, и он как будто на мгновение забыл, что я не на свободе. Но, опомнившись, он даже не снизошел до того, чтобы рассердиться на меня. Лицо его сложилось в презрительную улыбку. Он шелкнул передо мной пальцами и, повернувшись на каблуках, воскликнул:

— Недурно сказано, петушок! Кукарекай себе на здоровье! Только берегись, как бы не лопнуть!

И он закрыл за собою дверь, подражая крику упомянутой им птицы.

Такой ответ мигом привел меня в чувство и показал все бессилие выражаемого мной негодования. Но, хотя он таким образом положил конец моей гневной речи, пытка тела продолжалась и была такой же сильной, как и раньше. Я решил изменить способ наступления. Через несколько минут тот же сторож вернулся. И когда он подошел ко мне, чтобы поставить на пол возле меня немного пищи, я сунул ему в руку шиллинг, говоря:

— Добрый человек! Ради бога, сходите к врачу. Я уверен, что вы не хотите, чтобы я погиб из-за отсутствия помощи!

Сторож опустил шиллинг в карман, пристально взглянул на меня, кивнул головой и вышел, не проронив ни слова. Вскоре после этого явился врач. Найдя, что болезненное место сильно воспалено, он прописал некоторые лекарства и решительно запретил надевать на больную ногу кандалы, пока она не будет вылечена. Прошел целый месяц, пока нога не поправилась окончательно и не стала такой же крепкой и гибкой, как другая.

Условия моего теперешнего заключения были совершенно отличны от тех, которые предшествовали моей попытке к бегству. Я целый день оставался прикованным к своей камере, без всяких послаблений, кроме того, что под вечер дверь на несколько часов открывалась, и в это время некоторые из заключенных иногда приходили и говорили со мной, в особенности один, который хоть и не мог заменить мне доброго Брайтуэла, но все-таки не был лишен хороших качеств. Мужество покинуло его, одежда его стала грязной, миловидность и опрятность его наружности исчезли вовсе. Этот достойный, смелый и благожелательный человек тоже не был повинен ни в чем. Впоследствии, кажется, он был оправдан и освобожден для того, чтобы бродить по свету беспокойной, полной отчаяния тенью. С моим ремеслом теперь было покончено; мою камеру каждый вечер обыскивали; всякого рода инструменты были у меня отобраны; соломой, которая до тех пор находилась в моем распоряжении, тоже унесли, под предлогом, что в нее можно прятать вещи. Единственными сохраненными мне удобствами были стул и одеяло.

Через некоторое время передо мной открылась возможность известного облегчения, но и на этот раз из-за моей несчастливой судьбы дело, как обычно, кончилось неудачей. Опять явился смотритель со своим прежним, столь сомнительным для него выражением человеколюбия. Он сделал вид, будто удивлен отсутствием у меня всяких удобств. В строгих выражениях он осудил мою попытку к бегству и заметил, что в его положении люди не могут быть предупредительными без конца, если джентльмены ни за что не хотят признать, что им живется неплохо. В случаях, подобных этому, он вынужден предоставлять действовать закону. И с моей стороны было бы смешно жаловаться, если бы после суда по всем правилам дело приняло бы для меня плохой оборот.

Он желал быть мне другом во всех отношениях, если только я позволю ему. Посреди этой уклончивой речи и сделанного им вступления он был отозван по каким-то делам, связанным с его должностью. Тем временем я принялся обдумывать его предложение, и при всей злой ненависти к источнику, из которого, как я это представлял себе, оно исходило, я не мог не задуматься над тем, насколько им можно было бы воспользоваться для нового побега. Однако на этот раз мои размышления были напрасны. Смотритель больше не возвращался ко мне в течение всего дня, а на следующий произошло событие, которое положило конец всем моим расчетам на его доброту.

Деятельный ум, однажды направившись по одному определенному пути, с трудом уступает увещаниям оставить этот путь как безнадежный. Я рассмотрел свои цепи во время тех ужасных мучений, которые причиняло мне давление кандалов на вывихнутую ногу, и хотя все мои попытки уменьшить опухание и острое чувство боли были тщетными, я вынес из хладнокровного осмотра кандалов другую, гораздо более существенную для себя пользу. Ночью камера моя была погружена в полный мрак; но, пока дверь оставалась открытой, положение было несколько иное. Правда, коридор, в который она выходила, был такой узкий и противоположная глухая стена находилась так близко, что в мое помещение даже в полдень, и когда дверь была открыта настежь, проникал только тусклый и печальный свет. Но глаза мои через две-три недели приспособились к этому обстоятельству и научились различать мельчайшие предметы. Однажды, когда я то раздумывал, то оглядывал окружающие меня предметы, я вдруг заметил недалеко от себя гвоздь, втоптаный в глиняный пол. Мне сейчас же захотелось овладеть этим орудием; однако, боясь быть захваченным врасплох, поскольку мимо моей камеры люди ходили взад и вперед, я на этот раз ограничился тем, что точно приметил место, где он находился, чтобы его можно было легко найти в темноте. Поэтому, как только дверь мою заперли, я схватил это новое сокровище и, придав ему вид, отвечающий моей цели, убедился, что с его помощью я смогу отпирать замок, прикрепляющий мою цепь к скобе в полу. Это само по себе показалось мне немаловажным преимуществом, не го-

вора уже о той пользе, которую я мог отсюда извлечь для главного своего намерения. Моя цепь позволяла мне передвигаться всего на восемнадцать дюймов вправо и влево; вытерпев такое стеснение в течение нескольких недель, я почувствовал, как сердце у меня радостно забилося при мысли, что я могу без помех мерить шагами жалкую клетку, в которой я был заточен. Это происшествие случилось за несколько дней до последнего посещения меня смотрителем.

С этих пор моей постоянной привычкой стало освобождать себя от оков на каждую ночь и приводить все в свой обычный порядок только после утреннего пробуждения, в ожидании прихода тюремщика. Сознание безопасности порождает небрежность. Наутро после беседы со смотрителем, оттого ли, что я заспался, или оттого, что тюремщик отправился в свой обход ранее обыкновенного, — меня разбудил шум, который он произвел, отпирая соседнюю камеру, и хотя я старался изо всех сил, но, вынужденный искать свои материалы ощупью в потемках, я не смог укрепить цепь в скобе раньше, чем он вошел ко мне, по своему обыкновению, с фонарем. Он был крайне удивлен, увидев меня освободившимся от цепей, и немедленно вызвал смотрителя. Меня допросили, каким способом я это сделал; считая, что утайка не поведет ни к чему, разве только к более тщательному обыску и более строгому наблюдению, я покорно сообщил им всю правду. Почтенная личность, обязанностью которой было наблюдать за обитателями этих стен, на этот раз пришла в неопишемое бешенство против меня. Его притворство и красноречие кончились. Глаза его сверкали гневом; он восклицал, что понимает теперь, какое безумие оказывать снисхождение таким негодьям и мерзавцам, как я, и что да будет он проклят, если кто-нибудь подденет его еще раз на такую штуку ради кого бы то ни было! Я действительно его вылечил! Он удивляется, как это закон не придумал какого-нибудь страшного наказания для воров, которые пытаются обмануть своих тюремщиков. Виселица в тысячу раз лучше того, чего они заслуживают!

Излив свое негодование, он принялся отдавать распоряжения, которые подсказывались его изобретательности совместными усилиями гнева и страха. Меня перевели в другое помещение; это была комната, называемая

«крепостной», дверь которой открывалась в среднюю из ночных камер. Как и все эти камеры, она была подземной, и прямо над ней находилась уже описанная дневная камера преступников. Новая камера была просторна и мрачна. Двери ее уже много лет не открывались; воздух в ней был спертый, стены покрыты сыростью и плесенью. Как и прежде, были пущены в ход цепи, висячий замок и скоба; вдобавок на меня надели пару ручных кандалов. На первый раз смотритель не прислал мне ничего, кроме заплесневелого черного хлеба и грязной, вонючей воды. Не знаю, право, следует ли это рассматривать как произвольную тиранию со стороны тюремщика, потому что закон предусмотрительно указывает, что в некоторых случаях «воду, доставляемую преступникам, следует брать из сточной трубы или лужи, ближайших к тюрьме».¹ Далее, одному из сторожей было приказано поселиться в камере, которая служила как бы передней к моему помещению. Хотя были приняты все меры, чтобы сделать эту камеру годной для принятия лица столь высокого звания по сравнению с преступником, которого оно было призвано охранять, это лицо выразило большое недовольство указанным распоряжением; однако выбора у него не было.

Положение, в котором я таким образом оказался, было, по-видимому, самое нежелательное из всех, какие только можно было себе вообразить, но я не пал духом; с некоторых пор я научился не судить по наружности. Помещение было темное и нездоровое, но я овладел секретом противостоять действию таких условий. Дверь моя постоянно оставалась запертой, и другим заключенным доступ ко мне был воспрещен. Но если общение со своими собратьями имеет свою приятность, то, с другой стороны, и одиночество не лишено своих прелестей. В одиночестве мы можем беспрепятственно отдаваться собственным мыслям. Кроме того, для человека, обдумывающего намерения того рода, которые тогда наполняли мой ум, одиночество имеет особые выгоды. Как только я оказался предоставленным самому себе, я сделал попытку, мысль о которой пришла мне в голову в то время,

¹ В случае *peine forte et dure* (наказания большого и тяжкого). См. *State Trials* (Дела о государственных преступлениях), 1615. (Прим. автора.)

когда на меня надевали ручные кандалы, и с помощью одних зубов освободился от этих уз. Часы, в которые меня посещали надзиратели, соблюдались точно, и я старался быть к ним готовым. Добавьте к этому, что здесь у меня было узкое зарешеченное окно под потолком, примерно девяти дюймов высотой и полутора футов в поперечнике, которое, несмотря на свои малые размеры, пропускало значительно больше света, чем то, к которому я уже привык за несколько недель. Благодаря этому окну я почти никогда не находился в полной темноте и был лучше огражден от неожиданностей, чем в прежнем своем положении. Таковы были чувствования, которые тотчас же вызвала во мне эта перемена местопребывания.

Прошло очень немного времени после моего пересвода в новое помещение, как вдруг меня неожиданно посетил Томас, лакей мистера Фокленда, о котором я уже упоминал в своем повествовании. За несколько недель перед этим, когда я мучился со своей вывихнутой лодыжкой, одному из слуг мистера Форстера случилось быть в том городе, где я сидел в тюрьме, и он зашел проведать меня. Его рассказ о том, что он видел, был для Томаса источником многих тревожных ощущений. Первым посещением я был обязан исключительно любопытству. Но Томас был человек другого склада. Его поразили мой вид. Хотя дух мой был теперь невозмутим и здоровье удовлетворительным, однако вследствие лишений и испытаний румянец сошел с моего лица, черты мои огрубели. Томас смотрел то на мое лицо, то на мои руки, то на мои ноги. Потом он испустил глубокий вздох. После некоторого молчания, голосом, в котором заметно выражалось сострадание, он воскликнул:

— Господи боже мой! И это ты?

— Почему же нет, Томас? Ведь ты знал, что меня отправляют в тюрьму, не правда ли?

— В тюрьму! Так разве в тюрьме людей должны так притеснять и сковывать таким образом? А где же ты спишь ночью?

— Здесь.

— Здесь? Но ведь здесь нет кровати!

— Нет, Томас. Кровати мне не полагается. Раньше была солома, но ее унесли.

— А эти штуки они снимают на ночь?

— Нет. Предполагается, что я сплю так, как видишь.

— Спишь так? А я-то думал, что мы живем в христианской стране! Так и с собакой не обращаются.

— Не надо так говорить, Томас. Все это предписано мудростью правителей.

— Черт возьми! Как меня провели! Мне твердили о том, как прекрасно быть англичанином. И касательно свободы, и собственности, и всего такого. А оказывается, все это басни! Боже ты мой, какими же мы были глупцами! Разные вещи творятся у нас под носом, а мы ничего и не знаем. И шайка молодцов с важными рожами клятвенно уверяет нас, что такие вещи случаются только во Франции и других странах вроде нее. Тебя ведь и не судили, кажется?

— Нет.

— Да какой смысл в суде, ежели они и до него так мучают человека? Ну, мастер Уильямс, ты вел себя, конечно, дурно, и я думал, что не прочь посмотреть, как тебя станут вешать. Но сам не знаю, как это выходит, а только сердце смягчается и жалость берет, когда дашь себе время остыть. Знаю, что это не годится, но будь я проклят, если мне могло прийти в голову, что тебе придется так пострадать.

Скоро Томас ушел. Вспомнив долголетнее знакомство наших семейств, он теперь жалел меня за мои страдания больше, чем я жалел сам себя. С удивлением я опять увидел его после полудня. Он сказал, что не может отделаться от мыслей обо мне, и надеется, что мне не будет неприятен его вторичный приход для того, чтобы попрощаться перед отъездом. Я скоро догадался, что у него что-то на уме, но он не знает, как мне выложить это. Один из сторожей каждый раз появлялся вместе с ним в камере и оставался в ней до самого его ухода. Однако по какому-то поводу, — кажется, из-за поднявшегося в коридоре шума, — сторож отошел к самой двери, чтобы удовлетворить свое любопытство, и Томас воспользовался случаем, чтобы сунуть мне в руку долото, напильник и небольшую пилу, восклицая в то же время:

— Я знаю, что поступаю дурно. Но если они меня даже повесят за это, я не могу удержаться; я не могу поступить иначе. Ради Христа, уходи из этого места! Я думать о нем не могу.

С великой радостью взял я эти инструменты и сунул их к себе за пазуху; а как только он ушел, я запрятал их в камышовое сиденье своего стула. Что касается Томаса, то, осуществив намерение, ради которого приходил, он тотчас же простился со мной.

На следующий день надзиратели, не знаю по какой причине, делали обыск старательнее, чем обычно, и говорили, впрочем, не указывая никаких оснований для своих подозрений, что в моем распоряжении, наверное, есть не полагающиеся инструменты; однако выбранного мной хранилища они не заметили.

Я ждал почти целую неделю после этого дня, пока не настали яркие лунные ночи. Мне надо было действовать ночью; кроме того, надо было выполнить все в промежутке между последним вечерним посещением надзирателей и первым их утренним посещением, то есть между девятью часами вечера и семью часами утра. Как я уже говорил, в прежней камере я проводил, никем не тревожимый, от четырнадцати до шестнадцати часов в сутки; но, с тех пор как за мной утвердилась репутация мастера по части механики, по отношению ко мне делалось исключение из общих правил тюрьмы.

Было десять часов, когда я приступил к делу. Камера, в которой я был заточен, затворялась двойной дверью. Это было совершенно излишним с точки зрения охраны, так как по ту сторону двери стоял часовой. Но это было очень благоприятно для выполнения моего намерения, так как двойная дверь заглушала звуки давала мне достаточную уверенность, что, действуя с некоторой осторожностью, я могу не опасаться быть услышанным. Прежде всего я снял ручные кандалы, потом распилил ножные и, наконец, оказал ту же самую услугу трем железным прутьям, заграждавшим мое окно, до которого я добрался отчасти при помощи своего стула, отчасти при помощи некоторых неровностей стены. На всю эту работу ушло немного больше двух часов. Когда прутья были распилены, я легко сдвинул их немного в сторону и потом вытащил один за другим из стены, в которую они были вделаны примерно на три дюйма вглубь — совсем просто, без всяких предосторожностей на случай, если бы их попытались удалить. Но отверстие, открывавшееся таким образом, отнюдь не было достаточным, чтобы пропустить мое тело. Поэтому

я приступил к разборке кирпичной кладки, пользуясь только своим долотом и отчасти одним из железных прутьев. Вынув таким образом четыре или пять кирпичей, я спускался на пол и складывал их в кучу. Эту операцию я повторил три или четыре раза. После этого отверстие сделалось достаточным для моей цели. Я пролез в него и ступил на крышу сарая снаружи.

Я был теперь на чем-то вроде двора между двумя глухими стенами — южной стеной дневной камеры заключенных (окна которой выходили на восток) и той стеной, которая окружала тюрьму. Но у меня не было, как в первый раз, никаких инструментов, которые помогли бы мне взобраться на стену, имеющую значительную высоту. Следовательно, у меня оставался только один выход: по возможности сделать пролом в нижней части стены, которая отличалась изрядной прочностью, будучи сложена снаружи из камней, а с внутренней стороны облицована кирпичами. Камеры несостоятельных должников были расположены под прямым углом к зданию, из которого я только что ускользнул, и окна их выходили на этот двор. Так как ночь была очень светлая, я подвергался опасности быть обнаруженным. Ввиду этого я решил воспользоваться сараем как прикрытием. Он был заперт. Но я без труда отпер замок разломанным звеном от моих кандалов, которое предусмотрительно захватил с собой. Теперь меня не могли видеть, и я принялся за дело, имея против себя одно неблагоприятное обстоятельство — необходимость для освещения оставить слегка приоткрытой дверь, в которую я только что проник. Через некоторое время я вынул большое количество кирпичей из наружной стены, но когда дошел до камней, мое предприятие показалось мне гораздо более трудным. Известка, скрепляющая кладку, почти окаменела от времени, и при первых моих попытках стена показалась мне сплошной глыбой, твердой как алмаз. Прошло уже шесть часов с того мгновения, как я приступил к своим невероятным трудам; долото мое сломалось при первой попытке преодолеть это новое препятствие, и как тяжесть проделанного, так и явно непреодолимая трудность предстоящего привели меня к убеждению, что мне следует остаться в том месте, куда я попал, и отказаться от мысли о дальнейших усилиях ввиду их бесплодности. В это

время луна, свет которой до тех пор был мне чрезвычайно полезен, зашла, и я оказался в полной темноте.

Однако после десятиминутного перерыва я возобновил наступление с новыми силами. Прошло, наверное, не менее двух часов, прежде чем первый камень был отделен от стены. Еще час — и получилось достаточное отверстие, чтобы пропустить меня. Я оставил в крепостной комнате основательную грудку кирпичей. Но это была всего-навсего кротовая куча по сравнению с количеством обломков наружной стены, которые я набросал. Я твердо уверен, что дело, которое я таким образом проделал, потребовало бы от обыкновенного рабочего, при всех его преимуществах в отношении орудий, от двух до трех дней работы.

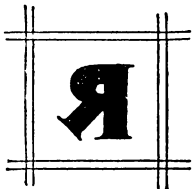
Но трудности для меня, вместо того чтобы кончиться, казались только еще начинались. Рассвело раньше, чем я достаточно расширил отверстие; через десять минут сторожа должны были войти в мое помещение и увидеть разрушения, которые я оставил после себя. Путь, соединяющий тюрьму и прилегающую к ней местность с той стороны, с которой я выбрался, был обнесен в большей своей части двумя глухими стенами, изредка прерывающимися, чтобы дать место конюшням, редким лавкам и нескольким жалким жилищам, населенным людьми из низших слоев. В интересах безопасности мне прежде всего надо было как можно скорее выйти из города и искать спасения за его пределами. Мои руки страшно распухли от работы и покрылись ссадинами, силы мои, казалось, совершенно иссякли от утомления. Я был почти неспособен к сколько-нибудь длительному и быстрому передвижению, да и быстрота, мне казалось, будет бесполезной, потому что враг станет преследовать меня по пятам. Можно было подумать, что я попал почти в то же положение, в котором очутился за пять или шесть недель до этого, когда, уже осуществив свое освобождение, был вынужден без сопротивления отдаться в руки своих преследователей. Однако теперь я не был таким беспомощным, каким меня делала тогда вывихнутая лодыжка. Я мог еще сделать некоторые усилия, в каких пределах — это трудно было сказать, и я отлично понимал, что, если мое предприятие и теперь

потерпит неудачу, это во всех отношениях увеличит трудности, которыми будет сопровождаться всякая следующая попытка. Таковы были соображения, возникшие у меня в связи с бегством. Но и после того, как ему суждено было осуществиться, во всей силе оставалось то затруднение, что ко времени ухода из тюрьмы я оказался без всяких средств: у меня не было ни шиллинга в кармане.

КНИГА
ТРЕТЬЯ



ГЛАВА I



прошел по дороге, которую описал выше, никем не замеченный. Двери домов были заперты, ставни на окнах закрыты; все было еще тихо, как ночью. Я спокойно достиг конца дороги. Если только мои преследователи шли за мной, они, наверно, знали, как трудно было мне найти здесь убежище, и до самого дальнего конца этой дороги шли вперед без колебаний, как вынужден был идти и я.

Окрестность в том месте, на которое я таким образом выбрался, имела суровый и дикий вид. Кругом все заросло кустарником и вереском; почва почти везде была песчаная и поверхность ее чрезвычайно неровная. Я взобрался на маленький пригорок и разглядел на небольшом расстоянии несколько разбросанных хижин. Вид их вовсе не обрадовал меня; я понимал, что в этот момент для моей безопасности необходимо было уклониться от встречи с каким бы то ни было человеческим существом.

Поэтому я опять сошел в долину. После тщательного ее осмотра я убедился, что она изрыта ямами. Некоторые из этих впадин были довольно глубоки, но ни одна из них не могла укрыть человека, а также и вызвать подозрение, что в ней кто-нибудь прячется. Между тем забрезжил рассвет. Утро было пасмурное; и хотя глубина

впадин была, разумеется, хорошо известна окрестным жителям, тени в них были так черны и непроницаемы, что, конечно, могли вызвать некоторую надежду в душе беглеца. Поэтому, как ни жалка была защита, которую они могли предоставить, я счел нужным в настоящую минуту прибегнуть к ней. Дело шло о моей жизни. И чем больше угрожала ей опасность, тем дороже она мне казалась. Углубление, которое я выбрал как наиболее надежное, находилось в сотне ярдов от конца дороги и крайних городских строений.

Не успел я пробыть в этом положении и двух минут, как услышал шаги, и тотчас же вслед за тем мой постоянный сторож вместе с другим прошли мимо того места, где я скрывался. Они прошли так близко от меня, что, протянув руку, я, кажется, мог бы схватить их за одежду, даже не меняя своего положения. А так как между ними и мной не было никакого возвышения земли, то я мог видеть их с головы до ног, хотя сам оставался почти незаметным в густой тени. Я слышал, как они возбужденно толковали между собой: «Будь он проклят, негодяй! Куда мог он деваться?» Ему вторил другой: «Черт бы его побрал! Только бы нам опять схватить его!» — «Не бойся, — отвечал первый, — он не мог опередить нас больше чем на полмили». Скоро я перестал их слышать и не решился двинуться со своего места ни на дюйм, чтобы проводить их глазами, боясь быть обнаруженным преследователями откуда-нибудь с другой стороны. Ввиду краткости времени, которое прошло между моим бегством и появлением этих людей, я решил, что они вылезли в то самое отверстие, которое я проделал, потому что невозможно было в такой короткий срок обогнуть значительную часть города, как это им пришлось бы сделать, если б они вышли из ворот тюрьмы.

Я был до того встревожен усердием моих врагов, что некоторое время не мог рискнуть высунуться даже на дюйм из своего убежища или хотя бы переменить положение тела. На смену утру, пасмурному и холодному, пришел дождливый день; хмурая погода, унылый вид окружающей меня местности, непосредственная близость моей тюрьмы и, наконец, полное отсутствие пищи заставили меня проводить часы с чувствами не из приятных. Однако неприветливость погоды, вызывая ощущение тишины и одиночества, мало-помалу побудила меня пере-

браться в другое подобное же убежище, показавшееся мне более безопасным. В этой же местности, лишь изредка меняя свои укрытия, находился я до тех пор, пока солнце стояло над горизонтом.

К вечеру облака стали расходиться; луна, как и в предыдущую ночь, засияла во всем своем блеске. За весь день я не видел ни одного человеческого существа, если не считать уже упомянутых обоих сторожей. Может быть, это объяснялось погодой; как бы то ни было, я считал слишком опасным отважиться выйти из своего потаенного места в такую светлую ночь. Поэтому мне пришлось ждать захода этого светила, что должно было произойти не ранее чем около пяти часов утра. Единственным облегчением, которое я позволил себе за это время, было то, что я опустил на землю в моем убежище, потому что был уже не в силах оставаться на ногах. Там я впал в тревожную и не приносящую отдыха дремоту — следствие тяжело проведенной ночи и томительного, печального дня; впрочем, я старался воздерживаться от сна, который при такой холодной погоде мог принести мне больше вреда, чем пользы.

Время темноты, которой решил я воспользоваться, чтобы удалиться на большее расстояние от своей тюрьмы, составляло в общей сложности немного менее трех часов. Встав на ноги, я почувствовал, что ослаб от голода и усталости и, что было еще хуже, из-за дневной сырости и сменившего ее ночью сильного холода как будто потерял способность владеть своими членами. Я встал и встряхнулся. Потом я лег на склон холма и стал проделывать разные движения для упражнения мускулов рук и ног, пока наконец чувствительность не вернулась к ним. Эти движения сопровождались невероятной, мучительной болью; потребовалась немалая решимость, чтобы приступить к ним и довести их до конца. Покинув свое убежище, я сначала шел неуверенными, колеблющимися шагами; но по мере того как я подвигался вперед, я ускорял шаг. На бесплодной, покрытой вереском равнине не было никаких дорог, по крайней мере в этой ее части; но светили звезды, и я решил, направляя свой путь по ним, уйти как можно дальше от ненавистных стен, в которых так долго был заточен. Я шел по неровной местности; мне приходилось то брать крутые подъемы, то спускаться в темные и непроходимые лощины.

Опасность пути часто заставляла меня значительно отклоняться от направления, которому я хотел следовать. Все время я подвигался вперед с такой поспешностью, какую только допускали эти препятствия. Быстрая ходьба и чистый воздух вернули мне силы. Я забыл о трудностях, с которыми мне приходилось бороться, и дух мой исполнился бодрости, воодушевления и энтузиазма.

Я достиг теперь края равнины и вступил в то, что обычно называют лесом. Как бы это ни казалось странным, тем не менее верно, что в таком стечении обстоятельств, умирая от голода, не имея никакого пропитания на будущее и окруженный самыми устрашающими опасностями, я вдруг стал пылким, оживленным и веселым. Я считал, что самые большие трудности в моем предприятии уже преодолены, и не допускал мысли, что встречу непреодолимые препятствия в дальнейшем. Я с ужасом вспоминал о заключении, которому был подвергнут, и о грозившей мне участи. Никогда никто живее меня не ощущал прелестей свободы. Никогда никто с большей горячностью не отдавал предпочтения бедности и независимости перед соблазнами жизни в рабстве. С восторгом протягивал я руки вперед, я хлопал в ладоши, я восклицал: «О, вот что значит быть настоящим человеком! На этих запястьях еще недавно висели кандалы! Каждое мое движение — вставал ли я или садился — сопровождалось звоном цепей! Я был прикован, как дикий зверь, и мог двигаться только в пределах нескольких футов. Теперь я могу бежать быстро, как борзая, и прыгать по горам, подобно молодой лани. О боже, — если только есть бог, который снисходит до того, чтобы думать о трепете одиноких, истерзанных страхом сердец, — ты один можешь постичь, с каким восторгом пленник, только что вырвавшийся из своей темницы, лелеет благословенную, вновь обретенную свободу! Святой и неопикуемый миг, когда человек снова возвращает себе свои права! А еще совсем недавно я видел свою жизнь в опасности — из-за того, что нашелся человек, достаточно бесстыдный, чтобы утверждать заведомую ложь. Я был обречен на безвременную и беспощадную смерть от руки себе подобных, потому что никто не обладал достаточной проницательностью, чтобы отличить от лжи то, что я говорил от чистого сердца. Непостижимо, что из века в век одни люди соглашаются отдавать свою

жизнь во власть других только для того, чтобы каждому была предоставлена возможность, в свою очередь, быть тираном согласно закону! О боже, сделай меня бедным, ниспошли на меня все мыслимые в человеческой жизни беды! Я приму их все с благодарностью. Сделай меня добычей диких зверей пустыни, только бы я никогда больше не был жертвой человека, облаченного в окровавленную мантию власти! Позволь мне по крайней мере считать моими собственными жизнь и связанные с ней стремления. Позволь мне видеть ее зависимой от стихий, голодных зверей или мстительных дикарей, но не от хладнокровной жестокости властителей и королей!» Как завиден энтузиазм, который мог сообщить такую энергию мне, голодному, нищему и всеми покинутому!

Я прошел уже по меньшей мере шесть миль. Сначала я тщательно обходил жилища, расположенные на моем пути, и старался остаться не замеченным никем из тех, кому они принадлежали, чтобы это не дало указаний моим преследователям в их поисках. Отойдя на значительное расстояние, я счел возможным несколько ослабить свою осторожность. В это время я заметил нескольких человек, выходявших из ближайшей ко мне чащи леса. Я тотчас же рассудил, что это обстоятельство может скорее благоприятствовать мне, чем принести вред. Мне не следовало входить в окрестные города и деревни. Но я уже нуждался в чем-нибудь подкрепляющем, и мне представлялось очень вероятным, что эти люди смогут помочь мне чем-нибудь в этом отношении. В моем положении мне казалось безразличным, каково их занятие и звание. Разбойников мне нечего было бояться; я думал, что и они, подобно честным людям, не могут не почувствовать некоторого сострадания к человеку в моем положении. Поэтому я не только не стал уклоняться от встречи с ними, но сам к ним направился.

Это были разбойники. Один из их шайки крикнул:

— Кто идет? Стой!

Я обратился к ним:

— Джентльмены, я бедный путник, едва не...

При этих словах они окружили меня, и первый, окликнувший меня, сказал:

— Проклятье! Нечего тут нам морочить голову! Вот уже пятый год слушаем мы эту историю про бедного путника! Лучше замолчи! И показывай, что у тебя есть!

— Сэр, — возразил я, — у меня нет ни одного шиллинга за душой, и я умираю от голода.

— Ни шиллинга? — отозвался нападающий. — Значит, ты беден, как разбойник? Но если у тебя нет денег, так есть одежда, и с ней тебе придется расстаться.

— С одеждой? — возразил я в гневе. — Вы не можете этого требовать! Разве не довольно того, что у меня нет ни гроша? Я провел всю ночь под открытым небом. Вот уже второй день, как я не видел и куска хлеба. Неужели вы разденете меня донага в такую погоду, в глухом лесу? Этого быть не может, ведь вы люди! Та самая ненависть к угнетению, которая вооружает вас против наглости богатых, учит вас помогать тем, кто гибнет, как я. Ради бога, накормите меня! Не отнимайте у меня единственного достоинства, которым я еще располагаю!

Пока я произносил это обращение к ним, преисполненное непредумышленного красноречия чувства, я заметил по их жестам, хотя еще не начало рассветать, что сочувствие одного или двух из их шайки как будто склоняется в мою пользу. То же заметил и человек, принявший на себя роль их оратора, и, побуждаемый свирепостью своего нрава или властолюбием, он поспешил предотвратить позор своего поражения. Он вдруг кинулся на меня и отбросил меня на несколько футов от того места, где я стоял. От полученного толчка я налетел на другого члена шайки, не из тех, которые сочувственно слушали мои увещания, и он повторил ту же грубую выходку. Мое негодование бурно вскипело от такого обращения. И после того как меня таким образом швырнули вперед и назад два или три раза, я прорвал круг нападающих и обернулся к ним, чтобы защищаться. Первым приблизился ко мне мой первоначальный враг. В это мгновение я повиновался только голосу гнева и уложил его на землю во весь рост. Тотчас на меня со всех сторон обрушились палки и дубинки, и скоро я получил такой удар, что едва не лишился чувств. Человек, которого я свалил, был уже опять на ногах и в ту минуту, когда я падал, занес надо мной кинжал; удар пришелся в шею и нанес мне глубокую рану. Мой противник намеревался повторить его. Те двое, которые сначала как будто не решались отдаться злобе, потом, по-видимому, присоединились к нападавшим, побуждаемые либо стадным чувством, либо духом подражания.

Однако один из них, как я узнал впоследствии, схватил за руку человека, который собирался второй раз ударить меня кинжалом, что, вероятно, положило бы конец моему существованию. Я расслышал слова:

— Черт возьми! Довольно, довольно! Не надо, Джайнс!

— Это почему? — возразил другой голос. — Он будет только мучиться здесь, в лесу, и умирать медленной смертью. Прикончить его — это было бы даже милосердно.

Разумеется, я был немало заинтересован в исходе этих препирательств. Я попробовал заговорить — голос мне не повиновался. Я умоляюще протянул руку.

— Ты не ударишь, клянусь! — сказал один. — К чему нам быть убийцами?

Наконец милосердие одержало верх. Они удовлетворились тем, что содрали с меня камзол и жилет и оттащили меня в сухой ров. После этого они ушли, не обращая ни малейшего внимания на мое отчаянное положение и на кровь, обильно струившуюся из моей раны.

ГЛАВА II

В этом горестном положении, хотя и очень ослабевший, я не потерял сознания. Сорвав со своего тела рубаху, я не без успеха постарался сделать из нее повязку, чтобы остановить кровотечение. Потом я приложил все усилия, чтобы всползти по откосу рва. Не успел я это выполнить, как с изумлением и радостью, которые были одинаково сильны, увидел человека, проходившего невдалеке. Я стал звать на помощь. Человек направился ко мне, проявляя все признаки сострадания. В самом деле, картина, которую я представлял, была способна пробудить это чувство. Я был без шляпы. Мои волосы растрепались, и на концах их прядей запеклась кровь. Рубашка у меня была обмотана вокруг шеи и плеч и сильно окровавлена. Мое тело, обнаженное до пояса, было изукрашено кровавыми струями. Вся одежда была в крови.

— Боже мой! — сказал он голосом, преисполненным величайшей доброты, какую только можно себе предста-

вить. — Что это с вами, мой друг? — С этими словами он поднял меня и поставил на ноги. — Можете ли вы держаться на ногах? — спросил он с некоторым сомнением.

— О да, вполне, — отвечал я.

Получив такой ответ, он отошел и стал снимать с себя верхнюю одежду, чтобы укрыть меня от холода. Однако я слишком понадеялся на свои силы: предоставленный самому себе, я тотчас зашатался и повалился на землю. Но я смягчил падение, подставив здоровую руку, и привстал на колени. Тут мой благодетель одел меня, поднял на ноги и, предложив мне опереться на него, сказал, что сейчас же отведет меня в такое место, где обо мне позаботятся.

Мужество — свойство прихотливое, и если я обладал, казалось, неистощимым запасом его, когда мне не на кого было надеяться, кроме как на самого себя, то оно начало ослабевать, как только я встретил неожиданное сочувствие; я почувствовал, что готов потерять сознание. Мой милосердный спутник заметил это и принялся на каждом шагу подбадривать меня так весело, добродушно и ласково, тоном одинаково чуждым и мучительно-назойливых увещаний и слабой снисходительности, что мне почудилось, что меня ведет ангел, а не человек. Я заметил, что в его поведении нет ни малейшей грубости, что он целиком проникнут сердечной внимательностью.

Мы прошли около трех четвертей мили, но не к выходу из леса, а в самую дикую и непроходимую чащу. Мы пересекли место, бывшее когда-то рвом, наполненным водой, в котором теперь сохранилось немного грязной стоячей воды. За рвом я заметил лишь груды развалин и стены, верхняя часть которых, казалось, висела над основанием и готова была обрушиться. Пройдя под сводчатыми воротами и миновав извилистый коридор, где было совершенно темно, мы остановились.

В дальнем конце этого коридора была дверь, которую я не сразу разглядел. Мой спутник постучал в нее, и на стук изнутри ответил голос, который по силе мог быть голосом мужчины, но отличался некоторой женской визгливостью и резкостью: «Кто там?» Как только последовал ответ, раздался шум отодвигаемого двойного засова, и дверь отворилась. Открылось помещение, и мы вошли в него. Внутренность жилища ничуть не соответствовала наружности моего покровителя, а, наоборот, имела вид

убогий, запущенный и грязный. Единственная особа, которую я там увидел, была пожилая женщина, в облике которой было что-то странное и отталкивающее. Ее глаза были красны и налиты кровью; волосы падали на плечи спутанными жесткими космами; смуглая кожа напоминала пергамент; сложения она была худощавого, но все ее тело, в особенности руки, было необыкновенно крепко и мускулисто. Казалось, что сердце ее наполняет не молоко человеческой доброты, а лихорадочная кровь дикой жестокости. Вся ее фигура вызывала представление о непреодолимой энергии и ненасытной жажде творить зло.

Едва эта адская Фалестра* увидела нас входящими, как воскликнула хриплым и сердитым голосом:

— Это еще кто такой? Он не из наших!

Мой покровитель, не отвечая на это обращение, велел ей пододвинуть кресло, стоявшее в углу, и поставить его у самого огня. Она сделала это с явной неохотой, бормоча:

— Ах, опять ваши прежние штучки! Желала бы я знать, на что милосердие таким людям, как мы? В конце концов это нас погубит, вот увидите!

— Придержи язык, старая ведьма! — сказал он сурово и выразительно. — И принеси одну из моих лучших рубах, жилет и что-нибудь для перевязки.

С этими словами он вложил ей в руку небольшую связку ключей. Он обошелся со мной с такой добротой, как если бы был моим отцом. Он осмотрел мою рану, промыл ее и перевязал, в то время как старуха, подчиняясь его решительному приказанию, готовила для меня такую пищу, какую он нашел для меня наиболее пригодной.

Когда все это было сделано, мой благодетель посоветовал мне лечь отдохнуть. Для этого уже делались приготовления, как вдруг раздался топот и вслед за ним стук в дверь. Старуха открыла дверь с такими же предосторожностями, какие употребила при нашем приходе, и тотчас же шесть или семь человек с шумом вошли в помещение.

Они были не похожи друг на друга: одни выглядели простыми деревенскими парнями, у других был вид потрепанных дворян. У всех была общая черта — смесь наглости, тревоги и смятения, совсем непохожая на то, что мне приходилось наблюдать в других таких же

компаниях. Но удивление мое еще более возросло, когда, продолжая рассматривать их, я заметил в наружности некоторых из них, в особенности одного, нечто убедившее меня, что это — та самая шайка, от которой я только что спасся, а в другом должен был признать моего противника, злоба которого едва не погубила меня окончательно. Я подумал, что они явились в эту лачугу с враждебными намерениями и мой благодетель подвергается опасности быть ограбленным, а я, по всей вероятности, — убитым.

Однако это подозрение вскоре рассеялось. Они обращались к моему спутнику с уважением, называя его начальником. Их замечания и вопросы были буйны и шумны, но бесчинство смягчалось у них известным уважением к его суждениям и авторитету.

В человеке, который выступил моим открытым врагом, я мог заметить некоторую неловкость и замешательство, как только он увидел меня; но он с явным усилием отогнал их, воскликнув:

— Кого это черт принес сюда?

В тоне этого восклицания было нечто привлекавшее внимание моего покровителя. Он устремил на говорившего пристальный взгляд и сказал:

— Вот как, Джайнс! Ты уже видел этого человека?

— Черт возьми, Джайнс, — вмешался третий голос, — тебе дьявольски не везет. Говорят, покойники являются людям. Как видишь, в этом есть доля правды.

— Полно тебе чепуху пороть, Джиколс! — возразил мой покровитель. — Это неподходящий случай для шуток. Отвечай мне, Джайнс, ты ли повинен в том, что сегодняшним холодным утром этот молодой человек был оставлен в лесу голый и раненый?

— А может, и я! Что из этого?

— Что могло заставить тебя поступить с ним так жестоко?

— Мало ли что... Довольно важная причина. У него не было денег.

— Как? Ты поступил с ним так даже не оттого, что он рассердил тебя своим сопротивлением?

— Ну да, он сопротивлялся. Я только толкнул его, а у него хватило дерзости ударить меня.

— Ты неисправимый малый, Джайнс!

— Э, да не все ли равно, что я такое? Вы со своей жалостливостью да высокими чувствами всех нас до виселицы доведете!

— Мне тебе нечего сказать. Я махнул на тебя рукой! Товарищи, решайте вопрос о поведении этого человека, как найдете нужным. Вы знаете, сколько за ним проступков. Вы знаете, как я старался исправить его. Наше дело — дело справедливости. (Так предрассудок всегда заставляет человека расцвечивать самое безнадежное дело, за которое он решил взяться.) Мы, воры без патентов, ведем открытую войну с другой породой людей — ворами по закону. Имея такую задачу, воодушевляющую нас, станем ли мы пятнать ее жестокостью, коварством и мстительностью? Конечно, вор — человек, живущий среди равных. Поэтому я не собираюсь притязать на какую-нибудь власть над вами: поступайте как находите нужным. Но что касается меня, я голосую за то, чтобы Джайнс был изгнан из нашей среды как человек, позорящий наше общество.

Это предложение было встречено, по-видимому, одобрительно. Легко было заметить, что остальные разделяют мнение главаря. Однако, несмотря на это, некоторые не знали, как им быть. Между тем Джайнс угрюмо и неуверенно бормотал, чтоб они береглись и не бросали ему вызова. Этот намек в одно мгновение пробудил мужество моего покровителя, и в глазах его вспыхнуло презрение.

— Негодяй! — сказал он. — Ты грозишь нам? Думаешь, мы будем твоими рабами? Нет, нет! Делай самое худшее из того, что сможешь сделать. Ступай к ближайшему мировому судье и донеси на нас. Нетрудно поверить, что ты на это способен. Вступая в эту шайку, сударь, мы не были такими дураками, чтобы не понимать, что это дело опасное. Одна из опасностей — предательство со стороны такого, как ты. Но мы вступили сюда не для того, чтобы теперь отступать. Неужели ты думаешь, что мы станем жить в ежечасном страхе перед тобою, дрожать при твоих угрозах и мириться с твоей наглостью? Счастливая была бы это жизнь, нечего сказать! Лучше я живьем позволю содрать все свое мясо с костей! Ступай! Я не боюсь тебя. Ты не посмеешь сделать это! Не осмелишься принести этих храбрецов в жертву своей ярости! И показать себя перед всем

светом предателем и мерзавцем! Если ты это сделаешь, ты накажешь самого себя, а не нас. Уходи!

Бесстрашие предводителя подействовало на всю шайку. Джайнс сразу понял, что нет надежды вызвать у них сочувствие. После короткого молчания он ответил:

— У меня не было намерения... Нет, черт возьми! Я тоже не стану скулить. Я всегда был верен своим правилам и был другом всем вам. Но раз вы решили выставить меня — что ж, прощайте!

Благодаря изгнанию этого человека произошло заметное улучшение во всей шайке. Те, кто раньше был склонен к человеколюбию, убедившись, что такого рода чувства поощряются, воспрянули духом. Прежде они позволяли одерживать верх над своей добротой, а теперь усвоили — и с успехом — новый образ действий. Те, кто завидовал влиянию Джайнса и потому подражал его поведению, начали колебаться. Послышались рассказы о жестокости и грубости Джайнса как к людям, так и к животным, раньше никогда не доходившие до предводителя. Я не стану их повторять. Они вызывали ужас и омерзение, а некоторые из них свидетельствовали о такой степени развращенности, что показались бы многим читателям совершенно неправдоподобными. И все-таки у этого человека были свои добродетели. Он был предприимчив, настойчив и верен своему слову.

Его удаление было немалым благодеянием для меня. Оказаться покинутым на произвол судьбы при моих плачевных обстоятельствах, вдобавок к ране, которая была мне нанесена, было для меня большим несчастьем. А между тем я вряд ли отважился бы остаться под одной кровлей с человеком, для которого мой вид был укором совести, постоянно напоминающим ему о собственной обиде и о недовольстве его предводителя. Ремесло приучило его довольно равнодушно смотреть на преступления и снисходительно относиться к вспышкам гнева, и он без труда нашел бы случай оскорбить и обидеть меня, в то время как у меня не было другой защиты, кроме собственных ослабленных сил.

Освобожденный от этой опасности, я нашел свое положение достаточно счастливым. Для человека, вынужденного скрываться, оно имело все выгоды, о каких только можно было мечтать, и вместе с тем оно не было лишено

приятности, проистекавшей от доброго и человеколюбивого отношения окружающих.

Не было никакого сходства между теми ворами, которых я знал в тюрьме, и теми, среди которых жил теперь. Последние в большинстве своем были полны жизнерадостности и веселья. Они могли бродить свободно, где им вздумается. Они могли строить планы и осуществлять их. Они сообразовывались со своими наклонностями. Они не обременяли себя, как это слишком часто бывает в человеческом обществе, притворным молчаливым одобрением того, что больше всего заставляет их страдать, или, что еще хуже, попытками уверить самих себя, что все напасти, которые они терпят, — справедливы. Они открыто воевали со своими притеснителями. Наоборот, заключенные преступники, которых я видел недавно, были заперты, как дикие звери в клетке, и лишены деятельности; они оцепенели от праздности. Случайные проявления того, что осталось от их прежней предприимчивости, были приступами и судорогами болезни, а не обдуман-ными и последовательными усилиями здорового ума. У них не было надежд, замыслов, золотых счастливых мечтаний; у них были только мысли о самых печальных предметах; обо всем другом им запрещено было даже думать. Правда, обе эти стороны были частями одного целого, так как одна составляла завершение или всегда возможные последствия другой. Но люди, которые меня теперь окружали, вовсе не думали об этом.

Как я уже сказал, я мог только радоваться своему новому местопребыванию, поскольку оно вполне отвечало моим намерениям скрываться от всех. Это было место забав и веселья; но то веселье, которое ему было свойственно, не будило ответных чувств в моей душе. Люди, составлявшие этот круг, сбросили с себя путы установленных правил: их ремеслом было — внушать ужас, их постоянной заботой — обманывать бдительность общества. Все эти обстоятельства имели ощутительное влияние и на их характеры. Я встретил в их среде милосердие и доброту; они были очень склонны к великодушным поступкам. Но насколько их положение было ненадежно, настолько и чувства их были непостоянны. Привыкнув к враждебности себе подобных, они были раздражительны и вспыльчивы. Приученные жестоко обращаться с жертвами своих нападений, они нередко давали

волю своей бесчеловечности и при других обстоятельствах. Они привыкли смотреть на удары кинжалом как на простейший способ преодоления всех препятствий.

Не вовлеченные в расслабляющий круговорот людских дел, они часто обнаруживали энергию, которая вызвала бы восхищение у всякого беспристрастного наблюдателя. Энергия, быть может, составляет самое ценное из человеческих качеств. И справедливый политический строй нашел бы способ извлечь из нее пользу, вместо того чтобы обречь ее, как это делается сейчас, на уничтожение. Мы часто поступаем как химик, который отверг бы самый чистый металл и стал бы пользоваться им только с примесями, сделавшими его пригодным лишь для немедленного и самого низменного употребления. Впрочем, энергия этих людей, как я мог это наблюдать, получала применение в высшей степени ложное; не поддержанная великодушными и просвещенными взглядами, она направлялась только на самые ограниченные и презренные цели.

Многим покажется, быть может, что жилище, мною описанное, отличалось множеством самых невыносимых неудобств. Но, не говоря уже о его преимуществах как места для наблюдений, оно было Элизием* по сравнению с тем, из которого я только что бежал. Неприятное общество, неудобное помещение, грязь и разгул не сочетались тут с тем главным условием, при котором все это могло особенно тяготить меня, поскольку я не был вынужден оставаться среди всего этого против моей воли. Я готов был терпеливо сносить все тяготы, когда сравнивал их с угрозой насильственной и безвременной смерти. Всевозможные страдания я был готов считать незначительными, кроме страданий, вызываемых тиранией, тупой подозрительностью или бесчеловечной мстительностью моих близких.

Мое выздоровление подвигалось вперед самым благоприятным образом. Внимание и доброта моего покровителя были неослабны; другие, по его примеру, вели себя в том же духе. Только старуха, ведавшая хозяйством, сохраняла враждебное отношение ко мне. Она считала меня причиной изгнания Джайнса из их компании. Джайнс был предметом ее особого расположения; кроме того, ревнуя об общей пользе, она считала, что неопытный новичок — плохая замена старому, искушенному

грешнику. Прибавьте к этому, что по своей природе она была склонна к угрюмости и брюзжанию и вообще не могла существовать без того, чтобы не излить на кого-нибудь избыток желчи. Она не упускала случая проявить свою злобу по самым ничтожным поводам и то и дело бросала на меня яростные, сулящие гибель взгляды. Ничто так не раздражало ее, как отсрочка исполнения ее злобных замыслов, а также несносная мысль, что такая гигантская и безудержная жестокость должна находить себе выход лишь в жалкой досаде служанки. Что касается меня, то я уже привык вести борьбу с сильными противниками и встречать грозные опасности, и ее ненависть, даже когда я замечал ее, не могла нарушить моего спокойствия.

Поправившись, я рассказал своему покровителю мою историю, кроме того, что относилось к разоблачению тайны мистера Фокленда. Я все еще не мог заставить себя открыть это обстоятельство, хотя в том положении, в котором я находился, можно было надеяться, что сообщение не будет употреблено во зло моему преследователю. Впрочем, мой новый слушатель, смотревший на вещи совсем иначе, чем мистер Форстер, не понял моей сдержанности дурно и не истолковал в неблагоприятную для меня сторону неясность, вытекавшую из этого умолчания. Его пронизательность была такова, что обещала мало успеха обманщику, который пожелал бы ввести его в заблуждение вымышленным рассказом, и он на нее полагался. Безыскусственность и прямота моего поведения внушали ему доверие ко мне и обеспечили мне его хорошее отношение и дружбу.

Он со вниманием выслушал мою историю и делал иногда замечания во время рассказа. Он сказал, что это только новый пример деспотизма и вероломства, проявляемых могущественными членами общества к тем, кто меньше взыскан судьбой, чем они. Не может быть никаких сомнений в том, что они готовы принести человеческий род в жертву самым низменным своим выгодам или самым необузданным прихотям. Кто же, правильно понимающий положение, станет ждать, когда угнетатель найдет уместным приговорить его к уничтожению, вместо того чтобы взять в руки оружие и защищаться, пока это еще возможно? Что достойнее: не оказывающая сопротивления и малодушная покорность раба или предпри-

имчивость и отвага человека, который осмеливается отстаивать свои права? Поскольку несправедливое применение наших законов приводит к тому, что правде, против которой выступает сила, нечего ждать, кроме осуждения, каждый по-настоящему смелый человек не преминет бросить вызов этим законам; поскольку ему приходится страдать от их несправедливости, он попытается по крайней мере выказать свое отвращение к ярму законов. Что касается его самого, он, разумеется, ни за что не взялся бы за теперешнее свое ремесло, если б его не побудили к этому вышеуказанные веские причины; и он надеется, что раз опыт так властно привел меня к подобному убеждению, он будет иметь удовольствие приобщить меня к своим стремлениям. Вскоре будет видно, какие события разрушили эти надежды.

Шайка, среди которой я находился, действовала очень осторожно. Ее главным правилом было не совершать никаких грабежей иначе, как на значительном расстоянии от ее местопребывания. Джайнс нарушил это правило, совершив нападение, благодаря которому я приобрел теперешнее свое убежище. Захватив какую-нибудь добычу, они всегда шли до тех пор, пока их могли видеть ограбленные, в направлении, по возможности прямо противоположном тому, где находился их притон. Место их пребывания и его окрестности были чрезвычайно пустынные и заброшены; ходили слухи, что там появляются привидения. Старуха, которую я описал, давно жила в этих развалинах, и все считали ее единственной их обитательницей; ее наружность хорошо согласовалась с представлением деревенских жителей о ведьме. Ее жильцы никогда не выходили и не возвращались иначе, как с величайшей осторожностью, большей частью ночью. Свет, который иногда появлялся в разных местах развалин, вызывал ужас у деревенских жителей, считавших его сверхъестественным. А если до слуха их доносился шум попойки, они воображали, что это шабаш ведьм. При всех этих преимуществах разбойники не решались оставаться там постоянно. Они часто исчезали на несколько месяцев, перебираясь в отдаленную часть страны. Старуха иногда сопровождала их в этих переездах, а иногда оставалась на месте. Но она всегда перебиралась либо раньше, либо позже их, чтобы самый внимательный наблюдатель не мог заметить связи между

ее возвращением и тревогами по поводу участвовавших грабежей. А шабаши ведьм, по мнению напуганных сельских жителей, продолжались одинаково как в присутствии, так и в отсутствии старухи.

ГЛАВА III

Я оставался все в том же положении, когда однажды случилось обстоятельство, невольно привлекшее мое внимание. Двое из наших людей посланы были в город, находившийся в нескольких милях от нас, за покупками разных вещей, в которых мы имели нужду. Сдав принесенное нашей домоправительнице, они отошли в дальний угол комнаты, после чего один из них вынул из кармана печатный лист, и они стали все вместе изучать его содержание. Я сидел в кресле у огня, чувствуя себя уже значительно лучше, чем раньше, но все еще слабый и вялый. Почитав некоторое время, они взглянули на меня, потом на бумагу, потом опять на меня, после чего все вместе вышли из комнаты, как бы для того, чтобы без помехи обсудить нечто заключавшееся в листке. Немного погодя они вернулись, и в то же самое время в комнату вошел мой покровитель, которого не было во время предшествующей сцены.

— Начальник, — сказал один из них с довольным видом, — взгляните-ка. Мы захватили славную добычу! Думаю, что это вроде как бы банковый билет в сто гиней!

Мистер Раймонд (таково было его имя) взял бумагу и прочел ее. С минуту он помолчал. Потом смял бумагу в руке и, обратившись к тому, от кого получил ее, сказал тоном человека, который уверен в убедительности своих доводов:

— На что тебе эти сто гиней? Разве ты нуждаешься? Разве ты находишься в беде? Неужели ты согласишься получить их ценой предательства, нарушения законов гостеприимства?

— По чести, начальник, я и сам не знаю. Мы нарушаем столько других законов, что я не понимаю, почему мы должны пугаться старых бредней. Мы хотим сами себе быть судьями, и нам не годится отступать, испугав-

шись какой-то присказки. Да и дело это доброе. Я думаю, что в том, чтобы погубить такого вора, вреда не больше, чем в том, чтобы позаботиться о своем обеде.

— Вора! Это ты говоришь о воре?

— Полегче, начальник! Упаси боже, чтобы я сказал хоть слово против воровства, если оно постоянное ремесло! Только крадет-то один так, а другой — иначе. Что касается меня, я иду на большую дорогу и отнимаю у первого встречного, чужого человека то, без чего он — сто раз против одного — прекрасно обойдется. Не понимаю, что в этом дурного. А совесть у меня есть, как у всякого другого. И если плевать мне на суды, да на взбитые парики, да на виселицы и если я не даю отпугнуть себя от некоторых безобидных дел, когда законники говорят «нет», — так неужели же я должен сочувствовать мелким воришкам, негодьям-слугам и людям без правды и правил? Нет, я слишком уважаю свое ремесло и всегда буду врагом тех, кто его подрывает. За одно то, что свет зовет их моим именем, они достойны моей ненависти!

— Ты неправ, Ларкинс! Ты ни в коем случае не должен пускаться в ход против людей, которых ненавидишь, — если даже твоя ненависть имеет основания, — орудие того самого закона, который ты в своем деле презираешь. Будь последователен. Либо ты друг закона, либо ты его противник. Поверь, где бы ни существовали законы, везде они будут против таких, как мы с тобой. Значит, либо все мы заслуживаем кары закона, либо закон — орудие неподходящее, чтобы исправлять человеческие проступки. Говорю тебе это, чтобы ты как следует понял, что доносчик или соучастник в доносе, человек, употребивший доверие другого для того, чтобы предать его, или продавший жизнь своего собрата за деньги, или обратившийся из трусости к закону, чтобы закон сделал за него то, что он сам не умеет или не решается сделать, — такой человек — гнуснейший из негодяев! Кроме того, твои доводы, будь они самые верные, к настоящему случаю не относятся.

Пока мистер Раймонд говорил это, в комнату вошли остальные члены шайки. Он тотчас повернулся к ним и сказал:

— Друзья мои, у меня есть известие, только что доставленное Ларкинсом, и с его разрешения я вас с ним познакомлю.

Потом, развернув полученную бумагу, он продолжал: — Это описание преступника с обещанием награды в сто гиней за его поимку. Ларкинс принес эту бумагу из... Судя по времени и другим обстоятельствам, а больше всего по самому подробному описанию личности преступника, не может быть сомнения, что дело идет о нашем юном друге, которого я недавно спас. Его обвиняют в том, что он воспользовался доверием своего благодетеля и покровителя, чтобы обворовать его на значительную сумму. По этому обвинению он был посажен в тюрьму графства, откуда две недели тому назад бежал, не решаясь предстать перед судом — обстоятельство, которое обвинители считают равносильным признанию вины.

Друзья мои, я подробно познакомился с этой историей несколько времени тому назад. Этот мальчик рассказал ее мне, когда ничто еще не заставляло его предполагать, чтобы это могло послужить ему средством, ограждающим от опасности. Кто из вас такой простак, чтобы видеть в его бегстве доказательство вины? Найдется ли человек, который, будучи предан суду, рассчитывал бы, что его невиновность или вина решат исход дела? Найдется ли человек достаточно безрассудный, чтобы добровольно предстать перед судом, когда те, кто должен решить его участь, думают больше о гнусности деяния, в котором он обвиняется, чем о том, кто его совершил? Побуждения, руководившие нами, устанавливаются там показаниями невежественных свидетелей, от которых ни один разумный человек не стал бы ждать правдивого рассказа даже о самом незначительном своем проступке.

История бедного мальчика длинна, и я не стану утомлять вас ею. Но ясно как день, что из-за его желания оставить службу у своего хозяина, из-за излишнего, пожалуй, любопытства насчет дел своего хозяина и, насколько я догадываюсь, из-за того, что ему была доверена какая-то важная тайна, хозяин его стал питать к нему вражду, которая мало-помалу достигла таких размеров, что побудила хозяина изобрести это гнусное обвинение. По-видимому, он предпочел убрать парня с дороги, повесив его, чем допустить, чтобы тот шел куда ему вздумается, освободившись от хозяйской власти. Уильямс рассказал мне всю эту историю с большой пря-

мотой, и в том, что он не виноват, я уверен, как в самом себе. И все-таки слуги хозяина, в присутствии которых было выдвинуто обвинение, а также его родственник, который в качестве мирового судьи вынес решение и имел глупость считать себя беспристрастным, стали единодушно на сторону хозяина и этим показали Уильямсу пример того, что его ожидает впоследствии.

Ларкинс, который не знал подробностей, когда к нему попала эта бумага, стоял за то, чтобы воспользоваться ею и заработать сто гиней. Согласны ли вы с ним — теперь, когда вы узнали подробности? Захотите ли вы из таких низких соображений выдать ягненка волку? Станете ли вы содействовать домогательствам кровожадного злодея, который, не довольствуясь тем, что изгнал своего подчиненного из дому, отнял у него доброе имя, средства к существованию и лишил его убежища, еще жаждет его крови? Если ни у кого другого нет мужества поставить предел деспотизму суда, разве не следует нам сделать это? Неужели мы, добывающие себе пропитание благородной отвагой, будем обязаны хоть одним грошом гнусному коварству доносчика? Неужели мы, против которых весь человеческий род стоит с оружием в руках, откажем в защите человеку, более нас подвергающемуся преследованиям, хотя он менее всего их заслужил?

Увещания начальника немедленно произвели свое действие на всю компанию. Все в один голос закричали:

— Выдать его? Ни за что на свете! У нас он в безопасности! Будем защищать его, не щадя жизни! Если верность и честь будут изгнаны из среды разбойников, где же им найти прибежище на земле? ¹

Особенно Ларкинс благодарил начальника за его вмешательство и клялся, что скорее позволит отрубить себе правую руку, чем причинит зло такому достойному юноше или станет пособником такого неслыханного злодея. С этими словами он взял меня за руку и просил не тревожиться: под их кровлей со мной не случится ничего дурного; и даже если ищейки закона обнаружат мое убежище, разбойники умрут все до одного, прежде чем

¹ Это, как мне кажется, пародия на знаменитые слова короля французского Иоанна, взятого в плен Черным Принцем в битве при Пуатье. (Прим. автора.) *

хоть один волос упадет с моей головы. Я от всего сердца поблагодарил его за участие; но больше всего меня тронула пламенная доброта моего благодетеля. Я сказал им, что убедился в неумолимости моих врагов, которые успокоятся, только пролив мою кровь, и уверил их с самой торжественной и безусловной убежденностью, что ничем не заслужил тех преследований, которым подвергаюсь.

Воодушевление и энергия мистера Раймонда были так велики, что от меня ничего больше не требовалось, чтобы отразить эту непредвиденную опасность. Но этот случай произвел на меня глубокое впечатление. Я все время надеялся, что в мистере Фокленде заговорит чувство справедливости. Хотя он ожесточенно преследовал меня, я все же думал, что он делает это неохотно, и был убежден, что это не будет длиться вечно. Человек, руководивший когда-то правилами высокой чести и порядочности, не мог рано или поздно не подумать о том, как несправедливо он поступает, не мог не ослабить своей жестокости. Эта мысль все время жила во мне и в немалой степени поощряла меня к новым усилиям. Я говорил себе: «Я докажу своему гонителю, что стою больше, чем быть принесенным в жертву из простой осторожности». Мои надежды находили подтверждение в поведении мистера Фокленда при моем аресте и при разных других обстоятельствах, имевших место после него.

Но это новое событие совсем меняло дело. Теперь я увидел, что, не удовлетворившись очернением моего доброго имени, временным заточением меня в тюрьму и низведением меня до положения бездомного бродяги, он, несмотря на мою беспомощность, продолжает свои преследования с неослабевающей жестокостью. На этот раз душа моя, кажется, впервые преисполнилась гневом и обидой. Я хорошо знал его жизнь, мне были известны его несчастья, и в то же время моя уверенность в их незаслуженности была так велика, что, даже глубоко страдая, я продолжал скорее жалеть своего гонителя, чем ненавидеть его. Но это происшествие произвело значительную перемену в моих чувствах.

Я говорил себе: «Теперь он, конечно, должен был бы считать, что я достаточно обезоружен, и оставить меня в покое, по крайней мере предоставить меня моей судьбе — ненадежному и полному опасностей положению

беглого преступника, — вместо того чтобы так разжигать вражду и жажду преследования против меня. Неужели его заступничество за меня перед суровой строгостью мистера Форстера и разные добрые поступки после этого были с его стороны только комедией, чтобы заставить меня быть терпеливым? Может ли быть, чтобы его все время терзала боязнь быть призванным к ответу, и поэтому он притворялся, будто раскаивается, в ту самую минуту, когда тайно пускал в ход все средства, которые должны были обеспечить мою гибель?» Одна мысль о такой возможности наполняла меня невыразимым ужасом и внезапно пронизывала меня холодом до мозга костей.

Между тем рана моя совсем зажила, и пришло время принять решение относительно моего будущего. Я испытывал непреодолимое отвращение к занятию своих хозяев. Конечно, я не чувствовал того омерзения и ужаса к этим людям, которые они обыкновенно внушают. Я видел и уважал их добрые качества. Я вовсе не был склонен считать их худшими из людей или по своим наклонностям более враждебными благополучию своего ближнего, чем большинство тех, которые свысока и с величайшей строгостью взирают на них. Но, продолжая любить их, я ни на минуту не закрывал глаз на их заблуждения. Ведь мне пришлось наблюдать преступников в тюрьме, прежде чем изучать их в состоянии сравнительного благоденствия. И это было безошибочным противоядием. Я видел, что в этом ремесле выдаются необыкновенная энергия, изобретательность, мужество, и невольно думал, как удивительно полезны могли бы быть эти достоинства на великом поприще человеческой деятельности. А между тем в нынешнем их употреблении они тратились даром, на цели, прямо враждебные основным общественным интересам. И для собственной выгоды этих людей поступки их были столь же вредны, сколь несовместимы с общим благом. Человек, рискующий либо жертвующий жизнью за общественное дело, находит вознаграждение в свидетельстве своей удовлетворенной совести; те же, кто необдуманно бросает вызов необходимым, хотя и чудовищно преувеличенным предосторожностям власти в деле охраны собственности, будучи в глазах других устрашающей угрозой обществу, в то же время, что касается их самих, оказываются вряд

ли менее безрассудными и неосторожными, чем человек, который выставился бы в качестве мишени для стрельбы шеренги мушкетеров.

Рассуждая таким образом, я решил, что не только не стану участвовать в их предприятиях, но постараюсь в ответ на благодеяния, полученные от них, убедить их бросить ремесло, от которого сами они должны пострадать больше всех. Мои уговоры были приняты по-разному. Все, к кому они были обращены, уже успели более или менее убедить себя в невинности их занятия, а сомнения, которые еще сохранялись в их умах, были заглушены или, если так можно выразиться, тщательно забыты. Одни смеялись над моими доводами как над смешным примером проповеднического сумасбродства. Другие, в особенности наш предводитель, отвергали их с решительностью людей, уверенных, что правда на их стороне. Но это чувство беспечности и самодовольства держалось недолго. До тех пор они имели дело с доводами, почерпаемыми в религии и ссылались на святость закона, а с той и другим они давно покончили как с предрассудками. Однако мой взгляд на дело покоился на таких началах, которые они не могли оспаривать, да и увещания мои вовсе не походили на привычные наставления, которые жужжат в ушах, не встречая отклика в сердце. В ответ на мои возражения, неожиданные и убедительные, они начали раздражаться и ворчать. Не таково было поведение мистера Раймонда, отличавшегося чистосердечием, равного которому мне почти не приходилось видеть. Он был удивлен, услышав столь убежденные возражения против того, что, по его мнению, он подверг зрелому размышлению и взвесил всесторонне. Тщательно и беспристрастно обдумав, он в конце концов согласился со мной целиком. В запасе у него нашлось только одно возражение.

— Ах, Уильямс! — сказал он. — Для меня было бы счастьем, если б я узнал эти соображения раньше, чем взялся за свое ремесло. А теперь слишком поздно. Те самые законы, которые, после того как я понял их несправедливость, толкнули меня на это занятие, препятствуют моему возвращению в общество. Нам говорят, что бог будет судить людей по тому, каковы они будут в день суда, и как бы ни были грешны эти люди, если они поняли безумие своих грехов и отреклись от него, бог

отнесется к ним милостиво. Но человеческие установления в тех странах, где чтят этого бога, не знают таких различий. Они не заботятся об исправлении и как будто находят жестокое удовольствие в том, чтобы смешивать проступки виновных. Для них не важно, каков человек в час суда. Как бы он ни изменился, как бы ни стал безупречен и полезен, — это нисколько не поможет ему. Если через четырнадцать¹ или даже сорок² лет они обнаружат проступок, * за который согласно закону человек должен быть лишен жизни, то пусть даже эти годы он прожил как безгрешный святой и преданнейший сын своего отечества, они не станут в этом разбираться. Но если так, что же мне делать? Не вынужден ли я, раз начав, упорствовать в своем безрассудстве?

ГЛАВА IV

Эти доводы необычайно волновали меня. Я мог ответить только, что мистер Раймонд — лучший судья в выборе пути, которого ему следует держаться, но я надеюсь, что дело не так безнадежно, как это ему представляется.

Больше мы к этому предмету не возвращались. Мысли мои были отвлечены от него очень странным происшествием.

Я уже упоминал о вражде, которую испытывала ко мне адская привратница этого уединенного жилища. Изгнанный член шайки Джайнс был ее любимцем. Она, конечно, примирилась с тем, что его изгнали, потому что энергия и врожденное превосходство мистера Раймонда всегда укрощали ее; но покорилась она с ропотом и недовольством.

Не осмеливаясь осуждать поведение предводителя, она всю свою ожесточенность направила против меня.

К непростительному проступку, который я таким образом совершил вначале, присоединились мои позднейшие рассуждения о разбойничьем ремесле. Почтение

¹ Юджин Арам. См. «Эннюэл реджистер» за 1759 год. (Прим. автора.)

² Уильям Эндрю Хорн. Там же. (Прим. автора.)

седовласой старухи к разбою было беспредельно, и она слушала мои возражения с таким же неподдельным изумлением и ужасом, с какими другая на ее месте стала бы слушать человека, доказывающего, что не было ни крестных мук, ни кончины спасителя и нет никаких непорочных одежд, приготовленных для того, чтобы облечь души избранных. Подобно религиозной ханже, она была готова отомстить за мнения, противные ее собственным, любым оружием, которое употребляется для борьбы в подлунном мире.

До тех пор я смеялся над ее бессильной злобой, выдававшей скорей презрение, чем тревогу. Я думаю, она догадывалась, как низко я ее ставил, и это немало усиливало ее раздражение.

Однажды я остался один на весь день с этой мрачной Сивиллой. * Разбойники ушли накануне вечером, часа через два после захода солнца, в какую-то экспедицию и не вернулись, как обычно это делали, на следующее утро до рассвета. Иногда так случалось, и это не вызывало особенной тревоги. Порой их увлекал за намеченные ими самими пределы след добычи, а иной раз — страх преследования. Жизнь разбойника всегда полна неожиданностей. Старуха всю ночь готовила еду, за которую они обычно принимались сейчас же после возвращения.

Что касается меня, то я научился у них безразличному отношению к правильной смене дня, вечера, ночи и утра и до известной степени обращал день в ночь и ночь в день. Прошло уже несколько недель как я находился у них в притоне; надвигалась зима. В ту ночь я провел несколько часов, раздумывая о своем положении. Поведение людей, среди которых я жил, было мне противно. Я не только не мог свыкнуться с их грубым невежеством, жестокими обычаями и дурными поступками, но, напротив, первоначальное мое отвращение ко всему этому с каждым часом возрастало. Необыкновенная сила их духа и находчивость в деле, которому они отдавались, в сопоставлении с отвратительностью этого дела и их всегдашней распущенностью, будили во мне ощущения слишком мучительные, чтобы их можно было терпеть. Я убедился, что нравственное осуждение, — по крайней мере в уме, не обузданном философией, — один из наиболее обильных источников волнений и беспокойства. Этого

страдания даже общество мистера Раймонда несколько не облегчало. Конечно, он был гораздо выше остальных, порочных членов своей шайки. Но от этого я еще сильнее чувствовал, до какой степени он не на месте, в каком несоответственном окружении находится, каким презренным делом занят. Я пробовал противодействовать заблуждениям, тяготевшим над ним и его товарищами, но встретившиеся препятствия оказались больше, чем я воображал.

Что мне оставалось делать? Ждать ли результатов своего проповедничества или немедленно уходить? И если уходить, то сделать ли это втихомолку или открыто объявить о своем намерении и тем самым дополнить силой примера то, чего не хватало моим доводам? Мне, конечно, не следует оставаться с этими людьми дольше, чем этого требует безусловная необходимость, раз я отказываюсь от всякого участия в их предприятиях, не подвергаюсь, как они, ни малейшей опасности при добывании средств к существованию и не сочувствую их образу жизни. Через несколько дней они собираются переселиться в убежище, которое они облюбовали в отдаленном графстве. Если я не хочу больше с ними оставаться, мне, пожалуй, не следует участвовать в этом переселении. В бедственном положении, до которого довел меня мой неумолимый притеснитель, для меня было счастливым случаем попасть даже в разбойничий притон. Но с тех пор прошло как будто достаточно времени, чтобы ослабить рвение, с которым меня разыскивали. Я томился по уединению и безвестности, по тихому приюту вдали от мирских тревог и молвы, который я сулил самому себе при побеге из тюрьмы.

Вот какие мысли занимали в то время мой ум. Наконец я устал от беспрестанных раздумий и, чтобы отдохнуть, вынул из кармана томик Горация, наследство дорогого Брайтуэла. Я с увлечением прочел послание, в котором Гораций так прекрасно описывает Фуску * радости сельского покоя и независимости. Между тем солнце взошло из-за восточных холмов, и я открыл окно, чтобы полюбоваться им. Начинался прекрасный день, сопутствуемый всеми прелестями, которые поэты природы, как их именуют, описывают с таким наслаждением. В этой картине, особенно потому, что она пришла на смену размышлениям, было что-то успокаивающее

дух до полного примирения. Смутные мечтания незаметно овладели моими чувствами; я отошел от окна, бросился на кровать и уснул.

Не могу точно припомнить всех образов, которые проносились передо мной, когда я был в этом состоянии, но знаю, что они окончились представлением о каком-то человеке, которого подослал мистер Фокленд и который приближается, чтобы убить меня. Должно быть, эта мысль родилась у меня под влиянием того, что я задумал снова вернуться в мир, в сферу его возможной мести. Мне чудилось, что убийца хочет захватить меня врасплох, что мне известны его намерения, но что я словно околдован и не думаю уходить. Я слышал шаги убийцы, который осторожно приближался ко мне. Я как будто улавливал его дыхание, которое он старался затаить. Он дошел до угла, где я находился, и стал. Положение сделалось слишком страшным. Я вздрогнул, открыл глаза и увидел знакомую читателю отвратительную старуху, склонившуюся надо мной с большим, как у мясника, ножом в руке.

Я откинулся с быстротой, казалось слишком стремительной для движения, и удар, предназначенный для моего черепа, бессильно обрушился на кровать. Прежде чем она успела выпрямиться, я бросился на нее, схватил ее нож и вырвал его у нее из рук, но в одно мгновение к ней вернулись и прежняя сила и ужасное намерение, и между нею, подстрекаемой закоренелой злобой, и мной, защищающим свою жизнь, началась бешеная борьба. Поистине она обладала силой амазонки, и мне никогда не случалось бороться с более страшным противником. Взгляд у нее был быстрый и верный, и удары, с которыми она время от времени обрушивалась на меня, были невероятно сильны. Наконец я оказался победителем, вырвал у нее смертоносное оружие и опрокинул ее на пол. До этого мгновения напряженность усилий, которые ей приходилось делать, обуздывала ее гнев. Но тут она заскрежетала зубами, глаза у нее как будто выступили из орбит, и все ее тело затряслось в неукротимом неистовстве.

— Мерзавец! Дьявол! — закричала она. — Что ты хочешь со мной делать?

До этого все происходило в полном молчании, которое не прерывалось ни одним словом.

— Ничего! — отвечал я. — Убирайся, проклятая ведьма! Оставь меня одного!

— Оставить тебя? Как бы не так! Я запущу пальцы тебе под ребра и выпью твою кровь! Ты что! Думаешь, одолел меня? Ха-ха! Как бы не так! Я навалюсь на тебя и спущу тебя в ад! Я сожгу тебя в серном огне и кину тебе твои внутренности в лицо! Ха-ха-ха!

С этими словами она вскочила на ноги и хотела накинуться на меня с удвоенной яростью. Я схватил ее за руки и заставил сесть на кровать. Скрученная таким образом, она продолжала выражать свое бешенство, скаля зубы, яростно мотая головой и делая время от времени величайшие усилия, чтобы освободиться из моих рук. Ее судорожные рывки и прыжки походили на те припадки, при которых обычно считается необходимым присутствие трех или четырех человек, чтобы удержать больного. Но тут я узнал из опыта, что в тех обстоятельствах, в которых я оказался, было достаточно одной моей силы. Зрелище ее переживаний было ужасно. Но наконец ее неистовство начало ослабевать: она убедилась в безнадежности борьбы.

— Отпусти меня! — сказала она. — Зачем ты меня держишь? Я не хочу, чтобы меня держали.

— Я хотел сразу отпустить вас, — ответил я. — Согласны ли вы теперь уйти?

— Да, говорю тебе, проклятый злодей! Да, негодяй! Я тотчас же освободил ее. Она бросилась к двери и, схватившись за ручку, крикнула:

— А все-таки я доведу тебя до могилы! Суток не пройдет, как ты простишься со свободой!

С этими словами она захлопнула дверь и заперла ее снаружи на замок. Этот неожиданный поступок поразил меня. Куда она пошла? Что хочет сделать? Мысль о том, что я могу погибнуть из-за козней этой ведьмы, была мне невыносима. Если смерть застанет нас врасплох, когда у нас нет времени подготовиться к ней, она невыразимо страшна. Мысли мои металась в безумном ужасе, я был вне себя. Я попробовал выломать дверь, но безуспешно. Я обошел комнату в поисках орудия, которое помогло бы мне. Наконец я бросился на дверь с таким отчаянным усилием, что она поддалась, и я чуть не слетел вниз с самого верха лестницы.

Принимая все меры предосторожности, я сошел вниз. Я вошел в комнату, служившую нам кухней, — она была пуста. Я обыскал остальное помещение — безрезультатно. Я обошел все развалины — и все-таки не обнаружил своего недавнего врага.

Это было непостижимо! Что могло с ней случиться? Какой вывод должен был я сделать из ее исчезновения? Я вспомнил ее последнюю угрозу: «Суток не пройдет, как ты простишься со свободой!» Это было загадочно! Не похоже, чтобы она угрожала убийством.

Вдруг в памяти моей вспыхнула мысль о воззвании, которое принес Ларкинс. Может ли быть, чтобы она намекала на это своими последними словами? Неужели она сама пустится на такое предприятие? Разве это не опасно для всей шайки, если она, без всяких предосторожностей, приведет полицию прямо к ним? Не может быть, чтобы она пошла на такое отчаянное дело. Однако трудно отвечать за поведение человека в таком состоянии. Следует ли мне ждать событий, рискуя потерять свободу?

На этот вопрос я тут же дал отрицательный ответ. Я и без того решил в ближайшее время покинуть свое тогдашнее местопребывание, и разница была не велика, сделать ли это раньше или позже. Дальнейшее пребывание под одной кровлей с женщиной, проявившей ко мне такую свирепую и непримиримую враждебность, не сулило мне ни удовольствия, ни безопасности. Но что решительно перевесило все остальные доводы — это мысль об аресте, суде и смерти. Чем дольше я размышлял, тем сильнее у меня было желание избегнуть этого. Я уже произвел ряд действий с этой целью, принес уже много жертв и был уверен, что неудача этого предприятия не будет вызвана какой-нибудь небрежностью с моей стороны. Мысль о том, что готовят мне мои гонители, томила мою душу. Чем ближе сводил я знакомство с притеснением и несправедливостью, тем глубже проникался к ним отвращением, которого они заслуживают.

Таковы были причины, побудившие меня немедленно, сразу, без прощаний и выражения благодарности за неожиданные и постоянные милости, покинуть жилище, которому я в течение шести недель был обязан защитой от суда, приговора и позорной смерти. Я пришел в это место без гроша. Я покинул его, обладая несколькими

гинеями, которые мистер Раймонд заставил меня взять как мою долю, когда каждый участник получал свою часть из общего котла. Хотя у меня были основания думать, что пыл преследования за истекшее время должен был немного остыть, чудовищность бедствий, которые постигли бы меня в случае неблагоприятного исхода, не позволила мне пренебрегать ни одной мыслимой предосторожностью. Я вспомнил объявление, которое было причиной моих теперешних тревог, и понял, что одна из главнейших опасностей, угрожающих мне, — это опасность быть узанным. Поэтому я подумал, что будет благоразумным, если я насколько возможно изменю свою наружность. Для этого я воспользовался кучей лохмотьев, которая лежала в дальнем углу нашего жилища. Я решил переодеться нищим. Остановившись на этом, я скинул рубашку и повязал голову платком, старательно прикрыв им один глаз; поверх платка я натянул старый шерстяной ночной колпак. Я выбрал худшую одежду, какую только нашел, и привел ее в еще более плачевное состояние дырами, которые нарочно проделал в разных местах. Нарядившись таким образом, я посмотрелся в зеркало. Наружность оказалась вполне подходящей. Никто не усомнился бы, что я — из той братии, в принадлежности к которой я хотел убедить всех. Я говорил себе: «Вот под каким видом тирания и несправедливость вынуждают меня скрываться! Но лучше, в тысячу раз лучше подвергаться презрению вместе с подонками человечества, чем довериться трогательному милосердию тех, кто выше нас!»

ГЛАВА V

Единственное правило, которое я соблюдал, выбираясь из леса, заключалось в том, чтобы держаться направления, по возможности обратного тому, которое вело к месту моего недавнего заточения. После двух часов ходьбы я дошел до края этой суровой местности и вступил в ту часть страны, которая возделана и пересечена изгородами. Тут я уселся возле ручья и, вытащив ломоть хлеба, который захватил с собой, отдохнул и подкрепился. Сидя там, я стал обдумывать, как мне действо-

вать дальше; и как это уже было однажды, я остановился на столице, которая, на мой взгляд, кроме других своих преимуществ, являлась самым подходящим местом для того, чтобы там укрыться. Пока я размышлял таким образом, я увидел двух крестьян, проходивших невдалеке, и спросил у них, как идти на Лондон. Из их объяснения я понял, что лучше всего пересечь часть леса, оказавшись при этом гораздо ближе к главному городу графства. Я не думал, что это обстоятельство могло иметь большое значение, так как надеялся, что мой наряд достаточно предохраняет меня от опасных неожиданностей. Поэтому я пошел по тропинке, которая хоть и не совсем прямо, но все-таки вела к указанному мне пункту.

Кое-что из событий этого дня заслуживает упоминания. Выйдя на дорогу, по которой мне надо было пройти несколько миль, я увидел, что навстречу мне едет карета. Одно мгновение я колебался, пропустить ли ее, не привлекая внимания, или воспользоваться случаем, чтобы испробовать себя голосом или жестом в новом ремесле. Но эта пустая затея тотчас же выскочила у меня из головы, как только я увидел, что это карета мистера Фокленда. Неожиданность встречи потрясла меня, хотя по спокойном размышлении было бы, пожалуй, трудно найти основание для особых опасений. Я сошел с дороги и притаился за изгородью, пока карета не проехала. Я был слишком поглощен своим волнением, чтоб решиться проверить, сидит ли в карете страшный враг моего покоя или нет. Я убедил себя, что он там сидит.

Я посмотрел вслед карете и воскликнул: «Там — роскошь и жизненные удобства, спутники преступления, а здесь — заброшенность и нищета, удел невинности».

Я был неправ, воображая, что нахожусь один в таком положении. Упоминаю об этом только для того, чтобы показать, что, когда человек в беде, самое обыкновенное обстоятельство может переполнить его горькую чашу. Впрочем, это была лишь мимолетная мысль. Я извлек из своих страданий тот урок, что не следует ублажать себя жалобами. Едва я успокоился, я стал себя спрашивать: может ли только что наблюдавшееся мною явление иметь какое-нибудь отношение ко мне? Но хотя

ум мой и был очень пытлив и гибок, я не мог найти достаточных данных для ответа.

Когда стемнело, я вошел в небольшую харчевню на краю селения и, усевшись на кухне, спросил немного хлеба и сыра. Пока я ужинал, трое или четверо земледельцев зашли подкрепиться после дневных трудов. Представление о неравенстве состояний проникает во все слои общества. И так как вид был у меня более убогий и жалкий, чем у них, я решил, что мне следует уступить место этим знатым завсегдатаям сельской харчевни, и отодвинулся подальше, в темный угол. Я был удивлен и немало поражен, услышав, что они тотчас же стали толковать о моей истории, слегка изменяя подробности и называя меня «знаменитым взломщиком Кит-Уильямсом».

— Черт его возьми совсем, этого малого! — сказал один из них. — Только о нем и слышно. Кажется, о нем толкует вся страна.

— Это правда, — поддержал другой. — Я был сегодня в городе на базаре, возил продавать хозяйский овес. Сколько там было шума и крика! Думали, что его схватили, да вышла ошибка.

— Сто гиней — славная штучка, — снова заговорил первый. — Я был бы не прочь, чтобы они достались мне.

— Что и говорить! — сказал его приятель. — Сто гиней мне тоже пришлось бы по вкусу, как всякому другому. А все-таки я не согласен с тобой. Думается, не принесут добра и деньги, если ты ради них довел христианскую душу до виселицы.

— Ну, рассказывай бабушкины сказки! Надо же кого-нибудь вешать, чтобы вертелось колесо чиновничьей машины! Да и то сказать: я простил бы парню все его грабежи, но если он до того зачерствел, что под конец ограбил дом своего хозяина, — это уж последнее дело.

— Господи! — воскликнул другой. — Ничего-то ты, я вижу, не знаешь об этом деле. Я тебе расскажу, как оно было, в городе слыхал. Еще неизвестно, ограбил ли он своего хозяина, вот что. Да ты, поди, помнишь этого сквайра, мистера Фокленда. Его еще судили за убийство...

— Ну да, знаю.

— Так вот, в убийстве он был неповиннее новорожденного младенца. Да и вообще он человек мягкого ха-

рактера. А этот Кит-Уильямс — дьявольски хитрый па-рень, — раз пять из тюрьмы бежал, по одному этому видно, — так вот, говорю, Кит-Уильямс грозился опять потащить своего хозяина в суд, и запугивал его, и деньги с него тянул, несколько раз получал. Но под конец сквайр Форстер, родня тому, все выведал. Ну и поднял он шум! Уильямс оглянуться не успел, как в тюрьму угодил. И надо думать, повесили бы его, потому как если два сквайра столкнутся, так уж закон не закон — все одно... а нето они и закон перевернут по-своему, не знаю уж как... Да не все ли равно, если из бедняги и дух вон...

История была рассказана очень обстоятельно и с достаточными подробностями, но все-таки полной веры не заслужила. Каждый стоял на своем, и спор затянулся, долгий и упорный. В конце концов историки и комментаторы удалились. Страх, овладевший мной в начале этого разговора, был безмерен. Я искоса взглядывал то на одного, то на другого, чтобы убедиться, не привлекаю ли я их внимания. Я дрожал как в лихорадке и вначале испытывал настойчивое желание выйти из дома и пуститься бежать. Я отодвинулся поглубже в угол, отвернулся. Все мое существо было охвачено страшной тревогой.

Наконец течение моих мыслей изменилось. Заметив, что они не обращают на меня внимания, я вспомнил о полной безопасности, которую мне доставляет мой наряд, и внутренне возликовал, впрочем, все еще не решаясь выставляться напоказ. Мало-помалу меня стала забавлять нелепость их рассказов и разнообразие их вымыслов, относящихся к моей особе. Душа моя словно расширилась; я испытывал гордость от того самообладания и спокойствия, с которыми мог слушать этот разговор. И я решил продолжить и усилить наслаждение. Поэтому, как только они ушли, я обратился к нашей хозяйке — толстой, здоровой добродушной вдовушке — с вопросом, что это за человек Кит-Уильямс. Она ответила, что, по ее сведениям, это самый красивый и смысленный юноша на все четыре соседних графства и что он ей нравится за ту находчивость, с которой он перехитрил всех тюремщиков и прошел сквозь каменные стены, как сквозь паутину. Я заметил на это, что вся округа в тревоге, и надо думать, что он вряд ли сможет уйти от розысков, которые предприняты для его поимки. Эта

мысль тотчас же вызвала ее гнев. Она выразила надежду, что теперь он уже далеко, а если нет, то пусть всемогущий накажет тех, кто осудил такого славного парня на позорную смерть. Хотя она нисколько не подозревала, что личность, о которой она говорит, находится так близко от нее, тем не менее искренний и великодушный пыл, с которым она выступила в мою пользу, доставил мне большое удовольствие. С этим чувством, облегчившим мне накопленное за день утомление и сознание бедственности моего положения, я перешел из кухни на соседнее гумно и, растянувшись на соломе, крепко уснул.

На другой день около полудня, когда я продолжал свое путешествие, двое верховых догнали меня и остановили, чтобы справиться, не прошел ли по этой дороге человек. Когда они описали его, я с удивлением и ужасом понял, что тот, кого касаются их вопросы, — я сам. Они довольно подробно перечислили разные особенности, по которым меня легче всего было узнать. По их словам, у них есть полное основание думать, что я накануне появлялся в одном месте этого графства. Пока они говорили, подоспел третий. Моя тревога усилилась, когда я увидел, что это — слуга мистера Форстера, приходивший ко мне в тюрьму за две недели до моего бегства. Лучшим средством спасения для меня в эту трудную минуту было хладнокровие и кажущееся равнодушие. К счастью для меня, моя наружность была так сильно изменена, что сам мистер Фокленд вряд ли узнал бы меня. Я уже за несколько времени до того понял, что это — прибежище, к которому события могут заставить меня обратиться, и старался вспомнить и обдумать все, что мне было известно на этот счет. Еще в юности я проявлял значительные способности к искусству подражания. Покидая жилище мистера Раймонда, я вместе с одеждой нищего усвоил особенную тяжелую и мужиковатую походку, к которой решил прибегать всякий раз, как у меня явится малейшее подозрение, что за мной следят, а также ирландское испорченное наречие, научиться которому у меня был случай в тюрьме. Вот презренные уловки и хитрые выдумки, к которым человек, заслуживающий этого названия только в той мере, в какой он прям и независим, может оказаться вынужденным прибегать, чтобы спастись от неумолимой вражды и бессердечной тирании своих собратьев. Я уже пользо-

вался этим наречием, хотя не счит нужным упомянуть об этом, при беседе в сельской харчевне. Подъехав, слуга мистера Форстера увидел, что его товарищи заняты беседой со мной, и, догадываясь о ее предмете, спросил, не узнали ли они чего-нибудь. К сведениям, которые они мне сообщили, он добавил, что принято решение не щадить ни стараний, ни средств, чтобы обнаружить и задержать меня, и что они уверены, что если только я жив и нахожусь в королевстве, то мне невозможно будет ускользнуть от них.

Каждое новое происшествие, случавшееся со мной, сильнее запечатлевалось в моем уме страшную опасность, которой я подвергался. Я готов был думать, что представляю собой единственный предмет общего внимания и что весь мир вооружился, чтобы уничтожить меня. От одной этой мысли я трепетал всем телом. Но каким бы страшным ни представлялось это обстоятельство моему воображению, оно сообщало только новую энергию моим намерениям. И я решил добровольно поля не уступать, то есть, выражаясь точнее, не вкладывать голову в петлю, какое бы огромное превосходство ни было у моих противников. Однако события, случившиеся со мной, не внеся изменений в мои намерения, все же побудили меня пересмотреть способы, при помощи которых эти намерения могли быть выполнены. Результатом этого пересмотра было решение повернуть в сторону ближайшего морского порта на западном берегу острова и перебраться в Ирландию. Не могу теперь сказать, что именно побудило меня предпочесть этот план. Может быть, то, что прежний, уже некоторое время владевший моим воображением план стал казаться мне слишком простым и меня привлекла кажущаяся сложность другого проекта.

Я добрался без дальнейших помех до места, откуда намеревался отплыть, справился о судне, которое, как мне сказали, должно было выйти в море через несколько часов, и договорился с капитаном о переезде. Ирландия имела для меня ту невыгоду, что она зависима от британского правительства и, следовательно, представляет менее безопасное место, чем большинство других стран, которые отдалены от Англии океанами. Судя по рвению, с каким меня преследовали в Англии, можно было допустить, что усердие моих гонителей последует за мной на

другой берег пролива. Но все-таки мне было довольно приятно, что я скоро буду на шаг дальше от опасности, мысль о которой так терзала мое воображение.

Угрожала ли мне опасность в тот короткий срок, который оставался до поднятия якоря и отплытия от английского берега? Едва ли. Очень мало времени прошло с того мгновения, как я решился воспользоваться морем, до того, как прибыл сюда. Если мои гонители получили новое предупреждение, то оно могло исходить только от старухи и было сделано всего несколько дней тому назад. Я надеялся, что мне удалось предупредить их усердие. А пока, чтобы не упускать ни одной разумной предосторожности, я немедленно отправился на борт, решив, что не стану без нужды подвергать себя опасности какого-нибудь непредвиденного приключения, разгуливая по улицам города. Это был первый случай, когда я по какому бы то ни было поводу покидал свою родину.

ГЛАВА VI

Время, назначенное для нашей стоянки, уже почти истекло, и с минуты на минуту ожидался приказ поднимать якорь, когда нас окликнули с лодки, шедшей от берега, в которой находилось два человека. В одно мгновение они поднялись к нам на судно. Это были полицейские. Всем пассажирам, которых, кроме меня, было пятеро, приказали подняться на палубу для опроса. Я был очень испуган этим происшествием, случившимся в такое неподходящее время. Мне казалось несомненным, что это ищут меня. А что если, по какой-то непредвиденной случайности, они получили сведения о моем переодевании? Было неизмеримо опаснее встретиться с ними в таком тесном соприкосновении, при таких обстоятельствах, чем когда я встречал своих преследователей под видом постороннего лица. Однако хладнокровие не изменило мне. Я возлагал надежды на свое одеяние и ирландский диалект, как на каменный оплот.

Не успели мы подняться на палубу, как, к величайшему своему ужасу, я увидел, что внимание наших гостей направлено главным образом на меня. Они за-

дали несколько пустых вопросов моим попутчикам, которые оказались ближе к ним; потом, обернувшись ко мне, осведомились, как меня зовут, кто я такой, откуда прибыл и что привело меня сюда. Только я открыл рот, чтобы ответить, как они сразу вцепились в меня, говоря, что я арестован, потому что, заявили они, моего говора, равно как сходства в наружности, было бы достаточно для любого английского суда, чтобы задержать меня. Они столкнули меня с судна в лодку, в которой приехали, и усадили между собою, из предосторожности, чтобы я не мог прыгнуть в воду и как-нибудь ускользнуть от них.

Теперь я считал несомненным, что опять нахожусь во власти мистера Фокленда, и эта мысль была мне нестерпимо обидна и мучительна. Бежать от его преследований, освободиться от его тирании — вот в чем была цель, к которой стремилась вся моя душа. Неужели никакие человеческие усилия, никакая изобретательность не помогут мне достичь ее? Неужели его власть охватывает все пространство и глаза его видят сквозь всякое прикрытие? Не похож ли он на то таинственное существо, свирепая мстительность которого обладала такой силой, что, как говорят, не укрыться было от нее даже в недрах горы? Нет мысли более возмущающей душу и более страшной, чем эта. Но в данном случае что могли поделать рассуждения или вера? Я не мог черпать утешения ни открыто — в неверии, которым по части религии многие проникнуты, ни тайно — в непостижимой идее; это было делом непосредственного восприятия: я чувствовал клыки тигра, вонзающиеся глубоко мне в сердце.

Но хотя сначала впечатление было исключительно сильным и сопровождалось унынием и малодушием, мысль скоро начала как бы механически взвешивать расстояние между морским портом и моей прежней тюрьмой и те разнообразные возможности для побега, которые могли представиться на этом пространстве. Моей первой обязанностью было не выдавать о себе больше того, что окажется уже обнаруженным.

Не исключена была возможность, что я арестован по какому-нибудь пустому поводу и что, если я сохраню присутствие духа, мое освобождение наступит так же неожиданно, как произошел арест. Возможно даже, что я схвачен по ошибке и что эта мера несколько

не связана с делом мистера Фокленда. Во всяком случае, мне следует разобраться в обстановке.

Во время переезда с корабля в город я не проронил ни слова. Мои провожатые подтрунивали над моим дурным расположением духа, но добавляли, что это не принесет мне пользы и я буду повешен, потому что еще ни разу не случилось, чтобы осужденный за ограбление королевской почты дешево отделался. Трудно передать, как легко стало у меня на душе от этих слов. Однако я как решил, так и продолжал хранить молчание. Из дальнейшего их разговора, очень многословного, я узнал, что дней девять тому назад два ирландца ограбили почту, шедшую из Эдинбурга в Лондон, что один из ирландцев уже посажен и что меня задержали, подозревая во мне второго. При них было описание его личности, и хотя, как я узнал потом, оно во многих существенных статьях отличалось от моей наружности, они находили, что оно согласуется с ней до мельчайших подробностей.

Известие о том, что я взят по ошибке, сняло тяжелое бремя с моей души. Я был уверен, что мне удастся немедленно установить свою невинность, к полному удовлетворению всех судей королевства. И хотя мои планы были нарушены и мое намерение покинуть остров потерпело неудачу после того, как я уже был в море, я считал все это мелкой неприятностью по сравнению с тем, чего имел слишком много причин опасаться.

Как только мы вышли на берег, меня отвели в дом мирового судьи, человека, бывшего ранее капитаном угольного судна, но ввиду достигнутых в жизни успехов бросившего скитальческую жизнь и уже несколько лет имевшего честь представлять собою особу его величества.

Нас продержали некоторое время в своего рода передней в ожидании, чтобы его милость удосужилась нас принять. Задержавшие меня были опытны в своем ремесле и поспешили употребить этот промежуток времени на то, чтобы обыскать меня в присутствии двух слуг его чести. Они нашли у меня пятнадцать гиней и немного серебра. Они велели мне раздеться догола, чтобы им можно было убедиться, не спрятаны ли у меня где-нибудь банковые билеты. Они брали в руки части моего жалкого облачения, по мере того как я снимал их, и ощупывали их одну за другой, чтобы проверить, не под-

шито ли к ним каким-нибудь хитрым способом то, чего они ищут. Всему этому я подчинился беспрекословно. Дело, наверное, в конце концов все равно дошло бы до этого, а скорый суд вполне соответствовал моим планам, поскольку главной моей целью было как можно скорее уйти из когтей почтенных особ, которые в то время охраняли меня.

Не успела закончиться эта операция, как нам велели войти в помещение его милости. Мои стражи выступили с обвинением и заявили, что им было приказано отправиться в этот город, так как, по полученным сведениям, тут должен был находиться один из двоих, ограбивших эдинбургскую почтовую карету, и что они задержали меня на борту корабля, готового к отплытию в Ирландию.

— Отлично, — промолвил его милость. — Вы сказали свое. Теперь послушаем, что может сообщить этот джентльмен. Как тебя звать, бездельник? И из какой части Типперери * тебе вздумалось явиться?

Я уже обдумал, как мне действовать, и в то мгновение, как узнал, в чем заключается выдвигаемое против меня обвинение, решил, по крайней мере на время, оставить ирландское наречие и заговорить на своем родном языке. Я уже сделал так в прихожей. Это превращение поразило моих провожатых. Но они зашли слишком далеко, чтоб им можно было отступить, не нарушая своего достоинства. Теперь я объявил судье, что я не ирландец и никогда не был в этой стране, что я — уроженец Англии. Пришлось справиться с бумагой, которую держали при себе мои провожатые, содержавшей описание якобы моей наружности. Сомнений быть не могло: она требовала, чтобы преступник был ирландцем.

Заметив, что его милость колеблется, я подумал, что теперь мне следует двинуть дело быстрее. Я сослался на бумагу и отметил, что описание не подходит ни в отношении роста, ни в отношении черт лица.

— Но что касается возраста и цвета волос, то оно подходит, — заявил он мне, добавив, что не в его привычках придираться к мелочам, а равно вытаскивать голову человека из петли только из-за того, что его росту не хватает несколько дюймов. — Если человек не дорос, — сказал он, — нет лучше средства, как немножечко вытянуть его.

Со мной ошибка была обратная, но его милость не считал уместным отказаться от своей шутки. В общем, он не очень твердо знал, как ему поступить.

Мои провожатые заметили это и начали беспокоиться о своей награде, которую часа два тому назад уже считали находящейся как бы у них в кармане. Они решили, что будет надежней, если они удержат меня под своей опекой. Если в конце концов окажется, что произошла ошибка, им не придется серьезно опасаться преследования за ошибочное задержание со стороны такого облаченного в лохмотья бедняка, как я. Поэтому они стали уговаривать его милость согласиться с их соображениями. Они сказали ему, что, конечно, улики против меня не так сильны, как им бы этого от всей души хотелось, но зато имеется множество подозрительных обстоятельств. Когда меня вызвали к ним на палубу судна, я говорил на чистейшем ирландском наречии, а теперь от него вдруг не осталось ни звука. Обыскивая меня, они нашли при мне пятнадцать гиней — а где бедному парню, каким я выгляжу, честным способом добыть пятнадцать гиней? Вдобавок, когда они раздели меня догола, то, хотя платье мое было крайне убого, кожа оказалась гладкой, как у джентльмена. И, наконец, для чего может нищий бедняк, никогда в жизни не бывавший в Ирландии, желать, чтобы его перевезли в эту страну? Ясно как день: я не лучше того преступника, вместо которого задержан.

Это рассуждение, вместе с несколькими многозначительными кивками и подмигиваниями, которыми обменялись судья и жалобщики, склонило его к их образу мысли. Он сказал, что меня следует отправить в Уорик, — где, по-видимому, находился под арестом другой грабитель, — чтобы устроить нам очную ставку; если и тогда все окажется в порядке, меня можно будет освободить. Никакое известие не могло быть для меня ужаснее того, которое заключалось в этих словах. Как! Зная, что вся страна восстановлена против меня, что я подвергаюсь самому ожесточенному преследованию, — быть отправленным теперь в самую глубь королевства, без всякой возможности воспользоваться благоприятными обстоятельствами и под строгой охраной полицейских, — это прозвучало для моих ушей почти так же, как если бы был произнесен мой смертный приговор!

Я горячо доказывал несправедливость этого решения. Я уверял судью, что никак не могу быть человеком, описание которого заключает в себе бумага. Она требует ирландца — я не ирландец. Она описывает личность ниже меня ростом — особенность, которую меньше всякой другой можно замаскировать. Нет ни малейшего основания задерживать меня под арестом. И без того я встретил помеху в своем путешествии и потерял уплаченные деньги из-за усердия задержавших меня джентльменов. Я уверял его милость, что всякая отсрочка при тех обстоятельствах, в которых я нахожусь, крайне для меня тягостна. Невозможно изобрести для меня большее несчастье, чем отправить меня под стражей внутрь королевства, вместо того чтобы разрешить мне продолжать мое путешествие.

Мои увещания были напрасны. Правосудие отнюдь не было расположено выслушивать подобные упреки от личности, одетой в рубище. Судья заставил бы меня замолчать с полуслова, если бы я не говорил с такой горячностью, которая лишала его возможности прервать мою речь. Когда я кончил, он сказал мне, что все это ни к чему и что для меня было бы лучше, если б я не вел себя так дерзко. Ясно, что я бродяга и подозрительная личность. Чем настойчивее я требую освобождения, тем больше у него оснований задержать меня. Может быть, в конце концов я окажусь разыскиваемым преступником. А если даже нет, то он уверен, что я и того хуже — браконьер или, почем знать, — может быть, убийца. Ему кажется, что он уже видел мое лицо в связи с подобным же делом. Не может быть сомнений, что я опытный нарушитель закона. В его власти либо сослать меня на принудительные работы как бродягу, на основании моей внешности и противоречий в моих показаниях, либо отправить в Уорик. И только по природной доброте он останавливает свой выбор на более легкой из этих двух возможностей. Он уверяет меня, что я не выскользну из его рук. Для правительства его величества выгодней повесить такого молодчика, каким он склонен считать меня, чем из ложной чувствительности хлопотать о благе всех нищих в стране.

Видя полную невозможность подействовать на человека, так глубоко проникнутого сознанием собственного достоинства и значения, равно как моего полного ничто-

жества, я просил по крайней мере вернуть мне деньги, которые были у меня отобраны. Это было мне обещано. Может быть, его милость догадывался, что и без того уже зашел слишком далеко, и поэтому не пожелал оставаться неумолимым в отношении этого несущественного обстоятельства. Мои провожатые не возражали против этого снисхождения — по причине, которая обнаружится впоследствии. Однако судья распространился насчет своего милосердия в этом вопросе. Он не знает, не превышает ли он свои полномочия, уступая моей просьбе. Такие большие деньги не могли попасть в мои руки честным путем. Но таков уж его нрав, чтобы смягчать, когда это можно сделать пристойно, строгую букву закона.

У джентльменов, задержавших меня, были веские основания желать, чтобы после допроса я оставался у них под арестом. Каждому присуще чувство чести, хоть и на свой лад, и им не хотелось подвергнуться посрамлению, которое выпало бы на их долю, если бы совершился правый суд. Поступки каждого человека направляет в известной мере жажда власти; и они желали, чтобы всякой полученной выгодой я был обязан их высокой милости и благоволению, а не просто ходу вещей. Однако не только невещественная сторона дела и голая власть были целью их стремлений, — нет, их виды шли дальше этого. Словом, хотя они желали, чтобы я вышел из судейской комнаты их пленником, как и вошел туда, однако ход моего допроса заставил их, вопреки самим себе, заподозрить, что я невиновен в преступлении, которое они возводили на меня. Опасаясь поэтому, что о ста гинях, которые были назначены в награду за поимку грабителя, на этот раз решительно не может быть и речи, они готовы были удовлетвориться более мелким кушем. Отведя меня в гостиницу и заказав повозку для путешествия, они увели меня в сторону, и один из них повел со мной такой разговор:

— Видишь, парень, как обстоит дело: сказано в Уорик — и никаких! А как только мы туда доберемся, что там может случиться — не сумею тебе и сказать. Виновен ты или нет — это дело не наше. Но не такой уж ты младенец, чтобы думать, что коли ты невиновен, так, значит, и дело твое в шляпе. Ты говоришь, что тебе требуется быть в другом месте и что ты очень туда торопишься. А я не охотник мешать человеку в его делах,

коли можно это уладить. Так если ты отдашь нам те пятнадцать золотых, все будет в порядке! Тебе они ни к чему. Нищий везде дома. Да и, правду сказать, мы могли бы получить их по ходу дела там, у судьи, — ты сам видел. Но я человек с правилами, люблю действовать открыто и, уж конечно, шиллинга не стану ни у кого вымогать.

Тот, кто проникнут началом нравственной щепетильности, склонен при случае позволить своим чувствам увлечь себя и забыть о насущных требованиях минуты. Признаюсь, первым чувством, вызванным в моей душе этим предложением, было негодование. Мне непреодолимо захотелось дать ему волю и отложить на мгновение всякие соображения о будущем. Я отвечал с суровостью, которой этот гнусный поступок заслуживал. Мои провожатые были очень удивлены этой твердостью, но, по-видимому, сочли ниже своего достоинства оспаривать принципы, которые я провозгласил. Тот, который сделал мне предложение, удовольствовался таким ответом:

— Ладно, ладно, парень. Поступай как знаешь. Ты не первый, кто позволил себя повесить, лишь бы не расставаться с несколькими гинеями.

Я не пропустил этих слов мимо ушей. Они поразительно подходили к моему положению, и я решил ни за что не упускать возможности.

Однако гордость этих джентльменов была слишком велика, чтобы было возможно немедленное возобновление переговоров. Они тотчас оставили меня, предварительно приказав одному старику, отцу хозяйки постоянного двора, не выходить из комнаты во время их отсутствия. Они велели старику ради безопасности запечатать дверь и положить ключ к себе в карман, а внизу, у выхода, предупредили, в каком положении я оставлен, чтобы все домашние следили за тем, что происходит, и не допустили моего побега. Какова была цель этих уловок, не могу сказать наверное. Может быть, тут была взаимная уступка их гордости и скупости. Обуреваемые желанием по той или иной причине отделаться от меня, как только это окажется удобным, они решили сначала выждать последствий моих одиноких размышлений о сделанном мне предложении.

Как только они удалились, я стал рассматривать старика и нашел, что его наружность весьма почтенна и привлекательна. Ростом он был выше среднего. Это указывало на значительную силу в прошлом, и до сих пор не вполне исчезнувшую. У него были густые волосы, белые, как только что выпавший снег. Цвет лица его был здоровый и румяный, хотя лицо было изборозжено морщинами. Глаза у него были удивительно живые, и вся наружность определенно выражала добродушие. Грубоватость, связанная с его общественным положением, сглаживалась благопристойностью, проистекавшей от доброты и чувствительности его характера.

Его вид тотчас же вызвал в моем уме ряд мыслей о выгодах, которые можно извлечь из присутствия такой личности. Попытка предпринять какие-нибудь шаги без его согласия была бы безнадежна, потому что, если бы даже я справился с ним, он легко мог бы поднять тревогу и призвать других людей, несомненно находившихся поблизости. Добавьте к этому, что я вряд ли смог бы заставить себя причинить какую-либо обиду человеку, с первого взгляда вызвавшему во мне такую симпатию и уважение. И в самом деле, мысли мои приняли другое направление. Мною овладело страстное желание получить возможность назвать этого человека своим благодетелем.

Преследуемый рядом неудач, я не мог больше считать себя членом общества. Я был одиноким существом, лишенным надежд на человеческое сочувствие, доброту и благосклонность. Положение, в которое я был поставлен в то время, вызывало во мне сильное желание порадовать себя наслаждением, в котором судьба как будто отказывала мне. Я никак не мог приравнять сознание, что свобода получена мной благодаря сердечной доброте достойной и превосходной души, к мысли, что я обязан ею корысти и низости худших членов общества. Так в самой гибели позволял я себе роскошь утонченности.

Руководимый этими чувствами, я попросил старика обратить внимание на обстоятельства, ввергшие меня в мое теперешнее состояние. Он тотчас выразил согласие, заявив, что охотно выслушает любое сообщение, которое

я сочту уместным сделать ему. Я рассказал ему, что люди, только что оставившие меня под его присмотром, прибыли в этот город с целью задержать какую-то личность, виновную в ограблении почты; что им вздумалось арестовать меня по этому приказу и отвести к мировому судье; что они вскоре обнаружили свою ошибку, поскольку преступник отличался от меня и происхождением и ростом; но, сговорившись с судьей, они получили разрешение оставить меня под своей охраной и делают вид, что намерены отвезти меня в Уорик для очной ставки с сообщником разыскиваемого преступника; обыскивая меня в доме мирового судьи, они нашли при мне значительную сумму денег, возбуждившую их жадность, и только что предложили вернуть мне свободу при условии вручения им этой суммы. Я попросил его подумать, желательно ли ему при таких обстоятельствах стать орудием их вымогательства. Я отдал себя в его руки и клятвенно подтвердил истинность всего изложенного. Если он поможет мне бежать, единственным последствием будет то, что низкая алчность моих противников будет обманута в своих ожиданиях. Я ни за что на свете не захотел бы подвергнуть его действительной неприятности, но совершенно уверен, что великодушие, побудившее его на доброе дело, поможет ему отстоять его, после того как оно будет сделано, и что задержавшие меня, потеряв добычу из виду, будут посрамлены и не решатся предпринять что-нибудь еще в этом деле.

Старик выслушал мой рассказ с любопытством и участием. Он сказал, что всегда питал отвращение к людям такого сорта, как те, которые задержали меня; что ему противно было браться за дело, которое они ему навязывали, но что он не может отказаться от некоторых неприятных обязанностей, когда надо услужить дочери или зятю. Принимая во внимание мою наружность и обхождение, он не сомневается в истинности того, что я утверждаю. Просьба моя странная, и он не знает, почему я считаю его человеком, к которому можно обратиться с ней, сколько-нибудь рассчитывая на успех. Однако он и в самом деле смотрит на вещи иначе, чем другие, и почти согласен поступить, как мне желательно. Но одного по крайней мере он потребует от меня взамен — это добросовестно познакомить его с челове-

ком, которому он намерен сделать одолжение, сказать фамилию.

Вопрос этот захватил меня врасплох. Но, каковы бы ни были последствия, мысль о том, чтобы обмануть человека, который его задал, была мне невыносима. Беспрепятственно лгать — задача тяжелая. Я ответил, что моя фамилия — Уильямс. Он помолчал. Взгляд его был устремлен на меня. Я видел, как он изменился в лице, повторяя это слово. Он продолжал с заметным страхом:

— Ваше имя?

— Каллеб.

— Великий боже! Может ли это быть?

Он воскликнул, что заклинает меня всем для меня святым честно ответить ему еще на один вопрос:

— Вы... Нет, это невозможно... Вы не тот человек, который прежде жил слугой у мистера Фокленда из...

Я ответил ему, что, к чему бы ни клонился его вопрос, я скажу ему правду. Да, я то самое лицо, которое он имеет в виду.

Как только я произнес эти слова, старик поднялся с места. Он скорбит, что счастье до такой степени неблагоприятно к нему, что ему пришлось увидеть меня воочию. Я — чудовище, от которого стонет земля.

Я стал умолять, чтобы он позволил мне объяснить это недоразумение, как позволил поступить в первом случае. У меня нет сомнений, что я сделаю это так же успешно.

Нет, нет, нет! Ни под каким видом он не допустит, чтобы ушей его коснулась подобная зараза. Тот случай и этот — совсем разные. Нет на земле преступника, нет убийцы и вполонину столь ненавистного, как человек, который мог позволить себе для самооправдания возводить такие обвинения, какие возводил я на такого великодушного хозяина. При этом воспоминании старик пришел в полное расстройство.

Наконец он немного успокоился и сказал, что никогда не перестанет огорчаться, что хоть минуту разговаривал со мной. Он не знает, какого поведения требует от него строгое правосудие, но поскольку он узнал о том, кто я такой, только благодаря моему собственному признанию, то пользоваться этим знанием мне во вред противоречит его нравственным убеждениям. Поэтому все наши сношения должны пресечься; поистине,

причислить меня к человеческим существам — значило бы злоупотреблять словами. Он не причинит мне зла, но, с другой стороны, ни за что на свете ничем не поможет мне и не поддержит меня.

Я был невероятно опечален отворачиванием, с которым отнеслось ко мне это доброе и милосердное создание. Я не мог молчать. Я еще и еще раз пытался уговорить его выслушать меня. Но его решение было непоколебимо. Наш спор длился некоторое время; затем он положил ему конец, позвонив в колокольчик и вызвав наверх слугу. Немного погодя вошли мои провожатые, и все остальные удалились из комнаты.

Одной из особенностей моей судьбы было то, что она кидала меня от одного вида страхов и опасностей к другим слишком быстро, не давая ни одному из них глубоко запечатлеться. Оглядываясь назад, я склоняюсь к мысли, что половина бедствий, которые мне пришлось перенести, должна была бы неминуемо погубить меня. Но на самом деле не успевал я хорошенько поразмыслить над одними бедами, свалившимися на меня, как уже был вынужден забыть о них и защищаться от новой опасности, которая, казалось, готова была меня раздавить.

Поведение этого несравненного и милого старика ранило меня в самое сердце. Но, как я уже говорил, вошли мои провожатые, и другой предмет властно привлек мое внимание. В глубоком расстройстве я был бы рад оказаться брошенным в полное уединение и безраздельно отдаться неутешному горю. Но скорбь, которую я испытывал, не имела надо мной такой власти, чтобы я охотно дал отвести себя на виселицу. Любовь к жизни и еще больше — ненависть к угнетателям закалили мое сердце против подобной слабости. В только что происшедшей сцене я, как было сказано, позволил себе роскошь утонченности. Пора было положить этому конец. Становилось опасным забавляться дальше на краю пропасти. И, полный печали от исхода моей последней попытки, я не был склонен к бесплодному хождению вокруг да около.

Я был именно в таком расположении духа, в каком меня больше всего хотели видеть джентльмены, во власти которых я находился. В соответствии с этим мы немедленно приступили к делу, и, поторговавшись, они

согласились принять одиннадцать гиней в уплату за мою свободу. Впрочем, заботясь о своей репутации, они настаивали на том, чтобы провезти меня несколько миль на наружном месте почтовой кареты. Потом они объявили, что дорога, которой им надлежит ехать, идет в поперечном направлении, и вышли вместе со мной из кареты. Как только она скрылась из виду, они разрешили мне отделаться от их беспокойного общества и идти куда мне вздумается.

Попутно стоит отметить, что эти люди одурачили себя в своем же ремесле. Сначала они задержали меня в надежде на награду в сто гиней, а позже были довольны, получив вместо этого одиннадцать; между тем, продержав меня в своей власти немного дольше, они могли бы получить из других рук ту сумму, которая с самого начала вызвала их усердие.

Неудача, постигшая меня при недавней попытке ускользнуть от моих преследователей морем, отвратила меня от мысли повторить этот опыт. Поэтому я опять вернулся к намерению скрыться, по крайней мере на ближайшее время, в столице. Но, не считая желательным подвергаться опасностям, связанным с прямым направлением, тем более что по этой дороге должны были ехать мои недавние провожатые, я решил избрать окольный путь вдоль границ Уэльса. Единственное происшествие, заслуживающее упоминания, случилось в этих местах при моей попытке переправиться через Северн.* Переправляться надо было на пароме, но по какой-то странной оплошности я так сбился с пути, что в тот вечер никак не мог добраться до парома и попасть в город, который наметил себе для отдыха.

Это может показаться мелким огорчением среди тех подавляющих тревог, которые должны были, казалось, владеть всеми моими мыслями. Однако это вызвало во мне необычайное раздражение. В тот день я устал больше, чем обычно.

Перед тем как я сбился, или по крайней мере заметил, что сбился с пути, небо потемнело и нахмурилось, и вскоре после этого тучи прорвались потоками дождя. Ливень захватил меня посреди вересковой пустоши, где не было ни дерева, ни навеса, под которыми я мог бы укрыться. В одно мгновение я промок до костей. Я шел вперед с какой-то мрачной решимостью. Дождь посте-

ленно сменился страшным градом. Я был плохо защищен жалкой одеждой, которая была на мне; крупные частые градины словно резали меня в тысяче мест. Потом снова пошел дождь. В это время я и заметил, что совсем сбился с дороги. Я не видел кругом ни человека, ни животного и никакого жилья. Я шел вперед, раздумывая на каждом перекрестке, какой дорогой выгодней идти, теряясь в поисках основания, чтобы отказаться от одной дороги и предпочесть другую. Сердце мое разрывалось от уныния и тоски. Я бормотал проклятия и жалобы на судьбу, продолжая свой путь. Я был полон ненависти и отвращения к жизни и ко всему, что она приносит с собой. После того как я проплутал без определенного направления два часа, меня застигла ночь. Кругом не было видно никакой дороги, и нечего было думать идти дальше.

Итак, я был без крова, без пищи, без всякой защиты. На мне не было ни клочка одежды, который бы не промок так, как если б его вытащили со дна океана. Зубы мои стучали. Я дрожал всем телом. Мое сердце пылало влобой против всех. Иногда я спотыкался о какой-нибудь невидимый предмет и падал, иногда отступал перед препятствием, которое не мог преодолеть.

Между этими случайными неудобствами и теми притеснениями, от которых я страдал, не было прямой связи. Но мое расстроенное воображение смешивало их в одно. Я проклинал весь строй общественной жизни. Я говорил себе: «Вот я, отщепенец, обреченный погибнуть от голода и холода. Все покидают меня. Все меня ненавидят. Смертельными угрозами меня отгоняют от всех источников человеческого существования. Проклятый мир, ненавидящий без причин, отягощающий невинного бедствиями, от которых должен быть огражден даже виновный! Проклятый мир, не знающий благородного сострадания, с глазами из рога и сердцем из стали! Зачем соглашаюсь я оставаться в живых? Зачем стремлюсь влачить существование, которое если и продлится, то среди логовищ этих тигров в образе человеческого?»

Наконец этот припадок прошел. Вскоре после того я заметил уединенно стоящий сарай, к которому с радостью прибегнул как к средству защиты. В одном из его углов я нашел немного чистой соломы. Я стянул с себя лохмотья, разместил их так, чтобы они поскорей

высохли, и зарылся в это ласковое тепло. Тут я мало-помалу забыл тоску, снедавшую меня. Может быть, благодетельный сарай и свежая солома покажутся очень скудными удовольствиями, но они появились в то время, когда я менее всего на это рассчитывал, и на сердце у меня сразу просветлело. Хотя отдых мой был всегда очень короток, на этот раз из-за душевной и телесной усталости я проспал почти до половины следующего дня. Поднявшись, я увидел, что нахожусь недалеко от парома, на котором и переправился через реку. Я вошел в город, в котором собирался провести предшествующую ночь.

Был базарный день. Проходя по площади, я заметил, что двое горожан стали чрезвычайно пристально всматриваться в меня, после чего один из них воскликнул: «Будь я проклят, если это не тот самый малый, о котором справлялись люди, что уехали отсюда час тому назад почтовой каретой в ****». Я был страшно испуган таким известием и, ускорив шаг, круто свернул в узкую улицу. Убедившись, что они не могут меня видеть, я бросился бежать со всей быстротой, на какую был способен, и только тогда почувствовал себя в безопасности, когда оказался на расстоянии нескольких миль от места, где моего слуха коснулись эти слова. Я полагал, что справлявшиеся обо мне люди были те самые полицейские, которые задержали меня на судне, когда я взшел на борт, чтобы отплыть в Ирландию; что по какой-нибудь случайности им попало в руки описание моей личности, отпечатанное мистером Фоклендом, и, сопоставив обстоятельства, они пришли к убеждению, что это — та самая личность, которая недавно была в их руках. В самом деле, с моей стороны было просто безумием, которого я не могу объяснить, что после стольких событий, имевших место в этом деле и доказывавших, что в трудных и исключительных обстоятельствах я бываю мужчиной, я продолжал упорно сохранять прежнее обличье, без малейших изменений. То, что мне на этот раз удалось ускользнуть, было просто счастливой случайностью. Если бы я накануне ночью не сбился с пути из-за града или не проспал бы так долго в это утро, я неминуемо попал бы в руки этих ужасных ищек.

Если бы я не узнал из беседы двух горожан на базарной площади название города, который они выбрали для следующей остановки, я немедленно бы туда на-

правился. При настоящем положении вещей я решил обойти его как можно дальше. В первом же месте, где это можно было сделать, я приобрел шляпу и большой плащ, который надел поверх своего нищенского тряпья. Я надвинул шляпу на лицо, а один глаз прикрыл зеленым шелковым щитком. Платком, который я до сих пор носил на голове, я повязал теперь нижнюю часть лица, чтобы прикрыть рот. Понемногу я сбросил все части своей прежней одежды и стал носить нечто вроде извозничьего балахона, который, будучи хорошего качества, делал меня похожим на сына почтенного фермера из небогатых. Нарядившись таким образом, я продолжал свое путешествие и после множества тревог, предосторожностей и обходов благополучно прибыл в Лондон.

ГЛАВА VIII

Итак, на этом кончилась цепь безмерных усилий, на которые ни один человек не мог бы оглянуться без изумления и предвидение которых в дальнейшем способно было вызвать чувство, граничащее с отчаянием. Я добыл это место отдохновения ценой, не поддающейся никакому определению, если вспомнить как труды, потребовавшиеся мне для побега из тюрьмы, так равно опасности и страхи, добычей которых я был с того самого часа и по настоящее время.

Но почему называю я местом отдохновения город, в который только что прибыл? Увы, оказалось совсем обратное. Первым и неотложным моим делом было пересмотреть все планы переодевания, которые я к тому времени составил, чтобы внести в это дело все мыслимые улучшения на основании приобретенного опыта и изготовить возможно более непроницаемое покрывало для моей тайны. Это был труд, которому не предвиделось конца. В обыкновенных случаях улюлюканье и крики по адресу предполагаемого преступника — дело временное; но обыкновенные случаи не могли служить для меня примером. Я имел дело с огромной осведомленностью мистера Фокленда. И по этой-то причине Лондон, который на взгляд большей части человечества представляет неисчерпаемые возможности для того, кто

хочет скрыться, не внушал мне доверия. Не могу решить, стоило ли принимать жизнь на таких условиях. Знаю только, что я упорствовал в этом изощрении своих способностей из своего рода отеческой любви, которую люди привыкли питать к своему духовному порождению; чем больше мыслей потратил я, выпестывая его до теперешнего совершенного состояния, тем менее склонен я был от него отказаться. Другое основание, не менее горячо подстрекавшее мою настойчивость, представляла все возрастающая ненависть, которую я питал к несправедливости и самовластию.

Первую ночь по прибытии в город я провел на подозрительном постоялом дворе в предместье Саутуорк; я выбрал эту окраину столицы потому, что она отстоит дальше других от той части Англии, откуда я прибыл.* Я вошел на постоялый двор под вечер в своей одежде селянина и уплатил за ночевку, перед тем как лечь спать. На следующее утро я изменил свой облик, насколько это позволял мой гардероб, и оставил дом еще до рассвета. Балахон я завязал в небольшой узел и, отнеся его на довольно далекое расстояние, бросил в углу глухого переулка, по которому проходил. Моей следующей заботой было обзавестись новым набором принадлежностей, совершенно отличных от тех, к которым я до сих пор прибегал. Теперь у меня явилось желание принять внешность еврея. Один из членов шайки в лесу принадлежал к этой нации. И вследствие моей способности к подражанию, о которой я уже говорил, я усвоил еврейскую манеру произносить английские слова. Одним из предварительных действий, сделанных мной, было посещение той части города, где обитало много евреев, и изучение их внешнего вида и обхождения. Запасшись наблюдениями, которых требовала моя осмотрительность, я отправился ночевать на постоялый двор, стоящий на полпути между Майл-Эндом и Уоппингом.** Там я облекся в свои новые одежды и, употребив те же меры предосторожности, что и накануне, оставил место своего ночного отдыха в такое время, когда менее всего мог быть замечен. Нет надобности описывать подробно мой новый костюм. Одной из моих забот было изменить цвет лица, придав ему тот смуглый и болезненный оттенок, который в большинстве случаев отличает людей того племени, к которому я

хотел быть причисленным. Как только мое превращение было закончено, я тщательно осмотрел себя и решил, что в этом новом облике невозможно узнать личность Калеба Уильямса.

Подвинувшись так далеко в осуществлении своих планов, я счел благоразумным подыскать себе жилище и закончить свой скитальческий образ жизни. В этом жилище я всегда оставался взаперти от восхода и до захода солнца. Часы, которые я отводил движению и пребыванию на свежем воздухе, были кратки и немногочисленны, да и те приходились на ночное время. Я был так осторожен, что даже не подходил к окнам своей комнаты, хотя она находилась на верхнем этаже. Правилом, которое я установил для себя, было — не подвергать себя опасности без нужды и причины, какой бы незначительной эта опасность ни казалась.

Тут я задержусь на мгновение, чтобы показать читателю особенности своего положения такими, какими они запечатлелись у меня в памяти. Я был рожден свободным, я был рожден здоровым, сильным и деятельным, физически вполне развитым. Правда, я не был рожден для обладания наследственным богатством, но у меня было лучшее наследие — предприимчивый дух, пытливый ум, благородные стремления. Словом, я принимал свою долю в жизни охотно и безропотно. Я не сомневался, что выиграю свою тяжбу на житейском поприще; я готов был добиваться немногого; я согласен был играть, для начала рискуя малым; я предпочитал впоследствии подняться в своем значении.

Одного обстоятельства оказалось достаточно, чтобы уничтожить свободный дух и мужество, с которыми я начинал жизнь. Я не был осведомлен относительно власти, которую законы нашей страны предоставляют одному человеку над другими, и неосторожно попал в руки личности, для которой самым заветным желанием было притеснять меня и губить.

Ничем этого не заслуживая, я был обречен на такие злоключения, которым человечество, если б оно над этим задумалось, поколебалось бы подвергнуть даже уличенного преступника. В каждом человеческом облике я боялся узнать облик врага. Я трепетал перед взглядом каждого человеческого существа. Я не решался открыть сердце лучшим привязанностям, свойственным нашей

природе. Живя среди себе подобных, я замыкался от них, одинокий, всеми покинутый. Я не смел искать утешений дружбы, и, вместо того чтобы стараться разделить с другими радости и горести и обменяться с ними восхитительными дарами доверия и приязни, я был вынужден сосредоточивать свои мысли на самом себе. Моя жизнь была сплошной ложью. Мне приходилось прикидываться не тем, кем я был. Я должен был подражать чужим манерам. Моя походка, мои движения, моя речь — все было заучено. У меня не было возможности позволить себе ни одного честного душевного порыва. Окруженный всеми этими трудностями, я должен был добывать себе средства к существованию, завоевывая их с бесконечными предосторожностями и тратя их без всякой надежды на наслаждение. И это я решил вытерпеть, подставить плечо под это бремя и нести его с неослабевающей твердостью. Не следует, однако, думать, что я терпел все это без жалоб и отвращения. Время мое делилось между страхом животного, укрывающегося от своих преследователей, упорством непоколебимой воли и тем омерзением, от которого временами как бы корчится самое сердце. Бывали мгновения, когда я бросал злобный вызов своей судьбе, но наступали и такие минуты, все более частые, когда я погружался в беспомощное уныние. Я без надежды взирал вперед на свое дальнейшее существование, слезы тоски катились из моих глаз, мое мужество угасало, и я проклинал свое сознание, вновь пробуждавшееся с каждым утром.

«Зачем, — обычно восклицал я в таких случаях, — зачем отягощен я бременем существования? Зачем действуют все эти орудия моей пытки? Я не убийца. Но вряд ли худшие муки были бы моим уделом, если б я убил. Как гнусно, гадко и постыдно то состояние, на которое я обречен! Это не мое место в жизни, не то, к которому предназначали меня мой характер и мои знания. К чему служат неутомимые порывы моей души, как не к тому, чтобы я напрасно бился, подобно испуганной птичке, о прутья клетки! Природа, безжалостная природа, для меня ты оказалась поистине злейшей из мачех: наделила меня ненасытными желаниями и ввергла в бездну угнетения!»

Я считал бы себя в большей безопасности, если б у меня были деньги, на которые я мог бы жить. Необходи-

мость зарабатывать средства к существованию, несомненно, была помехой моему решению скрываться от своего гонителя. Какой бы труд я ни нашел подходящим для своих способностей, я должен был прежде всего подумать, как мне найти должность и где я найду нанимателя или покупателя сообразно моим надобностям. В то же время у меня не было выбора. Небольшие деньги, с которыми я ушел от ищеек, почти пришли к концу.

После самого тщательного обдумывания, какому я только мог подвергнуть этот вопрос, я решил, что литература будет арендой моих первых попыток. Я читал о том, что таким путем приобретаются деньги, и знал о суммах, выплачиваемых людьми, спекулировавшими этого рода товаром, настоящему производителю. Свою подготовку я расценивал очень невысоко. Я понимал, что только опыт и практика дают умение создавать выдающиеся произведения. Хотя я не имел ни того, ни другого, но всегда стремился к этому; а рано проснувшаяся у меня жажда знания привела меня к более тесному знакомству с книгами, чем это можно было ожидать при моем положении. Если мои литературные возможности были незначительны, то невелики были и расчеты, которые я собирался на них строить. Все, чего я хотел, — это получить средства к существованию. И я был убежден, что нашлось бы не много таких людей, которые могли бы существовать на более скромные средства, чем я. К тому же я видел в этом только временный выход и надеялся, что случай или время поставят меня впоследствии в менее сомнительное положение. Решило мой выбор прежде всего то соображение, что это занятие требовало от меня меньшей подготовки и что ему можно было предаваться, привлекая к себе, как мне казалось, меньше внимания.

В одном доме со мной жила одинокая немолодая женщина, снимавшая комнату в том же этаже. Как только я решил, чему посвятить свои занятия, я остановился на ней как на возможном посреднике для распространения моих произведений. Целиком отрешенный от всяких сношений со своими ближними, я радовался случаю обменяться иногда несколькими словами с этим безобидным и добродушным существом, уже достигшим возраста, которого не касается злословие. Она жила

на очень скудные средства, ежегодно выплачиваемые ей дальней родственницей — знатной особой, которая, сама обладая тысячами, была обеспокоена только тем, чтобы эта бедная женщина не запятнала ее имени, занимаясь честным трудом. Это смиренное создание, равно чуждое и тревожениям богатства и гнету невзгод, неизменно пребывало в веселом и деятельном расположении духа. Хотя ее притязания были невелики, а познания еще меньше, она отнюдь не была лишена проницательности. Она замечала человеческие ошибки и сумасбродства с незаурядной наблюдательностью. Но характер у нее был кроткий и всепрощающий, и это заставляло большинство людей думать, что она ничего не видит. Ее сердце было полно доброты. Она была искренна и пылка в своих привязанностях и никогда не упускала случая оказать услугу.

Если бы не эти черты ее характера, я, вероятно, решил бы, что мой внешний вид всеми покинутого, одинокого юноши еврейского происхождения решительно лишает меня права рассчитывать на ее доброту. Но скоро я увидел по ее манере принимать ни к чему не обязывающие учтивости, что сердце у нее слишком благородное, чтобы проявлениям его чувств препятствовали какие-нибудь низкие и недостойные соображения. Ободренный таким началом, я решил выбрать ее своим посредником. Она охотно и с большой готовностью пошла на дело, которое я ей предложил.

В предупреждение возможных недоразумений я откровенно сказал ей, что в настоящее время считаю необходимым держаться в тени, а о причинах пока умолчу, в чем прошу извинить меня, но уверен, что, узнай она эти причины, она не изменила бы своего доброго мнения обо мне. Она приняла это заявление как должное и сказала, что не желает ничего знать, кроме того, что я сам считаю уместным сообщить ей.

Мои первые литературные опыты были в области поэзии. Написав два или три произведения, я поручил этому великодушному созданию отнести их в редакцию одной газеты, но они были с презрением отвергнуты местным Аристархом,* который, едва удостоив их взглядом, заявил, что такие вещи не в его духе. Не могу не отметить здесь, что вид миссис Марней (так звали посланную) при таких обстоятельствах ясно говорил, с чем она воз-

вращается, и делал объяснения совершенно излишними. Она до такой степени отдавалась порученному ей делу, что неудачу или успех переживала гораздо сильнее, чем я сам. Я без всяких колебаний верил в свои способности и, будучи поглощен более существенными и мучительными размышлениями, считал эти дела совершенно ничтожными.

Я спокойно взял стихи обратно и положил их на стол. Пересмотрев их, я переделал и переписал одно из них и вместе с двумя остальными отправил их к издателю одного журнала. Он пожелал оставить их у себя до послезавтра. Когда наступил этот день, он объявил моему другу, что они будут напечатаны; но на вопрос миссис Марней об оплате ответил, что у них твердое правило — ничего не платить за стихи, так как их почтовый ящик всегда полон подобного рода произведениями. Но если джентльмен попробует свое перо в прозе — короткой статье или рассказе, он посмотрит, что можно будет для него сделать.

Я поспешил согласиться с требованием своего литературного повелителя. Я попробовал написать статью в духе «Зрителя» Аддисона,* и она была принята. В короткое время я утвердился в этой области. Однако, не совсем доверяя своим способностям в области моральных рассуждений, я скоро обратил свои мысли к другому его предложению — рассказу. Его обращения ко мне стали теперь часты, и чтобы облегчить себе труд, я подумал о новом источнике — пересказах. У меня не было тогда никакой возможности доставать книги, но, обладая хорошей памятью, я нередко пересказывал книги, прочитанные за несколько лет до того, либо строил свое повествование по их образцу. По роковой случайности, которую не сумею как следует объяснить, мысли мои часто обращались к истории знаменитых разбойников. И время от времени я передавал случаи и анекдоты из жизнеописаний Картуша, Гусмана из Альфараче** и других памятных героев, жизненный путь которых закончился на виселице или эшафоте.

Однако мысль о моем собственном положении препятствовала мне заниматься даже этим трудом. Часто я бросал перо в приступе отчаяния. Иногда я целыми днями не мог приняться за работу и погружался в какое-то полуоцепенение, слишком мучительное, чтобы

его можно было описать. Однако молодость и здоровье помогали мне время от времени справляться со своим унынием и даже быть веселым, и если б так было постоянно, этот период моей жизни казался бы мне сносным.

ГЛАВА IX

Когда я таким образом старался чем-то заняться и добыть себе средства к жизни хоть на некоторое время, пока пыл моих преследователей не остынет, передо мной возник новый источник опасности, о котором я и не подозревал.

Джайнс — вор, изгнанный из шайки Раймонда, — в последние годы своей жизни колебался между двумя занятиями: нарушением законов и прислуживанием его блюстителям.

Сначала он отдался первому, и, вероятно, посвящение в тайны воровства сделало его особенно ловким в ремесле сыщика, которым он занялся не по собственному желанию, а по нужде. В этом деле его репутация стояла высоко, хотя, вероятно, не так, как он того заслуживал, потому что в человеческом обществе *éclat*¹ достается почти исключительно начальникам, какую бы мудрость и мастерство ни проявляли подчиненные. Он преуспевал в искусстве сыщика, когда случилось, что по какой-то неожиданности некоторые из его подвигов, предшествовавших тому моменту, когда он стряхнул с себя прах непатентованного хищничества, оказались под угрозой стать предметом общественного внимания. Получив на этот счет несколько предупреждений, он счел более благоразумным исчезнуть; в это-то время он вступил в шайку.

Вот какова была жизнь этого человека до того времени, когда я его встретил. К моменту этой встречи он был уже ветераном в шайке Раймонда. Разбойники — народ недолговечный, и поэтому, чтобы стать среди них ветераном, требуется не много времени. После изгнания из шайки он опять вернулся к своему законному ремеслу и, как блудный сын, был встречен старыми товарищами с распростертыми объятиями. На взгляд низших

¹ Блеск, слава (франц.).

классов общества, такая давность не может искупить преступления, но у почтенного братства сыщиков есть правило никогда не призывать к ответу кого бы то ни было из своих, если только этого можно сколько-нибудь прилично избежать. Очевидно, им претит накладывать ненужное пятно на горностаи их звания.

Другое правило, соблюдаемое теми, кто прошел те же ступени, и принятое самим Джайнсом, заключалось в том, чтобы оставлять сообщников своих преступлений и ни в коем случае не беспокоить их без особой необходимости или непреодолимого соблазна. По этой причине, согласно тактике Джайнса, мистер Раймонд и его товарищи были, как он говорил, в безопасности от его мщения. Но, хотя в этом смысле слова Джайнс был щепетильно честный человек, на отношение ко мне признаваемые им законы чести, к сожалению, не распространялись. Несчастье висело надо мной, и куда бы я ни обратился, я нигде не видел защиты или прикрытия. Притеснения, которым я подвергался, были основаны на утверждении, что я совершил кражу на огромную сумму. Но Джайнсу до этого не было дела: верно ли было утверждение или ложно — ему было все равно; он так непамятовал меня, как если бы моя невиновность была установлена без всяких сомнений.

Ищейки, арестовавшие меня в порту, рассказали, как это обычно делается среди их братии, часть своих приключений и объяснили, почему они склонны думать, что личность, побывавшая в их руках, — тот самый Каллеб Уильямс, за поимку которого назначена награда в сто гиней; а Джайнс, сообразительность которого в его ремесле была очень велика, сопоставив факты и сроки, заподозрил, что Каллеб Уильямс — тот самый человек, которого он обидел и ранил в лесу. А к этому человеку он питал самую ожесточенную вражду. Я оказался невольным поводом его позорного изгнания из шайки Раймонда; а Джайнс, как я узнал впоследствии, был глубоко убежден, что с мужественным и благородным ремеслом грабителя, от которого он был отстранен из-за меня, не может сравниться грязное и тупое занятие сыщика, к которому он вынужден был вернуться. Как только он получил упомянутые сведения, он поклялся отомстить. Он решил бросить остальные дела и посвятить

все свои умственные способности тому, чтобы выгнать меня из берлоги, в которой я укрылся.

Обещанная награда, которую он в своем тщеславии считал наверняка принадлежащей ему, должна была полностью возместить ему труд и издержки. Таким образом он выступил против меня со всей проницательностью, которой он обладал в своей профессии, подстрекаемый на этот раз жадной мести, не знающей запретов совести или человеколюбия.

Когда, вскоре после водворения в свое новое жилище, я мысленно рисовал себе картину своего положения, я легковерно полагал, как обычно делают все несчастные, что мои бедствия не могут умножиться. А между тем то, что без моего ведома произошло в это время, было для меня самым страшным несчастьем, какое только можно себе представить. Не могло случиться ничего более угрожающего для моего будущего покоя, чем роковая встреча с Джайнсом в лесу. Таким путем, как теперь выяснилось, я нажил себе нового врага — из тех странных и страшных врагов, которые твердо соблюдают решение до конца дней своих не отказываться от своей вражды. Если Фокленд был голодный лев, рыкания которого удивляли и пугали меня, то Джайнс был вредное, но едва ли не менее страшное и опасное насекомое, летающее вокруг меня и непрестанно угрожающее мне своим ядовитым жалом.

Первым шагом к осуществлению его замысла было отправиться в морской порт, где меня видели. Оттуда он проследил за мной до берегов Северна, от берегов Северна — до Лондона. Вряд ли нужно доказывать, что это всегда возможно, когда у преследователя есть достаточно веские основания, побуждающие его к настойчивости, — разве только меры предосторожности беглеца в высшей степени удачно задуманы и счастливо осуществлены. Конечно, в ходе слежки Джайнсу часто приходилось проделывать один и тот же путь и, подобно потерявшей след борзой, возвращаться к тому месту, где он в последний раз чуял зверя, которого выслеживал. Он не жалел ни стараний, ни времени, чтобы удовлетворить овладевшую им страсть.

После того как я прибыл в город, он одно время совсем потерял меня из виду, потому что Лондон такое место, где благодаря огромности его размеров человеку

сравнительно легко остаться скрытым и неизвестным. Но никакие трудности не могли остановить этого нового противника. Он обходил один постоялый двор за другим (справедливо полагая, что не было такого частного дома, в котором я мог бы сразу укрыться), пока не узнал при помощи описания, которое он делал, и воспоминаний, которые вызывал, что я провел одну ночь в предместье Саутуорк. Однако о дальнейшем он не мог получить никаких сведений. На постоялом дворе не знали, что со мной случилось на следующее утро.

Но это только заставило его с еще большей энергией продолжать поиски. Описывать меня было теперь затруднительно из-за частичной перемены одежды, которую я произвел на второй день своего пребывания в городе. Но в конце концов Джайнс преодолел и это препятствие.

Проследив меня до второго постоянного двора, он получил там более подробные сведения. Я был предметом досужих разговоров для некоторых завсегдатаев этого постоянного двора. Одна старуха, очень любопытная и болтливая, которая жила напротив и в то утро встала из-за стирки очень рано, выследила меня в окно, при свете большого фонаря, который висел у ворот постоянного двора, когда я выходил оттуда. Она очень плохо меня разглядела, но ей показалось, что в моей наружности есть что-то еврейское. Она имела привычку по утрам беседовать с хозяйкой постоянного двора, причем в беседе иногда участвовал и кто-нибудь из слуг или служанок. В то утро во время разговора она несколько раз спрашивала про еврея, который провел там ночь. Никакого еврея не было. Любопытство хозяйки в свою очередь разгорелось. Судя по времени, это мог быть только я. Странно! Они стали вспоминать мою наружность и одежду и сравнивать свои наблюдения. Ни малейшего сходства! Еврей-христианин и позже бывал не раз предметом их разговоров, когда другие темы иссякали.

Сведения, полученные таким путем, Джайнс нашел очень важными. Но осуществление его замысла задерживалось. Он не мог входить во все частные дома, населенные жильцами, так же свободно, как на постоянные дворы. Он бродил по улицам, провожая любопытными

и жадными взглядами каждого еврея, сколько-нибудь похожего на меня. Но напрасно. Он направился на Дьюкплейс и в синагоги. В сущности, там он меньше всего мог рассчитывать на встречу со мной. Но он прибегнул к этому как к последнему средству. Не раз он готов был отказаться от преследования, но ненасытная и беспокойная жажда мести заставляла его продолжать.

В этом смятенном и колеблющемся душевном состоянии он однажды случайно зашел к своему брату, который работал в типографии. Встречи этих двух лиц были чрезвычайно редкими, потому что вкусы и привычки их были различны. Типографщик был трудолюбив, трезв, привержен методизму и склонен к накоплению. Он был очень недоволен поведением и занятиями брата и раньше делал тщетные попытки воздействовать на него. Но, несмотря на несходство взглядов, они все-таки изредка встречались. Джайнс любил хвастаться теми из своих успехов, о которых решался упоминать, и брат был для него лишним слушателем сверх обычного круга его постоянных товарищей. А типографщика забавляла резкость суждений и новизна фактов, сообщаемых Джайнсом. Несмотря на свои предрассудки трезвенника и церковника, он испытывал удовольствие при мысли о том, что у него такой смелый и находчивый брат.

На этот раз, немного послушав удивительные истории, которые со своей грубоватой манерой небрежно рассказывал Джайнс, типографщик захотел, в свою очередь, развлечь брата. Он стал передавать некоторые мои рассказы о Картуше и Гусмане из Альфараче. Внимание Джайнса было привлечено. Его первым чувством было удивление, вторым — зависть и возмущение. Откуда типографщик добыл эти истории?

— По правде говоря, — отвечал типографщик, — никто из нас не знает, что и думать об авторе этих статей. Он пишет стихи и рассказы, нравственные и исторические. Я типографщик и корректор и, не хвастаясь, могу назвать себя неплохим судьей в этих делах. На мой взгляд, он пишет их очень хорошо, а сам всего-навсего какой-то еврей. (Моему честному типографщику это казалось таким же странным, как если бы это писал вождь крокезов с берегов Миссисипи.)

— Еврей? Почему ты знаешь? Ты его видел когда-нибудь?

— Нет. Весь этот материал нам всегда приносит женщина. Но мой хозяин терпеть не может тайн. Он желает сам видеть автора. Вот он докучает и докучает старухе, но никогда ничего от нее не выудит. Только раз она обронила, что молодой джентльмен — еврей.

Еврей! Молодой джентльмен! Личность, устраивающая все через посредника и окружающая все свои действия тайной! Это была богатая почва для размышлений и подозрений Джайнса. Он нашел им подтверждение без особой затраты умственных усилий в темах моих ночных занятий — о людях, погибших от руки палача. Он ничего больше не сказал брату, только спросил его, как будто между прочим: что это за старуха, сколько ей может быть лет и часто ли она приносит ему такой материал, и скоро после этого воспользовался первым предложением, чтобы проститься.

С огромным удовольствием услышал Джайнс это неожиданное известие. Получив от брата достаточно сведений о личности и наружности миссис Марней и узнав, что он рассчитывает на следующий день получить кое-что от меня, Джайнс с раннего утра занял наблюдательный пост на улице, чтобы не потерпеть неудачи по собственной небрежности. Он прождал несколько часов, но не зря. Миссис Марней явилась. Он видел, как она вошла в дом и через двадцать минут вышла оттуда. Он пошел за ней по улицам и наконец увидал, как она вошла в один частный дом. Джайнс поздравил себя с достижением конца своих трудов.

Но миссис Марней зашла не в тот дом, где она жила. По какой-то чудесной случайности она заметила, что Джайнс следит за ней. Возвращаясь домой, она увидела женщину, упавшую в обморок. Побуждаемая присущим ей чувством сострадания, она подошла к женщине, чтобы оказать ей помощь. Вокруг тотчас же собралась толпа. Миссис Марней, сделав все, что было в ее силах, хотела продолжать свой путь. Обратив внимание на окружившую ее толпу, она подумала о ворах, ощупала свои карманы и в то же время оглядела собравшийся народ. Она так спешила выйти из толпы, что Джайнс, чтобы не потерять ее из виду, вынужден был подойти ближе и в это мгновение оказался прямо против нее. Наружность у него была необыкновенная: дурной образ жизни отметил все черты его лица выражением злобного

лукавства и безудержной наглости. И миссис Марней, не будучи ни философом, ни физиономистом, тем не менее была поражена.

Эта добрая женщина, подобно многим столь же почтенным особам, имела странное обыкновение возвращаться домой не прямым путем, по главным улицам, а узкими переулками и переходами, образующими неожиданные повороты. В одном из таких мест ей вдруг опять попалась на глаза фигура ее соглядатая. Это обстоятельство, в соединении с его наружностью, вызвало у нее подозрения. Неужели он на самом деле следит за ней? Было около полудня, и ей нечего было бояться за себя. Но не имеет ли это какого-нибудь отношения ко мне? Миссис Марней вспомнила о моей тайне и о предосторожностях, которые я соблюдал. Она несколько не сомневалась, что у меня были основания так поступать, и сама была всегда настороже во всем, что касалось меня. Но было ли этого достаточно? Она подумала, что будет навеки несчастна, если из-за нее меня постигнет беда, и поэтому решила ради предосторожности на всякий случай зайти к своим друзьям и запиской предупредить меня о том, что случилось. Объяснив своей приятельнице в чем дело, она сейчас же ушла к какой-то особе, жившей в противоположном направлении, а ей поручила ровно через пять минут после своего ухода идти ко мне. Этой мерой она отклонила от меня непосредственную опасность.

Между тем доставленное мне известие отнюдь не разъясняло, насколько эта опасность велика. Сколько я над ним ни раздумывал, само по себе обстоятельство это могло оказаться совершенно невинным, и страх простекал, может быть, только от чрезмерной осторожности и доброты этой сострадательной и превосходной женщины. Но мое положение было так опасно, что выбора у меня не было. Было ли тут что-нибудь угрожающее или нет, — я был принужден по первому предупреждению покинуть свое жилище, взяв с собой только то, что мог нести в руках, не видеть больше своей великодушной благодетельницы, расстаться со своим несложным обзаведением и запасами и опять создавать в каком-нибудь отдаленном убежище новые планы выхода из положения и, если только на это можно было хоть сколько-нибудь рассчитывать, — новую дружбу.

Я вышел на улицу с тяжелым сердцем, но без колебаний. Был яркий день. Я говорил себе: предполагается, что кто-то бродит сейчас по улицам, разыскивая меня. Нельзя полагаться на счастье и рассчитывать, что преследователи пойдут в одном направлении, а я — в другом. Я прошел с полдюжины улиц и после этого зашел в подозрительного вида харчевню для людей с малым достатком. Там я кое-чем подкрепился, провел несколько часов в деятельном, хоть и печальном размышлении и наконец потребовал постель. Но как только стемнело, я вышел (так было нужно), чтобы приобрести вещи, необходимые для нового переодевания. Приладив все за ночь как можно лучше, я покинул это убежище с теми же предосторожностями, которые употреблял в прежних случаях.

ГЛАВА X

Я поселился на новом месте. Особое состояние духа, бывшее, очевидно, следствием постоянного созерцания картин гибели, привело к тому, что я склонен был считать испуг миссис Марней обоснованным. Но я не мог решить, откуда надвинулась на меня опасность. Поэтому мне оставалось только одно, малоудовлетворительное средство — удвоить осторожность во всех действиях.

Между тем надо мной по-прежнему тяготели связанные между собой заботы о безопасности и о средствах к существованию. В моем распоряжении был небольшой остаток от плодов моего прежнего труда. Но он был очень мал, потому что мой работодатель задолжал мне, а я не считал возможным каким бы то ни было способом обращаться к нему за деньгами. Душевные тревоги вопреки моим усилиям подрывали мое здоровье. Я ни минуты не чувствовал себя в безопасности. Я стал худ как тень и вздрагивал при каждом неожиданном звуке. Иной раз я испытывал соблазн отдаться в руки правосудия, — будь что будет; но в такие минуты душа моя вдруг опять переполнялась возмущением и негодованием, и упорство мое оживало. Что касается средств к существованию, то я не знал лучшего способа добыть их, чем тот, к которому прибегал раньше, при помощи третьего лица — посредника при сбыте моих работ.

Я мог бы найти человека, готового оказывать мне эту услугу, но где мне было найти добрую душу, подобную миссис Марней? Личность, на которой я остановился, был некий мистер Сперрел — человек, бравший работу у часовщиков и занимавший помещение во втором этаже нашего дома. Я два или три раза нерешительно всматривался в него при встречах на лестнице, прежде чем решился заговорить с ним. Он это заметил и в конце концов любезно пригласил меня зайти к нему.

Когда мы уселись, он выразил соболезнование по поводу моего, по-видимому, плохого здоровья и одинокого образа жизни и пожелал узнать, не может ли он быть мне чем-нибудь полезен. С первой же минуты, как он увидел меня, он почувствовал ко мне расположение. В теперешнем своем обличье я выглядел уродом и калекой. Но оказалось, что мистер Сперрел за шесть месяцев перед тем потерял своего единственного сына, с которым мы были схожи «как две капли воды». Если б я совлек с себя поддельное безобразие, я, наверное, потерял бы все права на его любовь. Теперь он уже старик, объяснил он, стоящий одной ногой в могиле, и сын был его единственным утешением. Бедный мальчик всегда болел, но он ухаживал за ним. И чем больше тот требовал ухода, пока был жив, тем больше ему недостает его теперь, когда он умер. У него во всем свете нет ни одного друга — никого, кто бы его любил. Если бы я пожелал, я мог бы заменить ему этого сына, и он стал бы относиться ко мне с таким же вниманием и добротой.

Я сказал ему, до какой степени я тронут этим ласковым предложением, но заметил, что меня огорчило бы, если б я ему был чем-нибудь в тягость. Мне нравится уединенная и замкнутая жизнь, но главное мое затруднение — согласовать это с каким-нибудь способом добывания необходимых средств к существованию. Если бы он счел возможным помочь мне в этом затруднении, это было бы величайшим благодеянием, которое он мог бы мне оказать. Я добавил, что у меня всегда было желание заниматься механикой и я уверен, что могу быстро овладеть любым мастерством, которым займусь серьезно. Меня не приучали ни к какому ремеслу, но если он будет так добр ко мне, что обучит меня, я буду работать с ним, сколько он пожелает, только за стол. Я знаю, что

прошу у него необычайного снисхождения, но, с одной стороны, меня побуждает к этому крайняя необходимость, а с другой — ободряет убедительность его дружеских признаний.

Старик слегка прослезился по поводу очевидной бедственности моего положения и охотно согласился на все, о чем я просил. Мы быстро договорились, и я приступил к исполнению своих обязанностей. У моего нового друга был странный характер. Любовь к деньгам и сострадательная услужливость поведения были его отличительными особенностями. Он жил очень бедно, отказывая себе во всем. Я почти сразу получил право на известное вознаграждение за свои труды; он это открыто признал и в соответствии с этим настоял, чтобы я получал плату. Однако он не выплачивал мне заработанное полностью, как это при подобных обстоятельствах сделали бы другие, а заявил, что удерживает двадцать пять процентов в виде справедливой платы за обучение и комиссионных за сбыт моих изделий. Между тем он часто проливал слезы над моей судьбой, тревожился во время наших неизбежных разлук и выказывал постоянные признаки привязанности и нежности. Я убедился, что в работах по механике он ловок и изобретателен, и его наставления доставляли мне немалое удовольствие. Мои собственные познания были разнообразны, и он часто выражал свое восхищение и радость, наблюдая за проявлениями моих способностей как в веселье, так и в труде.

Таким образом я как будто достиг положения не менее благоприятного, чем в то время, когда имел дело с миссис Марней. Между тем я чувствовал себя еще более несчастным. Приступы уныния бывали у меня все сильнее и повторялись чаще. Мое здоровье ухудшалось с каждым днем. И мистер Сперрел не мог отделаться от опасений, что он потеряет меня так же, как раньше потерял своего единственного сына.

Прошло немного времени с того дня, как я попал в это новое положение, и вдруг случилось происшествие, вселившее в меня страх и опасение сильнее прежних.

Как-то вечером, когда я гулял, желая после долгого приступа тоски провести час-другой в движении и на воздухе, слух мой поразили несколько случайных слов разносчика, восхвалявшего свой товар. Я остановился,

чтобы вслушаться, и, к великому своему изумлению и ужасу, услышал приблизительно следующее: «Вот в высшей степени необычайная и удивительная история и чудесные приключения Калеба Уильямса. Вы узнаете, как он в первый раз ограбил своего хозяина, а потом возвел на него ложное обвинение, а также о том, как он много раз пробовал бежать из тюрьмы, пока наконец не бежал самым удивительным и невероятным образом, а также о его путешествиях по королевству под разными обличьями и о грабежах, которые он производил с самой отчаянной и смелой шайкой разбойников, и о том, как он явился в Лондон, где, можно думать, и теперь спокойно пребывает, — с верной и правдивой копией объявления, отпечатанного и опубликованного одним из самых главных его величества государственных секретарей и предлагавшего награду в сто гиней за его поимку. Все за полпенни!»

Пораженный ужасом при этих ошеломляющих и страшных выкриках, я все-таки нашел в себе смелость подойти к этому человеку и купить у него листок. С решимостью отчаяния я жаждал точно узнать, каково создавшееся положение вещей и чего мне следует ожидать. Я отошел немного и, не имея сил сдерживать дольше свое волнение и нетерпение, ухитрился прочесть большую часть листка под фонарем в конце узкого переулочка. Я обнаружил, что объявление включает в себе больше подробностей, чем обычно можно ожидать от такого рода изданий.

Я был приравнен к самым знаменитым взломщикам в искусстве проникать сквозь стены и двери и к самым отъявленным мошенникам — в двуличии, умении вводить в обман и изменять наружность. В конце было помещено объявление, которое Ларкинс приносил к нам в лесной притон. Все мои переодевания, вплоть до последней тревоги, которую подняла благодаря своей предусмотрительности миссис Марней, были точно перечислены, и жителям предлагалось остерегаться человека странной и причудливой наружности, ведущего замкнутый и уединенный образ жизни. Из этого листка я также узнал, что моя прежняя квартира в тот же вечер, когда я оставил ее, подверглась обыску, а миссис Марней отправлена в Ньюгейтскую тюрьму за то, что не сообщила о преступнике.

Последнее обстоятельство глубоко огорчило меня. Мои собственные страдания не заглушили сочувствия к ней. Как жестока и невыносима была мне мысль, что я не только сам являюсь предметом неустанный гонения, но даже общение со мной заразно и каждый, оказавший мне помощь, навлекает на себя несчастье! Моим первым чувством было желание испытать на себе злейшие козни врагов, лишь бы спасти этим способом от тревог и гибели эту превосходную женщину. Позже я узнал, что миссис Марней освободили из заточения благодаря вмешательству ее знатной родственницы.

Впрочем, в то время мое сочувствие миссис Марней было поверхностным. Более настоятельное и неотложное обстоятельство требовало моего внимания.

С какими чувствами раздумывал я над этим листком? Каждое слово его вселяло отчаяние в мое сердце. Явная опасность, которой я так страшился, была бы, может быть, менее страшной. Она положила бы конец тому постоянному ужасу, жертвой которого я стал. Переодевание уже оказывалось ненужным. Множество народа в любом районе столицы, почти в каждом доме, будет склонно подозрительно оглядывать всякого попавшего в поле их наблюдения незнакомца, в особенности одинокого. Награда в сто гиней назначалась для усиления их жадности и проницательности. Теперь уже не одни сыщики с Боу-стрит, а миллионы людей были вооружены против меня. А у меня не было прибежища, в котором, наверно, никто никогда так сильно не нуждался, — хотя бы в лице одного человека, с которым я мог бы поделиться своими тревогами и который мог бы укрыть меня от взоров ненасытного любопытства.

Могло ли что-нибудь превзойти ужас этого положения? Сердце мое бешено билось, грудь вздымалась, я задыхался.

«Значит, этим гонениям не будет конца! — говорил я себе. — Мои неустанные и долгие труды ни к чему не привели. Выхода нет! Даже время, которое излечивает все остальные недуги, делает мое положение все более отчаянным. К чему же, — воскликнул я, внезапно увлеченный новым течением мыслей, — к чему продолжать борьбу? В смерти я найду по крайней мере спасение от своих гонителей. Я могу похоронить себя и следы своего существования в забвении, оставив таким путем вечные

сомнения и постоянно возвращающиеся страхи в наследие тем, кто находит утешение только в том, чтобы преследовать меня!»

Эта мысль доставила мне отраду, и я поспешил к Темзе, чтобы немедленно привести в исполнение свое намерение. Мое душевное состояние было таково, что я почти перестал замечать окружающее. Я уже не чувствовал болезненной слабости, а с неудержимым пылом стремился вперед. Я проходил одну улицу за другой, не замечая, в каком направлении иду. Пробродив не знаю сколько времени, я очутился на Лондонском мосту. Я поспешил к лестнице и увидел, что река покрыта судами.

«Ни одно живое существо не должно видеть меня в то мгновение, когда я исчезну навсегда», — подумал я. Это потребовало размышления. После моего первого отчаянного решения прошло некоторое время. Способность соображать начала возвращаться. Вид кораблей подсказал мне мысль еще раз попробовать покинуть родину.

Я справился и скоро узнал, что самый дешевый проезд я могу получить на судне, ошвартованном близ Тоуэра и отплывающем через несколько дней в Мидльбург, в Голландию. Я тотчас же поднялся бы на борт и постарался уговорить капитана, чтоб он разрешил мне остаться на корабле до отплытия. Но, к несчастью, у меня в кармане не было достаточной суммы для уплаты за проезд.

Дело обстояло еще хуже. У меня вообще было слишком мало денег, но я все-таки уплатил капитану половину того, что он требовал, и обещал вернуться с остальным. Я не знал, каким путем добуду эти деньги, но был уверен, что это мне удастся. У меня была мысль обратиться к мистеру Сперрелу. Наверное, он не откажет мне. Он как будто относится ко мне с отеческой привязанностью, и я могу довериться ему на мгновение.

Я приблизился к своему жилью с тяжелым предчувствием в сердце. Мистера Сперрела не было дома, и мне пришлось дожидаться его возвращения. Подавленный усталостью, горем и общим болезненным состоянием, я опустился в кресло. Но я быстро спохватился. У меня в сундучке лежал заказ, полученный от мистера Сперрела в то самое утро, стоимостью в пять раз больше той

суммы, которая была мне нужна. Одно мгновение я колебался, не воспользоваться ли мне этим имуществом. Но я с презрением отогнал эту мысль. Я ни в малейшей мере не заслуживал упреков, которые мне бросали, и твердо решил, что не заслужу их никогда. Я сидел, тяжело дыша, перепуганный, полный мрачных предчувствий. Мои страхи даже мне самому казались более сильными и неотступными, чем это вызывалось обстоятельствами.

Было страшно, что мистера Сперрела нет дома в такое время; при мне этого ни разу не случилось. Он ложился между девятью и десятью часами. Пробило десять, одиннадцать, а мистера Сперрела не было. В полночь я услышал стук в дверь. Все в доме спали. У мистера Сперрела, который всегда рано возвращался домой, не было ключа, чтобы самому открыть дверь. Проблеск, слабый проблеск чувства общительности проснулся в моем сердце. Я проворно сбежал по лестнице и открыл дверь.

При свете небольшого огарка, который держал в руке, я заметил что-то необыкновенное в его лице. Не успел я заговорить, как увидел двух незнакомцев, входивших вслед за ним. С первого взгляда я отлично понял, что это за люди, а со второго признал в одном из них не кого другого, как самого Джайнса. Я уже раньше слышал, что он был сыщиком, и не удивился, что он вернулся к прежнему занятию.

Хотя я в течение трех часов старался подготовиться к неизбежной необходимости попасть еще раз в руки слуг правосудия, однако чувство, которое я испытал при их появлении, было невыразимо мучительно. К тому же я был немало удивлен временем и способом их появления и с нетерпением хотел узнать — неужели мистер Сперрел мог оказаться настолько низким, чтобы привести их?

Я недолго оставался в недоумении. Как только он увидал, что его спутники вошли, он воскликнул с судорожной торопливостью:

— Вот, вот тот, кого вам надо! Слава богу, слава богу!

Джайнс быстро оглядел меня; надежда и сомнение сменялись на его лице; он ответил:

— Клянусь богом, не знаю, так это или нет. Боюсь, мы дали маху! — Потом, спохватившись, он прибавил: — Все-таки войдем в дом, сделаем осмотр.

Мы все поднялись по лестнице в комнату мистера Сперрела. Я поставил свечу на стол. До тех пор я молчал, но решил не сдаваться, и сомнения Джайнса немного ободрили меня. Поэтому я спросил спокойно и равнодушно своим заученным говором, одной из особенностей которого была картавость:

— Прошу вас, джентльмены, что вам угодно от меня?

— Видите ли, — отвечал Джайнс, — нам нужен некий Калев Уильямс, негодяй из негодяев! Я бы должен был хорошо знать малого, да, говорят, у него что ни день, то новое лицо. Так вы, уж пожалуйста, снимите, что у вас на лице лишнее, а если не можете этого сделать, то, уж конечно, можете снять платье и показать, из чего изготовлен ваш горб.

Я возражал, но напрасно. Я стоял, уличенный в своих уловках. И Джайнс, хотя еще не совсем уверенный, с каждой минутой все более укреплялся в своих подозрениях. Мистер Сперрел, выпучив глаза, с жадностью следил за происходящим. По мере того как мой обман постепенно становился явным, он повторял свое восклицание: «Слава богу! Слава богу!»

Наконец, измученный этим зрелищем лицемерия и полный беспредельного отвращения к гнусной и двуличной фигуре, которую я собою, казалось, являл, я воскликнул:

— Хорошо! Я Калев Уильямс. Ведите меня куда хотите. А теперь, мистер Сперрел...

Он сильно вздрогнул. В то мгновение, когда я называл себя, восторг его достиг высшего предела, и он совершенно не мог его сдержать. Но неожиданность моего обращения и тон, которым я говорил, ошеломили его.

— Может ли быть, — продолжал я, — чтобы вы оказались таким негодяем, что выдали меня? Что я сделал, чтобы заслужить такое обращение? Это ли доброта, которой вы хвалились? Любовь, о которой постоянно твердили? Послать меня на смерть?

— Мой бедный мальчик! Мой дорогой! — воскликнул Сперрел тоном самой смиренной укоризны и захныкал, — Право, я ничего не мог поделать! Я сделал бы,

если б мог! Я надеюсь, они не причинят тебе вреда, мой дорогой! Я умру, если они сделают это, я знаю!

— Жалкий тупица! — сурово перебил я его. — Ты предаешь меня беспощадным когтям закона и толкуешь о том, что мне не причинят вреда! Я знаю свой приговор и готов к тому, чтобы встретить его! Ты накинул петлю мне на шею и за ту же цену сделал бы то же самое со своим единственным сыном. Иди, считай свои проклятые гиней! Моя жизнь была бы в большей безопасности в руках первого встречного, чем такого человека, как ты, чьи глаза без конца проливали надо мной крокодиловы слезы!

Я всегда считал, что моя болезнь и, по мнению мистера Сперрела, близкая смерть отчасти способствовали его предательству. Он предугадывал, что скоро я не буду больше в состоянии работать. С тоской вспомнив издержки, вызванные болезнью и смертью сына, он решил не оказывать мне подобной помощи. Однако мистер Сперрел боялся упреков совести за то, что бросает меня на произвол судьбы. Он боялся своей собственной чувствительности. Он замечал, что привязанность его ко мне растет и что скоро он, пожалуй, уже не сможет покинуть меня. Какое-то безотчетное побуждение толкало его во избежание одного великодушного поступка укрыться за другим, самым гнусным и дьявольским. И это вместе с ожиданием обещанной награды было для него слишком могущественным двигателем, чтобы он мог устоять.

ГЛАВА XI

Дав выход своему негодованию, я оставил мистера Сперрела недвижимым и не способным произнести ни слова. Джайнс и его товарищ сопровождали меня. Нет нужды описывать всю наглость этого человека. Он поочередно то ликовал по поводу того, что его месть осуществилась, то сокрушался о потере награды, которая пойдет теперь этому сморщенному старикашке, только что нами оставленному; впрочем, его он обойдет — не одним, так другим способом. Он расхваливал себя за ловкость, с которой придумал басню ценой в полпенни, мысль о которой принадлежала ему одному и представ-

ляла собой безошибочно верное средство. Нет ни закона, ни справедливости, говорил он, если тому, кто ничего не сделал, позволят прикарманить денежки, а заслуги его, Джайнса, не отметят и не заплатят за них ни гроша.

Я не обращал внимания на его речи. Но они касались моего слуха, и мне удалось припомнить их в свободную минуту, хотя в то время я и не думал о них. Тогда я был поглощен размышлениями о своем новом положении и о поведении, которого мне следует держаться. Мысль о самоубийстве являлась мне дважды в минуты небывалого отчаяния, но была далека от обычных моих размышлений. Теперь, так же как во всех случаях, когда мне из-за чужой несправедливости прямо угрожала смерть, я чувствовал потребность бороться до конца.

Будущее представлялось мне, конечно, достаточно мрачным и безнадежным. Сколько трудов потратил я на то, чтобы сначала выбраться из тюрьмы, потом избежать усердия своих преследователей, и наконец опять оказался на том самом месте, с которого начал. Конечно, я приобрел известность — жалкую известность, заключающуюся в том, что о моей истории выкрикивают уличные разносчики и стихоплеты, а лакеи и горничные прославляют меня как ловкого и предприимчивого негодяя; однако я не был ни Геростратом, ни Александром,* чтобы умереть довольным такого рода хвалами. Но что могли бы мне дать новые усилия, подобные прежним? Ни одно человеческое существо никогда не подвергалось преследованию со стороны таких изобретательных и беспощадных врагов. У меня не было никакой надежды на то, что они когда-нибудь прекратят свои гонения или что мои будущие попытки увенчаются более желательным исходом.

Вот какого рода мысли подсказали мне решение. Я постепенно отчуждался от мистера Фокленда, пока чувство мое к нему не превратилось в нечто вроде омерзения. Я долго сберегал к нему уважение, которого он не мог вполне уничтожить ни своей враждой, ни клеветой. Но теперь я стал считать такую бесчеловечную кровожадность присущей его характеру; я видел что-то бесовское в этой травле меня по всему свету и в решении удовлетвориться только моей кровью, в то время как ему была известна моя невиновность, мое нерасположение к дур-

ному, могу даже добавить — моя добродетель. Так я растоптал свое бывшее почтение и даже воспоминание об уважении, которое питал к нему. Я перестал восхищаться величием его ума и сочувствовать терзаниям его души. И я решил отбросить снисходительность. Я покажу себя таким же озлобленным и непреклонным, как он. Благоразумно ли с его стороны доводить меня до крайности и безумия! Неужели он не боится кары за свои тайные и страшные злодеяния?

Мне пришлось провести остаток той ночи, в которую меня схватили, в тюрьме. За это время я покончил с переосвоением и на следующее утро появился в своем собственном виде. Мою личность, конечно, легко установили. А так как судей, перед которыми я теперь стоял, касалось только это обстоятельство,* то они принялись составлять приказ об отправлении меня обратно в графство, откуда я был родом. Я прервал это занятие, заявив, что хочу сделать сообщение. Мимо таких заявлений люди, призванные вершить правосудие, никогда не проходят.

Я предстал перед судьями, к которым меня привели Джайнс и его товарищ, с твердым решением раскрыть те удивительные тайны, которые до сих пор верно хранил, и раз навсегда повернуть дело против своего обвинителя. Пришло время подлинному преступнику подвергнуться преследованию, а невинному уйти наконец от его гнета.

Я сказал, что всегда настаивал на своей невинности и должен теперь повторить это.

— В таком случае, — резко возразил судья, — что можете вы сообщить нового? Если вы невинновы, это нас не касается. Мы действуем в пределах своих полномочий.

— Я всегда заявлял, — продолжал я, — что не совершал преступления, что моя минимая вина — целиком дело рук моего обвинителя. Он тайно подложил свои вещи и после этого обвинил меня в воровстве. Сейчас я заявляю не только это. Я заявляю, что этот человек — преступник, что я узнал о его преступлении и что по этой причине он решил меня лишить жизни. Я полагаю, джентльмены, что вы сочтете своей обязанностью принять это заявление во внимание. Я убежден, что вы несколько не склонны способствовать — ни действием,

ни бездействием — неслыханной несправедливости, от которой я страдаю, — заточению и осуждению невинного человека ради того, чтобы убийца мог оставаться на свободе. Я молчал об этой истории, пока мог. Мне до крайности претило стать причиной несчастья или смерти человеческого существа. Но всякому терпению и покорности есть предел.

— Разрешите задать вам два вопроса, сэр, — возразил судья с деланной мягкостью. — Вы помогали, мешали или содействовали тем или другим способом этому убийству?

— Нет.

— А скажите, сэр, кто этот мистер Фокленд? И в какого рода отношениях находились вы с ним?

— Мистер Фокленд — джентльмен, имеющий шесть тысяч годового дохода. Я жил у него в качестве секретаря.

— Другими словами, вы были его слугой?

— Если угодно.

— Отлично, сэр. Этого для меня достаточно. Прежде всего должен сказать вам как судья, что мне нет никакого дела до вашего заявления. Будь вы замешаны в убийстве, о котором вы говорите, тогда другое дело. Но противно всяким разумным правилам, чтобы судья принимал от преступника показания против кого бы то ни было, кроме его соучастников. Далее, считаю должным заметить вам от себя, что вы кажетесь мне самым бесстыдным негодяем, какого мне только приходилось встречать. Неужели вы такой осел, что полагаете, будто история, вроде рассказанной вами, может принести вам какую-нибудь пользу здесь, или в судебном заседании, или в каком бы то ни было другом месте? Славные времена наступили бы у нас, если бы слуги джентльменов с шестью тысячами дохода в год, уличенные своими хозяевами в воровстве, измышляли против хозяев подобные обвинения и находились бы судьи или суды, готовые слушать их! Я не могу сказать, привело ли бы вас на виселицу преступление, в котором вы обвиняетесь, или нет, но уверен, что эта история — приведет. Скоро настал бы конец всякому порядку и благоустройству, если бы, из каких бы то ни было соображений, личностям, так чудовищно попирающим различие званий и состояний, позволяли уходить безнаказанными.

— И вы отказываетесь выслушать подробности обвинения, которое я выдвигаю, сэр?

— Да, сэр, отказываюсь. Но если бы и не отказывался, — скажите, каких свидетелей убийства можете вы назвать?

Этот вопрос ошеломил меня.

— Никаких. Но, мне кажется, я могу привести такие улики, что они привлекли бы внимание самого равнодушного слушателя.

— Я так и думал. Стража, уведите его!

Вот каков был успех последнего средства, на которое я так твердо рассчитывал. До тех пор я считал, что тяжелое положение, в которое я поставлен, затягивается из-за моей собственной снисходительности. И я решил вытерпеть все, что может вынести человеческая природа, прежде чем прибегнуть к этому крайнему средству. Эта мысль тайно утешала меня в невзгодах: тут была добровольная жертва, приносимая с радостью. Я видел себя сопричисленным к лику мучеников и подвижников; я хвалил себя за смелость и самоотверженность и тешился мыслью, что в моей власти — хотя я и не предполагал никогда этим воспользоваться — полным раскрытием тайны сразу положить конец гонениям и своим страданиям. И вот каким оказалось в конце концов общественное правосудие! Есть обстоятельства, при которых нельзя выслушать человека, разоблачающего преступление, потому что он не был его соучастником! Сообщение о подлом убийстве выслушивается равнодушно, в то время как невинного преследуют, как дикого зверя, до отдаленнейших уголков земли! Шесть тысяч годового дохода защищают человека от обвинения, и сила этого обвинения сводится на нет оттого, что оно выдвинуто слугой!

Меня отправили обратно, в ту самую тюрьму, из которой я бежал за несколько месяцев перед тем. С разбитым сердцем вступил я в эти стены, удрученный тем, что все мои более чем геркулесовы труды привели только к моим собственным мучениям и ни к чему больше. Со времени бегства из тюрьмы я приобрел некоторое знание света; по горькому опыту я знал, сколько есть у общества средств, чтобы держать меня в своей власти, и как крепко опутан я сетями деспотизма. Я больше не смотрел на мир как когда-то, видя, под влиянием своего

юношеского воображения, в нем арену, где можно прятаться или появляться и давать волю причудам свое-нравной резвости. Я видел, что все мои ближние готовы стать так или иначе орудиями тирана. Надежда умерла в глубине моего сердца. Запертый в первую же ночь в свою подземную камеру, я по временам бывал охвачен приступами бешенства. Вопли нестерпимого отчаяния невольно вырывались, нарушая ночную тишину. Но это был временный пароксизм. Скоро я вернулся к трезвому сознанию своего злополучия.

По-видимому, мое будущее было еще мрачнее и положение еще непоправимее, чем когда бы то ни было. Я опять был отдан во власть наглости и тирании, всегда господствовавших в этих стенах. Зачем мне повторять проклятую повесть о том, что было пережито мною и переживается каждым, кто, на свое несчастье, оказался во власти этих слугителей национального судопроизводства? Страданий, уже перенесенных мной, моих страхов, моего бегства, постоянного ожидания, что я буду разоблачен, более тягостного, чем самое разоблачение, — вероятно, всего этого было бы довольно, чтобы удовлетворить самого бесчувственного человека перед судом его собственной совести, даже если б я был тем преступником, каким меня считали. Но у закона нет ни глаз, ни ушей, и он обращает в мрамор сердца всех, кто воспитан в его правилах.

Однако ко мне опять вернулась моя твердость. Я решил, что, пока я жив, она никогда не покинет меня. Меня можно подавить, уничтожить, но если даже я умру — то умру сопротивляясь. Какую выгоду, какую радость может дать кроткая покорность? Нет человека, который не знал бы, что склоняться к ногам закона — дело бесполезное: в его судилищах нет места ни искуплению, ни исправлению.

Может быть, мое мужество кое-кому покажется превышающим обыкновенную меру человеческой природы. Но если я откину покрывало, скрывающее мое сердце, они, конечно, признают свою ошибку. Все поры моего сердца сочились кровью. Моя решимость не была спокойным чувством, созданным философией и рассудком. Она была мрачна и полна отчаяния; ее порождала не надежда, а суровая преданность своему намерению, находящая удовлетворение в голом усилии и готовая ки-

путь на востер мысль об успехе и неудаче. Вот до какого жалкого состояния, способного пробудить сочувствие в самом черством сердце, довел меня мистер Фокленд!

Между тем, как это ни покажется странным, здесь, в тюрьме, подвергаясь бесчисленным притеснениям и вполне уверенный, что меня ожидает смертный приговор, я стал поправляться. Я приписываю это своему душевному состоянию, которое теперь изменилось, перейдя от тревоги, ужаса и волнений к непоколебимости отчаяния.

Я предвидел исход суда надо мной и решил еще раз бежать из тюрьмы; я не сомневался в своей способности сделать этот первый шаг для сохранения своей жизни. Однако заседание суда приближалось, и были некоторые соображения, на которых нет нужды останавливаться, убедившие меня, что, может быть, выгоднее подождать, пока мое дело не закончится.

Оно стояло последним в списке дел, намеченных к рассмотрению. Поэтому я был очень удивлен, увидав, что оно поставлено вне очереди на второй день рано утром. Но если это было неожиданно, то как же велико было мое удивление, когда на вызов обвинителей не появились ни мистер Фокленд, ни мистер Форстер, решительно никто! Предварительное решение, вынесенное моими преследователями, было признано не имеющим силы, и я без промедления был отпущен.

Невозможно передать впечатление, оказанное на меня этим невероятным изменением моего положения. Мне, вошедшему в зал суда со смертным приговором, так сказать уже звучавшим в ушах, услышать, что я волен идти куда угодно! Для того ли взломал я столько замков, засовов и несокрушимых стен своей тюрьмы? Для того ли провел столько тревожных дней и бессонных кошмарных ночей, изошрял свою изобретательность над способами бежать и укрыться от преследований, проявлял силу ума, на которую сам едва считал себя способным, дал завладеть собой неуголимой муке, которую не в силах вынести, казалось, ни одно человеческое существо? Великий боже! Что такое человек? Неужели он настолько слеп во всем, что касается будущего, так мало подозревает о том, что случится с ним в ближайший миг его существования? Я где-то читал, что небо скрывает от нас будущие события нашей жизни из милосердия. Мой собственный опыт не совсем подтверждал

это. По крайней мере на этот раз я был бы избавлен от невыносимой тяжести и неопишуемого страдания, если бы мог предвидеть неожиданный оборот важного для меня дела.

ГЛАВА XII

Скоро я навеки простился с этим ненавистным и ужасным местом. Мое сердце было теперь слишком полно удивления и восторга по поводу моего неожиданного освобождения, чтобы в нем могло найтись место для тревоги о будущем. Я вышел из города; я шагал медленно, в задумчивости, то издавая восклицания, то погружаясь в глубокое и неясное мечтанье. Случай привел меня к той самой вересковой долине, где я укрывался, когда в первый раз вырвался из тюрьмы. Я бродил среди ее впадин и лощин. Это было заброшенное, пустынное и уединенное место. Не помню, сколько времени я оставался там. Ночь незаметно настигла меня, и я решил пока вернуться в город.

Было уже совсем темно, когда два человека, которых я до этого не заметил, накинулись на меня сзади. Они схватили меня за руки и повалили на землю. У меня не было времени для сопротивления или размышления. Однако в одном из них я успел узнать все того же дьявола Джайнса. Они завязали мне глаза, всунули в рот кляп и потащили меня неизвестно куда. Пока мы молча подвигались вперед, я старался понять, что означает это странное насилие. Я думал, что после событий этого утра самая суровая и мучительная полоса моей жизни осталась позади. И, как бы странно это ни казалось, неожиданное нападение не испугало меня. Однако тут мог быть какой-нибудь новый замысел, порожденный злобой и неусыпной враждой Джайнса.

Вскоре я убедился, что мы вернулись в город, который я только что оставил. Они привели меня в один дом и, как только получили в свое распоряжение комнату, развязали мне глаза и освободили от кляпа. Тут Джайнс с коварной усмешкой объявил, что мне не причинят вреда, а потому с моей стороны будет разумнее держаться спокойно. Я догадался, что мы в гостинице; я слышал шум голосов в какой-то комнате недалеко

от нас, и потому мне было теперь так же ясно, как и ему, что мне не приходится опасаться какого-либо насилия и что у меня будет еще время для сопротивления, если они захотят увести меня из гостиницы тем же способом, каким привели туда. Я с некоторым любопытством ждал конца, который должен был последовать за таким необыкновенным началом.

Едва успели завершиться приготовления, которые я описал, как в комнату вошел мистер Фокленд. Помню, что Коллинз, сообщая мне историю нашего хозяина, заметил, что мистер Фокленд теперь совершенно не похож на того человека, каким был раньше. У меня не было возможности убедиться в истинности этого замечания. Но оно поразительно подходило к зрелищу, представившемуся теперь моим глазам, хотя, когда я в последний раз видел этого человека, он был уже жертвой тех же страстей, добычей того же неутолимого угрызания совести, что и теперь. Горе уже в то время было написано четкими буквами на его лице. Но теперь он почти утратил человеческий облик. Лицо его было угрюмо, оно осунулось, исхудало. Цвет его был темный, тускло-красный и вызывал мысль о том, что оно сожжено и иссушено вечным огнем, пожирающим этого человека. Его глаза были красны, беспокойны; они блуждали, полные подозрительности и гнева. Волосы его свисали в беспорядке неровными прядями. Весь он был худ до такой степени, что напоминал скорее скелет человека. Казалось, жизнь уже не может обитать в этой подавленной горем и похожей на призрак фигуре. Светильник здоровой жизни угас, но свирепость и бешенство сумели занять его место.

Я был до крайности удивлен и потрясен при виде его. Он сурово приказал моим провожатым выйти из комнаты.

— Итак, сэр, сегодня я счастливо приложил усилия к тому, чтобы спасти вашу жизнь от виселицы. А две недели тому назад вы сделали все, что было в ваших силах, чтобы привести мою жизнь именно к этому позорному концу.

Неужели вы были так глупы и несообразительны, чтобы не понять, что сохранение вашей жизни было постоянной целью моих усилий? Не я ли поддерживал вас в тюрьме? Не я ли старался помешать тому, чтобы

вы туда попали? Как могли вы приписывать мне изверский поступок упряма Форстера, предложившего награду в сто гиней за вашу поимку?

Я следил за вами во всех ваших странствованиях. За все время вы не сделали ни одного существенного шага, который остался бы мне неизвестен. Я собирался сделать вам добро. Я не пролил ничьей крови, кроме крови Тиррела. Это случилось в минуту гнева и стало для меня причиной непрерывного и ежечасного сокрушения. Я не способствовал ничьей гибели, кроме гибели Хоукинсов: я не мог спасти их иначе, как объявив себя убийцей. Зато всю дальнейшую свою жизнь я посвятил делам благотворительности.

Я собирался сделать вам добро. По этой причине я хотел испытать вас. Вы утверждали, что действуете по отношению ко мне с уважением и сдержанностью. Если бы вы выдержали это до конца, я нашел бы способ наградить вас. Я поставил все в зависимость от вашей собственной скромности. Вы могли обнаружить бессильную злобу своего сердца, но я знал, что в обстоятельствах, в которых вы тогда находились, это не могло причинить мне вреда. Ваша сдержанность, как я и подозревал все время, оказалась низостью и вероломством. Вы сделали попытку уничтожить мое доброе имя. Вы попытались раскрыть важнейшую и вечную тайну моей души. И этого я никогда вам не прощу. Я буду помнить об этом до последнего своего вздоха. Память об этом будет жить, когда мое существование прекратится. Уж не думаете ли вы, что вы вне моей власти оттого, что суд оправдал вас?

Пока мистер Фокленд говорил, внезапный приступ болезни овладел им; все его тело потрясла мгновенная судорога; шатаясь, он дошел до кресла. Минуты через три он пришел в себя.

— Да, — сказал он, — я еще жив. Я буду жить дни, месяцы и годы. Только сила, давшая мне жизнь, какова бы она ни была, может отнять ее. Я живу для того, чтобы охранять свою честь. Это и страдания, каких не выносил ни один человек, — единственное, чем я живу. Но когда меня больше не будет, слава обо мне будет жить. Образ мой будет почитаться всеми потомками как незапятнанный и безупречный.

Сказав это, он вернулся к тому, что более непосредственно касалось моего будущего положения и благополучия.

— Есть одно условие, — заявил он, — при котором вы можете получить некоторое облегчение своих будущих бедствий. Для этого я и велел привести вас. Выслушайте мое предложение и спокойно обсудите его. Не забудьте, что играть твердой решимостью моей души так же безумно, как было бы безумно обрушить себе на голову каменную глыбу, которая висит, дрожа, на гребне могучих Апеннин!

Итак, я настаиваю, чтобы вы подписали бумагу с самым торжественным заверением, что я неповинен в убийстве и что обвинение, выдвинутое вами против меня в учреждении на Боу-стрит, * — ложно, беспочвенно и сделано по злобе. Может быть, вас заставляет колебаться уважение к истине? Но разве истину следует боготворить ради нее самой, а не ради того счастья, которое она должна порождать? Разве человек разумный посвятит себя пустой истине, если доброта, человеколюбие и все дорогие человеческому сердцу чувства требуют, чтобы она была забыта? Очень возможно, что я никогда не прибегну к этой бумаге, но она мне необходима как единственное возможное удовлетворение чести, на которую вы покусились. Вот мое предложение. Я жду вашего ответа.

— Сэр, — отвечал я, — я выслушал вас до конца, и мне нет нужды раздумывать, чтобы дать вам отрицательный ответ. Вы взяли меня юным и неопытным мальчиком, которого могли вылепить по любому удобному вам образу. Вы за самое короткое время обогатили меня томами опыта. Во мне нет больше нерешительности и уступчивости. Что дает вам власть над моей судьбой — этого я не в силах разгадать. Вы можете погубить меня, но не можете вызвать во мне трепета. Я не хочу знать, намеренно ли вы причиняли мне страдания и сами ли вы были виновником моих несчастий или только содействовали им. Но я знаю, что слишком сильно страдал из-за вас, чтобы мог теперь признать за вами малейшее право на добровольную жертву с моей стороны.

Вы говорите, что доброта и человеколюбие требуют от меня этой жертвы. Нет, это была бы жертва всего только вашей безумной и ложно направленной любви

к славе, той страсти, которая оказалась источником всех ваших несчастий, самых трагических бедствий для других и всех злоключений, которые пришлось пережить мне. У меня нет снисхождения для этой страсти. Если вы еще не излечились от своего страшного и кровожадного безумия, я, во всяком случае, не сделаю ничего, чтобы потворствовать ему. Не знаю, было ли мне с юных лет предназначено стать героем, но я должен поблагодарить вас за урок непреодолимого мужества, который вы мне дали.

Чего вы требуете от меня? Чтобы я, подписавшись, погубил свое доброе имя и тем сильнее упрочил ваше? Где же справедливость? Что ставит меня так неизмеримо ниже вас, что все, касающееся меня, оказывается совершенно недостойным внимания? Вы были воспитаны в предрассудках вашего происхождения. Я ненавижу эти предрассудки. Вы довели меня до отчаяния, и я высказываю то, что говорит отчаяние.

Может быть, вы скажете, что у меня нет доброго имени, которое я мог бы потерять, что, в то время как вас считают безупречным, незапятнанным, меня всюду славят вором, вымогателем, клеветником. Пусть так. Я никогда не сделаю ничего, оправдывающего эти измышления. Чем более я лишен уважения людей, тем усерднее буду я стараться сохранить уважение к самому себе. Я никогда не сделаю из страха или по другим ложным основаниям ничего такого, чего мне пришлось бы стыдиться.

Вы твердо решили навсегда остаться моим врагом. Я ни в какой степени не заслужил этой вечной ненависти. Я всегда уважал и жалел вас. Долгое время я предпочитал подвергаться всякого рода бедам, чем открыть тайну, столь вам дорогую. Меня удерживали не ваши угрозы (разве они могли заставить меня страдать больше, чем я страдал в действительности?), а человеколюбие, свойственное моему сердцу, и на него, а не на средства насилия вам следовало бы рассчитывать. Что это за таинственная месть, которую вы все еще собираетесь осуществить по отношению ко мне? Вы уже угрожали мне; и теперь вы не можете угрожать ничем худшим. Вы исчерпали источники страха. Поступайте со мной как знаете, вы учите меня слушать вас с бестрепетной твердостью отчаяния. Опомнитесь! Я не

делал шага, которым вы попрекаете меня, пока не был очевидным образом доведен до крайности. Я выстрадал так много, как только может выстрадать человеческое существо. Я жил в вечном страхе и непрестанной тревоге. Два раза я собирался покончить с собой. И все-таки я и теперь жалею, что предпринял шаг, на который вы жалуетесь. Но, доведенный до ожесточения беспримерной жестокостью, я не имел времени успокоиться и обсудить положение. Даже и сейчас у меня нет к вам мстительного чувства. На все, что разумно, на все, что может действительно содействовать вашей безопасности, я пойду охотно, но не хочу, чтобы меня принуждали к поступку, противному разуму, чести и справедливости.

Мистер Фокленд слушал меня удивленно и нетерпеливо. До тех пор он и понятия не имел о той твердости, на которую я был способен. Несколько раз лицо его искажалось яростью, которая кипела у него в груди. Порой он обнаруживал желание прервать меня; но его удерживало хладнокровие, с которым я держался, а может быть, и желание узнать до конца, что у меня на уме. Увидев, что я кончил, он мгновение помолчал; гнев его как будто постепенно нарастал, и наконец он был уже не в силах сдерживать его.

— Отлично! — воскликнул он, заскрежетав зубами и топнув ногой. — Ты отказываешься от соглашения, которое я предлагаю! Не в моей власти склонить тебя к уступчивости. Ты бросаешь мне вызов! В одном отношении по крайней мере у меня есть власть над тобой, и я пушу ее в ход: она сотрет тебя в порошок. Больше я не снизойду до уговоров. Я знаю, кто я и кем могу быть. Знаю, что ты такое и какая судьба ждет тебя!

С этими словами он вышел из комнаты.

Таковы были подробности этой памятной сцены. Впечатление, которое она оставила в моем сознании, неизгладимо. Лицо и весь вид мистера Фокленда, его смертельная слабость и упадок духа, вспышка энергии и сверхчеловеческой ярости, слова, сказанные им, побуждения, им двигавшие, — все вместе произвело на мое сознание такое действие, с которым ничто не может сравниться. Одно представление о его страдании вызывало трепет во всем моем теле. Как безобиден в сравнении с этим воображаемый ад, который великий враг рода человеческого якобы носит повсюду с собой!

От этих соображений ум мой скоро обратился к угрозам, которые мистер Фокленд обрушил на меня. Все они были загадочны и неясны. Он говорил о власти, но не сделал никакого намека, по которому я мог бы судить, в чем она по его понятиям заключается. Он говорил о бедствиях, но не проронил ни звука о природе бедствий, которые меня постигнут.

Некоторое время я сидел тихо, погруженный в эти думы. Ни мистер Фокленд, ни кто другой не являлись нарушить мои размышления. Я поднялся и вышел из гостиницы на улицу. По-видимому, никто не собирался тревожить меня. Это было странно. Что это за власть, от которой мне приходится ждать так много дурного и которая вместе с тем как бы оставляет меня на полной свободе? Мне стало казаться, что все, что я слышал от моего страшного противника, просто бред, что в конце концов он совсем лишился рассудка, который долго служил ему только средством для мучительства. Однако в этом случае не прибегнет ли он к Джайнсу и его соучастнику, только что послужившим орудием его насилия над моей личностью?

Я шел по улицам с большой осторожностью. Я оглядывался во все стороны, чтобы не дать каким-нибудь хитрым насильникам слова выследить меня без моего ведома. Я не пошел, как сделал это раньше, за город, так как считал, что улицы, дома и их обитатели представляют собой некоторую защиту. Я все еще бродил, полный подозрений и предчувствий, когда увидел Томаса, слугу мистера Фокленда, о котором уже упоминал не раз. Он шел ко мне с таким уверенным видом, что это сразу отогнало от меня мысль о каком бы то ни было вероломстве с его стороны; к тому же я всегда считал Томаса хотя грубым и темным, но заслуживающим большого уважения.

— Томас, — сказал я, когда он подошел, — я надеюсь, вы готовы порадоваться со мной, что я наконец освободился от страшной опасности, которая так беспощадно преследовала меня много месяцев.

— Нет, — грубо ответил Томас, — совсем не готов. Я не знаю, как мне быть в этом деле. Когда вы были в тюрьме, в таком жалком положении, мне вдруг показалось, что я почти люблю вас. А теперь, когда это кончилось, вас выпустили на свободу и вы можете сделать

самое худшее, на что способны, — вся кровь моя кипит при одном взгляде на вас. Посмотришь — как будто все тот же мальчик Уильямс, за которого я охотно отдал бы жизнь, если бы понадобилось. А за этим улыбающимся лицом скрываются воровство, ложь, жестокость и неблагодарность. Ваш последний поступок хуже всего остального. Как у вас хватило духа воскрешать эту страшную историю с мистером Тиррелом, которую все, из уважения к сквайру, согласились никогда не вспоминать и в которой, — я знаю, да и вы тоже, — он так же неповинен, как поворожденный младенец! Если вы видите меня сейчас, так на то есть причины, иначе я желал бы от всей души, чтобы вы никогда не попадались мне на глаза.

— Вы упорствуете в своем дурном мнении обо мне?

— В худшем! Я думаю о вас хуже, чем раньше! А я и раньше считал вас последним человеком. Дорого бы я дал, чтобы узнать, что вы теперь затеваете. Вы оправдываете старую поговорку: «Поневоле идет, коли черт гонит».

— Так, значит, моим злоключениям не будет конца! Может ли мистер Фокленд измыслить для меня что-нибудь хуже, чем хула и вражда всего человечества!

— Может ли мистер Фокленд измыслить? Да он вам лучший друг, какой только у вас есть на свете, хоть вы для него — самый подлый предатель. Бедняга! Просто сердце болит, когда глядишь на него. Ведь он — само горе. И я совсем не уверен, что не вы этому причиной! Как-никак вы дали последний толчок тому, что уже губило его. Чего только не было между ним и сквайром Форстером! Тот себя не помнит от гнева, что мой хозяин перехитрил его с судом и спас вам жизнь. Клянется, что вас опять схватят и будут судить на ближайшем заседании. Но мой хозяин решил — и, сдается мне, будет так, как хочет он. Он говорит, что закон не позволит, чтобы сквайр Форстер настоял на своем. Когда видишь, как он устраивает все к вашей выгоде и переносит кротко и невинно, как ягненок, все ваше коварство, да вспомнишь ваши подлости против него — нет, весь свет обойди, а такого, как вы, не встретишь! Ради бога, раскайтесь вы в своих злодеяниях и загладьте их хоть немного, насколько это в вашей власти! Подумайте о своей бедной душе, прежде чем проснетесь среди

вечного пламени и кипящей серы, — а это в недалеком будущем наверняка случится.

С этими словами он протянул руку и взял мою. Это показалось мне странным. Но сначала я увидел в этом произвольное следствие торжественного и благонамеренного увещания. Однако я почувствовал, что Томас что-то вкладывает мне в руку. В то же мгновение он отпустил ее и поспешил прочь от меня с быстротой стрелы. То, что он передал мне таким образом, оказалось банковым билетом в двадцать фунтов. Я не сомневался, что это мистер Фокленд послал его передать мне эти деньги.

Что должен я был из этого заключить? Какой свет проливало это на намерения моего неумолимого преследователя? Его злоба против меня была не меньшей, чем прежде; подтверждение этому я только что получил из его собственных уст. И все-таки она как будто смягчалась до сих пор остатками человечности. Он определил ей границы, достаточно обширные для осуществления его целей, и она не выходила за эти пределы. Но это открытие не принесло мне утешения. Я не знал, какое количество бедствий придется мне перенести, пока его ревнивое чувство чести и безмерная жажда славы не почувствуют себя удовлетворенными.

Вставал и другой вопрос. Могу ли я принять деньги, которые только что были вложены мне в руку? Деньги человека, который причинил мне зло, — правда, меньшее, чем то, которое он причинил самому себе, но превосходящее все, что может сделать дурного один человек другому? Который омрачил мою юность, погубил мой покой, выставил меня на позор перед человечеством и сделал отщепенцем на лице земли? Который измышлял самую гнусную, жестокую клевету и внушал ее другим с серьезностью и настойчивостью, вселявшими во всех полное доверие? Который час тому назад твердил мне о своей неумолимой вражде и клялся, что найдет на меня несчастья, каким не будет конца? Не обнаружит ли такое поведение с моей стороны низость и подлость духа человека, пресмыкающегося перед тиранией и целующего руки, обгаренные его собственной кровью?

Если эти доводы казались основательными, то и в возражениях не было недостатка. Я нуждался в деньгах — не для распутства и излишеств, а ради потребно-

стей, без удовлетворения которых не может длиться жизнь. Человек, где бы он ни находился, должен иметь возможность добывать себе средства к существованию. А мне приходилось начинать новую полосу жизни, отправиться в какое-нибудь отдаленное место и быть готовым к человеческому недоброжелательству и неведомым враждебным замыслам в высшей степени изощренного врага.

Необходимые средства для существования — достояние всех. Что же может мне помешать взять то, в чем я действительно нуждаюсь, если, беря это, я не навлекаю на себя ничьей мести и никому не причиняю насилия? Собственность, о которой идет речь, должна пойти мне на пользу, а для ее прежнего владельца добровольная уступка ее не сопряжена ни с каким ущербом. Какие еще нужны условия, чтобы вменить мне в обязанность воспользоваться ею? Тот, кто раньше владел ею, причинил мне зло. Но разве это меняет ценность денег как средства обмена? Возможно, что он будет хвалиться воображаемым одолжением, которое оказал мне. Но, право, отказываться от поступка, который сам по себе правилен, из-за опасений такого рода можно только по малодушию или из трусости.

ГЛАВА XIII

Эти рассуждения заставили меня оставить себе то, что было вложено мне в руку. Потом я должен был подумать о месте, которое мне надо было выбрать для жизни, только что вырванной из рук палача. Опасность того, что все мои занятия будут постоянно прерываться, теперь, можно было думать, немного уменьшилась. Испытываемое мной беспредельное отвращение к тому положению, в котором я находился последнее время, сильно поддерживало эти соображения. Я не знал, каким образом мистер Фокленд намеревался мстить мне, но я был проникнут таким непреодолимым омерзением к переодеванию и к мысли прожить всю свою жизнь, изображая вымышленное лицо, что не мог, по крайней мере в то время, согласиться на что-либо подобное. Такое же отвращение испытывал я к столице, где провел

столько часов, скрываясь в печали и страхе. Поэтому я остановился на решении, которое и прежде тешило мое воображение, — заключавшемся в том, чтобы удалиться на покой в безвестность, поселившись в какой-нибудь дальней сельской местности, где я, по крайней мере несколько лет — может быть, до тех пор, пока будет жив мистер Фокленд, — мог бы скрываться от мира, залечивая там душевные раны, приводя в порядок и совершенствуя накопленные знания, развивая свои способности, каковы бы они ни были, а промежутки между этими занятиями употребляя на простой труд и общение с простодушными, необразованными, благомыслящими людьми. Угрозы моего гонителя как будто предвещали неизбежное нарушение этого образа жизни. Но я счел более мудрым не принимать во внимание этих угроз. Я сравнивал их со смертью, которая должна неизбежно постигнуть каждого из нас, но возможный приход которой в будущем году, на будущей неделе, завтра не должен приниматься в расчет тем, кто хочет приступить к какому-нибудь важному и хорошо продуманному предприятию.

Вот мысли, которые определили мой выбор. Так мой юношеский ум заглядывал вперед на многие годы, в то время как угрозы немедленных несчастий еще звучали у меня в ушах. Я так свыкся с ожиданием бед, что глухих раскатов надвигающейся бури было уже недостаточно, чтобы нарушить мой покой. Однако я считал необходимым не ослаблять осторожности, пока находился в сфере действия своего противника, и старался не доверять случайностям темноты и уединения. Покидая город, я ехал в почтовой карете, видя в этом верный способ защиты от наглого и прямого насилия. Но во время переезда меня совсем не беспокоили, словно у меня не было никаких оснований для подобных опасений. С увеличением расстояния я немного ослабил свои предосторожности, хотя не переставал чувствовать ненадежность своего положения и не мог отделаться от преследующего меня образа моего врага. Я выбрал глухой городок в Уэльсе. Он пришелся мне по вкусу, когда я странствовал в поисках местожительства. Городок был чистенький, веселый и очень тихий на вид. Он находился далеко от больших проезжих дорог, и в нем не было ничего, что заслуживало бы наименования торговли. При-

рода вокруг была приятно разнообразна, местами дикая и романтическая, местами щедрая и плодоносная.

Тут я стал добиваться работы по двум специальностям: во-первых — часовщика, так как хотя знания, которые я получил в этой области, были невелики, они были дополнены и развиты умом, способным к механическим изобретениям; во-вторых — преподавателя математики и ее практического применения в географии, астрономии, землемерном деле и навигации. Ни то, ни другое не могло быть обильным источником дохода в том тихом пристанище, которое я себе избрал; но если заработок мой был скромн, то расходы были еще меньше. В этом маленьком городке я познакомился с викарием, аптекарем, стряпчим и другими, с незапамятных времен считавшимися самыми почтенными людьми местного общества. Каждый из них имел ряд занятий. В наружности викария во все дни, кроме воскресенья, не было ничего, напоминающего его профессию. В будни он снисходил до того, чтобы водить своей пастырской рукой плуг либо гнать коров с поля на ферму для доения. Аптекарь иной раз действовал в качестве цирюльника, а стряпчий был в то же время учителем в сельской школе.

Все эти лица приняли меня любезно и гостеприимно. Среди людей, живущих вдали от сутолоки столичной жизни, царит дух открытой доверчивости, благодаря которому приезжий легко находит доступ к их доброте и благожелательности. Все превратности судьбы не лишили меня сельской простоты в обращении, а перенесенные невзгоды сообщили моему характеру еще большую мягкость. На поприще, которое я теперь избрал, у меня не было соперников; обязанности часовщика и механика до тех пор никем там не выполнялись, а школьный учитель, не притязавший на высочайшие науки, которые я хотел насаждать, охотно согласился допустить меня в качестве соратника в деле просвещения его сограждан. Что же касается пастора — просвещение было не по его части; его дело было заниматься вопросами, связанными с лучшим миром, а не плотскими заботами здешней жизни; откровенно говоря, его мысли были заняты главным образом овсяной мукой и коровами.

Но это были не единственные спутники, которых мне доставило отдаленное пристанище. Там была семья совсем иного склада, в которой я скоро стал желанным гостем. Отец был строгий, умный, рассудительный человек, посвятивший свое внимание преимущественно земледелию. Его жена была поистине восхитительная и необыкновенная женщина. Она была дочерью неаполитанского дворянина, которого удары судьбы привели в конце концов в это селение, после того как он побывал во всех европейских странах и играл там заметную роль.

Он был изгнан из своего отечества по подозрению в религиозном и политическом отступничестве, и его имущество было конфисковано. Подобно Просперо из «Бури»,* он удалился со своим единственным ребенком в один из наиболее забытых и темных уголков мира. Но вскоре по прибытии в Уэльс он заболел злокачественной лихорадкой, которая унесла его в три дня. Он умер, не оставив никакого имущества, кроме немногих драгоценностей и незначительного аккредитива на имя одного английского банкира.

Так малолетняя Лаура осталась одна в чужой стране. Отец того, кто был теперь ее мужем, побуждаемый человеколюбием, старался облегчить несчастья умирающего итальянца. Хотя он был простым, необразованным человеком, в его обхождении было нечто заставившее чужеземца сделать его своим душеприказчиком и опекуном дочери. Неаполитанец достаточно владел английским языком, чтобы объяснить свое желание этому дружески к нему расположенному свидетелю его смерти. Так как средства его были ограничены, двое его слуг-итальянцев, мужчина и женщина, вскоре после смерти их хозяина были отправлены обратно к себе на родину.

Лауре в то время было восемь лет. В этом нежном возрасте она была еще мало способна воспринимать прямые наставления, а по мере того как она подрастала, самое воспоминание об отце с каждым годом становилось у нее все более смутным и неопределенным. Но было кое-что полученное ею от отца либо вместе с жизнью, которую он ей дал, либо вследствие его наставлений и примера, которых ничто не могло изгладить. Каждый новый год ее жизни способствовал разви-

тию запаса ее дарований. Она читала, наблюдала, размышляла. Без всяких учителей она научилась рисовать, петь и сама изучила культурные европейские языки. Так как в этом уединенном месте у нее не было другого общества, кроме сельских жителей, у нее не было также представления о достоинстве и превосходстве, проистекающих из ее познаний; она приобретала их по внутренней склонности, находя в этом источник личной радости.

Взаимная привязанность постепенно возникла между нею и единственным сыном ее опекуна. Отец приучил его с ранней юности к полевым трудам и сельским забавам, и между вкусами его и Лауры было мало общего. Но этот недостаток она заметила не скоро. Отдаваясь своим изысканным занятиям, она чуждалась общества и к этому времени уже начинала догадываться, что уединение сообщает им особую прелесть. Молодой селянин отличался прямою, большой сердечной добротой и был очень разумный юноша. Он был цветущ, хорошо сложен; мягкость его характера делала его обхождение приятным. Более тонких качеств она после смерти своего отца не встречала ни в ком.

В сущности, вряд ли можно считать, что при этом браке она что-нибудь потеряла. Принимая во внимание привычки и понятия, ныне господствующие в обществе, трудно представить себе, чтобы ее дарования, не соединенные с богатством, обеспечили ей равный брак.

Когда она стала матерью, сердце ее открылось для новой привязанности. Явилась мысль, никогда раньше у нее не возникавшая, что по крайней мере в детях она найдет товарищей в своих любимых занятиях. Ко времени моего приезда она была матерью четырех детей, из которых старшим был сын. Она была их самым усердным наставником. Для нее, может быть, было счастьем, что она получила такое поле для своей умственной деятельности. Это случилось как раз в то время, когда прелесть новизны, которую имеет жизнь для человека в молодости, начинала уже тускнеть. Материнство оживило ее, вдохнуло в нее новые силы. С течением времени утонченность, на которую способна человеческая природа, может быть неизбежно притупляется, если не находит поддержки в воздействии общества и близких.

Сыну уэльского фермера и этой очаровательной женщины было около семнадцати лет, когда я поселился

по соседству. Старшая из сестер была на год моложе его. Все вместе они составляли семью, с которой человек, любящий спокойствие и добродетель, рад был бы поддерживать знакомство при любых обстоятельствах; поэтому легко себе представить, какой радостью в этом уединенном месте была их дружба для меня, страдавшего от дурного обращения ближних и отвергнутого ими. Милая Лаура отличалась удивительной проницательностью и быстротой понимания, и в ее обхождении эти черты смягчались такой природной добротой, которой мне не приходилось встречать ни у кого другого. Вскоре она отметила меня своим вниманием и дружбой, потому что хотя была знакома с печатными творениями просвещенных умов, но в жизни никогда не встречала образованных людей, если не считать ее отца. Она любила беседовать со мной о литературе и на другие темы, требующие хорошего вкуса, и охотно прибегала к моей помощи в воспитании детей.

Сын ее, хотя еще юный, получил благодаря матери такое удачное развитие и образование, что я нашел в нем почти все существенные качества, которых мы ищем в друге. Приглашения и собственная склонность в равной мере заставляли меня каждый день проводить значительное время в этом приятном обществе. Лаура обращалась со мной как с членом семьи, и порой я льстил себя надеждой, что когда-нибудь в самом деле стану им. Каким желанным местом отдохновения был этот дом для меня, не знавшего ничего, кроме невзгод, и едва решавшегося искать сочувствия и ласки в человеческом взгляде! Дружба, быстро завязавшаяся между мной и членами этой милой семьи, крепла день ото дня. Каждая встреча усиливала доверие, с которым относилась ко мне мать. И чем дольше наша близость продолжалась, тем тоньше и многочисленнее делались связующие нас нити, при помощи которых она как бы распространяла свои корни по всем направлениям. Есть тысячи неприметных черточек в развитии нарастающей дружбы, которые были бы немыслимы и непонятны между простыми знакомыми. Я преклонялся перед достойной Лаурой и уважал ее как мать, потому что, хотя разница в возрасте между нами была вовсе недостаточна, чтобы оправдать такое чувство, оно непреодолимо внушалось тем обстоятельством, что мне всегда приходилось наблюдать ее

в роли матери. Ее сын был умный, великодушный и чувствительный мальчик с немалыми способностями, но его юность и необыкновенное превосходство его матери несколько умаляли самостоятельность его суждений и внушали ему благоговейное уважение к ее воле. В старшей дочери я видел воплощение Лауры; из-за этого я чувствовал в то время привязанность к ней, и порой мне казалось вероятным, что позже я научусь любить ее ради нее самой. Увы! Так тешился я призраками отдаленного будущего, между тем как в действительности стоял на краю пропасти.

Может быть, покажется странным, что я ни разу не сообщил подробности моей истории этой достойной женщине или моему молодому другу, ибо таковым я мог считать ее сына. Но, по правде говоря, мне было невыносимо вспоминать об этой истории; все мои надежды на счастье я возлагал на то, что она будет предана забвению. Я безрассудно обнадеживал себя, что так оно и случится. В расцвете моего неожиданного счастья я почти не вспоминал об угрозах мистера Фокленда, а когда делал это, то не хотел придавать им большой веры.

Однажды, когда я сидел вдвоем с Лаурой, она произнесла это наводящее ужас имя. Я вздрогнул от неожиданности, пораженный, что этой женщине, которая ничего не знает, которая живет чуть ли не одна в глухом углу вселенной, которая никогда ни по какому поводу не появлялась в великосветских кругах, — что этой чудной, обворожительной отшельнице каким-то неожиданным образом оказалось знакомо это роковое, ужасное имя. Но я не только почувствовал изумление. Я побледнел от ужаса, встал с места, попробовал снова сесть, убежал, шатаясь, из комнаты и поспешил укрыться в одиночестве. Неожиданность события лишила меня всякой осторожности и оказалась сильнее меня. Проницательная Лаура заметила мое поведение; но в дальнейшем не произошло ничего, что могло бы в то время возбудить ее подозрение, и, видя, что расспросы были бы для меня мучительны, она со свойственной ей добротой подавила свое любопытство.

Позже я узнал, что мистер Фокленд был знаком с отцом Лауры, что последний знал историю с графом Мальвези и о ряде других поступков, послуживших к чести благородного англичанина. Неаполитанец оставил

письмо, в котором описывал эти поступки и восхвалял мистера Фокленда. Лаура привыкла относиться с религиозным благоговением ко всем реликвиям, оставшимся от ее отца, и вследствие этой случайности имя мистера Фокленда было для нее связано с чувством безграничного уважения к нему.

Окружение, в котором я находился, было для меня приятней, чем это могло быть для большинства людей моего умственного уровня. Измученный преследованием и нуждой, кровоточащий, я ничего так не желал, как отдыха и покоя. Мои способности были как будто истощены недавним сверхъестественным напряжением, которое от них потребовалось, и нуждались в течение некоторого времени в отдыхе. Однако это было лишь проходящим чувством. Я всегда отличался деятельным умом, а перенесенные страдания и порожденная ими тонкая и повышенная чувствительность вызвали приток новых умственных сил. Скоро у меня возникло желание заняться еще каким-нибудь серьезным и интересным делом. В таком состоянии духа я случайно нашел у одного из соседей в забытом уголке дома общий словарь четырех северных языков. Этот случай дал направление моим мыслям. Я решил попытаться сделать, хотя бы для собственного употребления, этимологический анализ английского языка. Вскоре я убедился, что это занятие имеет для человека, находящегося в моем положении, то преимущество, что оно может дать работу на значительное время, не требуя большого количества книг. Я достал другие словари. Всякий раз, читая какую-нибудь книгу, я отмечал, в каком смысле употребляются слова, и пользовался этими заметками как примерами в моем общем исследовании. Я был неутомим в своем усердии, и мои изыскания обещали разрастись. Таким образом я нашел новый источник и труда и развлечения, чтобы окончательно отвлечь свои мысли от воспоминаний о своих прошлых несчастьях.

Неделя за неделей проходили без помех и тревог. Положение, в которое я был теперь поставлен, напоминало мне мои ранние годы, с тем преимуществом, что я был теперь окружен более привлекательным обществом и сам судил обо всем более зрело. Я начал оглядываться назад, на промежуточный период моей жизни, как на нездоровый и мучительный сон, или, пожалуй, скорее

мои чувства напоминали чувства человека, очнувшегося после многочасового кошмарного бреда, полного картин ужаса, смятения, бегства, преследований, смертных мук и отчаяния. Когда я вспоминал обо всем, что мне пришлось испытать, я делал это не без удовольствия, как вспоминаешь о событии, которое уже отошло в прошлое. Каждый день усиливал мою надежду, что эти страшные беды никогда не повторятся. Я надеялся, что страшные угрозы мистера Фокленда были результатом его гневного настроения, а не окончательным выводом из хладнокровно продуманного и принятого плана. Каким счастливым — выше меры человеческой — чувствовал бы я себя теперь, если бы после пережитых ужасов оказался неожиданно восстановленным во всех человеческих правах.

Пока я таким образом успокаивал себя приятными мечтами, случилось, что несколько каменщиков со своими подручными пришли из места, находившегося в пяти или шести милях, для работы над пристройкой к одному из лучших домов в городе, перешедшему к новому владельцу. Не могло быть ничего проще этого события, если бы не странное совпадение между этим обстоятельством и переменой, происшедшей в моем положении. Это случилось прежде всего в некоторой сдержанности, которую стали проявлять в обращении со мной один за другим мои недавние знакомые. Они уклонялись от разговоров, а на мои вопросы отвечали с принужденным и смущенным видом. Когда они видели меня на улице, в поле, их лица омрачались и они старались избежать встречи. Ученики покинули меня один за другим. И у меня не было больше работы по части механики. Можно было подумать, что я страдаю какой-нибудь заразной болезнью, от которой все бегут в испуге, предоставляя мне погибать беспомощным и одиноким. Я просил то одного, то другого объяснить мне, что значит эта перемена, но каждый уклонялся от объяснений или давал ответы двусмысленные и неопределенные. Иногда я начинал думать, что все это обман воображения, но повторные признаки слишком мучительно подтверждали основательность моих опасений. Мало что способно нанести такой сильный удар нашему нравственному состоянию, как изменение в поведении наших ближних, чрезвычайно важное для нас, но которому мы не в состоянии найти никакого

вразумительного объяснения. По временам я был склонен допустить, что происходит не перемена в отношении ко мне других людей, а какое-то искажение моего собственного сознания, которое порождает зловещую картину. Я пробовал проснуться от страшного сна и вернуться к прежнему радостному и счастливому состоянию, но тщетно. Не ведая источника зла, наблюдая его неуклонное нарастание и находя, что оно, насколько я мог понять, по природе своей основано на чистом произволе, я не мог установить его пределы и силу, с которой оно может в конце концов обрушиться на меня.

Однако при всей необычайности и видимой необъяснимости событий была одна мысль, которая возникла у меня мгновенно и которую я потом уже никак не мог изгнать из своего сознания. Это — Фокленд! Тщетно восставал я против кажущейся неправдоподобности этого предположения. Тщетно говорил я себе: «Мистер Фокленд, как бы он ни был мудр и богат на выдумки, действует все-таки при помощи человеческих, а не сверхъестественных сил. Он может захватить меня врасплох способом, которого я не мог предвидеть, но он не может произвести большого и важного действия, не прибегая к каким-нибудь явным посредникам, как бы ни было трудно обнаружить связь между этими посредниками и их вдохновителем. Не может же он, подобно тем невидимым существам, которые якобы вмешиваются время от времени в судьбы людей, переноситься вместе с ураганом, укрываться в облаках и в непроницаемом мраке и сеять на землю гибель из своего тайного убежища». Так убаюкивал я свое воображение и старался убедить себя, что настоящее мое несчастье происходит из другого источника. Все беды казались мне заурядными по сравнению с пережитыми злоключениями и возможностью их возобновления на вечные времена. Ум мой мутился; с одной стороны, я не знал, как объяснить свое теперешнее положение, если отвергнуть мысль о кознях мистера Фокленда, а с другой — мной овладевал ужас при одной мысли о возможности опять столкнуться с его враждой. Перерыв в несколько недель, который мне хотелось считать окончательным, представлялся вечностью для человека в том бедственном положении, в котором я так долго находился. Однако, несмотря на все усилия, я не мог отогнать от себя страшную мысль. У меня создалось

такое представление о гениальности и пастойчивости мистера Фокленда, что я затруднялся представить себе, что для него было что-нибудь невозможное. Я не знал, как примирить с этим мои собственные взгляды относительно материальных причин и способностей человеческого ума, которые ставят предел возможному. Мистер Фокленд всегда был для меня предметом удивления, а в том, что возбуждает наше удивление, мы никогда не способны разобраться.

Легко представить себе, что одним из первых лиц, к которым я решил обратиться за объяснением, была несравненная Лаура. Тут огорчение ранило меня в самое сердце. К этому я не был подготовлен. Я вспоминал ее чистосердечие, искренность ее обхождения, лестное расположение, которым она удостоила меня. Обиженный холодностью, суровостью и безжалостным непониманием, с которыми местные жители отвечали на мои вопросы, я тем безудержнее стремился найти исцеление от своих горестей у предмета моего восхищения. «С Лаурой я в безопасности от этих невежественных предубеждений, — говорил я себе. — Я полагаюсь на ее справедливость. Я уверен, что она не оттолкнет меня, не выслушав, не рассмотрев внимательно со всех сторон дело, которое затрагивает все, что может быть дорого человеку, которого она когда-то уважала».

Ободряя себя таким образом, я направился к ней. Дорогой я собрал все свои воспоминания, призвал все свои силы. «Меня могут сделать несчастным, — говорил я себе, — но это произойдет не потому, чтобы я со своей стороны упустил какой-нибудь шаг, который обещает привести к счастью. Я буду ясен, спокоен, прост в поведении, чистосердечен в своих сообщениях. Я не умолчу ни о чем, что может понадобиться по ходу дела. Я не стану по собственной инициативе касаться предметов, затрагивающих мои прежние отношения с мистером Фоклендом. Но если я увижу, что моя теперешняя беда связана с этими отношениями, я не побоюсь устранить ее честным объяснением».

Я постучал в дверь. Вышел слуга и сказал, что его хозяйка надеется, что я извиню ее: она очень просит извинить ее от моего посещения.

Я был поражен как громом. Я был пригвожден к месту. Я старательно приготовился ко всему, что, как

мне казалось, могло случиться, но это происшествие не входило в мои расчеты. Немного собравшись с духом, я ушел, не проронив ни слова.

Я отошел недалеко, когда увидел, что за мной идет один из слуг; он вложил мне в руку записку. Содержание ее было таково:

Мистер Уильямс!

Не приходите к нам больше. Я вправе ожидать, что Вы подчинитесь по крайней мере этому требованию. На таком условии я прощаю великую непристойность и преступность, с какими Вы вели себя по отношению ко мне и моей семье.

Лаура Денисон.

Чувства, с которыми я читал эти короткие строки, неопределимы. Я получил в них страшное подтверждение несчастья, надвигающегося на меня со всех сторон. Но что я ощущал сильнее всего — это бесстрастную холодность, с которой они, по-видимому, были написаны. Такая холодность со стороны Лауры, моего утешителя, моего друга, моей матери! Устранить, прогнать меня навсегда без малейшего сожаления!

Однако я решил, вопреки ее требованию и холодности, добиться у нее объяснения. Я не отчаивался в возможности преодолеть неприязнь, которая у нее возникла. Я не сомневался, что сумею поднять ее выше грубого и недостойного обыкновения осуждать человека, не проверив обвинений, которые против него выдвигаются, и не выслушав его объяснений.

Хотя я не сомневался, что при помощи настойчивости сумею проникнуть к ней, я все-таки предпочитал захватить ее неподготовленной и непредубежденной против меня. В соответствии с этим на следующее утро, во время ее обычной получасовой прогулки на свежем воздухе, я поспешил к ней в сад. Перепрыгнув через изгородь, я спрятался в беседке. Скоро я увидел из своего тайника, как младшие члены семьи прошли через сад и отправились в поле. В мои расчеты не входило, чтобы они видели меня. И, проводив их взглядом, я с глубоким вздохом невольно задал себе вопрос: «Неужели я вижу их в последний раз?»

Не успели они уйти в поле, как показалась их мать. Выражение лица у нее было, как всегда, ясное и доброе. Я слышал, как стучит мое сердце. Я дрожал всем телом. Я выскользнул из беседки и по мере приближения к ней зашагал быстрее.

— Ради бога, сударыня! — воскликнул я. — Выслушайте меня! Не уходите!

Она остановилась.

— Нет, сэр, — ответила она, — я не уйду. Я хотела, чтобы вы избавили меня от этой встречи. Но раз я не могла этого добиться, тут нет моей вины, и потому, что эта встреча для меня мучительна, она не вызывает во мне страха.

— О сударыня! — воскликнул я. — Мой друг! Предмет моего почитания! Вы, которую я когда-то смел называть своей матерью! Неужели вы не хотите выслушать меня? Не хотите дать мне возможность оправдаться, каковы бы ни были неблагоприятные сведения, которые вы получили обо мне?

— Ничуть. У меня нет ни желания, ни склонности слушать вас. Повесть, которая в ее простом и неприкрашенном виде губительна для доброго имени того, к кому она относится, не выиграет ни от каких прикрас!

— Господи! Неужели вы можете осудить человека, выслушав его историю в изложении только одной стороны?

— Конечно, могу, — с достоинством возразила она. — Правило выслушивать обе стороны, может быть, в некоторых случаях и очень хорошо. Но было бы странно думать, что не бывает и таких случаев, которые с первых же слов слишком ясны, чтобы оставить хоть тень сомнения. Удачно обдуманной защитой вы можете дать мне новые основания удивляться вашим способностям. Но они мне уже известны. Я могу удивляться им, не снисходя к вашему поведению.

— Сударыня! Милая, чистая Лаура, которую я почитаю, несмотря на всю ее суровость и непреклонность! Заклинаю вас всем, что для вас свято, — скажите, что наполнило вас этим неожиданным отвращением ко мне?

— Нет, сэр. Этого вы никогда от меня не добьетесь. Мне нечего сказать вам. Я спокойно стояла и слушала вас, потому что добродетели не следует казаться присты-

женной и смущенной в присутствии порока. На мой взгляд, даже ваше поведение в эту минуту служит к вашему осуждению. Истинная добродетель отказывается заниматься объяснениями и оправданиями. Истинная добродетель светит собственным светом и не нуждается для этого в уловках. Вам нужно еще усвоить основные правила нравственности.

— И вы уверены, что прямой образ действия всегда одержит верх над опасным двуличием?

— Именно так. Добродетель, сэр, состоит не из слов, а из поступков. Хороший человек и дурной человек — люди, прямо противоположные по нраву, а не отличающиеся один от другого незаметными оттенками. Провидение, пекущееся о нас, не допустило, чтобы мы остались без указаний в самом важном из всех вопросов. Красноречие может пытаться опровергнуть их, но моя забота — избежать обманчивого действия. Я не желаю, чтобы мой образ мыслей подвергался искажению и все различия между вещами были скрыты от моего понимания.

— Сударыня, сударыня! Вам невозможно было бы держать такие речи, если бы вы не прожили всю жизнь в этом уединенном убежище, если б вы хоть раз столкнулись с человеческими страстями и общественными установлениями.

— Может быть. Но если это так, то я имею величайшее основание благодарить господа за то, что он помог мне сохранить невинность сердца и чистоту мыслей.

— Неужели вы можете думать, что неведение — единственный и самый верный способ сохранить чистоту?

— Сэр, я сказала вам сразу и опять повторяю, что вся ваша декламация напрасна. Я хотела, чтобы вы избавили меня и себя от страданий, которые могут быть единственным следствием этого разговора. Но допустим, что добродетель может быть такой неясной, как вы уверяете меня. Возможно ли было бы в таком случае, чтобы вы, будучи честным человеком, не познакомили меня с вашей историей? Возможно ли, чтобы вы представили случаю осведомить меня со всеми оскорбительными добавлениями, которые — вы это знали — случай непременно внесет? Возможно ли, чтоб вы нарушили самое священное доверие и заставили меня по неведению допускать общение моих детей с человеком, который,

даже если он, как вы утверждаете, честен по существу, все-таки — вы не станете этого отрицать — лишен доброго имени и заклеямен перед целым светом?.. Ступайте, сэр! Я презираю вас. Вы чудовище, а не человек. Не могу сказать, не вводит ли тут меня в заблуждение мое личное положение, но на мой взгляд этот последний ваш поступок хуже всех других. Природа назначила меня быть защитницей моих детей. Я всегда буду вспоминать с возмущением о неизгладимом ущербе, который вы нанесли им. Вы ранили меня в самое сердце и открыли мне, до какой глубины может доходить человеческая низость.

— Сударыня, я больше не могу молчать. Я вижу, что до вашего слуха каким-то образом дошла история мистера Фокленда.

— Да, дошла! Я удивляюсь, что вы имеете наглость произносить это имя. Насколько я помню себя, оно всегда принадлежало самому возвышенному из смертных, самому мудрому и великодушному человеку.

— Сударыня, я обязан перед самим собой вывести вас из заблуждения на этот счет. Мистер Фокленд...

— Мистер Уильямс, я вижу, мои дети возвращаются с поля и идут сюда. Самый низкий поступок, который вы когда-либо совершили, это то, что вы навязали себя им в наставники. Я требую, чтобы вы их больше не видели! Я приказываю вам молчать! Я приказываю вам удалиться! Если вы настаиваете на своем бессмысленном решении объясниться со мной, вы должны выбрать другое время.

Я не мог продолжать. Сердце мое было как бы растерзано этим разговором. Я не мог и думать о продлении страданий этой чудесной женщины, которую я уже достаточно заставил страдать, хотя и был неповинен в тех преступлениях, которые она мне приписывала. Я уступил ее повелительным приказаниям и удалился.

Сам не зная почему, я поспешил от Лауры к своему собственному жилищу. Войдя в дом, где я занимал одно из помещений, я увидел, что в нем нет обычных его обитателей. Женщины и дети отправились насладиться утренней прохладой. Мужья, как всегда, работали вне дома. Жители этой части страны из простого народа днем запирают двери своих жилищ только на щеколду. Я вошел и направился на кухню. Там, когда я огляделся

кругом, глаза мои остановились на клочке бумаги, лежавшем в углу и возбуждавшем во мне по какой-то причине, которую я не мог бы объяснить, сильное подозрение и любопытство. Я быстро подошел, подобрал его и увидел, что это тот самый листок с «Чудесной и удивительной историей Калеба Уильямса», обнаружение которого к концу моего пребывания в Лондоне вызвало во мне такое невыносимое страдание.

Эта находка сразу объяснила всю таинственность, тяготевшую надо мною в последнее время. Отвратительная, невыносимая уверенность пришла на смену осаждавшим меня сомнениям. Она пронзила меня с быстротой молнии. Я почувствовал во всем теле внезапное оцепенение и слабость.

Неужели мне не остается никакой надежды? Неужели даже оправдание по суду ни к чему? Неужели не найдется такого промежутка времени в прошлом или будущем, который принес бы облегчение моим страданиям? Неужели гнусная и жестокая ложь, взведенная на меня, будет следовать за мной, куда бы я ни пошел, лишая меня доброго имени, отнимая у меня сочувствие и расположение человечества, вырывая у меня даже кусок хлеба, необходимый для поддержания жизни?

В течение примерно получаса мука, которую я испытывал от такого уничтожения моего покоя, и связанное с этим ожидание вражды, которая будет преследовать меня во всяком убежище, были так сильны, что отняли у меня способность связно мыслить и — более того — возможность прийти к какому-нибудь решению. Как только ужас и ошеломление оставили меня и смертельное оцепенение, овладевшее моими способностями, исчезло, неодолимый и властный порыв повлек меня немедленно прочь из этого недавно дорогого мне убежища. У меня не было терпения входить в дальнейшие препирательства и объяснения с жителями моего тогдашнего приюта. Я решил, что надежда снова вернуть себе благодатное доверие и спокойствие, которыми я пользовался в последнее время, напрасна. В борьбе с предубеждениями, которые восстали таким образом против меня, мне пришлось бы иметь дело с людьми разного склада, и если бы даже у некоторых я имел успех, то, конечно, не мог рассчитывать на удачу со всеми. Я слишком близко познакомился с царством торжествующей лжи, чтобы пи-

тать ту горячую веру в могущество своей невинности, которая, естественно, могла бы воодушевлять всякое другое лицо с моими склонностями и в моем возрасте. Недавний разговор с Лаурой сильно подорвал мое мужество. У меня не было сил вынести мысль о необходимости бороться с ядом, разлитым вокруг меня, — с каждой мельчайшей каплей его в отдельности. Если когда-нибудь окажется необходимым столкнуться с ним, если меня будут преследовать как дикого зверя до тех пор, пока мне уже нельзя будет больше уйти от охотников, я обращусь против истинного виновника этого беззаконного нападения, я встречу клевету в самой ее твердыне, я решусь на поступок, доселе беспримерный, и твердость, бесстрашие, непоколебимая выдержка, которые я проявлю, все-таки заставят человечество поверить, что мистер Фокленд — клеветник и убийца.

ГЛАВА XIV

Спешу к концу своего печального повествования. Я начал писать вскоре после того времени, до которого довел теперь свой рассказ. Это также было одно из изобретений моей мысли, неистощимой в придумывании способов избавиться от несчастий. Торопясь покинуть свое убежище в Уэльсе, где я впервые убедился в основательности угроз мистера Фокленда, я оставил там материалы своих этимологических изысканий и то, что я написал на эту тему. Я уже никогда не мог заставить себя вернуться к этой работе. Всегда бывает тяжело снова начинать кропотливую работу и тратить усилия на то, чтобы вернуть позиции, которые уже были заняты. Я не знал, как скоро и как неожиданно могу оказаться изгнанным из всякого нового места; материалы, необходимые для работы, в которую я тогда погрузился, были слишком громоздки для такого стесненного и неопределенного положения; они могли только отягчить для меня козни моего врага и придать новую горечь моему ежечасно возобновляющемуся злополучию.

Но то, что имело для меня величайшее значение и произвело самое глубокое впечатление на мое душевное состояние, — это разлука с семьей Лауры. Каким я был глупцом, воображая, будто для меня может найтись

место под кровом дружбы и тишины. Только теперь я впервые с нестерпимой остротой почувствовал, как бесповоротно я отрезан от всего человеческого рода. Другие отношения, которые я завязал, имели сравнительно небольшое значение, и я без чрезмерной горести смотрел, как они порывались. Я ни разу не испытал чистейших радостей дружбы, кроме двух случаев: с Коллинзом и теперь — с семьей Лауры. Одиночество, разлука, изгнание! Эти слова часто бывают на человеческих устах, но мало кто, кроме меня, изведал их значение во всем объеме. Гордая философия научила нас рассматривать человека как отдельную личность. Он вовсе не таков. Он неизбежно, по необходимости, держится себе подобных. Он подобен тем близнецам, которые, правда, имели две головы и четыре руки, но были бы неминуемо обречены на жалкую и медленную гибель, если бы их попытались разделить друг от друга.

Именно это обстоятельство, больше чем все остальное, мало-помалу переполнило мое сердце отвращением к мистеру Фокленду. Я не мог вспоминать его имя иначе, как с почти нечеловеческой ненавистью и проклятиями. Из-за него я лишался одного утешения за другим — всего, что было счастьем или походило на счастье.

Работа над этими мемуарами была для меня в течение нескольких лет способом отводить душу. Некоторое время я находил в этом печальную утеху. Мне больше нравилось воспроизводить подробности тех бедствий, которые постигли меня в прошлом, чем заглядывать вперед и предугадывать, какие бедствия могут еще выпасть мне на долю. Я полагал, что, правдиво рассказанная, моя история будет носить такой отпечаток истины, против которого мало кто сможет устоять, что в худшем случае, оставшись после меня, когда я сам перестану существовать, она заставит потомство отдать мне справедливость и что, показав на моем примере, как много зла выпадает на долю человека от общества в том виде, как оно теперь устроено, убедит обратить внимание на источник, из которого истекают столь горькие воды. Но теперь эти цели отчасти потеряли свое значение. Я получил отвращение к жизни и ко всему, что с ней связано. Мемуары, которые вначале были наслаждением, превратились в бремя. Я сжато перескажу то, что мне осталось до-сказать.

Я узнал, вскоре после того периода времени, о котором пишу, подлинную причину пережитого мной в Уэльсе несчастья и принял эту причину во внимание, размышляя о тех испытаниях, которых мне приходилось ждать в будущем. Мистер Фокленд взял к себе на жалованье проклятого Джайнса — человека, как раз подходящего для службы, на которую его теперь определили, по бесчеловечной грубости права, по свойствам ума — одновременно смелого и лукавого — и по особенной враждебности и мстительности, с которыми он относился ко мне. Обязанности его заключались в том, чтобы следовать за мной с места на место, чернить мое доброе имя и препятствовать тому, чтобы, долго оставаясь на одном месте, я заслужил репутацию честного человека, что придало бы новый вес всякому обвинению, которое я вздумал бы в будущем выдвинуть против мистера Фокленда. Джайнс прибыл в город вместе с каменщиками и их подручными, о которых я упоминал, и, стараясь держаться как можно незаметней для меня, тщательно распространял повсюду то, что в глазах света было равносильно доказательству моей низости и преступности. Не может быть сомнения в том, что им был доставлен и гнусный листок, который я пашел в своем жилище непосредственно перед тем, как покинул его. Все это, согласно правилам мистера Фокленда, было только необходимой предосторожностью. В его душевном складе было что-то заставлявшее его гнушаться мысли о насильственном прекращении моего существования; в то же время он, к несчастью, ни в коем случае не мог чувствовать себя в достаточной безопасности от моих обвинений, пока я был жив.

Что касается того обстоятельства, что Джайнс был нанят им для этого страшного дела, то он вовсе не хотел, чтобы об этом узнали. Однако его не страшила и возможность того, что это станет известным. Ведь, на его взгляд, слишком большое распространение получил тот факт, что я выдвигал против него самые тяжкие обвинения. И если он смотрел на меня с отвращением, как на врага его доброго имени, то люди, имевшие случай хоть немного ознакомиться с нашими отношениями, питали не меньшее отвращение ко мне ради меня самого. Даже если б они когда-нибудь узнали о стараниях, которые он прилагал к тому, чтобы дурная слава шла за мной по пятам, они увидели бы в этом только проявление беспристрастной

справедливости и, может быть, даже великодушную заботу о том, чтобы помешать другим стать жертвами обмана и потерпеть ущерб, как это было с ним.

Какое средство следовало мне употребить, чтобы противодействовать обдуманной и безжалостной предусмотрительности, в результате которой всякий раз, как я переезжал из одного места в другое, меня лишали радостей общения с людьми? К одному средству я твердо решил не прибегать — это к переодеванию. Я испытал столько обид и невыносимых неудобств, прибегая к нему раньше, оно было связано в моей памяти с ощущением такой мучительной скорби, что в сознании моем сложилось твердое убеждение: жизнь не стоит того, чтобы так дорого платить за нее. Но если в этом отношении мое решение было окончательным, то имелся другой пункт, казавшийся не столь существенным, в котором я был согласен уступить обстоятельствам. Я был готов, если бы это обеспечило мне покой, пойти на недостойное дело проживания под чужим именем.

Но и перемена имени, и неожиданность, с которой я менял места, и отдаленность, и неизвестность, которыми я руководился при выборе местопребывания, оказались недостаточными для того, чтобы дать мне возможность избежать бдительности Джайнса или неутомимой настойчивости, с которой мистер Фокленд побуждал моего мучителя преследовать меня. Куда бы я ни переезжал, мне через некоторое время приходилось убеждаться, что ненавистный противник идет по моим следам. Нет подходящих слов, чтобы я мог достойным образом выразить чувства, которые это обстоятельство вызывало во мне. Это было подобно тому, что когда-то писали о всевидящем оке, которое преследует провинившегося грешника и пронзает его своим лучом, снова пробуждающим его к сознанию в то самое мгновение, когда изнуренная природа готова была на время усыпить муки его совести.

Сон бежал от глаз моих. Никакие стены не могли укрыть меня от пронизательности этого ненавистного врага. Повсюду козни его неутомимо создавали для меня новые беды. Я не знал покоя, я не знал облегчения; никогда я не мог рассчитывать на мгновение безопасности, никогда не мог уйти под кров забвения. Минуты, в течение которых я не замечал его, были отравлены и омрачены ужасной уверенностью в его скором вмешательстве.

В первом своем убежище я прожил несколько недель в обманчивом спокойствии, потом мне ни разу не пришлось быть настолько счастливым, чтобы получить хоть такое призрачное утешение. Несколько лет я провел в этой ужасной смене мук. Временами то, что я ощущал, граничило с безумием.

В каждом новом положении я продолжал держаться так же, как и в прежнем. Я решил никогда не вступать с проклятым Джайнсом ни в какие рассуждения — ни для обвинения, ни для защиты. Но если б я даже пошел на это с другими, что мне это дало бы? Мне пришлось бы рассказывать искаженную повесть. Эта повесть могла иметь успех у людей, предрасположенных в мою пользу личным общением; но могла ли она встретить доверие у чужих? Она имела успех, пока я был в состоянии скрываться от своих преследователей. Но может ли она иметь успех теперь, когда это оказывается невыполнимым, когда они начинают с того, что сразу вооружают против меня всю округу?

Непостижимо, сколько превратностей заключало в себе такого рода существование. Зачем мне останавливаться на таких тяготах, как голод, нищенство и жалкий внешний вид? Все это было неизбежным следствием. В каждом новом положении меня опять настигал мой рок, и все покидали меня. В такое мгновение промедление только усугубляло зло. И когда я спасался бегством, скудость и нищета были моими постоянными спутниками. Но это обстоятельство было несущественно. Иногда негодование, а порой непреодолимое упорство поддерживали меня, когда человеческая природа, предоставленная самой себе, казалось должна была бы пасть.

Из предшествующего уже можно было заключить, что у меня не такой характер, чтобы я стал терпеть невзгоды, не пытаюсь избежать и смягчить их всеми средствами, какие только мог изобрести. Придумывая, по своему обыкновению, разные способы, при помощи которых можно было бы улучшить мое положение, я задавал себе вопрос: «Зачем буду я позволять Джайнсу отравлять мне жизнь своими преследованиями? Почему бы мне, выйдя один на один, не одержать над ним верх своим умственным превосходством? Теперь кажется, что он преследователь, а я преследуемый, но эта разница — не плод ли одного воображения? Не могу ли я употре-

бить свою изобретательность на то, чтобы вывести его из себя препятствиями и посмеяться над бесконечными усилиями, на которые он будет обречен?»

Увы, эти рассуждения хороши для человека в спокойном состоянии! Не преследование само по себе, а связанная с ним опасность гибели определяет разницу между гираном и жертвой. В смысле чисто телесного утомления охотнику, пожалуй, не легче, чем несчастному животному, которое он преследует. Но могли ли мы оба забыть, что в любом месте Джайнс имел возможность удовлетворять свою коварную злобу, распространяя обвинения самого бесстыдного свойства и вызывая отвращение ко мне в каждом честном сердце, тогда как мне приходилось переносить беспрестанно повторяющиеся утраты покоя, доброго имени, куска хлеба! Мог ли я при помощи умственного ухищрения превратить это чередование ужасов в забаву? Я не был искушен в философии, которая могла бы сделать меня способным на такое необычайное усилие. Если бы даже при иных обстоятельствах у меня могла зародиться такая странная фантазия, то в данных условиях я был связан необходимостью добывать себе средства к существованию и узам, которые, в силу этой необходимости, налагались на мои действия формами человеческого общежития.

Во время одной из тех перемен местожительства, к которым меня беспрестанно вынуждала моя несчастная судьба, на дороге, которую мне нужно было пересечь, я встретил друга своей юности, самого давнего и любимого своего друга, почтенного Коллинза. Одним из печальных обстоятельств, послуживших к увеличению моих горестей, было то, что этот человек покинул Великобританию всего за несколько недель до роковой перемены в моей судьбе.

Кроме обширных поместий, которыми мистер Фокленд владел в Англии, у него были еще доходные плантации в Вест-Индии. Управление ими находилось в очень плохих руках. После разных обещаний и отписок со стороны управляющего, которые хоть и приводили к временному успокоению мистера Фокленда, но не приносили никакой пользы, было решено, что мистер Коллинз сам туда поедет, чтобы положить конец продолжавшимся столько времени злоупотреблениям. Возникла даже мысль о пребывании его на плантации в течение несколь-

ких лет, если не об окончательном обосновании там. С того часа по настоящее время я не получал о нем ни малейших сведений. Я всегда считал это роковое отсутствие одним из самых прискорбных для меня обстоятельств. Мистер Коллинз был одним из первых, кто еще в моем детстве возлагал на меня надежды как на человека, одаренного недюжинными способностями; больше чем кто-либо другой он поощрял мои юношеские занятия науками и помогал им. Он был душеприказчиком отца, который остановил свой выбор на нем ввиду нашей взаимной привязанности. И мне казалось, что на его защиту у меня больше прав, чем на чью-либо другую. Я был всегда уверен в том, что, если бы он присутствовал при переломе в моей судьбе, он проникся бы верой в мою невиновность и, убежденный сам, сумел бы при том уважении, которым пользовался, и силе своего характера вступить настолько решительно, чтобы спасти меня от большей части моих последующих несчастий.

У меня на уме была и другая мысль об этом предмете, более для меня важная, чем мысль о практических доказательствах доброго отношения, которых я от него ожидал. Самым тяжелым в моей участи было то, что я был лишен дружбы людей. Могу с уверенностью сказать, что враждебность и голод, бесконечные скитания, опороченная честь и проклятия, сыпавшиеся на мое имя, по сравнению с этим были пустыми невзгодами. Я старался ободрить себя сознанием своей безупречности, но на голос моей совести не откликалось ни одно человеческое существо. «Я громко звал, никто не откликнулся, никто не оглянулся на меня». Весь мир был глух, как буря, и холоден, как снег. Симпатия, эта магнетическая добродетель, эта скрытая сущность нашей жизни, — угасла. Но и на этом мои несчастья еще не кончались. Эта пища, столь необходимая для осмысленного существования, беспрестанно обновлялась у меня на глазах в своих самых прекрасных оттенках, как будто только для того, чтобы тем верней уйти из моих рук и посмеяться над моим голодом. Время от времени у меня возникало желание раскрыть сокровища своей души — только для того, чтобы оказаться отвергнутым в мучительной тоске и нестерпимо обидно осмеянным.

Поэтому ни одно зрелище не могло доставить мне более глубокого наслаждения, чем то, которое теперь

возникло перед моими глазами. Однако прошло некоторое время, прежде чем мы оба узнали друг друга. Со дня нашего последнего свидания прошло десять лет. Мистер Коллинз выглядел гораздо старше, чем в то время; к тому же, бледный и худой, он имел теперь болезненный вид. Такое неблагоприятное действие оказала на него перемена климата, всегда особенно тягостная для пожилых людей. Надо прибавить, что я считал его находящимся в это время в Вест-Индии. По всей вероятности, я изменился за истекшее время не менее его. Я первый узнал его. Он ехал верхом, я был пешим. Я дал ему обогнать меня. И тут в одно мгновение я понял, что это — он. Я кинулся за ним. Я стал громко звать его. Я был не в силах сдержать свое огромное волнение.

Горячность моих чувств изменила обычный звук моего голоса, который мистер Коллинз в противном случае обязательно узнал бы. Зрение уже изменяло ему. Он остановил лошадь, чтобы я мог догнать его, и потом сказал:

— Кто вы такой? Я вас не знаю.

— Отец мой! — воскликнул я, восторженно и горячо обнимая его колено. — Я ваш сын, ваш прежний маленький Калев, которого вы тысячу раз окружали своей добротой.

Мое имя, неожиданно произнесенное, вызвало в моем друге трепет волнения, обузданного, однако, его возрастом, а также спокойной и благодатной философией, которая составляла одно из самых замечательных его свойств.

— Я не ожидал встретить тебя, — ответил он. — Я не хотел этого.

— Мой лучший, мой самый старый друг! — продолжал я, в то время как к моему уважению стало примешиваться нетерпение. — Не говорите так! У меня во всем мире нет ни одного друга, кроме вас. Позвольте же мне хоть у вас найти сочувствие и ответную любовь! Если бы вы знали, с какой тоской я думал о вас во все время вашего отсутствия, вы не стали бы после возвращения так жестоко огорчать меня.

— Как случилось, что ты дошел до такого жалкого состояния? — медленно произнес мистер Коллинз. — Не было ли это неизбежным следствием твоих собственных поступков?

— Чужих поступков, а не моих! Неужели сердце не говорит вам, что я невиновен?

— Нет. Мои наблюдения над твоим характером в ранние годы показали, что ты будешь человеком необыкновенным. Но, к несчастью, не все необыкновенные люди — хорошие люди. По-видимому, это лотерея, в которой решают обстоятельства, на первый взгляд самые заурядные.

— Вы выслушаете мои оправдания? Я уверен, что сумею убедить вас в своей незапятнанности, как уверен в том, что существую.

— Разумеется, если ты этого требуешь, я выслушаю тебя. Но только не сейчас. Я рад был бы совсем уклониться от этого. В мои годы я уже не гожусь для бурь. И я не так уверен в успехе, как ты. В чем рассчитываешь ты убедить меня? В том, что мистер Фокленд — клеветник и убийца?

Я промолчал. Мое молчание было утвердительным ответом.

— А что хорошего даст это убеждение? Я знал тебя многообещающим ребенком, нрав которого мог развиться в ту или другую сторону, смотря по тому, как решат обстоятельства. Я знал мистера Фокленда в его зрелые годы и всегда восхищался им как живым образцом щедрости и доброты. Если бы тебе удалось изменить все мои взгляды и показать, что нет средства, при помощи которого можно помешать пороку выдавать себя за добродетель, какая выгода получилась бы от этого? Мне пришлось бы отказаться от всех своих душевных утешений и всех отношений с людьми. И ради чего? Что ты предлагаешь? Смерть мистера Фокленда от руки палача?

— Нет. Я не трону волоса на его голове, если только не буду вынужден к этому требованиями самозащиты. Но вы, во всяком случае, должны оказать мне справедливость.

— Какую справедливость? Признать за тобой право провозгласить свою невинность? Ты знаешь, какие с этим связаны последствия. Да я и не допускаю мысли, что признал бы тебя невинным. Если бы даже тебе удалось привести мой ум в замешательство, тебе не удалось бы просветить его. Положение человечества таково, что невинность, запутанная в подозрительных

обстоятельствах, почти никогда не может доказать свою чистоту, а преступление часто умеет внушить нам непреодолимое нежелание признать его преступлением. Между тем ради этого недостоверного знания я должен пожертвовать всеми жизненными благами, какие только у меня остались. Я считаю, что мистер Фокленд добродетелен, но знаю также, что он склонен к предубеждениям. Он никогда не простил бы мне даже этой случайной беседы, если бы каким-нибудь образом узнал о ней.

— О, не ссылайтесь на последствия, которые могут произойти! — с нетерпением ответил я. — Я имею право на вашу помощь!

— Ты имеешь эти права. Ты имеешь их в известной мере, и не похоже на то, чтобы ты мог после какого бы то ни было расследования получить их полностью. Я считаю, что ты человек порочный. Но я не думаю, чтобы на порочных людей следовало изливать негодование и презрение. Я смотрю на тебя как на машину. Боюсь, что ты не был приспособлен к тому, чтобы быть особенно полезным своим собратьям, но ты не сам себя создал — ты именно таков, каким тебя заставили быть непреодолимые обстоятельства. Я сокрушаюсь о твоих дурных наклонностях, но не чувствую к тебе неприязни. Я испытываю к тебе одно доброжелательство. Рассматривая тебя в том свете, как я сейчас это сделал, я готов всеми доступными мне средствами содействовать подлинной твоей выгоде и, если б умел, с радостью помог бы тебе разоблачить и искоренить заблуждения, которые привели тебя ко злу. Ты обманул мои ожидания, но я не хочу упрекать тебя. У меня больше желания пожалеть тебя, чем увеличивать твои несчастья своими укоризнами.

Что мог я сказать такому человеку? Милый, несравненный человек!

В моем сознании никогда не происходило более мучительной борьбы. Чем больше восхищения он во мне вызывал, тем более властно повелевало мне мое сердце любой ценой обрести его дружбу. Я был убежден, что строгое чувство долга требует от него, чтобы он, отбросив всякие личные соображения, решительно приступил к расследованию истины; в случае, если б это расследование кончилось в мою пользу, он должен был отказаться от всех своих преимуществ и, объявив

мое дело нашим общим, постараться вознаградить меня, покинутого всеми в мире, за общую несправедливость. Но в моих ли силах было принудить его к такому образу действий, если, при его преклонном возрасте, его собственное мужество отступало перед этим?

Увы, ни один из нас двоих не предвидел ужасного конца, который в то время уже приблизился вплотную. В противном случае я твердо уверен, что никакая забота о сохранении своего спокойствия не удержала бы его от того, чтобы уступить моим желаниям. С другой стороны, мог ли я знать, какие беды постигли бы его, если б он объявил себя моим защитником? Не будет ли в этом случае его незапятнанность взята под подозрение и уничтожена, как это было с моей? Не послужит ли его старческая слабость к выгоде моему ужасному противнику? Не приведет ли и его мистер Фокленд в такое же бедственное и униженное состояние, как меня? В конце концов, не преступно ли с моей стороны стремиться вовлечь другого в свои страдания? Если я считаю их нестерпимыми — тем больше оснований переносить их одиноко.

Под влиянием этих соображений я согласился с его доводами. Я согласился примириться с дурным мнением обо мне единственного в мире человека, уважения которого я горячо желал, из боязни навлечь на него беду. Я согласился отказаться от того, что в эту минуту считал последним мыслимым благом в своей жизни — благом, за одну мысль о котором, в то время как я от него отказывался, душа моя хваталась с невыразимой тоской.

Мистер Коллинз был глубоко тронут явным чистосердечием, с которым я выражал свои чувства. Тайной мыслью его было: «Может ли это быть лицемерием? Если человек, с которым я беседую, добродетелен, он должен быть самым бескорыстно добродетельным человеком в мире».

Мы оторвались друг от друга. Мистер Коллинз обещал следить за превратностями моей судьбы, насколько это окажется для него возможным, и помогать мне во всех случаях, которые не приведут к дурным последствиям. Так я расстался, можно сказать, со своей последней угасающей надеждой. Искалеченный и всеми покинутый, я добровольно согласился встретить все беды, которые еще ждали меня вперед.

Это — последнее событие, которое я считал теперь нужным описать. Мне и впоследствии, конечно, представится случай взяться за перо. Как ни велики и беспримерны были мои прежние муки, я в глубине души уверен, что еще худшие страдания ждут меня впереди. Какая таинственная причина дает мне силы писать об этом, вместо того чтобы погибнуть под бременем ужасных опасений!

ГЛАВА XV

Все произошло, как я предсказал. Предчувствие, посетившее меня, оказалось пророческим. Мне предстоит теперь описать новый и страшный переворот в моей судьбе и в моем сознании.

Испробовав разные положения, всегда с одинаковыми последствиями, я наконец решил, если возможно, уйти из-под власти своего мучителя, удалившись в добровольное изгнание из родной земли. Это было последним средством, к которому я решил прибегнуть ради спокойствия, ради доброй славы, ради тех преимуществ, которым человеческая жизнь обязана всей своей ценностью. «В каком-нибудь отдаленном краю, — говорил я себе, — я, наверное, найду ту безопасность, которая необходима для усидчивых занятий, наверное смогу держать голову высоко, общаться с людьми как равный с равными, завязывать отношения и сохранять их». Невозможно вообразить, с каким пламенным душевным порывом я стал жаждать этой развязки.

И в этом последнем утешении отказал мне беспощадный Фокленд.

В то время когда этот план был задуман, я находился недалеко от восточного берега острова; я решил сесть на корабль в Гарвиче и тотчас переправиться в Голландию. Отправившись в этот город, я почти тотчас по приезде пошел в порт. Но не было судна, вполне готового к отплытию. Я покинул порт и зашел в одну гостиницу, где немного погодя удалился в отдельную комнату. Не успел я войти туда, как дверь комнаты открылась и в помещение вошел самый ненавистный для моих глаз человек — Джайнс. Войдя, он тотчас же закрыл дверь.

— Юноша, — сказал он, — я должен кое-что сообщить вам с глазу на глаз. Я пришел как друг и хочу избавить вас от лишних хлопот. Если вы именно так взглянете на то, что мне надо вам сказать, тем лучше будет для вас. Видите ли, теперь мое занятие, за неимением лучшего, заключается в том, чтобы следить, как бы вы не вырвались на свободу. Не скажу, чтобы мне было очень по вкусу иметь хозяином одного человека или выслуживаться, таскаясь за кем-го по пятам, но к вам у меня особая нежность за некоторые добрые услуги, о которых вы знаете, и поэтому я чиниться не стану. Вы меня уж порядком погоняли вокруг, но если угодно, можете водить еще столько же, — я согласился на это из любви к вам. Только берегитесь соленых морей. О них нет упоминания в полученных мной приказах. Вы теперь узник и, думается мне, останетесь им на всю жизнь. Благодарите за это мягкотелость своего прежнего хозяина. Если бы я распоряжался в этом деле, я поступил бы с вами по-другому. Покуда вы на это согласны, вы узник — с соблюдением границ, которые этот мягкосердечный сквайр снисходительно назначает вам: это — вся Англия, Шотландия и Уэльс. Но за пределы этих стран вы не выйдете: сквайр твердо решил никогда не выпускать вас из своих рук. А потому он распорядился, чтобы, как только вы сделаете попытку вырваться, мы тотчас превратили вас из узника на свободе в настоящего узника. Один мой приятель шел сейчас по вашим следам до самой гавани. Я был поблизости, и при первой вашей попытке шагнуть с суши на корабль мы в мгновение ока были бы подле вас и накрепко засадили бы вас в тюрьму. На будущее время советовал бы вам держаться на приличном расстоянии от моря. Вы видите, я говорю все это для вашей же пользы. Мне лично было бы больше по душе, если б вы были уже в заключении, с веревкой на шее и в приятном ожидании виселицы! Но я поступаю, как мне приказано. А затем — спокойной ночи.

Сообщенные мне таким образом сведения произвели мгновенный переворот и в духовном и в физическом моем состоянии. Я не удостоил ответом врага, который сообщил мне их; я даже не подал виду, что заметил его. Вот уже три дня, как я выслушал это, и с того мгновения до настоящего времени кровь моя находится

в непрерывном брожении. Мои мысли с невероятной быстротой переносятся от одной картины ужаса к другой. Я ни разу не заснул. Я не мог оставаться в одном положении в течение минуты. Только с величайшими усилиями сумел я настолько овладеть собой, чтобы прибавить несколько страниц к своей истории. Не уверенный в том, что может произойти в течение каждого следующего часа, я решил, что заставляю себя выполнить это. В голове у меня не все в порядке. Бог весть, чем это кончится. Иногда я боюсь, что совсем лишусь рассудка.

Как — мрачный, таинственный, бесчувственный, неумолимый тиран! Неужели дошло до этого? Когда Нерон и Калигула держали в руках римский скипетр, страшным делом было оскорбить этих кровавых правителей. Империя уже простиралась тогда от одного края земли до другого и от моря до моря. Если их несчастная жертва бежала к солнечному восходу, туда, где, как нам кажется, светоч дня поднимается из волн океана, власть тирана неотступно преследовала ее. Если она устремлялась на запад, в гесперийский мрак, к берегам варварского Туле,* — и там она не была в безопасности от своего обгащенного кровью врага. Фокленд! Не отпрыск ли ты этих тиранов, верно сохранивший в себе их черты? Неужели целый мир и все его страны не существуют для твоей беспомощной, безобидной жертвы?

ТРЕПЕЩИ

Тираны трепетали, окруженные целыми армиями своих янычар! ** Что может спасти тебя от моей ярости? Нет, я не стану пускать в ход кинжалы! Я расскажу повесть! Я покажу тебя миру таким, каков ты есть! И все люди на земле признают мою правду! Уж не вообразил ли ты, что я совсем бессловесен, — просто червь, устроенный так, что он может испытывать боль, но не гнев? Неужели ты вообразил, что можно, не подвергаясь опасности, причинять мне муки, как бы ни были они велики, и несчастья, как бы ни были они ужасны? Неужели ты решил, что я бессилен, слабоумен, близок к идиотизму и не обладаю ни разумом, чтобы задумать твою гибель, ни решимостью, чтобы осуществить ее?

Я расскажу повесть. Правосудие страны должно слышать меня. Смягчение стихий во всей вселенной не ос-

тановит меня. Я буду говорить голосом более страшным, чем громовые раскаты. Кто может подумать, что я говорю из корыстных побуждений? Я уже больше не под судом! Теперь никто не заподозрит, будто я стараюсь отвести от себя уголовное обвинение, переложив его на обвинителя. Стану ли я жалеть о гибели, которая поразит тебя? Слишком долго был я мягкосердечен и терпелив! Какие выгоды проистекли для меня из этого неуместного милосердия? Не было бедствия, которое ты постыдился бы наслать на меня! И я не хочу больше быть шепетильней тебя. Ты не давал пощады, и тебе пощады не будет! Я должен быть спокоен, смел, как лев, но хладнокровен.

Эта минута чревата грядущим. Я знаю, что восторжествую и раздавлю своего якобы всемогущего противника. Но если б даже было иначе, по крайней мере он не будет знать одних удач. Его слава не будет бессмертна, как ему мечтается. Эти страницы сохраняют истину. Придет день — они будут обнародованы, и тогда мир рассудит нас обоих.

Памятуя об этом, я умру не совсем безутешным. Нельзя терпеть, чтобы ложь и тирания царили вечно.

Как бессильны все предосторожности человека перед вечными и неизменными законами духовного мира! Фокленд возводил на меня гнусные обвинения. Он гнал меня из города в город. Он стянул вокруг меня кольцом свои силы, чтобы я не мог уйти. Он держал сыщиков, следивших за каждым моим шагом. Он может изгнать меня за пределы мира. Напрасно! Этим орудием — маленьким пером — я разрушу все его козни. Я нанесу ему смертельный удар в то самое место, которое он заботливей всего охранял!

Коллинз! Я обращаюсь теперь к вам. Я согласился, чтобы вы не оказывали мне помощи в моем теперешнем ужасном положении. Я готов скорее умереть, чем сделать что-нибудь такое, что может повредить вашему спокойствию. Но не забывайте: вы все-таки мой отец! Заклиная вас той любовью, с которой вы когда-то относились ко мне, теми благодеяниями, которые вы мне оказывали, той привязанностью и нежностью к вам, которые теперь переполняют мою душу, моей невиновностью, — ибо, если б это были даже последние слова, написанные мной, я умру, вопия о своей невиновности.

Заклинаю вас всем, что свяшенно и дорого вашей душе, — выслушайте мою последнюю просьбу! Сберегите эти листы от уничтожения — и от Фокленда! Это все, о чем я прошу. Я позаботился о безопасном способе передачи их в ваше распоряжение. И я питаю твердую уверенность, которой не позволю лишить себя, что в один прекрасный день они найдут дорогу к читателю.

Мои дрожащие пальцы не выпускают пера. Не оставил ли я чего-нибудь недосказанным? Содержимое рокового сундука, с которого начались все мои несчастья, мне так и не удалось установить. Когда-то я думал, что он скрывает в себе какие-нибудь орудия убийства или предметы, связанные с гибелью несчастного Тиррела. Теперь я убежден, что тайна, в нем заключенная, не что иное, как рукопись правдивого повествования об этом событии и сопутствующих ему обстоятельствах, написанная мистером Фоклендом и сохраненная им на худой конец, чтобы, если по какому-нибудь непредвиденному обстоятельству его преступление было бы раскрыто, она способствовала бы восстановлению его погибшей репутации. Впрочем, верно или ошибочно такое предположение — это несущественно. Если Фокленд никогда не будет уличен перед всем миром, его повествование, по всей вероятности, никогда не увидит света. В таком случае этот мой рассказ может вполне заменить его.

Не знаю, что вызывает во мне такую торжественность. У меня есть тайное предчувствие, что мне больше никогда не придется сдерживать себя. Если удастся то, что я теперь замыслил против Фокленда, мои предосторожности относительно судьбы этих бумаг станут излишними, мне больше не будет надобности прибегать к уловкам и хитростям. Но если я потерплю неудачу, тогда окажется, что эти предосторожности были мудро применены.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Все кончено. Я привел свой замысел в исполнение. Мое положение совершенно изменилось. Сейчас я сажусь, чтобы описать происшедшее. В течение многих недель после того, как завершилось это страшное дело, дух мой был в слишком возбужденном состоянии, чтобы

я мог писать. Теперь, мне кажется, я сумею привести свои мысли в порядок, достаточный для той цели, которую я перед собой поставил.

Великий боже! Как удивительны и как страшны были события, происшедшие с тех пор, как я в последний раз держал перо! Недаром мысли мои были торжественны, а дух был полон ужасных предчувствий.

Приняв решение, я направился из Гарвича в главный город графства, в котором жил мистер Фокленд. Джайнс — я прекрасно это знал — следовал за мной. Это для меня не имело значения. Он мог удивляться выбранному мной направлению, но не подозревал, с какой целью я его выбрал. Намерение мое тщательно укрыто было в моей груди. Не без чувства ужаса вступил я в город, который был местом столь долгого моего заключения. Тотчас же по своему прибытии я отправился в дом главного судьи, чтобы не дать своему противнику времени противодействовать моим намерениям.

Я назвал себя и рассказал судье, что я прибыл из отдаленной местности королевства, чтобы через его посредство возбудить дело по обвинению своего прежнего хозяина в убийстве. Мое имя уже было ему хорошо известно. Он ответил, что не станет заниматься рассмотрением моих показаний, что в этих местах я предмет всеобщего отвращения и что он ни в коем случае не желает быть орудием моей испорченности.

Я просил его хорошенько подумать о том, что он делает. Я прошу его не о снисхождении, а обращаюсь к нему в обычном порядке, как к должностному лицу. Решится ли он утверждать, что он вправе по своему произволу скрыть столь важное обвинение? Я имею основания обвинять мистера Фокленда в нескольких убийствах. Преступник знает, что мне известна правда по этому делу, и, зная это, он по своему коварству и мстительности беспрестанно угрожает моей жизни. Я решил довести это дело до конца, если только можно вообще найти справедливость в каком-нибудь суде в Англии. На каком основании судья отказывается выслушать мои показания? Я во всех отношениях заслуживающий доверия свидетель. Я в таком возрасте, что способен понимать значение присяги; я в здравом уме и твердой памяти; я не был опорочен приговором какого-либо суда. Его личное мнение обо мне не может изменить законов

страны. Я требую очной ставки с мистером Фоклендом и вполне уверен, что сумею доказать обоснованность обвинения к удовлетворению всего света. Если он не считает возможным подвергнуть мистера Фокленда аресту, по одному моему заявлению, я был бы удовлетворен, если б он хотя бы уведомил его об обвинении и вызвал его в суд.

Видя такую решительность с моей стороны, судья нашел нужным немного понизить тон. Он уже не отказывался наотрез соглашаться на мои требования, а снизошел до объяснения со мной. Он ссыался на слабое здоровье мистера Фокленда, на то, что он уже однажды подвергся самому обстоятельному расследованию по такому же обвинению, на дьявольскую злобу, из которой только и может проистекать мой поступок, и на беды, в десять раз сильнее прежних, которые он неминуемо навлечет на мою голову. На все эти увещания ответ мой был краток: «Я решил идти до конца и принимаю на себя все последствия». Наконец мне удалось добиться, чтобы мистеру Фокленду было послано извещение о выдвинутом против него обвинении.

Прошло три дня, прежде чем дело хоть немного продвинулось вперед. Этот промежуток времени ни в коей мере не содействовал успокоению моего духа. Мысль о том, что мне приходится поддерживать тяжкое обвинение против такого человека, как мистер Фокленд, и ускорять его смерть, отнюдь не могла принести мне успокоение. Иногда я одобрял свой поступок, — или как справедливое возмездие (так как мое природное благодушие в значительной степени обратилось в злобу), или как необходимую самозащиту, или как то, что по беспристрастной и человеколюбивой оценке было наименьшим злом. Порой меня одолевали сомнения. Но несмотря на эту смену чувств, я твердо держался прежнего решения. Я чувствовал себя так, как будто меня увлекает прилив неодолимой страсти. Последствия рисовались мне такие, что они могли испугать самое храброе сердце. Либо — позорная казнь человека, некогда столь глубоко мной чтимого и даже теперь, казалось, не совсем лишенного права на почтительное отношение; либо — полное возобновление, а быть может, и усиление бедствий, которые я терпел так долго. Однако и это я предпочел бы состоянию неопределенности. Я желал узнать худшее, раз

и навсегда покончить с надеждой, как бы она ни была слаба, и прежде всего исчерпать и испробовать до конца все средства, имеющиеся в моем распоряжении.

Я дошел до состояния, мало чем отличающегося от безумия. От волнения мое тело горело как в лихорадке. Когда я прикладывал руку к груди или к голове, исходящий от меня жар как бы опалял ее. Я не мог ни одной минуты спокойно оставаться на месте. Я терзался страстным желанием, чтобы ужасный перелом, так настойчиво мной вызываемый, скорее наступил и остался позади.

Через три дня я встретился с мистером Фоклендом в присутствии того судьи, к которому обратился по этому делу. В моем распоряжении было только два часа, чтобы подготовиться. Мистер Фокленд, по-видимому, не меньше меня желал, чтобы дело приняло решительный оборот и потом было раз и навсегда предано забвению. Я имел случай перед следствием узнать, что мистер Форстер занят какими-то делами на материке и что Коллинз, здоровье которого было ненадежно еще в то время, когда я его встретил, к этому времени опасно заболел; его силы были окончательно подорваны путешествием в Вест-Индию.

Собрание, которое я застал в доме судьи, состояло из нескольких джентльменов и других лиц, выбранных для этой цели, поскольку замысел в некоторых отношениях был тот же, что и в первом случае: произвести нечто вроде сомнительного характера частного следствия, так как в данном случае найдено было не деликатным применить следствие, открытое для замечаний каждого случайного зрителя.

Не могу представить себе большего потрясения, чем то, которое я испытал при виде мистера Фокленда. При нашей последней встрече вид его был дик и страшен, как у призрака, движения порывисты, выражение лица безумное. Теперь он выглядел трупом. Его внесли в кресле; он не мог стоять, почти уничтоженный только что совершенным переездом. Лицо его было бескровно, тело лишено подвижности, если не жизни. Голова его склонялась на грудь, и только по временам он приподнимал ее и открывал глаза, глядевшие тусклым взглядом, после чего опять погружался в состояние кажущегося бесчувствия.

Казалось, жить ему осталось не больше трех часов. Он уже несколько недель не выходил из своей комнаты, но вызов судьи был вручен ему в постели, так как его распоряжения насчет адресованных ему писем и бумаг были настолько непреложны, что никто не осмеливался ослушаться. По прочтении бумаги с ним случился очень опасный припадок, но как только он пришел в себя, он настоял, чтобы его как можно скорее доставили в указанное место. Фокленд даже в самом беспомощном состоянии был все еще Фоклендом, умеющим повелевать и способным заставить повиноваться каждого, кто приближался к нему.

Что это было за зрелище для меня! Вплоть до той минуты, когда Фокленд предстал перед моими глазами, грудь моя была закалена против жалости. Мне казалось, что я хладнокровно обсудил все обстоятельства дела (страсть, достигшая торжествующей, всемогущей силы, всегда кажется хладнокровием тому, в ком она господствует) и вынес беспристрастное и справедливое решение. Я считал, что если мистеру Фокленду будет позволено продолжать его козни, это будет непоправимым несчастьем для нас обоих. Я считал, что принятое решение даст мне возможность сбросить с себя свою долю несчастий, в то время как его доля вряд ли может вообще возрасти. И мне казалось, что сама справедливость требует сделать так, чтобы один человек был несчастен вместо двух, чтобы не двое, а один был лишен способности вносить свою долю участия в работу на общее благо.

Мне казалось, что в этом деле я поднялся над личными соображениями и сужу, совершенно пренебрегая внушениями эгоизма. Правда, мистер Фокленд был смертен, но, несмотря на свое явное разрушение, мог прожить еще долго. Следовало ли мне покориться и бесполезно провести лучшую пору своей жизни в теперешнем жалком положении? Он объявил мне, что его доброе имя должно остаться навеки неприкосновенным. Это было его господствующей страстью — мыслью, которая доводила его до безумия. Поэтому и на то время, когда его уже не будет, он, наверное, завещал преследовать меня Джайнсу или какому-нибудь другому, столь же бесчеловечному негодяю. Теперь или никогда я должен был освободить свое будущее от бесконечной скорби.

Но все эти тонко сплетенные умствования разлетелись в прах при виде зрелища, которое открылось теперь моим глазам. «Стану ли я топтать человека, доведенного до такой страшной крайности? Направляю ли свою вражду против того, кого уже привели к могиле законы природы? Стану ли отравлять последние мгновения человека, подобного Фокленду, самыми невыносимыми для него речами? Это невозможно. Очевидно, была какая-то страшная ошибка в ходе рассуждений, убедивших меня стать виновником этой отвратительной сцены. Должно найтись лучшее и более благородное средство от бед, под бременем которых я страдаю».

Было уже поздно. Ошибка, допущенная мной, зашла так далеко, что возврата не было. Вот сидит Фокленд, торжественно доставленный в суд для ответа по обвинению в убийстве. И вот стою я, уже выступивший обвинителем, серьезно и клятвенно обязавшийся поддерживать обвинение. Таково было мое положение. И в этом положении мне предстояло немедленно действовать. Я дрожал всем телом. Я охотно согласился бы, чтобы эта минута была последней минутой моего существования. Как бы то ни было, я полагал, что самое необходимое и обязательное для меня поведение заключается в том, чтобы полностью излить перед слушателями волнения моей души. Я взглянул сначала на мистера Фокленда, потом на судью и его помощников, потом опять на мистера Фокленда. Душевное волнение не давало мне говорить. Наконец я начал:

— Зачем не могу я вернуть последние четыре дня своей жизни? Как мог я быть так настойчив и упрям в своем дьявольском намерении? О, если б я послушался увещаний судьи или подчинился доброжелательному деспотизму его власти! До сих пор я был только несчастлив — отныне я буду считать себя негодяем! До сих пор, хоть и жестоко обиженный человечеством, я был прав перед судом собственной совести. Мера моих бедствий еще не была полна до краев.

Если бы, по милости божьей, мне было возможно удалиться отсюда, не сказав больше ни слова, я смело встретил бы последствия, я покорился бы любому обвинению — в трусости, лживости, распутстве — скорее, чем увеличил бы бремя несчастий, которые удручают мистера Фокленда. Но положение и требования самого

мистера Фокленда запрещают мне это. Он сам, чье тяжелое положение вызывает во мне такое сострадание, что я охотно забыл бы обо всех собственных интересах, заставил бы меня выступить с обвинением, чтобы он мог приступить к своему оправданию.

Я хочу раскрыть все движения своего сердца. Ни одна кара, никакое сокрушение не могут искупить безумия и жестокости этого последнего моего поступка! Но мистер Фокленд хорошо знает, — я утверждаю это в его присутствии, — как неохотно пошел я на эту крайность. Я благоговел перед ним, — он был достоин благоговения. Я любил его. Он был одарен качествами, в которых было нечто божественное.

С первого мгновения, когда я увидел его, я почувствовал самое пламенное восхищение. Он удостоил меня поощрением. Я привязался к нему с безграничной любовью. Он был несчастлив. Я с юношеским любопытством постарался узнать тайну его скорби. Это было началом всех моих бедствий.

Что я скажу? Он на самом деле убийца Тиррела. Он допустил, чтобы казнили Хоукинсов, зная, что они невиновны и что преступник — это он сам. После ряда догадок, после разных моих нескромностей и наводящих указаний с его стороны он наконец доверил мне полностью роковую тайну!

Мистер Фокленд, торжественно заклинаю вас: вспомните, оказался ли я когда-нибудь недостойным вашего доверия? Тайна ваша была для меня самым мучительным бременем. Только крайнее безумие привело меня к тому, что я необдуманно овладел ею. Но я предпочел бы тысячу раз умереть, чем выдать ее. Только мнительность вашего собственного воображения и тяжесть, которая угнетала ваше сознание, заставили вас следить за каждым моим шагом и испытывать тревогу из-за всякого пустяка в моем поведении.

Вы начали с того, что доверились мне. Отчего не доверяли вы мне и дальше? Зло, пронстекшее из моей первоначальной неосторожности, было невелико. Вы грозили мне. Выдал ли я вас тогда? В то время одно слово из моих уст навсегда освободило бы меня от ваших угроз. Я сносил их довольно долгое время, наконец оставил службу у вас и ушел в мир молча, как беглец. Зачем не дали вы мне уйти? Вы вернули меня хитростью и си-

лой и ложно обвинили меня в тяжком преступлении! Проронил ли я и тут хоть одно слово об убийстве, тайной которого владел?

Где человек, больше меня пострадавший от общественной несправедливости? Я был обвинен в низости, омерзительной для моего сердца. Я был отправлен в тюрьму. Не стану перечислять все ужасы тюрьмы, из которых самый незначительный заставил бы содрогнуться человеческое сердце. Юный, честолюбивый, любящий жизнь, ни в чем не повинный как новорожденное дитя, я ждал виселицы. Я был уверен, что одно слово, решительно обвиняющее моего прежнего хозяина, освободило бы меня, и все-таки молчал, вооружался терпением, не зная, что лучше — обвинить или умереть. Разве это говорило о том, что я человек, не достойный доверия?

Я решил вырваться из тюрьмы. С бесконечными трудностями, после многократных неудач, я наконец осуществил свое намерение. Тотчас же появилось объявление с обещанием награды в сто гиней за мою поимку. Мне пришлось искать убежище среди отбросов человечества, в шайке разбойников. Я столкнулся с самыми неотвратимыми опасностями при своем появлении в их среде и при уходе оттуда. Тотчас же вслед за этим я прошел из конца в конец почти все королевство, бедствуя, нуждаясь, ежечасно подвергаясь опасности быть снова схваченным и закованным в кандалы как преступник. Я хотел оставить отечество — мне помешали. Я прибегал к всевозможным переодеваниям. Я был невиновен и все-таки принужден был пользоваться такими уловками и ухищрениями, которые могли бы быть достоянием худшего злодея.

В Лондоне я жил такой же измученный и в таком же непрестанном страхе, как во время своего бегства почти через всю страну. Заставили ли меня все эти преследования нарушить молчание? Нет! Я переносил их терпеливо и покорно. Я не сделал ни одной попытки обратить их против их виновника.

Наконец я опять попал в руки тех злодеев, которые питаются человеческой кровью. В этом ужасном положении я в первый раз попытался стать доносчиком, чтобы сбросить с себя гнет. По счастью для меня, лондонский судья выслушал мою повесть с оскорбительным

презрением. Я быстро раскаялся, долго жалел о своей торопливости и радовался своей неудаче.

Я признаю, что за это время мистер Фокленд разными способами проявлял по отношению ко мне человеколюбие. Сначала он хотел помешать отправке меня в тюрьму; он поддерживал мое существование во время заключения; он не участвовал в том преследовании, которое было начато против меня; наконец он добился моего оправдания, когда дело дошло до суда. Но большая часть проявлений его снисходительности оставалась мне неизвестной. Я считал его своим неумолимым преследователем. Я не мог забыть, что, кто бы ни насылал на меня беды впоследствии, началом их было его ложное обвинение.

Наконец меня перестали преследовать по уголовному делу. Почему же моим страданиям не дали тогда кончиться и мне не было разрешено укрыть свою усталую голову в каком-нибудь безвестном, но спокойном убежище? Не достаточно ли я доказал свое постоянство и верность? Не было ли при таком положении вещей более мудро и надежно пойти на мировую? Неугомонные и ревнивые опасения мистера Фокленда не позволили ему оказать мне даже самое ничтожное доверие. Единственное соглашение, которое он предложил, заключалось в том, чтобы я собственноручной распиской признал себя негодяем. Я отверг это предложение, и с тех пор меня гнали с места на место, лишив покоя, доброго имени, даже хлеба. Долгое время я упорствовал в своем решении ни при какой крайности не превращаться в нападающего. В недобрый час я наконец послушался голоса своего гнева и нетерпения, и ненавистное заблуждение, в которое я впал, вызвало всю эту сцену.

Сейчас я вижу свое заблуждение во всей его чудовищности. Я уверен, что, открой я свое сердце мистеру Фокленду, Расскажи я ему с глаза на глаз историю, которую рассказал сейчас, он не мог бы остаться глухим к моей справедливой просьбе. После всех своих предосторожностей он должен был бы в конце концов положиться на мою кротость. Мог ли он рассчитывать на то, что, если я буду наконец доведен до того, что раскрою все, что знаю, и стану доказывать это со всей энергией, на какую способен, мне все-таки не поверят? Если он так или иначе оказывался в моей власти, то на каком

же пути следовало ему искать для себя безопасности — на пути примирения или неумолимой жестокости?

Мистер Фокленд — благородная натура. Да, несмотря на гибель Тиррела, на страшный конец Хоукинсов и на все, что пережил я сам, я утверждаю, что он прекрасный человек. Поэтому невозможно, чтобы он устоял перед откровенным и горячим увещанием, перед откровенностью и горячностью, в которых изливается вся моя душа. Я позволил отчаянию овладеть мной, когда было еще время сделать правильный шаг. Мое отчаяние было преступно, оно было изменой владычеству истины.

Я рассказал простую и правдивую повесть. Я пришел сюда проклинать, а остаюсь для того, чтобы благословлять. Я пришел обвинять, а принужден воздавать хвалу. Я провозглашаю на весь мир, что мистер Фокленд — человек, заслуживающий любви и доброго отношения, а я — самый низкий и гнусный из людей. Никогда не прошу себе сегодняшней несправедливости. Воспоминание о ней будет всегда терзать меня и отравлять горечью каждый час моего существования. Сделав это, я стал убийцей — холодным, сознательным, бесчувственным убийцей. Я сказал то, что обязан был сказать, вынужденный своей проклятой торопливостью. Поступайте со мной как знаете! Я не прошу снисхождения. Смерть была бы благодеянием в сравнении с тем, что я испытываю!

Вот какие выражения подсказало мне раскаяние. Я изливал их с неудержимой страстностью, потому что сердце мое было пронзено и я должен был дать выход своей муке. Каждый слушавший меня был потрясен. Каждый слушавший меня обливался слезами. Никто не мог устоять перед жаром, с каким я восхвалял великие достоинства Фокленда. Все выражали сочувствие признакам моего раскаяния.

Как описать чувства этого несчастного? Перед тем как я начал, он казался подавленным, расслабленным, не способным воспринять сильное впечатление. Когда я упомянул об убийстве, я заметил в нем невольную дрожь, хотя и встретившую противодействие отчасти со стороны его телесной слабости, отчасти со стороны духовной силы. Этого показания он ждал и пытался подготовить себя к нему. Но я сказал много такого, о чем он раньше не имел представления. Когда я стал описывать

свои душевные страдания, он сначала был удивлен и испуган — не новая ли это уловка, чтобы вызвать доверие к моей повести? Велико было его негодование против меня за то, что я сохранил всю свою неприязнь к нему, можно сказать, почти до его последнего часа. Оно усилилось, когда он увидел, что — как ему показалось сначала — я притворяюсь чувствительным и великодушным, чтобы придать своей враждебности еще большую остроту. Но по мере того как я говорил, он терял способность сопротивляться. Он увидел, что я искренен; он проникся моей печалью и сокрушением. Он поднялся с места, поддерживаемый теми, кто был при нем, и, к моему бесконечному изумлению, бросился ко мне в объятия.

— Уильямс, вы победили, — сказал он. — Я слишком поздно вижу все величие и возвышенность вашего духа! Я признаю, что по моей вине, а не по вашей, из-за моей чрезмерной подозрительности, которая все время пылала у меня в груди, произошла моя гибель. Я мог бы противостоять любому предательскому обвинению, которое вы выдвинули бы против меня. Но я вижу, что безыскусственная повесть, которую вы рассказали, убедила всех слушателей. Все мои надежды рухнули. Все, чего я так пламенно желал, навеки разрушено. Чтобы скрыть одно случайное преступление, оградить себя от людской вражды, я прожил жизнь, полную самой гнусной жестокости. Теперь я совершенно разоблачен. Мое имя будет предано позору, тогда как ваш героизм, ваше терпение, ваши добродетели будут вызывать восхищение. Вы причинили мне самое страшное зло, но я благословляю руку, поразившую меня. А теперь, — обернулся он к судье, — теперь поступайте со мной как вам угодно. Я готов понести законное возмездие. Вы не можете покарать меня больше, чем я заслуживаю. Вы не можете ненавидеть меня больше, чем я сам себя ненавижу. Я самый отвратительный негодяй. Много лет (не помню, сколько) я влачил жалкое существование, полное нестерпимых мук. И в конце концов, в награду за все свои труды и преступления, я уйду из жизни, обманувшись в последней надежде, которую лелеял, видя уничтоженной единственную цель своего существования. Вполне достойно такой жизни то, что она длилась ровно столько времени, сколько нужно было, чтобы увидеть это окончательное

крушение. Только, если хотите покарать меня, ускорьте удары правосудия, потому что мое доброе имя было той кровью, которая согревала мое сердце, и я чувствую, что позор и смерть одновременно овладевают мной.

Я передаю похвалы, которые расточал мне Фокленд, не потому, что заслуживал их, а потому, что они усугубляют низость моей жестокости. После этой ужасной сцены он прожил три дня. Я оказался его убийцей. Он, восхвалявший мое долготерпение, пал жертвой моей стремительности, потеряв из-за нее и жизнь и честь. По сравнению с этим было бы милосердием, если бы я вои-зил ему кинжал в сердце. Он поблагодарил бы меня за мою доброту. Но каким жестоким, отвратительным негодяем я оказался! Я не задумываясь причинил ему мучения, в тысячу раз более страшные, чем смерть.

Теперь я несу наказание за свое преступление. Его образ всегда стоит передо мной. Наяву и во сне я всегда вижу его. Он как будто кротко упрекает меня за бессердечный поступок. Я обречен на то, чтобы быть живой жертвой терзающих меня угрызений совести. Увы! Я все тот же Калев Уильямс, который так недавно хвалился тем, что, как бы ни были велики его несчастья, он все-таки невиновен!

Вот каковы были последствия моего намерения освободиться от бед, так долго меня не покидавших. Я думал, что, если Фокленд умрет, ко мне вернется все, что делает жизнь достойной обладания. Я думал, что, если вина Фокленда будет установлена, счастье и весь мир улыбнутся мне. Оба эти события совершились. И только теперь я стал по-настоящему несчастлив.

Зачем мысли мои все время возвращаются ко мне самому? Ко мне, слишком лестное уважение к которому было источником всех моих губительных заблуждений! Фокленд! Я буду думать только о тебе и в этих мыслях черпать все новую пищу для своей печали. Я хочу посвятить великодушную и бескорыстную слезу твоему праху. Среди сынов человеческих не было более благородной души. Твои духовные силы были поистине возвышенны, и в груди твоей горело богоподобное честолюбие. Но для чего таланты и чувства в развратной пустыне человеческого общества? Это — заболоченная и прогнившая почва, из которой всякий благородный побег, возрастая, впитывает отраву. Все, что на более здоровом поле и в более

чистом воздухе распустилось бы добродетелью и расцвело пользой, тут превращается в ядовитые волчьи ягоды и белену.

Фокленд! Ты вступил на свое поприще с самыми чистыми и похвальными намерениями. Но еще в ранней юности ты впитал яд рыцарства, и зависть, низкая и подлая, которая встретила тебя после твоего возвращения в родные места, действовала заодно с этим ядом, толкая тебя к безумию; скоро, слишком скоро в силу этого рокового совпадения цветущие надежды твоей юности были убиты навсегда. С этого мгновения ты продолжал жить только ради призрака утраченной чести. С этого мгновения твоя благожелательность к людям превратилась в безудержную подозрительность и непримиримую недоверчивость. Год за годом проводил ты в жалких ухищрениях обмана и продолжал жить только для того, чтобы в конце концов, из-за моего злостного и отвратительного вмешательства, увидеть свою последнюю надежду разбитой и свою смерть — сопутствуемой самым гнусным позором.

Я начал писать эти записки с намерением защитить свою честь. Теперь у меня нет чести, которую я хотел бы защитить. Но я закончу их для того, чтобы твоя история была понята до конца и чтобы, если ошибки твоей жизни, которые ты так пламенно желал скрыть от людей, станут известными, мир не услышал и не стал повторять искаженную и неполную повесть.

ПРИМЕЧАНИЯ

XXV. ¹ *Предисловие автора.* — Это предисловие было написано Годвином для первого издания «Калеба Уильямса», вышедшего в свет в Лондоне в мае 1794 года; однако, по не зависевшим от автора обстоятельствам, это предисловие могло быть напечатано только во втором издании романа, опубликованном более года спустя, в конце 1795 года (с датой 1796 г.). Предпосылая предисловие этому изданию, Годвин снабдил текст пояснением, в котором рассказал о причинах, помешавших его своевременному опубликованию. Под «кровавым заговором против английских свобод» Годвин подразумевал наступление реакции в Англии и ряд политических судебных процессов, организованных реакционным английским правительством против так называемых «английских якобинцев». Уже в августе 1793 года состоялся процесс молодого эдинбургского адвоката Т. Мюира, обвинявшегося в «злонамеренном и преступном возбуждении умов при помощи возмутительных речей и воззваний, проникнутых духом измены и вражды к королю и существующему правительству», и приговоренного к четырнадцатилетней ссылке в австралийскую каторжную колонию. Когда вскоре после этого союз делегатов шотландских «Обществ друзей народа» переименовал себя в «Британский конвент делегатов от народа, соединившихся во имя достижения всеобщей подачи голосов и ежегодных парламентов», это дало основание английскому правительству утверждать, что истинной целью «конвента» и других аналогичных английских политических обществ было «ниспровергнуть великобританскую кон-

¹ Цифра, стоящая в начале каждого примечания, указывает на страницу текста настоящей книги; в тексте же, после слов, к которым сделано примечание, поставлена звездочка(*).

ституцию» и, «идя по стопам французских революционеров», «толкать страну на путь кровопролития и анархии». Среди судившихся деятелей «Британского конвента» было много друзей Годвина, в частности — Джеррольд (см. о нем прим. к стр. XXXIII); далее судились основатель «Лондонского общества переписки» Т. Гарди, Телуолл, Горн Тук, Томас Холкрофт и др. Шестнадцатого мая 1794 г. — то есть в тот момент, когда «Калеб Уильямс» уже печатался, — глава английского правительства Питт внес в парламент предложение о приостановке действия до 1 февраля 1795 года Habeas Corpus Act'a (то есть законоположения о предоставлении правительству права ареста и тюремного заключения без суда всех обвиняемых или подозреваемых в государственной измене); предложение об отмене этого закона, внесенное в парламент в начале 1795 года, не имело успеха, и приостановка действия Habeas Corpus Act'a была продлена до 1 июля 1795 года. Лишь с этого момента репрессии правительства против лиц, подозреваемых в сочувствии к революции, начали ослабевать. Таким образом, особенно жестокая борьба английского правительства со всеми прогрессивными деятелями этой поры пришлось как раз на время между выходом в свет первого и второго изданий «Калеба Уильямса».

XXVI. Последнее предисловие автора. — В 1832 году лондонский издатель Бентли в своей серии образцовых английских романов («Standard Novels»), переиздал несколько старых произведений Годвина, в том числе его романы «Калеб Уильямс» и «Флитвуд» (1805). Настоящее предисловие предпослано последнему из них, хотя и имеет в виду прежде всего «Калеба Уильямса». Оно представляет значительный интерес благодаря заключающимся в нем автобиографическим данным и, в частности, по любопытным признаниям Годвина относительно того, как им был задуман и написан его первый роман. В том же 1832 году парижский издатель Бодри, перепечатавая «Калеба Уильямса» в английском подлиннике (в серии «Collection of ancient and modern British Novels and Romances»), включил в него также и это предисловие, как получившее значение авторского комментария к роману, но с опущением нескольких заключительных страниц, посвященных роману «Флитвуд» (в нашем издании эти страницы также не воспроизводятся). Впоследствии это предисловие получило и самостоятельную известность, так как послужило предметом обмена мнений между Диккенсом и Эдгаром По о том, как следует писать повествовательные произведения с широко разветвленным сюжетом. Возражая Э. По на его критический разбор романа Диккенса «Бернеби Родж», Диккенс указывал ему: «Известно ли вам, что Годвин написал своего «Калеба Уиль-

ямса» в обратном порядке? Он сначала опутал своего героя целой сетью приключений, составляющих содержание последней части, а затем стал придумывать способ объяснить, как это все случилось». Э. По (хорошо знавший роман Годвина) воспользовался этим напоминанием в своем очерке «Философия творчества», в котором он защищал мысль о полной сознательности всякого творческого процесса. «Совершенно ясно, — писал он, имея в виду «Калеба Уильямса», — что, обдумывая фабулу романа, надо мысленно довести ее до развязки раньше, чем взяться за перо. Только постоянно имея в виду развязку, можно придать необходимую последовательность всем происшествиям романа».

Последующие английские издания «Калеба Уильямса» вышли в Лондоне в 1903 году (Routledge and Sons) и в 1904 году. С тех пор роман более не переиздавался. Настоящий перевод сделан по тексту лондонского издания 1903 года, однако при подготовке его к печати приняты во внимание его более ранние издания. Заглавие романа при его переизданиях в подлиннике несколько раз менялось — в зависимости от вкусов издателей. В первом издании 1794 года он был озаглавлен: «Вещи как они есть, или Приключения Калеба Уильямса». Из этого издания мы воспроизводим эпиграф, впоследствии также нередко опускавшийся. «Калед Уильямс» был однажды переведен на русский язык (перев. С. Г., СПб., 1838, 4 части); это именно тот перевод, по которому роман знали Чернышевский, Белинский, давший о нем благоприятный отзыв (В. Г. Белинский. Полн. собр. сочинений, изд. АН СССР, т. III, М., 1953, стр. 111—112), и многие другие русские читатели. Случайно ускользнувший от бдительности царской цензуры, перевод этот, однако, неполно и неточно воспроизводит оригинал. Настоящий перевод сделан заново и без всяких пропусков.

XXVII. ...*воскликнуть вместе с Каули.* — Годвин цитирует начальные строки известного стихотворения («What shall I do?») английского поэта Абраама Каули (Cowley, 1618—1667).

XXXI. ...*старую книжку, озаглавленную: «Приключения мадемуазель де Сен-Фаль».* — Книга, на которую ссылается Годвин, переведена с французского и издана в Лондоне в 1702 году, но заглавие ее указано им неточно («История мадемуазель де Сен-Фаль». Перев. с франц. Б. Стар. Лондон, 1702).

...*ужасающей компиляции, озаглавленной: «Божье отмщение за убийство».* — Годвин имеет в виду назидательное сочинение Джона Рейнольдса, дважды изданное в Лондоне в первой трети XVII века и распространенное среди пуритан. В подлин-

нике книга имеет более длинное и кудрявое заглавие: «Триумфы божьего отмщения за вопиющее и отвратительное преступление — предумышленные и обдуманые убийства» (Лондон, 1622, 1629).

Я свел тесное знакомство с «Ньюгейтским календарем». — «Ньюгейтский календарь, или Список кровавых злодеев» — собрание очерков об узниках лондонской тюрьмы — Ньюгейта — с начала XVIII века по 70-е годы этого столетия (5 томов, Лондон, 1773). Очерки дают биографии всевозможных преступников и рассказы о совершенных ими преступлениях. Что Годвин действительно воспользовался этим изданием для характеристики английского преступного мира и описания некоторых подробностей тюремной жизни в XVIII веке, видно из прямой ссылки его на этот источник в XI главе 2 книги «Калеба Уильямса» (стр. 209).

...«Жизнеописаниями пиратов». — Годвин, очевидно, имеет в виду книгу «Жизнеописания всех наиболее знаменитых пиратов», изданную в Глазго в 1727 и 1728 годах.

XXXII. *...сказкой о Синей Бороде.* — Речь идет об известной сказке французского писателя Шарля Перро, вошедшей в его книгу «Сказки матушки Гусыни» (1697). В предисловии к своему роману «Клоудесли» (подписано 30 января 1830 г.) Годвин также свидетельствует: «Когда я писал «Калеба Уильямса», я рассматривал его до некоторой степени как пересказ сказки о Синей Бороде».

Opere in longo fas est obrepere somnum — цитата из «Поэтического искусства» Горация (стих 360).

XXXIII. *...несчастливого Джозефа Джеррольда.* — Годвин вспоминает о своем близком друге Джозефе Джеррольде (1764—1795), горячем и убежденном республиканце, судившемся за «преступные и злонамеренные речи» в марте 1794 года. Смелая и страстная защитительная речь Джозефа Джеррольда на суде, в известной мере внушенная ему Годвином, в которой Джеррольд заявил, что он с радостью умрет за свои убеждения, содействовала его осуждению. Он был приговорен к пятнадцати годам ссылки в Австралию, что при его слабом здоровье было равносильно смертному приговору. В мае 1795 года его внезапно посадили на корабль, не разрешив проститься с детьми и подготовиться к далекому путешествию. Джеррольд умер через несколько недель по своем прибытии в Сидней. Годвин не без умысла вспоминает несчастного Джозефа Джеррольда как одного из первых читателей своего произведения, еще находившегося в рукописи, однако он не мог или не хотел раскрыть до конца смысл этого напоминания о своем покойном друге, став-

шем жертвой правительственного заговора против прогрессивных английских деятелей конца XVIII века.

Наутро к свежим роцам и новым пастищам! — Цитата из поэмы Дж. Мильтона «Лисидас» (1637, стих 193).

КНИГА ПЕРВАЯ

13. *...героическими поэтами Италии.* — Годвин имеет в виду рыцарскую поэзию итальянского Возрождения, крупнейшими памятниками которой являются «Неистовый Роланд» Ариосто и «Освобожденный Иерусалим» Тассо. Эти произведения существовали в многочисленных английских переводах и пользовались большой популярностью в Англии во второй половине XVIII века. Таким образом, изображая Фокленда поклонником этих поэтов, несомненно под их влиянием написавшим свою упоминающуюся ниже (гл. IV) «Оду гению рыцарства», Годвин воспроизводил реальные поэтические вкусы читателей своего времени, в особенности распространенные в кругах английского дворянства. С другой стороны, Годвин, по собственному признанию, ставил перед собой особую задачу — окружить своего героя Фокленда (в первых главах) «атмосферой романтики» (см. «Последнее предисловие автора»), под которой он разумел рыцарственные идеалы в концепциях тех же итальянских поэтов — смелость, мужество, благородство, влечение к подвигам, культ чувства чести, дружбы и любви.

14. *...не запятнали бы самого рыцаря Баярда.* — Французский рыцарь Баярд (Пьер дю Терайль, 1476—1524), принимая участие в многочисленных военных походах французов в Италии и Испании, прославился своими подвигами и заслужил от современников прозвание «рыцаря без страха и упрека».

...вряд ли найдется итальянец, который... поколебался бы совершить убийство. — Даваемая Годвином обобщенная характеристика итальянцев не основана на реальных наблюдениях над представителями итальянского народа; источники ее — в довольно распространенных в Англии в конце XVIII века представлениях о «порочном итальянце», которые усиленно внушали своим читателям многочисленные «готические романы» от Г. Уолпола до А. Редклифф, а также соответствующая им английская драматургия (последней отдал дань и сам Годвин своей драмой из псевдоитальянской жизни «Антонио», 1805). Даже английские путешественники этого времени сгущали краски, описывая итальянские нравы — поединки, безнаказанные убийства, профессиональных

наемных убийц, бандитизм и т. д. (Адам Уокер. Мысли, внушенные последней поездкой, 1790; Томас Уоткинс. Путешествия по Италии и Сицилии, 1792; Н. Брук. Наблюдения над итальянскими нравами и обычаями, 1798 и др.). К разоблачению обычая дуэлей и в особенности их этического оправдания Годвин много раз возвращался в своих произведениях, начиная от «Исследования о политической справедливости» и до поздних «Опытов», в которых дуэлям посвящен особый этюд.

22. *...этим сельским Антеем.* — По греческой мифологии, имя Антея носил ливийский великан, сын Посейдона и богини земли Геи. Всякого чужеземца Антей силою заставлял вступать с ним в единоборство и побеждал его, почерпая силы при каждом прикосновении к своей матери — земле. В данном случае наименование Тиррела «сельским Антеем» имеет иронический оттенок: Годвин хочет лишь указать на его физическую силу и богатырский рост.

23. *...видеть этого Геркулеса сменившим палицу на прялку.* — Намек на один из мифов о Геркулесе (Геракле), популярнейшем из всех древнегреческих героев. По приговору богов Геркулес должен был годичной рабской службой искупить совершенное им коварное убийство (Ифита, брата Иолы). Зевс продал его царице Лидии — Омфале, которая заставляла его выполнять всевозможные женские работы, а сама щеголяла в его доспехах.

29. *Мистер Клер, поэт, творения которого принесли бессмертную славу его стране.* — Биографы Годвина полагают, что в образе Клера Годвин вывел одного из друзей своей юности — Джозефа Фоусета (Joseph Fawcett, ок. 1758—1804). По отзывам современников (например, Уильяма Хезлитта в «Биографии Т. Холкрофта») Фоусет был действительно человеком незаурядным, одаренным и обаятельным. Проповедник одной из диссидентских общин, заслуживший у своих прихожан славу вдохновенного, хотя по временам и слишком эксцентричного оратора, Фоусет внезапно бросил проповедничество и весь отдался поэтическому творчеству. Он напечатал несколько произведений, в том числе и поэму «Искусство войны» (1795), мало оцененную современниками, но интересную благодаря находящимся в ней откликам на французскую революцию 1789 года, горячим защитником которой он был. Наряду с Т. Холкрофтом Фоусет, несомненно, оказал на Годвина очень сильное влияние. Поэтические произведения Фоусета опубликованы были после первого издания «Калеба Уильямса» (перу его принадлежат издания в 1797 г. под псевдонимом Саймона Свана поэма «Искусство поэзии», «Стихотворения» 1798 г.

и «Военные элегии» 1801 г.), но Годвин знал большинство их еще до напечатания. В романе в лице Клера образ Фоусета преобразен и сильно идеализирован.

63. ...грубый, неотесанный, как Орсон. — Герой средневекового романа «Валентин и Орсон», воспитанный медведем. Известный в английском переводе с конца XV века, роман этот пользовался в Англии популярностью в течение нескольких столетий в различных обработках: народных книг, рассказов для юношества и т. д.

71. ...так надменно, как сам Люцифер. — Сатана в поэме Мильтона «Потерянный рай».

87. ...называемого «Черным актом». — Вскрывая в своем романе откровенный классовый характер английской судебной практики XVIII века, Годвин постарался возможно точнее воспроизвести действительные исторические факты, тщательно знакомясь с источниками и документируя свое изложение прямыми ссылками на них. Цитата из «охотничьего закона»; изданного «в девятый год правления» Георга I, то есть в 1729 году, вполне точно воспроизводит подлинник. Этот закон наряду со многими другими английскими законодательными актами XVIII века прекрасно иллюстрирует устарелость и жестокость английского уголовного права этого столетия. Смертную казнь (притом непременно публичную) влекли за собой самые незначительные преступления. Ею карались, например, злонамеренная порубка леса или уничтожение деревьев, умышленное увечье животных, воровство дичи, появление с оружием в лесу, на лесосеках или дорогах, кражи выше одного шиллинга, если они совершены в церкви, в часовне или в лавке во время ярмарки, каждое мошенничество, совершенное над человеком во время сна, и т. д. При этом человек, обвиняемый в преступлении, караемом смертной казнью, был лишен права защиты, и его процесс не должен был продолжаться более, чем один день, так что никакое более или менее обстоятельное и объективное выяснение сколько-нибудь сложного дела не было возможно.

91. *Василиск* — легендарный зверь, взгляд которого был смертельным.

95. *Фартинг* — мелкая английская монета (четверть пенса).

113. *Фемистокл* (V—IV в. до н. э.) — государственный деятель и полководец Афин.

130. Доктор Придо в своем «Согласовании». — Гемфри Придо (Humphrey Prideaux, 1648—1724) — английский историк, археолог и ориенталист. Годвин имеет в виду его «Историю евреев и соседних народов в согласовании с данными библии» (Лондон, 1715—1717).

130. ...приравнены к Джонатану Уайльду. — Речь идет об одном из ранних произведений Генри Филдинга (1707—1754), в котором сатирически изложена биография знаменитого лондонского вора и полицейского сыщика Джонатана Уайльда, повешенного в 1725 году, — «История жизни покойного Джонатана Уайльда Великого» (1743). Философской основой книги является сделанное в духе английских моралистов XVII—XVIII веков противопоставление двух «относительных» понятий: «величия» и «доброты». Филдинг пытается разрушить обычные представления о связи «великого» и «добротного» на том основании, что — с его точки зрения — превозносимое официальными историками «величие» монархов, полководцев и т. д. «чаще всего состоит в причинении всякого рода несчастий человечеству, а доброта — в их устранении» (кн. I, гл. 1). Имея в виду прежде всего современных ему государственных деятелей, Филдинг утверждает, что, поскольку в своей деятельности они соблюдают преимущественно личные интересы, термин «великий» в применении к ним получает обратное значение и становится синонимом зла. В подтверждение своих рассуждений Филдинг приводит исторические примеры и действительно ссылается на «великих» деятелей древности — Александра Македонского, Юлия Цезаря и др. «В историях Александра и Цезаря, — пишет Филдинг, — нам часто и, правду сказать, несколько развязно напоминают об их благонамеренности и благородстве, милосердии и доброте. После того как первый из них огнем и мечом разорил обширную империю и уничтожил жизнь огромного количества ни в чем не повинных несчастных людей и, подобно смерчу, всюду принес гибель и опустошение, нам в качестве примера его милосердия указывают на то, что он не перерезал горло старухи и не изнасиловал ее дочерей, а удовлетворился лишь тем, что загубил их жизни» (гл. 1). В оправдание своих преступлений герой Филдинга, Джонатан Уайльд, также ссылается на «великих людей» древности: «Что жизнь одного человека? Разве целые армии не приносились в жертву по капризу одного великого человека?.. Я погубил семью и довел невинного до виселицы. Я должен скорее плакать с Александром, что я не погубил больше, чем сожалеть о том немногом, что я сделал» (кн. IV, гл. 4). Вся книга Филдинга остро сатирически разоблачает практику английского судопроизвод-

ства, которое беспощадно расправлялось с мелкими воришками и оставляло безнаказанными знатных лиц, виновных в тяжелых преступлениях. Сходные мысли о тщеславных завоевателях, оставляющих после себя только развалины, Годвин, несомненно, читал также в «Размышлениях о греческой истории» Мабли, со ссылкой также на Александра Македонского: «На что надеялся Александр? Не чувствовал ли он, что завоевания столь стремительные... соблюдены быть не могут... Если же он не мог воздержать свои желания, то он был бешеный, коего людям ненавидеть должно».

131. ...*доверие к Филиппу-врачу*. — Историки Александра Македонского рассказывают, что, прибыв в город Тарс во время похода на персов, Александр внезапно заболел в самый критический момент военных действий, но искусный врач, акарнанец Филипп, быстро вернул ему здоровье.

Гефестион (357—324 до н. э.) — македонец, товарищ детства Александра Македонского и близкий друг его до конца жизни. Гефестион не отличался личными достоинствами, но благодаря близости к Александру занимал высшие военные должности; в 324 году Александр сделал его своим шурином, женив на дочери персидского царя Дария III, Дриппетиде. Неожиданная смерть Гефестиона во время торжеств в Экбатане повергла Александра в глубокую печаль; он похоронил его в Вавилоне с царскими почестями и велел причислить к полубогам. Вскоре после того произведенный Александром разгром горного племени коссаяв (грабивших на пути из Мидии к бережьям Евфрата), на что, по-видимому, Годвин намекает в помещенных ниже словах Калеба Фокленду («целое племя было перебито»), некоторые историки толкуют как род кровавой тризны над прахом Гефестиона.

К пленному семейству Дария он отнесся с самым радушным гостеприимством. — В 333 году, обратив в бегство персидские войска, Александр захватил в плен военный лагерь персидского царя Дария, вместе с его матерью, женою и детьми. Историки Александра много рассказывают о великодушии его по отношению к пленникам. *Почтенная Сизигамба* — мать жены Дария.

...церковника-педанта. — Намек на упомянутое выше сочинение доктора Придо.

132. *Селевкиды, Антиохи и Пталемей*. — После смерти Александра его обширная монархия распалась на несколько больших царств и ряд мелких владений; Египет оказался под властью династии Птолемеев, Азия (от Геллеспонта до Инда) — под властью Селевка Никатора и его наследников Селевкидов; Антиохи правили Сирией.

...о поджоге дворца в Персеполисе. — Александр предал племени город Персеполис в ознаменование своей полной победы над персами.

...повел целую армию через жгучие пески Ливии. — При завоевании Египта Александр посетил расположенное в оазисе древнее святилище бога Аммона и был встречен здесь жрецами с божескими почестями, как сын бога Аммона (сын Солнца).

...довольно было случайного повода, чтобы совершить убийство. — Этими словами Калев напоминает Фокленду хорошо известную последнему историю убийства Александром одного из его полководцев — Клита, некогда спасшего жизнь Александру в битве у реки Граники. Это случилось в 328 году; в припадке гнева и опьяненный вином, Александр заколол спорившего с ним во время пира Клита.

133. *Клит был человек очень грубого и вызывающего поведения.* — См. предшествующее примечание.

138. *...перестая удивляться восклицанию умирающего Брута.* — Римлянин Марк Юний Брут (85—43 до н. э.) во время империи прославился в школах риторов как истинный республиканец. Потерпев поражение в битве с войсками Антония и отчаявшись в возможности спасти отечество, Брут кончил жизнь самоубийством, бросившись на свой меч. Слова, приписываемые Годвином умирающему Бруту, не находятся в рассказах древних историков. По свидетельству Плутарха («Жизнеописания»), Брут перед смертью сказал друзьям, что он считает себя «счастливее победителей, ибо оставляет по себе славу добродетели, а такой посмертной славы им не добыть ни оружием, ни деньгами, как не могут они заставить кого-либо отказаться от мысли, что несправедливые люди, погубив справедливых, дурные — хороших, стали у власти без всякого на то права». Именно эти знаменитые слова Годвин должен был иметь в виду, но либо не хотел вкладывать их в уста Фокленда, либо не приводил их полностью, считая их достаточно известными своим читателям.

158. *«Что за убийство разыграет Росций?»* — Цитата из III части драматической хроники Шекспира «Генрих VI» (д. V, сц. 6, стих 10).

208. *Джек Кетч* — распространенное в Англии условное наименование палача.

209. *...в «Ньюгейтском календаре».* — См. выше, прим. к стр. XXXI.

211. *...труд Говарда о тюрьмах.* — Джон Говард (John Howard, 1726—1790), английский филантроп, посвятил большую часть жизни посещению мест заключения и вскрыл все ужасы английской тюремной системы XVIII века. Труд его, на который ссылается Годвин, называется «Состояние тюрем в Англии и Уэльсе» (1777, 2 дополн. изд., 1784); он произвел сильное впечатление и вызвал два парламентских акта об улучшении содержания заключенных. Из этой книги Годвин почерпнул ряд данных для своего повествования: представленная им мрачная картина вполне соответствует действительному положению арестантов в английских тюрьмах того времени.

217. *Я повторил... значительную часть Евклида* — то есть геометрию. Математик Евклид, живший ок. 300 года до н. э. в Александрии, был автором знаменитых «Элементов геометрии» в тринадцати книгах.

КНИГА ТРЕТЬЯ

251. *...эта адская Фалестра.* — Имя Фалестры носила легендарная воинственная царица амазонок. Поэтому ниже, рассказывая о той же хозяйке разбойников, Годвин вновь говорит: «поистине она обладала силой амазонки».

256. *Элизий* — в греческой мифологии царство мертвых, помещавшееся в конце вселенной; там нет бурь и непогод, но постоянно веет зефир.

262. *...знаменитые слова короля французского Иоанна.* — В 1356 году (19 сентября) «Черный принц» (принц Уэльский, старший сын английского короля Эдуарда III) на полях Мопертуй, к северу от Пуатье, разбил французскую армию и захватил в плен французского короля Иоанна Доброго, который был вскоре доставлен в Лондон.

266. *Если через четырнадцать или даже сорок лет они обнаружат пропуск...* — Годвин имеет в виду два громких уголовных процесса, состоявшихся в Англии в 1759 году; он знал их из издания «Эннюэл реджистер» за этот год — ежегодного обзора различных событий общественной и политической жизни, на который он и сам ссылается. В особенности много шума произвел первый из этих процессов, Юджина Арама (1704—1759). Сын йоркширского садовника, самоучка, выбившийся в люди и получивший уже некоторую известность своими филологическими работами над сравнительным слова-

рем европейских языков, Ю. Арам внезапно был уличен в убийстве, самого загадочного и позорного свойства, сапожника Даниеля Кларка. Он был судим и повешен в Йорке в 1759 году. История преступления Арама помнилась долго; она дала сюжет стихотворению Томаса Гуда «Сон Юджина Арама» (1829); вскоре Эдуард Бульвер рассказал ее в увлекательном романе «Юджин Арам» (1831), мысль о котором подал ему именно Годвин. Другая, менее известная история в том же роде — Уильяма Эндрью Горна, виновность которого в хорошо скрытом преступлении обнаружилась лишь сорок лет спустя по его совершении, была Годвину известна из того же источника («Энньюэл реджистер» за 1759 г.).

267. ...с этой мрачной Сивиллой. — Сивиллами назывались древние пророчицы, изображавшиеся в виде необычайно старых женщин.

268. ...послание, в котором Гораций так прекрасно описывает Фуску... — Речь идет о знаменитой восьмой эпистоле Горация к одному из его лучших друзей, Аристию Фуску. Фуск, по-видимому, поставил Горацию в упрек, что он стал часто удаляться в деревню из Рима и покидать своих столичных друзей. Гораций ответил ему эпистолой, в которой пишет, что ему в тягость городская суета и что он желает отдохнуть на лоне природы. Весь наружный блеск, все мирские стремления, пишет далее Гораций, ложатся тяжелым гнетом на жаждущих богатства и славы; по его мнению, счастлив и свободен лишь тот, кто довольствуется малым.

281. И из какой части Типперери тебе вздумалось явиться? — Графство и город Типперери находятся в глубине южной части Ирландии. В XVIII веке это был один из самых глухих углов страны, славившийся, между прочим, нищетой своего населения; историки и путешественники нередко указывали на то, что в Типперери в это время число нищих, живших подаянием или ютившихся в приютах для бездомных, превосходило число прочих жителей.

290. ...при моей попытке переправиться через Северн. — Бассейн реки Северн своей верхней областью принадлежит Уэлсу; как только река становится судоходной для мелких судов, она вступает в пределы Англии.

294. ...потому, что она отстоит дальше других от той части Англии, откуда я прибыл. — Предмесье Саутуорк — южная заречная

часть Лондона (на правом берегу Темзы) — в XVIII веке являлось захолустной частью города. Калев прибыл из северо-западной части Англии.

294. ...*между Майл-Эндром и Уоппингом*. — Майл-Эндрод — лондонская улица, служащая продолжением Уайтчепель-род. Эти улицы являлись основными магистралями, соединявшими беднейшие кварталы города, населенные рабочими и мелкими ремесленниками. Уоппинг — район доков.

298. ...*местным Аристархом*. — Аристарх (II в. до н. э.) — александрийский филолог, автор многочисленных комментариев к греческим писателям. Имя его в новое время стало нарицательным для литературных критиков.

299. ...*статью в духе «Зрителя» Аддисона*. — «Зритель» (1711 — 1712 гг.) — один из знаменитых английских нравоописательных морально-сатирических журналов, издававшихся Джозефом Аддисоном (1672—1719) и Ричардом Стилем (1672—1729). Этот журнал пользовался огромной популярностью в течение всего XVIII века (за это время он был перепечатан полностью пятьдесят пять раз) и оказал сильное влияние на развитие буржуазного романа и «мещанской драмы».

299. ...*жизнеописаний Картуша, Гусмана из Альфараче*. — Луи Доминик Бургиньон (1693—1721), по прозвищу Картуш, — знаменитый французский вор. Сын бочара, воспитанный иезуитами, он в юности пристал к шайке цыган, а потом с десятков лет ловко воровал в Париже и его окрестностях. В 1721 году Картуш был арестован и казнен на Гревской площади. Гусман из Альфараче — герой одноименного плутовского романа испанского писателя Маттео Алемана (1599). Сын разорившегося купца, пустившийся бродить по белу свету, Гусман переживает ряд приключений в Мадриде, Толедо и Риме, наконец попадает в воровство и ссылается на каторгу, где ему удается получить свободу. В Англии этот роман пользовался большой популярностью в XVII и XVIII столетиях.

316. ...*я не был ни Геростратом, ни Александром*... — Герострат — эфесец, сжегший великолепный храм Дианы только для того, чтобы его имя осталось в памяти последующих поколений. Храм сгорел, по преданию, в ту самую ночь, когда появился на свет Александр Македонский. Оценку деяний Александра Калев дал в своем разговоре с Фоклендом.

317. ...так как судей... касалось только это обстоятельство... — Для понимания всех подробностей этого эпизода необходимо иметь в виду последующее указание автора, вкладываемое им в уста Фокленда, что дело происходит на Боу-стрит в Лондоне (стр. 325). Здесь в XVIII веке находилось полицейское учреждение с сыскными агентами и особым «полицейским судом», функции которого, впрочем, были весьма ограничены. Именно поэтому Калеба, по установлении его личности, отправляют обратно в то графство Южной Англии, откуда он был родом, для последующего суда над ним, а полицейский судья не желает его слушать и заявляет: «Если вы невиновны, это нас не касается. Мы действуем в пределах своих полномочий».

325. ...учреждении на Боу-стрит. — См. прим. к стр. 317.

334. Подобно Просперо из «Бури». — Имеется в виду драма Шекспира.

360. ...к берегам варварского Туле. — Легендарный в античном мире остров Туле, находившийся, по преданиям, на крайнем северо-западе; позднейшие географы отождествляли его то с Британией, то со Скандинавией.

360. ...целыми армиями своих янычар! — Отборные войска в XVII веке, составлявшие особую, привилегированную часть турецкой армии.

М. П. Алексеев,

ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>М. П. Алексеев. У. Годвин и его роман «Калеб Уильямс»</i>	III
Предисловие автора (к первому изданию)	XXV
Последнее предисловие автора	XXVI
Книга первая	5
Книга вторая	125
Книга третья	243
Примечания	377

УИЛЬЯМ ГОДВИН
Калёб Уильямс

Редактор *М. Трёскунов*
Художественный редактор
Л. Чалова

Технический редактор
Л. Крючкина

Корректор
О. Семенов-Тянь-Шанская

Сдано в набор 25/XII 1959 г.

Подписано к печати 15/IV 1960 г.

Бумага $84 \times 108^{1/32}$ — 13,25 печ. л. =

= 21,73 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 22,185

Тираж 100 000 экз. Заказ № 2268.

Цена 71 к.

Гослитиздат

Ленинградское отделение

Ленинград, Невский пр., 28

Типография № 2 им. Евг. Соколовой

УПП Ленсовнархоза.

Ленинград, Измайловский пр., 29.

Отпечатано с матриц тип. № 1

«Печатный Двор» имени А. М. Горького.

Ленинград, Гатчинская, 26

